

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

№ 356 / 1 1·2015

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири
Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
и Администрации города Иркутска
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Проза

- Иннокентий Черемных.** Разведчики. *Отрывок из романа* 3
Алексей Зверев. Раны. *Главы из повести* 48
Лев Кукуев. Живые и мертвые *Отрывок из романа* 87
Владимир Козловский. Верность. *Отрывок из романа* 122
Дмитрий Сергеев. В сорок втором. *Рассказ* 151

Поэзия

- Иван Молчанов-Сибирский.** Здесь в сорок пятом русские прошли 42
Александр Гайдай. У выжженных высот 82
Юрий Левитанский. Я не участвую в войне — она участвует во мне 117
Константин Седых. Не уйдут фашисты от расплаты... 147
Марк Сергеев. Они стояли посреди войны 165
Валерий Алексеев. Хлестал по вагонам свинец 179
Георгий Кольцов. Неизбывная сила родства. *К 70-летию со дня рождения сибирского поэта* . . . 184

Подвиг! 70 лет

- Галина Болдакова.** Вспоминают ровесники победы 170
Людмила Соболевская. «Долина забвения» 192
Джек Алтаузен, Вадим Богатырёв, Елена Жилкина, Георгий Замаратский, Иннокентий Луговской, Леонид Огневский, Анатолий Ольхон, Пётр Реутский, Моисей Рыбаков, Ростислав Смирнов, Леонид Сенченко, Валентин Уруков, Иосиф Уткин, Денис Цветков 207

Поздравления юбиляру ~ 70 лет!

- Владимир Скиф.** Памятью высвечу душу свою... 195

Никто не забудет, ничто не забыто

- Николай Кустов.** Иркутск гордится командармом Дальней авиации 203

К 85-летию со дня рождения Глеба Пакулова

- Александр Донских.** «То знак мне был...» *О новой книге Глеба Пакулова* 221

Память жива. 100-летие Первой мировой войны

- Римма Михеева.** Великая война (1914–1918 гг.) 225

Эхо Года культуры. Памятная дата

Лидия Казанцева. «Бригада» — серия книг Восточно-Сибирского книжного издательства.
50 лет с начала издания 233

Эхо Года культуры. Встречи

Оксана Запольская. «Мы — просто поэты» 236

Эхо Года культуры. Издательский проект

Елена Орлова. Стихотворное путешествие по Иркутскому художественному музею 238

Эхо Года культуры. Переизданная книга

Оксана Запольская. «Иркутянка: портрет на рубеже XIX и XX веков» 240

Эхо Года культуры. Сибирская палитра

Мария Моженкова. «России заповедные места» 242

Жизнь литературы и жизнь в литературе

Николай Морозов. «С Иркутском связанные музы». В Иркутском областном Доме литераторов в октябре–ноябре 2014 года состоялась необычная фотовыставка Эльфриды Невзоровой 244

Беседы Сибири

Какой журнал нужен современному ребёнку?
Материалы с форума «Новый век детского журнала» 247

Вспоминаю Евгения Суворова

Владимир Попов. Женечка Суворов 255

Оксана Запольская. Писатель Земли Сибирской. Литераторы — о Евгении Суворове 259

Дела писательские

Светлана Шегебаева. Дом литераторов: чем живы? 263

Новая книга

Александр Донских. Скифотворения о скифотворении 267

Поздравления 272

Главный редактор АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ

Заведующий отделом поэзии ВЛАДИМИР СКИФ

Заведующий отделом прозы АЛЬБЕРТ ГУРУЛЁВ

Заведующий отделом критики и публицистики АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ

Ответственный секретарь редакции СВЕТЛАНА ЗУБАКОВА

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Ю.И. Баранов, В.В. Барышников, В.К. Забелло, В.П. Комлев, И.И. Козлов,
Р.Г. Михеева, Н.А. Озерникова, В.Г. Распутин, Т.Н. Суворцева, В.Н. Хайрюзов, М.И. Яковенко

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки С. Бурчевская. Комп. верстка А. Гордиевских. Корректор Л. Заступова

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600.**

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Тел.: 20-37-86. Рукописи принимаются в распечатанном виде.

Справки по тел.: 34-20-77 (ответств. секретарь). E-mail: sve-t-lana@mail.ru.

(Рукописи по e-mail не принимаются, за исключением особо оговоренных случаев).

Подписано в печать 01.04.2015.

Формат 70x108/16. Усл.-печ. л. 22. Тираж 1500. Цена свободная.

Изготовлено в ПИК Офсет. 660075, г. Красноярск, ул. Республики, 51.

Тел. (391) 211-76-20. E-mail: marketing@pic-ofset.ru

© Бурчевская С.А., дизайн обложки, 2015

© Сибирь, 2015, № 1 (12+)



ИННОКЕНТИЙ ЧЕРЕМНЫХ



Разведчики

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

Первым командиром, которого я узнал в армии, был лейтенант Королев. Он прошел вдоль строя. Мы стояли перед ним, одетые кто во что горазд. Одни были в длинных шубах, другие — в полушубках, дохах из собачьего и медвежьего меха, шкур дикой козы. На ногах — самотканые валенки, унты, ичиги, чирки. Уши шапок у одних висели, у других торчали вверх. Ростом неодинаковы, но все одного, 1922 года рождения, бывшие колхозники из сел и деревень Братского района. Мы смотрели на коренастого, плечистого Королева, на его белый, как снег, полушубок, опоясанный широким ремнем. Пристально оглядывая нас, он спросил:

— Кто желает быть разведчиком? Служба веселая, почетная, всегда впереди. Разведчик должен быть смелым, решительным, сильным и вертким! Такому бойцу всегда почет. У кого же гайка слабовата, тому лучше в другую часть идти. Подумайте!

И пошел от нас к зданию, обнесенному штакетником. Там был расположен штаб дивизии. Лейтенант, по-видимому, давал нам возможность посоветоваться между собой — идти в разведку или нет. Но мы болтали о другом:

— Нас бы так одели, как его.

ЧЕРЕМНЫХ Иннокентий Захарович, прозаик (1922, д. Паберега Братского р-на Иркутской обл. — 2004, Братск). Автор книг: *Разведчики*: повесть (Иркутск, 1970); *Однополчане*: роман (Иркутск, 1981); *После войны*: повесть (Иркутск, 1986); *Однополчане*: роман. 2-е изд., доп. (Иркутск, 1989); *Лихолетье*: роман (М., 1989); *Моя деревня Паберега* (Братск, 1998); *Солдаты войны*: в 2 ч. (Братск, 1999). Член Союза писателей России.

— Надо спросить, как кормят.

Лейтенант вышел из штаба вместе с писарем.

— Хорошо подумали? — издали спросил Королев.

Все молчали, и он, помедлив, скомандовал:

— Желаящие быть разведчиками — два шага вперед... марш!

У меня получилось три, и я встал вплотную перед ним.

— Ты кто? Охотник или рыбак? — спросил Королев.

— Рыбачил с тятей и один, на удочку за полдня по ведру пескаррей надергивал.

Охотился...

— Значит, смекалка есть? Стреляешь хорошо? Плавать умеешь? Как подкрадывался? В рост, ползком?

— Всяко разное и на карачках.

— Ты покажи, как, — встрял в разговор Пронька Каймонов.

— Ну и чо, покажу! — встав на четвереньки, я тут же почувствовал тяжесть руки командира.

— Ниже, ниже держать ее надо! Немец не утка, с ходу клонет! — и писарю: — Запиши, научится!

Тех, кто вышел, переписали, а к поредевшему строю подошел другой, в черном полушубке командир и сразу скомандовал:

— Сомкнуть ряды! Кто больной — два шага вперед... арш!

Никто не шелохнулся.

— Больных направляем в санчасть, а там, глядишь, и домой отпустят. Больные не нужны в армии, а колхозы и больным будут рады, пахать некому... Последний раз спрашиваю — кто больной?!

Из строя вышли три парня.

— В артиллерии хворым не гоже быть, — сказал командир. — Поидете в пехоту, там вылечат вас.

Артиллеристов и пехотинцев увели куда-то, а наш командир, все еще расхаживая вдоль строя, оглядывал нас, спрашивал то одного, то другого:

— Родители есть? Почему мать пуговку не пришила? Ты что, на зимовку собрался? Что тебе натолкали в мешок?

— Телятина, хлеб!

— У кого есть козлятина, медвежатина?

Все молчали. Глаза командира уставились в серую дохушку Пашки Тельнова:

— Сам настрелял коз?

— Нет! — честно признался парень.

— Братск — таежный район, я думал, что все вы охотники, со смекалкой люди, стрелки хорошие, сразу можно в разведку отправлять, а вы? Мамкиных телят понапихали в мешки...

— Козу выслеживать надо, — сказал Прокопий Каймонов, — а телка во дворе колотушкой... бух — и в чугуны.

— Почему у тебя переднего зуба нет?

— Трактор заводил, рукояткой выбило.

— А я думал, ты боксер, драчун, ловкач. Почему ты пожелал в разведку? Не охотник, не боксер и в разведку?

— Научусь! Вы говорите — служба веселая, всегда впереди, ну я и согласился.

— Он пляшет, поет, на гармошке играет, — подсказал коренастый, в медвежьей дохушке парень.

— Кто тебя за язык тянет? Разведчик должен быть глух и нем. А вы все как базарные бабы. Ну ничего, через месяц-другой прикусите... Командиры научат вас... как шапки носить.

Каймонов, подняв висевшее ухо шапки, стал завязывать тесемки.

— Будешь ротным запевай, — определил ему командир. И неожиданно для строя подал команду: — Равняйся!

Мешки, торбы с харчами лежали, стояли впереди и позади нас. Боясь, что командир уведет строй без мешков, мы давай хватать их, а он еще зычнее:

— Равняйся!

Какое равнение с мешками на плечах, соседа по строю не видно.

— Смирно-о! Справа налево по порядку... рассчитайся!

— Один! — выкрикнул я.

Пашка тихим голосом:

— Два-а!

— Отставить! Не один-два, а первый-второй! — пояснил командир, отшагивая от строя назад. — Справа налево по порядку номеров... рассчитайся!

— Первый!

— Второй!

— Третий!

— Четвертый! — выкрикивали парни. Выкрики удалялись и удалялись от нас с Пашкой, и голос замыкающего едва был слышен:

— Семьдесят пятый!

Командир выстроил нас в две шеренги, прошелся вдоль строя, скомандовал:

— В баню с песней! Шаго-ом... ма-а-рш!

Прокопий Каймонов запел: «Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним...»

— Отставить, отставить! — закричал Королев. — Ты что, в арбе едешь? Строевую давай! Под ногу, чтоб шаг тверже был! Запевай: «Выпрягайте, хлопцы, коней!»

Прокопий запел... Мы вяло, невпопад, подхватили, и Королев, морщась, опять крикнул:

— Отставить! Вы что, хором никогда не пели?

— Как не пели!

— А в чем же дело?!

— Пели с девчонками, а с ними чо не петь!

— «С девчонками!» — передразнил командир. — О них забыть надо.

— Шутишь, дядя, — вырвалось у кого-то, — о них не забудешь.

— А нас скоро на фронт? — спросил Каймонов.

— На фронт... Ходить научитесь!

В бане остригли нас, выдали обмундирование. На улице мы сразу же почувствовали, что такое солдатская закалка — шинели третьей категории насквозь пронизывались ветром. Не скользил мороз и по надраенным до блеска сапогам, пробираясь через широкие голенища.

Начались занятия. Ночами — тревога за тревогой, дальние броски на лыжах. Солдатского пайка не хватало, подводило живот. У меня стала кружиться голова, и я пошел в санчасть.

— На что жалуетесь? — спросил серолицый доктор.

— Голова ходуном ходит, когда наклонюсь. Еды не хватает, — объяснил я.

— Наверное, до армии по ведру картошки съедал? Распустил брюхо... Тут паек, лишнего не съешь. Молока крынку не выпьешь.

— Молока и дома не всегда перепадало, у нас семья большая, коровенка плохо доится.

— Подойди ближе!

Четко шагаю.

— Та-ак! — произнес доктор, прикасаясь ледяными пальцами к моим горящим от жгучего ветра щекам. Смотрим друг на друга. У него на горбинке носа синие прожилки.

— Не похоже... не похоже, — бурчал он. — Меньше думай о жратве, голова перестанет кружиться. От симуляции она у тебя ходуном ходит! Кру-угом!

Ошарашенный, я повернулся через правое плечо и без его команды «марш!» вышел из кабинета.

* * *

Через два месяца военной подготовки нам заменили шинели полушубками, буденовские шлемы — шапками. В общем, обмундировали во все теплое — и на фронт.

Третьего марта 1942 года прибыли в Калугу. Только мы из вагонов — бомбежка! Рота — врассыпную. Я действовал по наставлению отца: «Сын, держись за бывалым солдатом!» Какой-то миг глазами отыскиваю бывалого, чтобы увязаться за ним. И тут замполит под машину нырнул. Я сразу «сообразил»: в кузове снаряды, а они железные, их бомба не возьмет, — урезал к машине и залез под нее. Замполит голову сует к диску баллона. «Ишь ты, совсем молодой, а хитрый», — тычусь головой в другой диск. Бомбежка — всюю! Полуторка ходуном ходит. Замполит вдруг мыкнул и потянулся. Глядя на него, я тоже вытянулся.

Вот уже утих визг бомб, взрывы прекратились, командиры взводов окликают солдат, на построение зовут, а мы лежим. «Замполит знает, что делать, видно, ишо будут бомбить», — думал я.

Оказывается, его осколком в бок шваркнуло, вот он и притих. Потом, где-то в развалинах Калуги, командир выстроил роту и строго спросил:

— Кто под машиной был?

Я выступил из строя и не без гордости ткнул себя пальцем в грудь:

— Я и ишо замполит!

Ротный подошел ко мне:

— Садовая твоя голова! Стоило бы осколку попасть в снаряды и от тебя бы — пшик!

Тут я задумался. «Замполит-то замполит, в политике разбирается, а вот куда голову совать при бомбежке — не знает, как и я. За кем же держаться, все не обстреляны?»

Я поглядел в оспенное лицо Павла Тельнова и шепотом спросил:

— Ты в бомбежку где был?

— В старой воронке.

— А если бы бомба на тебя упала?

— Куда уже попадала, вряд ли может угадать, в Свердловске раненый рассказывал. Да я и сам размыслил. В одну точку из ружья не попасть, а с самолета и подавно.

— Двигаться будем колонной, — говорил командир, — с разрывом машина от машины сто метров. — Он взглянул в облачное небо: — Зорко следите за воздухом. В случае налета — врассыпную. Ни в коем случае не ныряйте под кузов. — Глазами отыскал меня: — Понял? По машинам!

Строй разлетелся.

— Пашка, я за тобой буду держаться! — на бегу кричал я Тельнову в затылок. — Ты ушлый! Не трус!

В кузове полуторки сели с ним спина к спине, и я через плечо говорил ему:

— Мы с тобой боронили, пахали вместе и теперь должны — не разлей вода! Вместе и умереть не так страшно...

Пашка был задумчив и нехотя слушал меня. Я напомнил ему, как мы с ним вместе с охотниками колхоза гнали табун жеребят и старых кобыл на покос, а он в ответ зло пробурчал:

— Выбрось дурь из головы!

— Не дурь! Ты тогда уже был отчаянным, а я тайги боялся...

Есть здорово хотелось, и невольно вспомнилась двойная уха, что мы с ним варили на Казербе, суп из сохатиного мяса, песни парней и девчонок, баловство на крыше зимовья...

— Воздух! — закричал вдруг Пашка.

Я настолько был углублен в прошлое, что не сразу понял, что за «воздух». Люди прыгали с машины, а мне казалось — с крыши зимовья, и, уже оглушенный звуком мотора и трескотней пулемета, я вывалился через борт кузова с мыслью: «Где Пашка?!» Тут второй самолет врезал из пулемета по колонне, и я сиганул от полуторки. Падая в сугроб, глазами отыскивал старые воронки, думая, что Пашка опять, как в Калуге, укрылся в них... И наткнулся на Петра Большешапова с окровавленной рукой.

— Петя! — бросился я к нему... и тут на пути — Пашка.

— Перевяжи! — крикнул он мне, стягивая полушубок. У меня екнуло сердце: «Рашило!» Я встал перед ним на колени, он был мертвенно бледен, но произнес спокойно:

— В подмышку угадило.

— По машинам! — раздался голос Королева. — Раненых — в Козельск!

— Прощай, Паша! Петя, прощай! — с подкатившим к горлу комком я полез в кузов своей полуторки.

— Куда?! Оглазел, что ли?! — орал на меня шофер. — Машина вышла из строя! Дуй на третью!

Побежал к третьей машине, сел. Тут был Леня Крамынин из нашего отделения. «Теперь за ним буду держаться, — в отчаянии думал я. — Он умный. Был бы дурак, комсомольским секретарем не избрали бы...»

Чем ближе передовая, тем хуже дороги. Машины буксовали в снегу, выходили из строя, и мы становились на лыжи, шли по проселочным дорогам. Противник, обнаружив передвижение частей нашей дивизии, бомбил и обстреливал большак из дальнобойных орудий. «Мессершмитты» сверху огнем давили пехоту. Вблизи Сухиничей зенитчики подбили «мессера» и взяли в плен летчика. Комиссар говорил нам:

— Немцы по шубам узнали, что идут сибиряки.

Наш командир Федор Ефимович Королев вел нас по заснеженной местности с помощью компаса — напрямик. Как говорится, «через леса, через поля»: мы то взбирались в гору, то катились с нее. И вот наш первый взвод полетел с откоса кубарем, повтыкался в сугроб. Проня Каймонов — удачнее всех. Надо было предупредить второй взвод, шедший за нами, и он оглашенно орал:

— Правее, правее!

Но было уже поздно. Однако никто из роты не свернул шею. Королев вывел роту на дорогу, по ней нескончаемым потоком шла пехота, и тут где-то трахнуло, провизжало, грохнуло в лесу.

— Ложись! Ложись! — заорали командиры, и опять будто бахнуло по барабану, и следом — визг, взрывы. Чтобы выйти из-под обстрела, пехотинцы и разведчики пустились кто куда, перемешались... Мы с Гошей Марченко потеряли своих. Кричать «разведчики, где вы?!» нельзя, это название воинской части, военная тайна, и мы, путаясь между солдатами, спрашивали:

— Вы не из Братска? Вы откуда? Ты, паря, откуда?

— Из Слюдянки я! — ответил один.

— Из Слюдянки?! Я тоже жил в Слюдянке! Ты случаем не знавал Гришу Ермакова? Такой длинношей, головастый, «якут» его называли.

— «Якут»?! — переспросил он и тут же побежал к дороге, я — за ним, Гошка Марченко следом. Пристроились в хвост колонны.

— Ты чо, паря, так зычно спросил «якут»? Видно, знавал его?

— Да! Его теперь называют товарищ замполит Григорий Иванович Ермаков. Он помощник комиссара роты.

— Во-о! — обрадовался я. — Как его найти?

— Тише, не ори! Он, видно, впереди идет. Кто ты ему?

— Друг детства, — прошептал я.

И этот солдат в черном полушубке сказал в затылок другому солдату:

— Ермакова в хвост строя!

— Ермакова в хвост строя! — передал тот дальше.

Тихий говор несся по колонне, я с радостью на душе вспоминал. «Черемша соленая! Черемша в пучках!» — наперебой кричали мы с Гришей Ермаковым на базаре в Слюдянке. У него шея была тонкая, длинная, а на ней большая круглая голова, лицо скуластое от худобы. Чумазые мальчишки-беспризорники прозвали его «якут». Налупят меня, говорят: «Пошли дубасить «якута». Мне бы подружиться с «якутом» и вместе давать отпор, но мы с ним соперничали. Я злился на него, когда он больше распродал черемши или орехов. Он за это же злился на меня. Время было голодное, мы с братишкой Мишей ходили в железнодорожную столовую собирать со столов недоедки, и он ходил туда же. Как-то пробрались в красноармейский летний лагерь, и «якут» тут как тут! Живо подставлял картуз под котелок с рассыпчатой гречневой кашей, окунал лицо в картуз, хватал ртом кашу, жадно глотал. Красноармейцы беззлобно тешились над ним, валили ему каши больше, чем мне и Мишке. И мы за жадность хотели проучить его, а он предложил:

— Я согласен собранные куски валить в одну кучу, потом делить поровну на троих. Каша сама собой, кто сколько успеет съесть.

Отец мой за булку хлеба ночами колол дрова для пекарни, а я складывал их в поленницу. Смотрю, «якут» расхаживает по территории как хозяин... «Ты что, выслеживаешь меня?» — начинаю разбираться, а он отвечает: «Дедушка отдыхает, а я за него присматриваю». Оказалось, что его дед, Яков Степанович, сторож пекарни. Так мы подружились с «якутом» — Гришей Ермаковым.

— Теперь, значит, «якут» ваш замполит? — переспросил я пехотинца.

— Разговоры! — предупредил идущий навстречу колонне человек.

— Кому Ермакова?

— «Якут»?! — окликнул я его. И к нему: — Ты жил в Слюдянке? Ты Гриша Ермаков? Ты продавал черемшу, орехи?

— Ну... Кто ты? — он схватил меня за борт полушубка, уставился мне в глаза, а я в его. Хоть и темно было, но по блеску глаз я определил, что они у него большие.

— Неужто ты, Гриша?

— Ну-ну! Гришка Ермаков! «Якут»! А ты кто?!

От нахлынувшего волнения я задохнулся:

— Боже!.. Опять свели дорожки! Я тот самый... с кем ты в Слюдянке куски собирал в столовой.

— Кешка?! У тебя братишка еще был?!

— Ага! Он умер! Дома в деревне, мы же уехали из Слюдянки.

— У меня тоже брат в Слюдянке умер. Восемнадцать лет ему было, старше меня. Работал грузчиком, надорвался, заболел и умер. Тяжелое время, брат, выпало на нашу с тобой долю! Голод, холод, война...

Напоминание о войне подавило во мне радость случайной встречи. Семь лет не виделись — было о чем вспомнить, поговорить, а язык перестал ворочаться. И у Григория, видимо, было такое же состояние — не до воспоминаний, и мы шли с ним замыкающими в строю пехоты молча. Шли долго. На Грише была портупея, полевая сумка. Я прервал тяжелое молчание:

— Ты все же выучился, а я нет — рядовой разведчик.

— А как ты с нами оказался? — спросил он.

— При обстреле мы с другом перемешались с пехотой. Ежели завтра не найдем своих... дезертирство припишут! — и у меня по спине пробежали холодные мурашки.

— Меня найдите, — сказал Гриша. — Первая рота первого батальона шестьсот пятьдесят шестого полка. Ни пуха ни пера тебе, друг! — и он, размахнув рукой, звучно шлепнул ладонью о мою ладонь.

— До свидания! — и побежал в голову колонны.

...Днем, как мы с Гошей Марченко ни метались туда-сюда, не нашли свою роту. Опять пристали к пехоте, отыскивали Ермакова, он привел нас в избу... По команде «смирно» стоим перед низкорослым, чернявым, по выправке похожим на деревенского мужика политруком роты Черночубом.

— Ничего страшного! — успокаивал он нас. — Вы идете на фронт, а не с фронта в тыл, — оглядел избу, — располагайтесь, отдыхайте.

На душе полегчало. Над головой — крыша. У русской печки на соломе вольготно лежали два маленьких ягненка, и мы с Гошей потеснили их. Гриша Ермаков устроился спать на лавке. Черночуб долго сидел за столом, словно прислушиваясь к чему-то или ожидая чего-то. Мне показалось, что я его где-то видел, этого приземистого, с черной головой человека. И вспомнил...

— Я вас знаю! Вы из Слюдянки! Машинист паровоза! Вы всегда в столовой не дохлебывали суп и не доедали кашу! И мы с братишкой Мишей подчищали ваши тарелки.

— Те парнишки выросли, а я, видно, не изменился, так и похож на паровозника, — сказал Черночуб. Посмотрел на Ермакова, на меня: — Значит, вы опять вместе голодаете? Ничего, все наладится, — и он уткнулся головой в стол, хотел подремать. Чертовски хотелось есть, и я окликнул Ермакова:

— Гриша, ты не спишь? Вот сейчас бы нам ту гречневую кашу, что у красноармейцев в лагере ели...

— Я и теперь не постеснялся бы своих бойцов, подставил бы шапку под ту кашу. Спи, не трави душу! Не дай бог, и завтра наши тылы не подойдут.

От пустоты в животе, от волнения, что мы потеряли свою роту, я никак не мог заснуть... А тут еще хозяйка вздумала дрова колоть, носить их в избу, со скрипом и стуком захлопывая дверь. Наконец дошло до нее, что мешает нам спать. Она притихла на минутку где-то недалеко от нас, а потом, шаркая о пол ногами, вышла из избы, не прикрыв путем дверь, и я спрятал от холода голову под шубу.

...Тылы полка так и не подошли. То ли их разбомбили, то ли они сбились с маршрута. Пехота голодной пришла на передовую.

* * *

Ночь, нигде ни одного выстрела. Мы с Гошей Марченко, словно телохранители политрука Черночуба и Гриши Ермакова, не отставали от них.

Командир роты, красивый на загляденье лейтенант Руденко говорил командирам взводов, светя на карту фонариком:

— Смотрите сюда. Вот речка, за ней — немцы. Нам приказано занять оборону вдоль деревни, она в одну длинную улицу. Ориентиры — русские печи с уцелевшими трубами. Рассредотачивайтесь повзводно, тихо, без стука, крика. Тебе, Гриша, — сказал Ермакову, — взять кого-нибудь из ребят, удалиться от роты метров на пятьдесят и осторожно патрулировать вдоль фронта. Все будут заняты работой, не услышат, как и немцы подойдут.

Ермаков взял себе в напарники толстяка Кувырзина, и они пошли. Мы с Гошкой Марченко потянулись за ними.

На востоке обелялось небо. Ходим по краешку нейтральной полосы. Тишина кругом. Не похоже, что где-то недалеко противник. Наша пехота расползлась — никого

не видно и ничего не слышно. Вдруг Ермаков резко махнул рукой, упал, бухнулись рядом с ним и мы.

— Смотрите, кто-то ползет!

Смотрю в сторону немцев, там полосой тянется кустарник. Догадываюсь, что это речка, а больше ничего не могу рассмотреть.

— Где ползет? — спрашиваю, и тут же замечаю на белом снегу что-то черное, шевелящееся.

— Может, разведчик — наш или немецкий? — предположил Гриша. — Стрелять, окликать нельзя, себя выдадим. Надо командира спросить! — и он побежал в сторону деревни.

Тем временем «разведчик», приближаясь, становился все больше. Взял его на мушку. Рядом со мной замер Гошка. Кувырзин весь дрожал: то ли от холода, то ли этот ползущий нагонял на него страх. И он вдруг выстрелил, завился вьюном, мыча... будто сам себя ранил.

«Разведчик» лежал неподвижно.

— Убил! — решил Гошка. — Кто он? А ты убил!

Прибежал Ермаков и командир роты Руденко. Кувырзин вскочил:

— Не я, палец сам нажал. Я нечаянно!

Руденко рукой отстранил его. Подошел к убитому, наклонился, ощупал рукой, вынул из кармана документы... Убитый оказался в русской шинельке, надетой на телогрейку. По одежде он был не нашей дивизии. Кто он, почему со стороны немцев полз, было непонятно. Кувырзин тихо выл, причитая:

— Расстреляют... Я смерть предчувствую, — и словно накаркал. Его выстрел привлёк внимание немцев. Послышались хлопки и визг мин, похожий на пороссячий.

— Ложись! — крикнул Руденко. И тут с треском заплесали на снегу взрывы. — За мной, в укрытие!

Побежали за командиром роты к деревне.

Над головой грохотало, визжало, взрывы бросали нас на землю. Жьёх, жью-юх! — врезалось в землю что-то тяжелое. Взрывной волной нас подхватило, поволокло вперед. И вдруг Руденко как в землю провалился. «В подполье нырнул», — догадался я и тут же увидел пасть погреба.

— Помогите! — раздался позади меня голос Гриши Ермакова. Он волочил вниз массивного человека в полушубке.

— Кувырзин?!

— Да!.. шага три... не добежал, — задыхающимся голосом ответил Ермаков.

Кувырзина положили на спину. Лицо его, испорченное оспой, было безжизненным. Из головы струилась кровь. Тело еще конвульсивно вздрагивало. Руденко снял со своей черноволосой головы шапку...

По приказу командира мы вынесли с нейтральной полосы труп в русской шинели. Хотели похоронить в одну могилу с телом Кувырзина, но Руденко пробурчал:

— Не надо вместе. Драться будут. Присыпьте его снегом. Попытаемся найти его часть, пусть опознают.

Взглянув на нас с Гошкой Марченко, добавил:

— Рота ваша должна где-то тут недалеко быть. Ищите, а то так же вот, — кивнул головой на убитого, — кто-нибудь прихлопнет вас, будете значиться без вести пропавшими или как дезертиры. — И написал записку на имя командира разведроты Королева с подписью: командир 1-й роты 1-го батальона 656-го с.п. лейтенант Руденко.

Нашли мы свою роту. Пять дней голодаем. Шесть ложек сухарных крошек лишь тем, кто шел в разведку. Днем и ночью — бомбежка и обстрел. Лежа на дне тесной землянки, мы вздрагивали от толчков земли. Гриша Доброхотов вдруг схватил топор и выскочил на улицу.

— Куда? Наряд вне очереди! — только и успел крикнуть командир отделения Прокопий Каймонов. И вынырнул из землянки: — Федька, куда убежал Гришка?

Голос Федьки Черных едва был слышен, и мы ничего не поняли.

— Ты чо, путем ответить не можешь? — командир сел в проходе. — Видали? Три дня каптерочником, а уже заелся!

— Чо там ись-то, мешки пусты! — заступился за Федьку Михаил Московских.

Бомбежка прекратилась, скоро вернулся Доброхотов.

— Куда носился? Почему без спроса! — накинулся на него Каймонов.

— Тише ты! Думал, немцы будут конный парк бомбить, а они — пушки. Только из пулеметов стрельнули по коням и улетели. Ни одной клячи не убило, — он втянул в землянку тяжелый вещмешок.

— Украл, чо ли?

— Убил!

— Кого, где?

— Убил! Впервой убил! Черт возьми, на что только не пойдешь с голодухи, — рукавом шубы Гришка смахнул капельки пота со лба. — Даже жарко стало!

— Да говори ты! — не понимали мы.

Гришка воровато взглянул на выход землянки, пригнулся к нам:

— Слышу, потрескивает в ельнике! Ну, я подкрался и с ходу — бух в лоб!

— Кого в лоб?!

— Кобылу, кого! Хоть исхудал, но одним махом убил. Она, бедняга, не хуже нас изголодала. Кору на елке грызла.

— Ну, балда! Я думал, ты человека убил, — облегченно произнес Прокопий Каймонов. И тут же распорядился: — Дрова, воду, ребята! Варить!

— Кострить-то нельзя!

— Мы за дорогой, в степи! Кто-то один пусть варит на весь наш взвод. Да ты и вари, Гриша!

— Нет! — вмешался Крамынин. — Иди к старшине, покажи, где остальное мясо, пускай заберет, кормит роту.

— Нет там мяса, — сообщил повеселевший Доброхотов. — Солдаты из химроты забрали...

Как немного нам надо было! За пять суток впервые наелись досыта, и гармонь принесли в землянку. Иван Хромовских пел, а мы будто впервой слышали частушки — хохотали, наперебой подпевали...

Утром зашел к нам в землянку комиссар Колесников. Присел в выходе:

— Ох, как темно! Душно! Объелись, что ли?

— Это Мишка «подвез»! — пошутил Доброхотов.

— Вот ты, товарищ боец, вчера громче всех хохотал! Голос твой и посейчас звенит у меня в ушах. Какое у вас сегодня настроение?

— Как вчера с обеда, — ответил Каймонов.

— Ну и отлично! Кто в вашем отделении самый сильный?

— Гришка! Он одним ударом — кобылу! — ответил Московских.

— Понятно, — сказал Колесников. — Вот в чем дело, ребята. Сегодня мы должны идти на боевое задание, взять «языка», надо подобрать отчаянного бойца для захвата. — Кивнул головой на Доброхотова: — Как ты, первым ворвешься в немецкую траншею?

— Наперво бы в поддерживающей группе сходить, — ответил Доброхотов, — узнать, что почем.

— Кому-то надо, все еще новички в этом сложном деле...

— Ну я так я! — согласился Гриша.

— Вот и молодец! Чувствуется, что не из робкого десятка. Приводите себя в боевой порядок, скоро выход, — и ушел.

Вечером бывший учитель, помкомвзвода Павлов хаживал вдоль строя и, потрясая противотанковой гранатой, рассуждал:

— Кому же вручить?.. Кто у нас сможет быть главным бомбардиром? — и вручил мне. Я хоть и был таким же воякой, как все мои земляки, но гранату РГД бросал далеко и метко, а эту вот «колотушку» взял впервой. По неопытности подвесил ее на запальный хомутик. Теперь от одного воспоминания становится жутко. Предохранительные усики могли на ходу в любую секунду выдернуться, и меня бы разнесло в клочья.

Из расположения роты вышли мы на лесную плешину. Помкомвзвода двигался впереди солдатской цепи, но вдруг отступил в сугроб и давай оглядывать нас. Ну и увидел, как у меня на ремне граната висит... Как заорет:

— Взвод, разбегайся!

Я тоже рванул, а он кричит мне:

— Ложись!

Бухнулся, смотрю — ребята в разные стороны бегут. Вскочил, да как хватану за ефрейтором, чтобы спросить, в чем дело: я — ложись, а они — беги?! А ефрейтор Саша Сидоров оглянулся и еще сильнее припустил от меня.

— Ложись! Ложись! — слышу рев Павлова. Подчиняюсь и снова падаю.

— Снять ремень!

Вот, думаю, нашел время, когда учения проводить.

— Ко мне! — кричит.

«К тебе так к тебе», — думаю. Но ремень не оставишь в снегу, на нем снаряжение, хватать — и к нему. Он попятился:

— Стой! Стой! Брось ремень! Ко мне! Граната взорвется!

Эх, как я шмыганул! Мимо Павлова пробежал... И когда уже правильно была подвешена граната, ребята все равно смотрели на меня как на «взрывчатку». И хохотали! Будто им смешно было! А драпали так, что на хорошем рысаке не догнать.

...После смеха и ругани пришли к ровикам нашей пехоты. Не дожидаясь темноты, выползаем на нейтральную полосу. Ползем неумело, без всякой осторожности. Не очень-то следим за Доброхотовым и Решетниковым, быстро оторвавшихся от нашей поддерживающей группы. Не сразу дошло до сознания и то, что впереди оказалось вдруг не два, а четыре человека. Позади застрочил «максим», впереди — немецкий пулемет. Градом полетели в лоб трассирующие пули. Вдруг я услышал надрывный крик:

— Немцы Гришу схватили!

Не могу различить, в кого стрелять. Те и другие в маскхалатах. Двое — один за другим — бегут в нашу сторону, двое барахтаются. Палю в белый свет, как в копейку. Из тех, что бежали, задний упал. Помкомвзвода преградил путь переднему:

— Куда! Назад! За мной! — бросился вперед, но взмахнул руками, выронил автомат и рухнул. Взводом бьем из винтовок туда, где в снегу переваливались два человека. Один вскочил, бросился к нам. Я узнал приземистую фигуру Гриши Доброхотова. Ефрейтор, за которым я час назад гонялся с противотанковой гранатой, привстал:

— Взвод, слушай мою команду: назад, отползай! Быстро! Назад!

Так закончилась наша первая вылазка за «языком». Едва сами не оказались добычей немцев. В расположение роты вернулись с двумя убитыми и двумя ранеными.

Лежа в землянке, осмысливали роковой исход:

— Пошто водку на пусты кишки дают? — начал Хромовских.

— Наркомовский паек, — сказал Леня Крамынин. — Была бы каша, кашей накормили.

— Хорошо, что Гришка сильный, руками задавил фрица! А ты с пьяных глаз в него стрелял.

— У меня в голове ходуном ходило, — виновато глядя в поцарапанное лицо Гриши Доброхотова, оправдывался Иван Хромовских. — Не мог понять, ну и по нечаянности...

— М-м-да! Очухаться не могу, — говорил Доброхотов. — В глазах, гад, стоит. Как хватану я его в охапку, да как жиману — переломил ему спину, и коленом... кы-ык садану в брюхо, передал глотку — и тягу.

— Здорово ты его! — заметил Хромовских.

— Давай на тебе покажу, чтоб ты боле не стрелял по своим.

— Тревога! Тревога! — как с перепугу, закричал кто-то наверху.

Пулей вылетели мы из землянки, побежали к лесной проталине, пристроились к командиру роты. Он, как и мы, солдаты, от голодухи бледнолицый, чем-то взволнован.

Без команды «равняйся» и «смирно» повернул строй налево и повел в сторону заснеженного пустыря. Там, подле уродливой березы стояли трое...

Поравнявшись с ними, командир остановил роту. Смотрю на Решетникова. Его осунувшееся, изнуренное лицо заплакано. Тревожно топчась в снегу, он стискивал заскорузлые пальцы до треска. Поясного ремня на нем не было. Младший лейтенант особого отдела дивизии Яков Дубовихин с автоматом на высокой груди неторопливо вынимал из планшета лист бумаги.

Еще не представляя, что сейчас произойдет, я оторопело глядел на Решетникова, вдруг оказавшегося спиной к строю, и слышал голос Дубовихина, последние слова которого запомнились мне на всю жизнь: «Вследствие паникерства Решетникова был схвачен врагом его напарник Доброхотов... Погибли коммунист Павлов, комсомолец Макаров... Сорван поиск... На основании вышеизложенного Решетникова приговорить к расстрелу. Приговор привести в исполнение», — и тут же из автомата простроил спину Решетникова.

— Мы-мы-ы! — в испуге промычал я, хватаясь за руку Крамынина.

Дубовихин резко обернулся:

— За паникерство — смерть! — ожег взглядом. — Смерть!

Командир повел нас в расположение роты. Ноги подсекались, не слушались, строй растянулся. Забравшись в землянку, мы пролежали до позднего вечера молча. Хотелось есть, а есть было нечего, и мы жевали серу. Небо с утра было покрыто тучами, можно бы и печурку растопить, но ни у кого не поднимались руки. И не затопили бы на ночь, если бы не зашел к нам комиссар.

— Морозище, морозище-то! Вы что, почему не топите? А чавканье-то какое! Что вы жуете?

— Вчера серу наколупали, — ответил Каймонов. — Попробуйте! — он вынул из-под козырька шапки жвачку. — Она ишо нова, я мало жевал.

— Да нет!.. Грустите? — тихо спросил комиссар. Облокотившись о колени, положил голову на ладони. — Мать, отец есть у Макарова?

— У Макарова есть, у Решетникова — не знаю, — ответил Каймонов.

— Надо отомстить фашистам за смерть земляка!

— Чем отомстить-то? Винтовкой? — вступил в разговор Крамынин. — Мы вчера взводом, наверное, и сотни патронов не выстрелили, а немцы в нас — тысячи. У них автоматы. Если б не пехота, лежали бы все там. Подсумки тряпочные — как расстегнул, так патроны посыпались.

— У меня тоже, — подтвердил я. — Один автомат в роте! Ползешь с этой длиннущей, во что-нибудь уткнешься штыком. Острога — на Ангаре рыбу колоть.

— Высказывайтесь все, не стесняйтесь, слушаю вас.

Мы все глядели на Крамынина, хотели, чтобы он говорил. Он был рассудительным и смелым, не робел перед командирами, но и он умолк.

— Жалко Решетникова, — почти шепотом проговорил Доброхотов. — Можно бы в тюрьму посадить, не расстреливать.

— Хорошенькое дело! Ты войой, а паникер будет сидеть, ждать, когда война кончится? Неплохое наказание...

— Какой он паникер! Мог и другой сдрейфить! Немцы — как из-под земли, и давай хватать нас, он и испугался.

— Если бы ты в беде бросил товарища, сорвал поиск, тебя бы расстреляли! Но ты же не побежал. Думаете, мне не жалко его как человека? Молодой, необстрелянный, но... — комиссар упорно гнул свою линию.

— Почему у нас со жратвой так плохо?

Комиссар немного помедлил, словно собираясь с мыслями:

— Да, положение у нас не из легких, — заговорил он. — Немцы разбомбили эшелон с продовольствием, конечная железнодорожная станция далеко. Шоссейные и проселочные дороги заносятся снегом. На машинах не проехать. На лошадях — медленно. К тому же самолеты противника день и ночь патрулируют дороги, бомбят.

— Так-то оно так, — вроде согласился Крамынин. — Эшелон разбомбили... Вдребезги разлетелись сухари, а водка — нет! — Леня усталился на комиссара, глядевшего на него. — Загадка!.. Не вредительство ли тут! Голодных напоить — и в разведку. И вот он, исход. Смерть, расстрел! — он нервно заерзал на пихтовом настиле.

— Мгновение — и человека нет! Мне лично понятно, почему так быстро разделались с Решетниковым. Расстрел — бич по трусости, — Леня окинул взглядом нас, сидевших плотно у торцевой стены землянки. — Теперь мы все сразу, без словесной морали поняли, что такое война. Убивают и расстреливают. Почему наших самолетов нет? И где те танки, что в кино самураев давили гусеницами?

— Защита Москвы, разгром немцев нам нелегко дались, — со вздохом произнес комиссар. — Много полегло людей, погорело самолетов, танков, много разбито пушек, минометов. И где все это так быстро взять? Давайте вместе поразмыслим о положении дел в стране. Большая часть оккупирована врагом. Где хлеб, заводы? — Иван Максимович сел поудобнее. — Те заводы, что вблизи передовой, надо быстро демонтировать, перевезти на Урал, в Сибирь. Нужны люди, транспорт. Потом смонтировать, пустить в ход. А это не так просто. Кроме эвакуаций заводов нужно перевезти войска, технику, боеприпасы, продовольствие, эвакуировать беженцев, оставшихся без крова, без крошки хлеба! Много всяких других бед. Большая нехватка кадровых офицеров в дивизии, нашей роте. Командиры — учителя, председатели колхозов. Вы — вчерашние пахари, не обучены ремеслу разведчика. Некогда было учить. Немцы засели на укрепленном рубеже, высотах, а нам выбить их нечем. Кони на ходу подошли, снаряды не на чем подвезти, артиллерия бездействует. Сегодня вашему взводу предстоит идти на железнодорожную станцию Борятинск за снарядами. Вот такие дела, братцы-сибиряки. Не падайте духом! Все наладится! А вот почему водка не разлетелась вдребезги, как сухари?! Не знаю, как она уцелела... — развел руками комиссар. — До свидания, — и он вылез из землянки.

...Идем ночь, захватываем утро, получаем по два 76-миллиметровых снаряда, связываем их обмотками, переваливаем через плечо, торопимся в лес — в нем уже тут и там в кустах расположились гаубичники, пушкари. Одни вповалку лежат, другие кружком сидят. Возле них валяются разного калибра снаряды.

До вечера мы отсыпаемся, а ночью снова отправляемся в путь за боеприпасами. И если кто из соседних дивизий со стороны видел солдатскую вереницу, думал, что в 116-ю идет пополнение, а на другую ночь подумали бы, что 116-я уходит на отдых. Так мы несколько дней ходили то на станцию Борятинск, то на передовую линию фронта.

В аховом положении находилась в те дни наша дивизия...

Конец апреля 1942 года. Слякотная погода. У каждой землянки пылали костры. Вокруг них толпились разведчики: сушили портянки, валенки, шубы — всей ротой

готовились на боевое задание. Проня Каймонов раздал дополнительно еще по одной гранате РГД, себе взял противотанковую.

Старшина выдал на пять штук урючин больше, чем было раньше.

— О-о, наладилось с продовольствием?! — бросил в шутку Каймонов.

— Завтра высчитаю, — пробурчал наш «кормилец» и, сутулясь, пошел к другому костру.

После ужина из шалаша вышли командир, комиссар роты и командиры взводов — все в полушубках. Последовали одна за другой команды:

— Потушить костры!.. Рота, ста-анови-ись! Ра-авняйсь... Смирно! — Задание командира дивизии: взять «языка» и село Фомино, и там закрепиться, — Королев прошел вдоль строя, вернулся на прежнее место. — Кое-кто из разведчиков из-за простудной болезни не бывал на передовой, не знает, где находится село Фомино... Слушайте внимательно! Фомино сгорело, одни печные трубы торчат. Ночью при вспышке ракет трубы будут видны. Чуть дальше — высота 169, а там — Варшавское шоссе. Правее от Фомино — километра два, три — Заячья гора, высота 179. Днем немцы с этих высот видят, что делается у нас. Наша пехота только вынырнет из ровиков, как они тут же грохнут из пушек! Снайперы выбивают командиров. Ночью они стреляют вслепую — для страховки. Сегодня погода для нас что надо, ветер со снегом, — командир замолчал, отшагнул от строя роты назад, а комиссар Колесников шагнул к строю.

— Кто болен, кого чирьи мучают, без стеснения — два шага вперед марш! — и Колесников, давая дорогу больным, отступил к Королеву. Строй зашатался, чирьи были у многих, но никто не вышел, и только кто-то на левом фланге неестественно кашлянул.

— У кого кашель? — спросил Колесников. — Кашлем можно выдать роту противнику. — Выйти из строя!

Вышел самый щуплый в роте Коля Токарев.

— Хы! — усмехнулся в затылок мне земляк Митя Распутин. — Толку-то из него!

Токарев сам из себя сделал доходягу. Его буквально заедали вши, но он никогда не снимал нательную рубаху, чтобы обиходить себя. Не умывался, глаза у него были словно трахомные, красные, лицо чумазое.

Комиссар оглядел такого «бойца» с ног до головы:

— За ночь прокашляться, утром как следует умыться, а как мы вернемся, ко мне подойдешь...

Идем, меся грязь. Ветер с дождем и снегом пронзительно свистел и хлестал в лицо. Шубы раскисли, намокшая одежда холодила тело от шеи до пяток; в валенках зачавкала вода, они становились тяжелее. Спотыкаясь и падая, поднимали друг друга, ругались, проклиная непогоду...

На передовой ракеты раздвигали ночную темноту, трассирующие пули осыпали черную пашню. Рота развернутым фронтом пошла вперед.

Впереди грохнули орудия, прошуршали в вышине снаряды.

— Ложи-ись! — передали по цепи команду Королева. — По-пластунски... вперед!

Опускаюсь на колени, вязну в слякоти, валюсь на левый бок, подаюсь вперед, бросаю взгляд вправо на Распутина, влево на Доброхотова, чтобы не отстать от них.

— Встать, вперед!

Едва встал, одеревеневшие ноги не слушались. Покачиваясь с боку на бок, с трудом сделал шаг, другой, увидел, как Распутин упал. «Видно, тоже идти не может», — подумал я и хотел было двинуть к нему на помощь, но он поднялся. Доброхотов шел чуть впереди нас.

Ротой идем и идем, теперь при свете ракет видны печные трубы сгоревшего села. Траншеи противника скрадывались сплошной чернотой поля и обозначались лишь при стрельбе пулеметов и взлете ракет. «Метров сто до них, — мысленно определил я, — лишь бы не заметили... не заметили, хотя бы уснули!»

Но заметили... За селом раздались звуки, похожие на выхлопы автомашин, и тут же завизжали мины. Вскрикнули сразу несколько раненых. Немцы застрочили из пулеметов. Разорвался снаряд, воздушной волной меня опрокинуло навзничь, оглушило, но я тут же вскочил, никого не видя и не понимая, куда вдруг все делось. Чья-то сильная рука цапнула меня за плечо, повернула, толкнула, и я опять увидел мелькающие силуэты.

Вскочил я спиной к фронту, потому и не увидел никого. Перед глазами, как наяву, расстрел Решетникова. Страх, что сочтут за труса, бросил вперед, а ноги предательски не слушались, подсекались. Схвативший меня был уже впереди, и я узнал комиссара Колесникова.

Немцы светили ракетами, били из пулеметов. Сверкающие трассирующие пули со свистом летели густо, казалось, что вот-вот отхлестнет уши или раздробит голову. Вскрики раненых множились... Королев очутился рядом с Колесниковым, они бежали к траншеям противника, падали, вскакивали, бежали вперед и вдруг разом упали.

— Ложись! — услышал я голос Королева. — Назад!

Я крутнулся волчком. Кидаю взгляды влево, вправо — Гриша Доброхотов и Митя Распутин на четвереньках, подставляя зады под град свистящих пуль, отползают...

Под минометным, пулеметно-ружейным огнем мы волокли за собой раненых. И уже где-то перед рассветом едва-едва приплелись в расположение роты.

В землянке холодно. Валенки не стянуть с ног. Мы выглядели так, будто нас только что выволокли из грязи. Чертовски хотелось есть, а кухня не топилась. Старшина с шапкой в руках ходил от землянки к землянке, раздавая на завтрак сухой урюк по десять штук.

— Почему не пятнадцать, как вчера? — подставляя ладони, спросил Каймонов.

— Задание не выполнили, людей потеряли! — зло ответил старшина.

Из леса вылетел коротыш каптенармус.

— Арестовали! Увели! — панически кричал он, махая руками. — Туда обоих — командира и комиссара! Вон они! Ишо видно!

Впереди Королева и Колесникова шел рослый особист Яков Дубовихин. Позади следовали два конвоира. Они подходили к той уродливой березе, возле которой был расстрелян ефрейтор Решетников.

Рота оторопела. Но они миновали березу.

— Куда, куда это их?!

— Судить! — отозвался каптенармус.

Его вмиг окружили, а он с испугом в округлившись глазах, вертясь, рассказывал:

— Значится, так. Я проснулся, как они в шалаш вошли. Королев и говорит Колесникову: «Иван Максимович, докладывать надо. Что говорить — почему приказ не выполнили, роту с передовой сняли? Докладывай как комиссар». А тот ему: «Нет, Федя, ты командир, докладывай. Причина одна — не смогли, не хотели понапрасну людей губить. Звони». Заговорил Королев по телефону, и тут я слышу ругань в трубке, потом запищало. Они жалобно посмотрели друг на друга. Я подбросил дров в печурку. Королев опять к Колесникову: «Осудят!» А тот ему: «Мы же с тобой еще на передовой о том говорили, что же — ответим». Не успели они и портянки подсушить, как особый отдел...

Батальон пехотинцев не раз пытался вышибить немцев из траншей, овладеть селом, но не мог. И почему вдруг вздумалось командиру дивизии Самсонову бросить на штурм разведроту?..

Командир и комиссар понимали, что рота не в силах без поддержки артиллерии занять село. Можно было уложить бойцов, самим умереть, а успеха не достичь. И они из-за нас, солдат, рискнули, увеличи роту из-под огня...

...Снабжение продовольствием не улучшалось. Старшина по-прежнему вечерами ходил с шапкой в руках и раздавал урюк, и мы прозвали его «нищим», а он злился:

— И урюка не будет!

Тридцать автомашин уходило в Калугу, а вернулось только восемь! Остальные увязли в грязи, потонули в речках. Тракторов в дивизии нет. Да и на них не проедешь. Речушки, озера, болота везде разлились, все затопило. На промысел за едой ходить было некуда. В сожженных селах мы все подполья перерыли. Перетаскали с конного парка конскую кожу, пережарили на кострах и съели за милые шашлыки.

Мы с Доброхотовым пошли к артиллеристам, там у меня земляк Вася Власов. В роше пахло мясом. В каждом пихтовом балагане солдаты варили конину.

— Вас хорошо кормят, ты жирный, — позавидовал я Васе. — У тебя не лицо — будка. Он расквасил губы, как ребенок:

— Не-е, я от голодухи опух. Только сегодня повезло, хромую кобылу забили.

— Кожу, лытки никто ишо не утащил? — живо заинтересовался я.

— Не-е, там была, — махнул рукой в сторону Вася.

И нам с Гришкой повезло. Очищая кишки, мы нашли в них селезенку и большой кусок шеины. Наверное, убойщики для себя припрятали, чтобы потом взять, а мы их опередили...

У нашей землянки закипела работа: одни пороли кишки, рубили на кусочки шеину, другие готовили дрова, разводили костер.

И вот наше варево забурлило в ведре и котелке...

На ужин к нам пришел каптенармус Федька Черных и сразу поддел кусок мяса.

— Стряхни! — прикрикнул на него Каймонов. — Выхлебаем жижу, начнем мясо.

Тот вроде хотел стряхнуть и — раз! — сунул кусок в рот. Не прожевав, опять потянул из ведра мясо. Пронька своей ложкой выбил черныховскую.

Каптенармус вскочил. Вертя головой, стал отыскивать глазами бог знает куда улетевшую ложку.

— Ешьте быстрее, пока он ищет!

— Второпях смак не тот, — смеясь над Федькой, говорили мы.

Ведро освободили мигом.

— Кишки, может, на завтра оставим? — спросил кто-то.

— Да ну! Какая разница, в брюхе или котелке, — возразил Доброхотов.

Принялись за кишки — съели. Попили чаю, забрались в землянку и развалились на ельниковой подстилке. Я не мог заснуть. Бурлило в животе. Доброхотов тоже ворочался.

— Ты чо, паря, не спишь? — спрашиваю его.

— Однако объелся, — промычал он.

Заговорил Хромовских:

— Кишки я через силу ел, — признался он. Проснулись Каймонов и Крамынин.

Всю ночь мы не спали, сначала по одному ходили до ветра, потом друг за другом пулей выскакивали из землянки.

Утром командир взвода кричал на нас:

— Вы не разведчики! Вы утки! Все расположение загадили! Убрать!

— Нам бы порошка от брюха, заварку чая погуще, — просили мы.

— Марш в санчасть!

Приходим в село Кирсанова Пятница — в палатах шум, гам.

— Где больных принимают? — спрашиваю.

— В операционно-перевязочном пункте, — ответила медсестра, указав на избу.

Возле нее много раненых. Хромые, прильнув к стене, дремали. Ходячие топтались в грязи. Тяжелораненые лежали на носилках. Только перед утром всем отделением ввалились мы в перевязочную. В ней теснота, сестрички в белых халатах одних раздевали, других перевязывали, за простынной занавеской делали операции.

— Мы объелись! — сообщил Каймонов.

— Где это так кормят? — поинтересовался кто-то.

— В разведроте! От конских кишок запоносили. Командир «пришил» нам дизентерию.

— Этого еще не хватало!

— В том-то и дело! — согласился Каймонов. — Вам и так невпродых. Дайте справку — и мы уйдем.

— Нет, нет!.. — возразили медики. И нас поселили в сарай, что был за огородами. Дали каждому по жестяной банке из-под консервов: «Завтра заберем банки, отправим на анализ...» Но животы у нас уже были пустые, и мы ничего не могли выдавить для анализа. Но нас все равно не выпускали и не разрешали ходить по селу.

Ночью мы зарывались в солому, спали. Днем на крыше сарая сушили на солнце портянки, снимали нательные рубахи, били вшей, загорали. Заметив в небе самолеты противника, орали на всю Кирсанову Пятницу:

— Во-оздух! Расходи-ись!

Гражданские шарахались, бежали в разные стороны, раненые только озирались. С крыши мы видели все, что происходило вокруг. По потоку раненых понимали, что бои идут кровопролитные. Удивлялись работе хирургов, медсестер — через их руки проходили сотни искалеченных бойцов. С верхотуры мы видели взвод санитаров с вещмешками на плечах. Они куда-то далеко ходили за едой. И когда появлялись на улице, то определяли, кто из них нес вещмешок с сухарями, кто с урюком. Всем выдавали по сухарику на день. Нам второй день — ничего. Медсестра пояснила: «Вы еще не состоите на довольствии, вас рота должна кормить».

И лишь на третий день к нам на крышу забрался распотевший, с исхудалым, обветренным лицом Гоша Марченко. В одних кальсонах, мы с радостью окружили его, одетого в полушубок и ватные брюки, сплошь залепленные грязью, подставили шапки под сухой урюк.

— Чему так веселы? — спросил он. — Большая беда в роте. Командира и комиссара приговорили к расстрелу.

Мы ахнули... остолбенели. Вспомнили ту злополучную ночь, Королева, Колесникова, как они, жалея нас, уводили с поля боя...

— Ишо не расстреляли, — продолжал Марченко. — В яме сидят, — развязал вещмешок и вмиг разбросал нам трехдневный паек. Получилось по девять урючин на день. — Десятую я за дорогу съел, — признался Гоша.

— Ах ты обжора! Кусошник! Вор! — понесли мы на него. — В грязи утопим!

— Без вас утону... с урюком... Вы тут с голодухи подохнете! — засобирился уходить: — Думал, получите по двадцать семь, рады будете, я и подкрепился. На «допе» старшина получают урюк на роту, ташит его мне. — Он спрыгнул с сарая и, ссутулясь, пошагал. Судя по усталому голосу, истощенному виду, можно было представить его с мешком урюка на горбушке — упади он в грязь, пожалуй, не поднялся бы.

Тягловые лошади выбивались из сил, на ходу валились и тут же дохли. Дивизия осталась почти без лошадей. Конский труд переваливался на плечи солдат. Все носили на себе. На оставшихся лошаденках вывозили раненых из санбата в полевой госпиталь. Из двенадцати пароконных фургонов состоял обоз. За эти дни мы видели его уже третий раз. Обоз остановился у палаток. «Сейчас начнется погрузка», — подумал я. Чертовски хотелось встретить кого-нибудь из земляков, и я, чтобы не попасть на глаза медсестре, навешавшей нас, делаю через огороды крюк, прошмыгиваю в палату, кричу:

— Ребята, кто из Братска?!

Никто не отозвался. Выхожу, пробираюсь в другую палату.

— Кешка! — ударил в уши голос Гриши Ермакова. — Иди сюда!

Раненые лежали валетом, едва не впритык один к другому, и узенький проход вдоль палатки походил на тропинку. Осторожно пробираюсь к растянувшемуся на соломенной подстилке другу детства, присаживаюсь к нему. Глаза у него все такие же большие, яркие. Шея длинная, только совсем стала тонкой, и круглая голова далеко держалась от узких плеч. Нога в гипсе.

— Навоевался? — говорю.

— Да-а!.. — с досадой ответил друг.

— Продвинулись хоть немножко?

— Да ну продвинулись!.. Они нас бомбами, снарядами долбили. А у нас ни самолетов, ни снарядов. Винтовка да сибирский характер, зло, дружное «ура», и так — все дни.

С передовой донеслась пулеметная трескотня, взрывы, приглушенные расстоянием.

— Опять атака! — с тяжелым вздохом сказал Гриша, болезненно сморщился. — Для меня она была вчера последней. Сам комполка водил нас на штурм, с задачей прорваться к Варшавскому шоссе. Раннее утро — холодно, — продолжал он рассказ. — Перед нами речушка с плывущим льдом. Небольшое замешательство солдат и голос командира Руденко: «За мной, вперед!» — и сам побрел. — Гриша содрогнулся. — Глубина выше пояса. Перебрались на правый берег. Немцы молчат. Мы торопимся, шлепаем по грязи! Скорей, скорей, пока немец не видит! Скорей, пока наша артиллерия стреляет! Идем полком, цепь длинная! Оказалось, они подпускали нас ближе и разом... как грохнули! Как началось! — Он сжал ладонями голову. — Все утонуло в взрывах! В шагах пяти от меня Руденко бросился бегом вперед, машет наганом, а что кричит — не слышно. Понимаю, хочет стремительным рывком вывести роту из-под обстрела, и вдруг остановился, скорчился, наган из рук выпал, ткнулся лицом в грязь... Рота по инерции продолжала бежать. Тут передо мной распластались два брата Константиновых, я остановился. Один с трудом говорит мне: «Напиши... город Иркутск... улица Коминтерна...» — и все. Номер дома уже не смог сказать. Минуту я не простоял над Константиновым, а рота была почти уже у траншеи противника. И тут «мессера» один за другим давай утюжить, прижали нас к земле. Многих ранило, побило, в том числе командиров, меня ранило в ногу. Один помкомвзвода Кудрявцев метался от одного солдата к другому, пытаюсь их поднять... Бросался в сторону немцев, возвращался, потом приставил наган к виску и застрелился... Он у меня в глазах стоит: коренастый, белобрысый, в очках. Видно, от физической, психологической нагрузки, от бессилия, что не мог поднять солдат и повести за собой, вцепиться немцам в глотку — не получилось сорвать зло, и он не выдержал. Немцы продолжали долбить нас, одни сплошные взрывы. И так — до темноты. Много погибло людей...

В палату вошел военный врач с одной шпалой в петлицах. Медсестра подала ему журнал. Перелистывая его, он взглядывал на раненых. За брезентом палаты чавкала грязь, ездовые понукали лошадей, скрипели колеса.

Началась погрузка раненых, и мы с Гришей распрощались.

Полковника Самсонова отстранили от командования дивизией, а дивизию сняли с боевых позиций. Наша разведрота, как тягловая сила, была распределена по батареям 406-го артполка для вывоза пушек с передовой.

Дорога разбита, колеса орудий попадали в ямы по лафет, и мы, приморенные сильнее батарейцев, выбились из сил.

— Кухня наша в селе, как-нибудь там поедим! — подбадривали нас артиллеристы.

С трудом добрались до окраины чудом уцелевшего в округе села Серпы. Почти обнаженные босые бабы, ухватившись за дышло сохи, пахали огород. Увидев нас, остановились, кучкой бросились навстречу:

— Ой боже! Отступают! Отступают! — С испугом на изможденных лицах, они преградили нам путь: — Куда? Куда вы?! Опять нас немцам!..

— Вы что? Вы что, напугались?! Нас сменили! Мы на отдых! — объясняли мы.

— Дай бог, дай бог! — взмолилась старушка и бессильно опустила на колени. — Да чего же вы, бедненькие, на себе-то волокете пушку?

— Немцы коней побили!

— Будь воны прокляты! Антихристы! — и с недоверием в поблекших глазах спросила: — Далече отдыхать-то будете?

— Не-ет! Где-то тут отдохнем и опять на фронт.

— Валяйте с богом! — она облегченно вздохнула. И повернулась лицом к повеселевшим бабам: — Пошли, миленькие, пошли.

Артиллерийской кухни в Серпах не оказалось. Тянуть дальше пушку не было сил, и мы рядком разлеглись вдоль прясла огорода. Бабы опять, ухватившись за дышло сохи, налегая одна на другую, пахали. От жалости к ним сжималось сердце. Вспомнилось, как мы с отцом пахали. Следуя за ним, я то и дело взглядывал на солнце, выходил из борозды и пытался переступить свою тень, чтобы ехать на обед.

— Рано, рано ишо! — кричал отец. «Где ты теперь, тятя? На каком фронте? Жив ли?» — мысленно спрашивал я.

Упряжка баб без передышки делала борозду за бороздой, а мы все лежали у изгороди, ожидая приезда в село Серпы артиллерийского повара. Не дождавшись, впряглись в пушку и в сопровождении детворы двинулись дальше. И так по-бурлацки тянули пушку до Мосальска...

В районе этого города, что в Смоленской области, дивизия встала во второй эшелон. В роту пришли два командира, побывавшие в партизанском отряде. Один, совсем молоденький, в звании младшего лейтенанта, с орденом Красной Звезды на груди, принял третий взвод. Наш первый взвод принял кадровый офицер лейтенант Поляков: невысокий, неширокий в плечах, грудь плоская — он словно стер ее, ползая попластунски. Обветренное, дубленое лицо, глаза серые, взгляд строгий.

Расхаживая перед строем, он говорил:

— Ремесло разведчика непростое, даже опасное... Смерть — страшная штука. Сказать, что есть люди, которые не боятся смерти, — неправда! Жить всем хочется. А что подделаешь — война! Родина! За нее стоять надо, идти в бой, на смерть! И вот ты выполз на нейтральную полосу, приложил ладонь к сердцу — забухало! Страх охватил! Ползешь помаленьку, постепенно обвыкаешься, вроде уж и не так-то страшен черт, как его малюют. А траншеи противника все ближе, сердце опять начинает громче и громче постукивать. Самый страшный момент — перед прыжком на головы врага. Не переборол страх — пропал! — Глаза командира вмиг стали суровыми: — Не дай бог, если кто из вас бросит раненого или не вынесет с поля боя напарника! Заставлю ползти, найти! Не выпущу живым с передовой, пока не вынесешь! И сразу же в три шеи выгоню из взвода! Не нужны шкурники!

Лейтенант каждый день проводил с нами тактическое занятие. Два других взвода учились ходить строевым шагом, отдавать приветствие командиру — будто это в войну самое главное. Закончив занятия, офицеры уходили в деревню, а наш лейтенант Поляков оставался с нами. Играл на гармонии. Смотрел на плясунов и, как на занятиях, покрикивал:

— Чего топчешься, как медведь? Живее, живее, не жалея сапог! — сам выскакивал в круг и, выпирая свою плоскую грудь, шел по кругу. Веселость Полякова радовала нас, тут мы давали себе волю — дурачились, но не забывали о нем, посматривали на его лицо, словно на барометр, который мог изменить настроение взвода.

...Утром снова тактическое занятие и наставления:

— Разведчик всегда должен действовать смело! Быть скрытым, недоступным глазу врага. Внимательно изучать передний край. Все ощупать глазами: кочку, пенек, кустик, ложбинку, бугорок, чтоб телом потом чувствовать, где ты ползешь. Ну и главное, о чем я уже сказал, смелее действовать. Смелость — это успех в деле, это «язык».

В один из июньских дней дивизия заняла боевые позиции. Нужен был «язык». За ним добровольно ушел молоденький младший лейтенант, что пришел в роту с лейтенантом Поляковым, и его помкомвзвода — здоровяк с внушительными кулачищами, бывший шахтер из Букачачи Кузьма Ельчанинов.

Утром в расположении роты, возле палатки парторга Калугина, сидели Кузьма Ельчанинов, немец в зеленом мундире, а рядом лежал молоденький лейтенант, укрытый плащ-накидкой.

— Убило его, когда ползли по нейтральной с «языком», — плачущим голосом рассказывал Кузьма. — Батарея ударила по нас. — Он резко повернулся лицом к немцу, тот вздрогнул. — Я с ним, змеем, в воронку, а лейтенант не успел. Чтобы вынести его и «языка» не упустить, пришлось лейтенанта взвалить на плечо и этого, — Ельчанинов поднял кулачище, — оглушить по башке и волочить по земле.

Лейтенант Поляков со слезами на глазах встал на колени перед телом друга, хотел приподнять накидку, посмотреть лицо, но Кузьма тут же схватил его за руку:

— Не надо! Головы... нет... снаряд рядом с ним разорвался.

Поляков прикрыл ладонями посеревшее лицо.

На похоронах рота плакала, салютовала из винтовок и автоматов.

Вечером у палатки парторга собралась толпа солдат. Екнуло сердце: опять убило? Срываюсь на бег, к палатке не пробиться. Слышу знакомый голос, признать не могу. Спрашиваю у одного, другого:

— Кто там?

В ответ меня отталкивают. Нырять вниз, лезу вперед, мне топчут руки, но все равно пробираюсь. Вынырнув из-под ног, стою на четвереньках. Передо мной командир роты Федор Ефимович Королев. Он сидит у входа в палатку, на лице густая черная щетина, рассказывает:

— Решения суда нашей дивизии не утвердили. Нас с комиссаром Колесниковым освободили. Он ушел в пехоту, я вернулся к вам. Отдохну денек и в строй. А сейчас спать, ребята, устал я.

Мы разошлись по своим палаткам. Хромовских играл на гармонии, словно убаюкивая нас. Хотел слушать и слушать, но сон брал свое. Проснулся от сотрясающего взрыва снаряда. Воздушной волной сорвало нашу палатку. Мы вскочили.

— Ваньча! — окликнул Прокопий. — Ты где, Ваня?

Ответа не последовало. Едкая пыль носилась в воздухе. Хромовских лежал мертвым. Осколок снаряда прошел гармонию и вышел у Ивана под лопаткой...

Утром — похороны. Второй холмик вырос в березняке. Вечером едем на передовую изучать обстановку. С нами Королев. Командир взвода Поляков спросил:

— Федор Ефимович, кого возьмете в группу захвата?

— Посмотрю, — уклончиво ответил тот.

Минули сутки, вторые. Королев не говорил, с кем поползет за «языком», все приглядывался, расспрашивал нас о разном. Нещадно палило солнце. От нагретого воздуха покачивался бурьян, и вместе с ним, впереди нас, словно колыхалось на пригорке полуразрушенное село. У дома, что на отшибе, высился колодезный журавль, и я, взглянув в потное лицо Королева, спросил:

— Попить бы холодной воды.

— А как подобраться, чтоб попить? На чердаке снайпер, — он дал мне бинокль. Я впервой смотрел в него. Домишко оказался перед глазами. Окна забиты досками. Крыша убогая, на ней скворечник.

— Письма из дома получаешь? — спросил Королев.

— Да... — не отрывая глаз от бинокля, промычал я.

— Как живут?

— Дома чо не жить, пока что все есть. Амбар хлеба. Только мама плачет. Сейчас у нас вечер, она, наверно, корову доит.

— Деревня есть деревня, не город. Хорошо жили?

— Всяко-разно. Плохо и хорошо.

— И я тоже всего испытал.

— А как командиром стали?

— Не вдруг стал. Тут, брат, история.

Я подумал: «Может, возьмет меня в напарники?» А он вдруг окликнул Каймонова:

— На пару со мной пойдешь?

— Конешным делом! — отозвался тот и, расталкивая толпившихся в траншее ребят, подошел к нам. Я с обидой сунул ему бинокль:

— На, глазей! — и вышел из наблюдательной ячейки.

...Наступила июльская теплая ночь. Потянуло свежестью. Мы ползли по редкому бурьяну, казавшемуся с НП густым. Настороженно вглядывались, прислушивались. Время — самый сон. Перестрелка редкая, подстраховочная. Те и другие давали знать разведчикам, что не спят. Не лезьте, дескать, перебьем как мух. Ползли к колодцу. Отсыревший от росы бурьян слегка шелестел. Повлажневшая земля, попадая комочками под колени и локти, глухо давилась. Впереди, раздвигая темноту, то и дело взмывали ракеты.

По мере приближения к передовой колодезный журавль задирался все выше и выше. Поляков, рукой подозвав меня к себе, прошептал:

— Отползите с Московских вправо, ближе к ракетчику. Следите за Королевым и Каймоновым. Как они вскочат, забросайте гранатами ракетчика, давите огонь. Понял?!

Отползая от группы прикрытия вкось, мы попали в глубокую борозду. Затаив дыхание, оглянулись. Левее нас чернели фигуры Королева с Каймоновым. Не зная, поравнялись ли с притихшим ракетчиком, мы ползли, удаляясь от своих вправо. И вдруг вспомнился первый выход за «языком»: «Немцы Гришу схватили!» Колючие мурашки ожгли спину. Оборачиваюсь к Московских, тихо-тихо говорю ему в лицо:

— Может, немцы видят нас? Подпустят ближе и схватят!

Он ошеломленно завертел головой. Но кругом была ровная темнота, только далеко, левее, тарахтел немецкий пулемет, летели морзянкой трассирующие пули.

Взмыла ракета, повисла над нами и, горя в воздухе, осыпала нас искрами. Траншея противника — рукой подать. Блеск над бруствером. «Каска, — понял я, — ракетчик». Тень от каски заслоняла его глаза, остальная часть обращенного к нам лица хорошо виделась. Ракетчик оглядывал нейтральную полосу. Сердце мое колотилось так, что я подумал: «Не услышал бы, гад!» На лице немца что-то засверкало, послышался вздох, он позевывал. И меня вдруг охватила позевотина, с треском в скулах открылся рот... Потухла ракета, и я, находясь еще в состоянии зевоты, облегченно потянулся.

— Наших не видно! — взволнованно прошептал Кешка. — Может, нам... схватить ракетчика, — между словами он переводил дух, сдержанно забирая воздух в себя и словно захлебываясь. — Поди, не сумеем... дело испортим!

«Перед броском на голову врага — побороть страх!» — вспомнил я наставления Полякова. Ракета снова взмыла и повисла левее. Из траншеи высунулась голова в каске, повернулась над бруствером и утонула.

Слышался какой-то шорох, но где — не понять. Лежим, глядя в сторону, где должны быть Королев и Каймонов. В бурьяне вырисовалась человеческая фигура. К нам подполз Дмитрий Распутин, задыхаясь, скомандовал:

— За мной! — и пополз в сторону нашей передовой. Хотелось спросить, почему вдруг назад, сказать о ракетчике, и я цапнул его за ногу. Он дрыгнул ногой, не оглянувшись, и лишь когда бурьян стал гуще, чем под носом противника, приостановился, мы с Кешкой легли с рядом ним.

— Вот как надо брать «языка» — без звука!

Догнали взвод, волочивший за собой здорового «языка». Враг далеко позади. По команде Полякова поднялись, Гарипов схватил немца под руку и, что-то говоря ему по-татарски, стал толкать его впереди себя...

И вдруг перед нами засверкал огонек, вместе с ним полетела струя горящих пуль, отчего шархнулись и тут же свалились Гарипов и «язык», мне прожгло ногу.

— Свои-и! — вскрикнул я и от боли упал.

— Свои! Свои! — отчаянно кричали разведчики.

Пулемет заглох. Ко мне подскочил Георгий Дорофеев:

— Ты ранен?! — и тут же давай разрезать кинжалом штанину.

— Га-ад! Су-у-ка! — с руганью били пулеметчика наши ребята.

На шум прибежали пехотинцы, давай разбираться...

— Вздремнул я, — признался испуганный пехотинец. — Очнулся от взрыва мины. Глянул вперед — «немцы»! Екнуло сердце, и я стрельнул.

Он не знал, что мы из их траншеи пошли в разведку. Его напарник при смене не предупредил. Обоих пришлось вести под винтовкой в особый отдел.

...С новым командиром дивизии полковником Иваном Матвеевичем Макаровым дивизия показала свою боеспособность — с первой же попытки прорвала неприступную оборону противника! Освободила села Шахово, Нижне-Павлово, Верхне-Павлово и вышла на Варшавское шоссе.

Федор Ефимович Королев принял под свое командование роту.

Второго сентября 1942 года наша разведрота прибыла в район Кузьмичи — опытное поле Сталинградской области.

Над нами — жгучее солнце и закопченное с одной стороны дымом голубое небо. Вонючий воздух с хлопьями гари. В нем, как саранча, носились и кружились самолеты противника. Местность степная, изрезанная балками. В степи — скудная трава: горькая полынь, полевой хвощ, похожий на елочку, и перекасти-поле.

— Обстановка под Сталинградом тяжелая, — говорил Королев. — Двадцать третьего августа немцы прорвались восьмикилометровым коридором к Волге. Находятся в пригородных поселках Латошинка и Рынок. Сплошной линии фронта пока еще нет. До прихода дивизии установить, где находится передний край, взять «языка».

Но тут наши танки двинули из низины балки наверх, рев моторов заглушил голос Королева. Он подошел к Полякову, что-то прокричал ему, шагнул назад, с маху развел в стороны руки, и строй, поняв его команду, рассыпался.

Двести сорок километров протопали и никакой передышки! После такого марша ему «языка» давай, — злились мы на командира. Сил нет, ноги потерты до кровавых мозолей... У лейтенанта Полякова — плоскостопие, ноги распухли до колен. Идти в разведку он не мог, а нам было страшно идти без него. Боясь за нас, он наказывал:

— Не осрамьтесь! Не попадите в лапы немцам! Знайте, они с разведчика шкуру сдерут! Разведчиков они допрашивают не так, как пехотинцев! Поняли?! Разведчик везде ходит, все видит, знает больше, чем любой солдат. Из разведчика жилы вытянут! Для разведчика плен страшнее смерти!

В воздухе появился рамообразный двухмоторный самолет «фокке-вульф». Горя в лучах закатного солнца, встал ребром едва не над самой балкой и пошел в сторону передовой.

Бывший ефрейтор, а теперь сержант помкомвзвода Саша Сидоров вскочил, подал команду:

— В две шеренги — становись!

Поляков досадливо сморщился:

— Забудь, забудь строй! Реденькой цепью, один за другим идите!

— За мной! — махнул рукой Сидоров и хлестко пошел к южному склону балки, потянулись за ним и мы.

— Удачи вам! Глаз не сомкну, буду ждать! — кричал нам вслед Поляков.

Со стороны Гумрака летела туча бомбардировщиков противника, а наши танки, как вкопанные, стояли на месте, и мы бросились к ним, заглядывая в смотровые щели:

— Чо стоите?! Воздух! Разбомбят!

— Приказ ждем! — ответил мне водитель танка. Подскакиваю к другому — у него верхний люк открыт, с ходу оказываюсь на танке. Слышу тревожный голос:

— Он что, на смерть нас выгнал в степь?!

Самолеты приближались, и я сунул голову в люк, чтобы крикнуть: «Рассредотачивайтесь!» Но тут мне прилетел кулак в лоб, и я, едва не сорвавшись с танка, рванул за разведчиками, бегущими к полынному полю.

На пикирующем самолете душераздирающе завывла сирена, посыпались бомбы, раздались взрывы...

Танкисты видели свою предстоящую смерть, она висела над головой каждого из них: самолеты, один за другим снижаясь, сыпали бомбы, как картошку, а они, конечно же, надеясь на то, что вот-вот получат по радиции приказ — вперед или назад, не покидали танки, горели в них заживо.

Мы такого еще не видели и оцепенели, глядя на эту жуткую картину. Ойкали, когда дегтярные купола взлетали в небо. Последний самолет, трепыхнувшись, пошел вниз, сыпанул бомбы.

Дым, расстилаясь по земле, заволакивал нас в густой полыни, обдавая запахом горелого железа и солярки.

Выскочил ли кто из танкистов во время налета, мы не видели. Но если кто и выскочил, то смог ли выйти из такого смертоносного шквала? «Может, кому-то не суждено умереть», — думал я тогда, глядя на пылающие и уцелевшие танки, но людей не видел. Одни черные воронки и бледные языки огня, лизавшие степную траву.

За 15-20 минут больше половины танкового полка было уничтожено. И снова со стороны Гумрака шла другая партия бомбардировщиков. Уцелевшие танкисты не двигались с места — приказа не было. И тоже горели...

Навстречу нам брели пехотинцы, все перебинтованные, в порванных брюках и гимнастерках.

— Впереди есть кто? — спросил Сидоров.

Сержант обернулся назад, махнул рукой:

— Так, прямо идите, наткнетесь на ровики, увидите живых и мертвых.

В конце полынного поля совсем неглубокие, в шахматном порядке ровики вперемежку с глубокими воронками. В одних ровиках лежали убитые, в других по грудь сидели выжившие — лица у всех изнуренные, чумазые.

Я остановился перед рыжеголовым ефрейтором, козырнул ему. Тот устало приподнял с колена руку:

— Только вас тут не хватало...

— Как понять? — опешил я.

— А так! Накликаете беду на пехоту и восвояси смоетесь. Служил в разведке, знаю. Немец не овечка, без звука не возьмешь... — и, глядя на меня, одетого в яркий цветастый маскхалат, добавил раздраженно: — По одежде видно, какой ты разведчик! Что, впервой идешь за «языком»?

Я не ответил.

— Шли б дальше. Нам на сегодня хватит крови, зарыть ребят надо... — устало произнес рыжий.

— Давно тут, какой части? — поинтересовался я.

Ефрейтор резко обернулся:

— Ишь чего захотел, салажонок?! Вдруг ты немцам в лапы попадешь?

— Типун тебе на язык!

— Тебе два! — и он отвернулся от меня.

...Сидоров, взглядываясь в погустевшую от наступавшего вечера полынь, говорил Каймонову:

— Ты с ребятами осмотри левый фланг — есть кто там живой или нет? Мы пройдем вправо.

Втроем ползем строго на юго-запад. Выбрались из полыни в степь. Отблески пожарищ в Сталинграде ослепляли нас. Огляделись вокруг — пусто. Сидоров прилег ухом к земле, прислушался, постучал пальцем в землю, тем самым приказывая нам слушать. Я припал щекой — трава сухая, колючая, земля теплая. Слышны дробные, как на молотье хлеба, удары. Кто-то окапывается. Удары слабые и сильные. Почва сбита, лопатой не выроешь, где-то долбили ломами или киркой. По отдаче глухих, неровных ударов не понять — позади или впереди.

Ползем дальше. Никого и ничего на пути, кроме неподвижных клубов травы перекасти-поле. Приткнулись к ней головой, прислушиваемся к гулу самолетов. Гул тяжелый. «Нагрузились, гады! Дороги бомбить летят», — подумал я.

Сидоров на полкорпуса впереди нас с Вампиловым. И тут, словно из-под земли, мелькнул и погас огонек. «Немец прикуривает!» — догадался я.

Двинулись на тусклый, то потухающий, то воспламеняющийся в воздухе отсвет. «Быстрее, быстрее, успеть, пока курят», — мысленно подгоняю себя и друзей. Перед глазами чернеет земля, выброшенная из ровика. Сидоров взмахивает рукой, мы одновременно вскакиваем и с ходу прыгаем в траншею.

— А-ай! — вскрикнул сидящий на дне траншеи немец. Сидоров наганом тюкнул его по голове, он обмяк. Мешая друг другу, хватаем немца. Ровик для четверых тесен, выбросить «языка» на бровку не можем. Выбираюсь наверх, хватаю его за одежду, тяну, ребята поднимают. Вдруг фриц локтями сделал распорины. «Очнулся! Бей!» — хотел я сказать Сидорову, но немец с маху сел на дно, оставив в моих руках воротник мундира.

— Ру-ус! — вскрикнул он, вскочил, и от него в разные стороны полетели разведчики. Я схватил его за шею и повис на ней, не доставая ногами дна ровика, а согнуть не смог. Немец болтнулся корпусом, руки мои сорвались с его потной шеи, и я боком врезался в торец ровика. Оказавшись на бровке, наш несостоявшийся «язык» заорал:

— Рус, рус!..

Я выскочил вслед за Сидоровым.

— Рус, рус, рус! — где-то уже далеко кричал здоровяк. Стрелять ему было не из чего, автомат остался в ровике. Бежим к полыни, вдруг окрик:

— Стой! Стрелять буду!

По голосу узнаем командира второго отделения Гладких, отзывается... Точно говорил пехотинец, накликали мы беду. Немцы из пулеметов буквально косили трассирующими пулями полынь, и мы заползли в воронку, в которой можно было вместиться взводом.

Осторожно, чтобы не зацепила пуля, высовывались из воронки и по взлетающим ракетам, по вспышкам пулеметно-автоматного огня видели переднюю линию немцев на гребне возвышенности. По густоте вспышек мы поняли, что у неприятеля подошла и только окапывалась пехота, потому и не стреляла, пока мы неудачными действиями не вызвали огонь на себя.

Свист пуль постепенно стихал, а позади нарастал какой-то непонятный шум. Высовываясь из воронки повыше и глядя в черноту бурьяна, улавливаю режущий уши мат и щелканье бича. Ездовой хлещет лошадь. Послышался хруст бурьяна, и в сером воздухе замаячили две конские морды. «Фью-ить, фью-ить!» — посвистывал верхо-

вой на лошадей. Они двигались прямо на нас, волоча за собой 45-миллиметровую пушку.

Я вылез из воронки.

— Кто?! — испуганно вскрикнул верховой.

— Тише, козел!

Меня обступили пушкари:

— Мы правильно попали? Какая тут дивизия стоит?

— У злого ефрейтора спросите!

— Гвардейцы, а какой дивизии, не знаем, — выходя из воронки, сообщил Сидоров.

...Возвращаться в роту стыдно. Сидоров сильно хромал, я кособочился, у Вампилова заплаыл глаз, он клопочущим голосом бедовал:

— Как буду смотреть в глаза командира?

— Хорошо, что фриц тебе второе очко не вышиб, — «посочувствовал» Гладких.

— Вот леший так леший попал! Не леший, а черт болотный. Надавал по мордам, и дуй не стой, а то догонят.

— Кому догонять-то! Один слепой, другой, как параличный, кособочится, третий вроде блохи прыгает.

— Хватит! — рявкнул Сидоров, и его голос понесся в голую степь. — Тут смех, там допрос учинят — почему из рук немца упустили?

Так и случилось. Поляков вроде и не уходил с того места, откуда провожал нас в разведку:

— «Прогулялись»?!

Подошел Королев:

— Что, пустой выстрел?

— Упустили, товарищ командир, — пробурчал Сидоров.

— Как, кого?!

— Немца! Не смогли совладать, — у Сидорова затряслись губы, лицо исказилось в какую-то нелепую гримасу. — Наподдавал нам и убежал. Сил нет! — скрестил руки на груди. — Выбились мы из сил за дорогу! Ноги не тащат, руки ослабли! Он, как назло, вот такой попался, — развел руки. — Широченный, большой! Боров раскормленный, а мы что? — Сидоров прослезился.

Передний край немцев установили. Их тут тьма-тьмушая. Пулемет на пулемете и автоматы. Как начали бить по нас, так весь хребет возвышенности засветился. А из пушек не стреляли, видно, как и у нас, только подтягиваются. Только днем дальнотбойная била недолго... Наша 116-я дивизия влилась в состав 1-й гвардейской армии в районе балок Каменная и Яблонева.

Утром 3 сентября пошли мы с гвардейскими частями в наступление с задачей ликвидировать тот коридор, где немцы прорвались к Волге.

Желтая от пересохшей травы, с черными плешинами гари степь усыпалась пехотой...

Королев говорил: «Малыми группами будем действовать, чередоваться, у вас будут передышки». Но не получилось. Командир дивизии полковник Макаров потребовал от него взвод разведчиков и теперь держал нас при командном пункте как свой личный резерв. И мы, высунувшись из траншеи, видели, как на нашу пехоту, идущую к Волге, обрушился шквал огня. Пехотинцы в одно мгновение утонули в искристымных фонтанах взрывов. В небе хозяйничали вражеские самолеты.

К нам в траншею прыгнул молоденький лейтенант — адъютант комдива Мишка:

— Вы демаскируете КП! Ложись!

И мы растянулись в нить по дну траншеи. Блиндаж, где находился Макаров с офицерами, выглядел как пуп на ровном месте, выдавал сам себя и, видимо, навлек внимание воздушного разведчика «фокке-вульфа», прозванного «рамой». Самолет сделал

несколько витков над нашим районом, удалился в глубь тыла, а через некоторое время вереница одномоторных самолетов двинулась на пехоту. Завизжали бомбы, загрохотали взрывы, заколотилась земля под ногами, словно сердце под гимнастеркой. Распахнулась дверь блиндажа, из него вырвался голос комдива:

— Положили, гады! Положили пехоту!

И только прекратилась бомбежка, Макаров закричал:

— Поднимай солдат! Поднимай!

Мне хотелось видеть, где на КП наш командир взвода Поляков. Я подобрался к двери, сел на кукурки.

— Ты что, твою душу мать! — материл кого-то Макаров. — Я тебе окопаюсь! Поднимай!

Прилегаю щекой на колени, вижу спины людей, стоящих перед длинно-узким смотровым отверстием КП. В глаза бросается бритая голова Макарова с телефонной трубкой у уха.

— У тебя что, там много осталось на земле лежать?! — орал он кому-то. — Убитые?! Может, кто притворился? Отправь проверить! Раненых вынести! — Макаров смотрел в стереотрубу, наблюдая за полем битвы, и одновременно громко говорил по телефону: — Ты, стрелок! Твои гаубицы ни одной батарее не уничтожили! Не видно. А пулеметы?! Вон они! — комдив сунул руку в смотровую щель. — Как черти рычат... Подавить!

Глазами отыскиваю Полякова: с биноклем в руках он от дверей стоит первым. «Слабое место ищет в обороне у немцев, — догадался я. — Найдет — ночью за «языком» пойдем».

— Пошли! Пошли! — говорил командир дивизии, глядя в смотровое отверстие. — Выравниваются с гвардейцами...

А когда Макаров закричал: «Еще, еще немного, еще, и высота в наших руках!» — я хотел вскочить, чтобы взглянуть, но Макаров вышел из блиндажа, и я закрыл глаза, притворившись спящим.

К исходу дня на командном пункте заговорили веселее.

— Черт! — ругался Макаров. — Если бы не спалили танковый полк, то соединились с армией Чуйкова.

Части 1-й гвардейской армии, куда входила и наша дивизия, продвинулись в сторону Волги на два-три километра, овладев высотами 112,7 и 130,7.

— На самом хребте высоты, говоришь, залегли? — спрашивал кого-то Макаров по телефону. — Дым, пыль, ни черта не вижу! Пусть солдат вынырнет из окопа, я на карте отмечу стык дивизии с гвардейцами... Ну и что?! Убьют! Высоту брал — не жалел солдат! Подня-ять!..

Я вскочил, уставился в сторону Волги, где дымное небо словно сливалось с землей. Там ни единой души и ни взрыва! Немцы и наши за день навоевались, теперь лежали. И вдруг там замаячила фигура человека.

— Молодец, солдат! — похвалил Макаров.

Солдат выполнил приказ командира — свой последний солдатский долг — вражеский снайпер срезал его.

— За смелость наградить посмертно!

Внутри КП стояла тишина, Макаров бурчал:

— Командир, что жалеет солдат, — слюняй! А вы что поостолбенели?! — набросился он на офицеров.

Ответа не последовало, и до него, видимо, дошло, что «молодец солдат» прошел через смертоносный огонь, взял высоту, а он выставил его под пулю врага. Макаров вышел в траншею, а тут мы, солдаты.

— Ф-фу! — громко выдохнул он. — Духота! — торопливо вынул из кармана носовой платок и давай протирать свою наголо бритую голову, одновременно разворачиваясь. И снова нырнул в блиндаж командного пункта...

— Он что, пьяный? — глядя на меня, возмущался Крамынин. — Не сообразил, что стык дивизии с гвардейцами можно было бы ракетой указать.

...На другой день, рано утром, мы проснулись от грохота. Немцы из-за высот били нам в лоб. Вся степь взялась черными столбами взрывов. Еще толком не рассвело, а самолеты противника уже тут как тут.

По 50-70 пиратов сразу бомбили войска нашей дивизии и гвардейские части. Одна партия, разгрузившись от бомб, ревя сиренами, уходила на свой аэродром. За ней наплывала другая. А на земле — натиск танков, за ними — пехота, атаки, контратаки... И так — с раннего утра до позднего вечера.

Воздух гудел, вибрировал, земля припадочно билась под ногами. Немцы, видимо, получили подкрепление, раз два дня контратаковали нас. И наша пехота кое-где отошла на прежние рубежи.

Командир взвода с почерневшим от гари и пыли лицом, присев к нам, говорил:

— Воздушной разведкой установлено — немцы против нас сосредоточили крупные силы. На передней линии вкопали в землю танки. Приказ комдива Макарова: взять «языка».

...Под прикрытием расстилавшегося по земле дыма и пыли мы дошли до передней линии своих пехотинцев, разместились по два человека в свободные ровики. На высоте, оставленной матушкой-пехотой, строчили уже вражеские пулеметы, осыпая трассирующими пулями нейтральную полосу. С нашей стороны огрызались ручные и станковые пулеметы, но их было куда меньше. Пожалуй, один против пяти.

Поляков то наблюдал за передним краем немцев, то ходил от ровика к ровику, спрашивая пехотинцев — не заметил ли кто из них слабые места в обороне противника. Ответ был один: «Нет у них слабых мест».

...Слегка пригибаясь, торопливо идем по нейтральной полосе. В воздухе натужный гул самолетов вперемешку с легким тархтением «кукурузников». Со стороны Сталинграда взмыли к звездам лучи прожекторов противника, и в посветлевшем небе замаячили, как воронья стая, двукрылые — выше них чернели наши бомбардировщики.

Командир взвода, лежа чуть впереди нас с Леней Крамыниным, осторожно перевалился с живота на бок, зашептал:

— Похоже, что снайпер и гранатометчик находятся в одном гнезде. — Взглянул на догоравшие на парашютах ракеты: — Сейчас погаснут! За мной! — и он пополз, Крамынин — за ним. Ползем один за другим. «Кукурузник» снова тархтит в воздухе, навешивает ракеты. У него своя работа, у нас своя. Резкий свет освещает трупы, между ними мы, а впереди — ни Крамынина, ни Полякова. «В землю провалились!..» — екнуло сердце. Рядом труп с оскаленными зубами, меня охватывает жуть, ошеломленно оглядываюсь — у ног моих голова Мити Распутина, он смотрит на меня. Торопливо ползу, напарываюсь животом на что-то острое, мычу от боли и сваливаюсь в яму. В ней сидят Поляков и Крамынин.

— Что, как бык, мычишь?! — зло спросил командир.

— На осколок напоролся!

— Ну и что?! Терпеть надо! А ты?! — повернулся к Крамынину. — Ползать не умеешь, пяткой о пятаку стучишь. Проследить, изучить поведение гранатометчика, завтра ночью вам брать его. Днем поймать на мушку снайпера, убить! Оставайтесь. Не усните, немцы под носом. Мы с левого фланга попробуем. Трогайте! — подал команду остальным разведчикам.

Те один за другим выползали из земляной выемки. Мы с Крамыниным пошли к западному торцу выемки — она оказалась длинной. На пути попадались трупы в мундирах. Глаза у них блестят, как стеклышки. Может, документы при них? Накло-

няюсь, ощупываю карман мундира. Есть! По солдатской книжке узнаем, какая часть стоит против нас. С поясного ремня срываю фонарик, включаю. Свет ударил в землю. «Утром при атаке кокнули. Мать не знает, что тебе капут». Сгибаюсь еще над одним трупом, на нем русская шинель. «Иван! Как ты попал с ними в эту свалку? В рукопашной драке убили! Ну-ка, кто ты, откуда? Может, земляк?» — в его карманах оказалась только маленькая деревянная иконка.

Подходим к западному торцу выемки — она в глубину по нашему росту. Смотрю поверх земли: тут навалом немецких трупов. Летящие вроссыпь трассирующие пули шлепаются о их каски. Взглядом прокладываю путь дальше, навстречу рою трассирующих пуль, вижу играющий огонек пулемета.

— Немцы от нас — рукой подать, — говорю Крамынину. — Гранатометчик и снайпер не дают о себе знать.

Крамынин повернулся ко мне лицом и по-собачьи, коротким посапыванием, прихихиваясь, зашептал:

— Чуешь, откуда-то нанесло запах супа?

— Может, наши едят? Сползть к ним?

— Да, наши! Аромат чая вдохнулся. Немцы кофе пьют. Давай, только осторожнее.

И я, как ящерка, быстро ползу, мыча от боли от уколов осколков. От бомб они крупные, то и дело попадают то под колено, то под локоть. Хорошо, что хоть не такие колючие, как от мин.

По времени должны уже быть ровики нашей пехоты. Вглядываюсь в темноту, прислушиваюсь — ничего не улавливаю. Ползу дальше. Послышался храп...

— Эй, пехота, — подаю голос, — я свой!

— Кто там? — отозвались.

— Разведчик я! Жрать хочу! Покормите!

На дне траншеи едва угадывались шевелящиеся фигуры солдат, караульный — с винтовкой и котелком в руках.

— Мы тут снайпера... — начал я.

— Убил?! — не дал договорить он. — На котелок! Суп в нише, наливай. Ешь.

— Ты не понял! — говорю. — Снайпера мы должны завтра утром кокнуть.

— Трепач! Давай котелок! — передумал караульный, пехотинцы засмеялись.

— Перестань, дурила! — сказал чей-то сишный голос. — Макарыч, оставайся, мы пойдем.

Тот, который давал мне котелок, первым выбрался из траншеи. За ним выскочили несколько человек. Я сел на дно. Солдат, которому велено было остаться, звякая кресалом по камню, освещал искрами свое щетинистое лицо.

— Разведчик, говоришь? — заговорил он. — За снайпером охотитесь?

— Ага, — ответил я. — За него могут и награду дать.

— Награду... — вздохнул солдат. — Думал ли кто из наших ребят о наградах? Трех снайпер уложил. Наш взводный весь изранен, а на груди ни одной медалишки. У меня есть, под Москвой наградили. А наградили потому, что я один из взвода уцелел. Вот и носит Макарыч медалишку. Возьми ее! Припрячь. Кончится война — ежели своей не будет, мою надень. Я смертишку свою чую. Возьми!

— Не надо, батя, не надо! Хлеба дай, воды фляжку налей, там у меня друг.

...Наступило утро. Заискрились, завспыхивали на солнце осколки. Начинался новый день. Нарастала оружейно-артиллерийская перестрелка. В воздухе визжало, шуршало, грохотало. Взлетали черно-желтые столбы взрывов.

Мы с Крамыниным, утопая в земляной выемке, выглядывали из нее, напрягая слух, думали, что выстрел оптической винтовки снайпера все равно в какой-то момент прорежется из общего гула и шума. Только бы уловить ту точку, где он находится, и, не спуская глаз, следить... Поймать на мушку и убить!

По артиллерийско-минометному огню с двух сторон не понять, кто готовится к наступлению. Сидим под носом у немцев. В атаку они ходят валом и быстро. Не успеешь убежать — схватят.

— Наши! — вскрикнул Крамынин. — В атаку пошли, нас бы за немцев не сочли! Беги в конец выемки, крикни, что свои.

В бурлящем дыму и пыли едва виделись бойцы нашей пехоты. Выбрасываюсь из выемки, потрясая автоматом над головой:

— Я — свой! Свой!

Жью-юх! — врзался снаряд в землю, и я оборвался с кромки, ударился о дно выемки, но снова — наверх.

— Свой я! — автоматной очередью палю вверх, давая знать, что свой. Слева и справа рвались снаряды, воздушной волной меня хлестануло. Опять полетел, расстелился в выемке — зашиб лопатки. Превозмогая боль, поднимаюсь. Но тут чьи-то руки хватанули меня, вцепились в глотку. Искаженный рот зашипел мне в лицо:

— Сво-олочь!

— Раз-разведчик, — едва прохрипел я, срывая жесткую руку пехотинца с шеи. — За снайпером охотимся!

— Врешь?!

— Да-а отпусти ты! — изловчившись, я выскользнул из «плена». — Очумел! Пехота!

Но лейтенант уже не глядел на меня, он смотрел поверх выемки, где залегли его люди, и тут же, торопливо расстегнув гимнастерку, сорвал ее вместе с нательной рубахой:

— Ты полоснул?!

— Я не пехота по своим бить!

— А чего строчил?!

— Я вверх палил!

Он подставил мне окровавленный бок:

— Перевяжи быстро!

У меня был медпластырь, и я залепил ему небольшую ранку. Лейтенант, надевая на ходу гимнастерку, выскочил из выемки.

— Вста-ать! — кричал он бойцам. — Ста-ать! За мной! — бросился вперед.

Пехота не поднималась. Да и нельзя было поднять головы, кругом рвались снаряды. Атака наших захлебнулась. Солдаты под огнем окапывались, а немцы пошли в контратаку.

— Валом идут! — переживал Крамынин. — Схватят, бежим к пехоте! — И мы ринулись туда, где я только что видел лейтенанта.

— Куда-а! Ложись! — орал тот на нас из воронки. Едва не через его голову прыгаем к нему. — У страха глаза большие, солдат спаникуете! Огонь!

Из рычания пулеметов Дегтярева и дробного бухания винтовок отчетливо выделялась стрельба «максимов», четко выговаривающих: та-та-та-та. Со стороны нашего тыла нарастал, ширился гул самолетов, сливаясь в единое море звуков с визгом, грохотом и пулеметной стрельбой. В чугунном небе носились наши истребители; близко к земле развернутым фронтом шли «Иль», поседающему на нас неприятелю били «катюши». Несущаяся за «Илами» воздушная волна будто вырвала лейтенанта из воронки.

— За мной! Ура-а! — он бросился вперед, за ним побежали солдаты.

Мы с Крамыниным метнулись к земляной выемке, нырнули в нее, а на дне горит земля — попала термитная мина «катюши».

Несемся за нашей пехотой, преследующей убежавших немцев. Перепрыгиваю через убитых, попадаются пока свои, но вот-вот будут немецкие, надо хоть документы

взять. Впереди на земле зазеленела вражеская одежда. Может, раненый? Падаю перед немцем! Убит! Второпях не могу расстегнуть пуговку кармана, срываю накладку «с мясом», забираю солдатскую книжку, вскакиваю, а передо мной Леня Крамынин с фрицем на спине. «Язык», — обрадовался я, схватил его за ноги — почувствовал на ладонях кровь. Находясь в шоковом состоянии от ранения в ногу, немец не понял, кто его подхватил и понес, и без движений лежал на горбушке Крамынина.

Бежим под гул самолетов, визг бомб, взрывы снарядов. У земляной выемки вижу убитого со щетинистым лицом. «Макарыч!» — узнал я того самого, что ночью отдавал медаль. У него широко открыт рот: кричал «ура!» — так и застыл.

Навстречу нам Гриша Доброхотов:

— Я на помощь! По маскхалатам вас увидел! Наваливайте его на меня! — Доброхотов подставил под «языка» свою широкую спину. Услышав русский говор, немец тревожно завозился на Грише, пытаясь вырвать у него свои руки, у меня — здоровую ногу.

— Не бойся, не бойся! — задыхаясь, успокаивал я его. — Капут никс. Никс капут.

У траншеи, где я давеча суп хлебал, встретил нас адъютант полковника Макарова лейтенант Мишка:

— С добычей вас! Быстро его на КП комдива! Там и помощник начальника разведки Баранов. Быстро, пока фрица не пришибло!

— А нас можно? — обиделся Крамынин.

— Да, вас, меня — можно! «Языка» — нет! Он сейчас нужнее, чем мы!

Под шквалом огня волочем на себе фрица. От близких взрывов падаем, он орет от боли, Мишка торопит:

— Быстрей, быстрей, пока все в дыму! Еще, еще немножко, — кособочась впереди нас, манит рукой к себе и прыгает в траншею КП. Валюсь на бруствер, и тут из траншеи сразу несколько рук хватают немца. Мы с Леной бухаемся на дно окопа.

— О-о, какого носастого взяли! — удивился лейтенант Баранов. — Если у него и язык, как нос, длинный, награду вам!

— Что?! — не поддержал его комдив Макаров. — Награду? «Язык» — хлеб разведчика! — И он заспешил вдоль глубокой траншеи ко входу в блиндаж, где располагался командный пункт. Баранов последовал за ним.

На допросе «язык» показал, что часть, в которой он служил, базировалась в районе Гумрака и ее оттуда перебросили на этот участок, где он и оказался в руках русских.

После допроса комдив приказал нам, чтобы мы доставили немца в расположение разведроты, накормили и отвезли в медсанбат.

Мы несли «языка» по обгорелой степи, он орал:

— Капут, капут! — думал, что его несут расстреливать.

— Найн капут! Никс капут! Госпиталь, госпиталь! — успокаивали мы его. Фриц не верил, мотал головой. И нам с Леной стало понятно, почему он так тревожился, ведь немцы после допроса русских пленных убивают. Может, видел или приходилось самому расстреливать, потому и боялся... И успокоился только тогда, когда мы принесли его в расположение роты, накормили.

— Рус комрад, гут, рус гут, — казалось, что он совсем не забирал в себя воздух, бормотал и бормотал... А попади мы с Леной в том бою в руки ему, каково бы нам было?

...Бои, что ни день, усиливались. На нашем участке фронта появились еще две армии: 24-я и 66-я. Но никак не могли прорвать переднюю линию противника.

Мы, что ни ночь, в разведке. Куда ни глянь, голая, ровная степь: ни кустика, ни одного скрытого подхода. Все это осложняло нашу работу. В лобовых действиях мы теряли людей, возвращаясь в роту без «языка». Королев злился, отчитывал нас:

— Вы что, хуже других разведчиков? Соседняя дивизия берет «языков», а вы — нет.

Командир роты по-отечески заботился о нас. Трофейный брезент, что достался роте при освобождении сел на Смоленщине, обменял на зерно, где-то размолот его на ветряной мельнице. За две железные бочки привез из Большеивановского колхоза двух козлов и арбузы. Едим три раза в день: то суп с лапшой, то полтавские галушки. А тут еще на просьбу Королева «усилить разведчикам паек» откликнулся командир дивизии Макаров: нас перевели на курсантскую норму потребления крупы и сахара.

Под Сталинградом наша рота воюет пятнадцать дней. Многие погибли, и к нам прибыло пополнение. Командир отделения Каймонов вел за собой двух новичков. Один весело улыбался налево и направо глазевшим на него разведчикам, будто давно знаком с ними, и покрикивал:

— Привет, «кирюхи», привет!..

Второй следовал мелким шагом, опустив голову. Подойдя к нам, первый еще сильнее расплылся в улыбке, козырнул:

— Привет, «кирюхи»! Борисом звать, фамилия Леготин. Кореш мой — Коваленко! Надо рассупониться, — он быстро снял поясной ремень.

Коваленко медленно, не поднимая головы, снимал заплечный мешок.

— Друг-то твой чо не здоровается?! — спросил Леготина Крамынин.

— Жрать хочет! Натощак весь день шли. Утром похамали и все! Как звать вашего кашевара? Ничего, справный. Видно, добрый «шнырь». От своего пайка брюхо не наешь, — он повернулся к Каймонову: — Ты, значит, мой «бугор»?

— Не «бугор», а командир отделения! — отозвался Каймонов.

— Мы так бригадира там звали, — махнул рукой Леготин. — Ничего, привыкну, командиром буду звать. В случае, если по ошибке назову «бугром», не сердись.

Леня Крамынин, склонившись над автоматом, исподлобья бросил взгляд на новичка:

— Сколько сидел? Где сидел?

— Два дня в колхозном амбаре!

Мы расхохотались. Крамынин, посмотрев на нас, кивнул головой на топтавшегося перед ним Бориса:

— Видали, какой болтун пришел?!

— Почему болтун? Ты знаешь, как в амбаре страшно?! Там крысы! Я их боялся, день и ночь орал.

— Крыс боялся? А как за «языком» пойдешь?

— Немец не крыса, чтоб его бояться! — и тут нашелся Леготин.

— Ну, паря, и трепач ты, — сказал Каймонов. — Пошли за оружием!

Леготин повернулся к Коваленко:

— Кореш, потопали!

Тот нехотя поднялся и потянулся за Леготиным, который, вертя головой, оглядывал разведчиков, бродивших по балке. Получив автомат и держа его перед собой, он вдруг запнулся и упал.

— Чего под ноги не смотришь? — строго предупредил Крамынин.

— Когда смотреть! Впервой держу эту машинку. Как пулять из него? — он пощелкал пальцем по диску: — Что в «посудине», патроны?

Не проронив ни слова, с винтовкой за плечами подошел к нам Коваленко. Сел на прежнее место, глазами уперся в землю. Леготин сунул заскорузлые пальцы в рот и свистнул... Тот, вздрогнув от неожиданности, поднял голову.

— Вот так! Смотри, что близко лежит, — вынул из-за голенища сапога ложку. — У повара увел.

Коваленко бросил презрительный взгляд на Леготина, отвернулся от всех нас, кучно сидящих на земле.

— Ну и друзья пришли! — возмутился Леня Крамынин. — Один шалопаи, другого не понять, что за человек. Как мышь, надулся на крупу!

Коваленко злобно посмотрел на Леню и опять отвернулся. Поведение его и так нервировало нас, а этот взгляд поднял всех на ноги, и мы окружили его:

— Ты кто такой?! Чо так смотришь? А ну, пошли к комиссару!

— Не надо, «кирюхи», — заступился Леготин за Коваленко. — У него отец-мать под немцами в Чернигове, живы или нет — не знает.

— Так пусть на Гитлера злится! — кричал Крамынин. — Как враг — с затаенной злобой пришел! — Свел черные брови, встал перед Борисом: — А ты, сопляк, когда успел охаметь?! Верни ложку повару!

Леготин нехотя поплелся в сторону дымящей кухни... Вернулся с неестественной усмешкой на пухлом лице, заговорил изменившимся голосом:

— В тюрьме я надзирателя не боялся, дурачил, а тут сдрейфил. — Приложил руку к груди: — Извините! Никогда боле чужого не уведу! Покажите, как автомат разбирать и собирать.

И мы всем отделением, кроме пришельца Коваленко, сдвинулись в плотный кружок, готовые хором рассказывать и показывать Леготину, как надо разбирать и собирать автомат ПППШ.

— Как в разведку ходите: по одному, по два, ротой? — спрашивал Борис, и мы рассказывали... Он внимательно слушал. Чувствовалось, как пытался уловить и уяснить каждое слово. И опять появлялась усмешка на его лице:

— Кто у вас в роте самый что ни на есть старший «бугор»?

Мы хохотали и объясняли, что у нас не «бугры», а командиры, комиссар, старшина...

— А ты кто? — глядя в красивое, с ясными черными глазами лицо Лени Крамынина, спросил Борис.

— Комсорг! — ответил тот.

— Я сразу понял, что ты не шухры-мухры, а рюх-рюх!

— Теперь ты без трепатни расскажи, за что сидел?

— Барана украл. Мясо съел, шкуру на веревку повесил сушить. Грех попутал! Составили акт, — он на автомате поводит пальцем, — мол, барана списать с подотчета пастуха, шкуру оприходовать. Визу наложил председатель колхоза, копию сунул мне. Иди, говорит, в районный центр и там отдашь милиционеру следователю Петрову. Я запротестовал. А он: «Кто за тебя пойдет? Ты слопал барана, тебе и нести!» Куда денешься, пошел. Следователь прочитал акт и так... со вздохом: «Ох и дурак же ты! Надо бы и шкуру сожрать! И ищи-свищи, гадай, куда баран делся!»

Мы засмеялись. Борис продолжал:

— На краже барана я и приобрел ремесло разведчика! И меня народный суд направил через тюрьму на фронт «языков» брать.

— Нет! Все же не смог без трепатни рассказать! — заметил Крамынин.

На хохот подошел Прокопий Каймонов:

— Что, обнюхались?

Леготин вскочил, неумело приложил руку к пилотке:

— Так точно, гражданин начальник, обнюхались!

— Хватит дурачить! Хохмач! — не понравилось Каймонову, и он рукой отстранил его от себя. Повернулся к другому новичку: — Ты чего там притих?

Тот не ответил.

После ужина мы всем взводом писали письма. Я обычно писал коротенькое:

«Здравствуйте, дорогие мои мама, сестры Мотя, Шура и братишка Коля. Я жив и здоров. Иду в разведку. Крепко целую вас. С приветом ваш сын и брат». Обязательно указывал дату. Но когда вдруг представлялась передышка, то писал подробные письма с приветом многочисленной родне и знакомым.

Отцу я писал на фронт и в каждый трофейный конверт насыпал махорки на три закрутки. Однажды он сообщил мне: «Сына, получаю третье по счету письмо от тебя без табачка. Должно быть, ты сам начал курить. А может, кто другой табачком пользуется?»

После этого письма я стал закручивать длинную, тоненькую папироску и клал ее на дно конверта. Когда первая папироска дошла до отца, он писал: «Сын, как я обрадовался, когда увидел папироску, скрученную твоими пальцами. Слюна у тебя ишо сладкая, молокососная». Цигарку-то я специально натер сахаром, чтобы тятя слаще было курить. «Слышал ли ты? — писал он. — Черчилль к Сталину приезжал. Говорят, скоро «второй фронт» откроют. В общем, войне скоро конец. Мать пишет, что корова стельная ходит. Видно, я как раз приду домой к отелу, свеженького молочка попою. Ну а тебе год-другой гадить придется».

Позднее, в 1943 году, я из госпиталя писал ему: «Не годишься ты, тятя, в политики! Наша корова уже два раза телилась и опять с колхозным быком огулялась, а «второй фронт» так и не открылся...»

До темноты строчили мы письма. Спать в ровиках надоело, и мы рядом легли на южном склоне балки. Проснулись от крика:

— Воздух! Воздух!

Солнце только всходило, а «рама», облетая фронт, уже разведывала.

— Сука! Как надзиратель высматривает... Поспать не дала! — выглядывая из ровика, ругался новичок Леготин.

— Кто подобьет ее — отпуск домой, — отозвался из другого ровика Каймонов.

«Рама», повиснув над нашим расположением, заколыхалась, разглядывая. Митька Вампилов начал палить по ней из винтовки, приговаривая:

— У-у, шорта болотна! У-у, змия ползуча!

Где-то зенитки «заявкали».

— Ох и денек наступает, — потягиваясь в щели, произнес Леня Крамынин. — Волнующий денек. Прием в комсомол. Вчера хотел объявить, да политрук возразил: «Не будоражь, говорит, на ночь. Пускай выспятся, в голове свежее будет».

«Волнующий день» начался, а у меня, как никогда, была нехорошая, сосущая боль в сердце.

— Политрук вызывает! — не глядя на меня, сообщил Крамынин. — Нашел себе приключение!

— Чо?! — не понял я.

— Дуй, он ждет!

В землянке, через стеклинку у потолка, ударил в глаза ослепительный луч солнца.

— По вашему вызову... явился! — смутно видя за столом политрука роты, представился я.

— Какой горластый! — сказал он, оглядывая меня. — Чего так оборвался?

— Ползаем много.

— Может, в страхе на колени падаешь, Богу молишься, потому и изорвал колени?

У меня еще сильнее заколотилось сердце, я молчал.

— Ну-у... Думаю, что я в цель попал... Ты же в Бога веришь! Как тебе не стыдно! Молодой парень, сибиряк, и в эту дощечку веришь! — и политрук из-под бумаг выдернул иконку, что я из кармана убитого вытащил. «Как она оказалась тут?!» — пронеслась мысль, рука машинально ошупала карман гимнастерки.

— Потерял! А я нашел. Какие предрассудки... Нет Бога! Если бы был, давно бы его зенитчики сбили. Летчики притаранили бы его на землю, — он схватил со стола газету, развернул на груди. Тыча пальцем в зарисовку горящего «мессера», заорал: — Вот как дерутся! В воздухе лупят немцев, а ты на земле от страха крестишься!

— Да неверующий я! Вот те крест, неверующий, — и невольно, по привычке с детства, перекрестился.

— Вот и выдал себя! Не понимаю! Носить в кармане икону и подать заявление в

комсомол... Не надо нам таких! Не надо! — он бросил иконку к моим ногам. — Возьми, носи, молись!..

Политрук еще что-то говорил, но я ничего не понимал. Перед глазами все расплывалось... В памяти возникла та злополучная ночь, земляная выемка, труп в русской шинели...

— Идите!

Я остолбенело стоял.

— Срам! Идите, мучайтесь дурью.

Я не выходил. Постепенно овладевая собой, заговорил:

— Крещусь я для потехи.

— И передо мной для потехи крестился?

И вдруг мелькнула мысль, как убедить его:

— Вот возьму и докажу, что неверующий!

— Как? — спросил политрук, привстав.

И я, взмахивая рукой, изругался в Бога...

Политрук с маху сел на табурет.

— Теперь верите?! — отчаянно спросил я его.

Смеясь, тот толкал ладонями воздух:

— Все, все, верю. Иди, иди!

Это был день сплошных неожиданностей и неприятностей. Меня не приняли в комсомол. Лейтенант Поляков назначил новичка Бориса Леготина в захватывающую группу моим напарником. Я возразил:

— Не пойду с ним! Он ишо не обнюхался!

— Ничего. Посмотрим!

Ночь безветренная, темная. Со стороны Сталинграда отсвет неутраченного пожара слепил глаза.

— Я ничего не вижу, — шептал Борис, ползя за мной.

— Ничо, приглядишься, — успокаивал я.

— У-у-у! — напоровшись на осколок, болезненно замычал он. — Как вы ползаете?..

— Привыкли, и ты привыкнешь.

Впереди взмыла ракета. Припав щекой к земле, я посмотрел на Леготина. Он беззвучно хохотал.

— Ты чего это?

— Мне глянется, — трясся он от смеха, — как воровать лезем. Я так же вот за колхозным бараном крался. Ты воровал когда-нибудь?

— Было дело. Карманы шарил.

— Ну и как?

— Отец чуть уши не оторвал.

— Надо было оторвать. Глядишь, в комсомол бы приняли...

Сидоров и Доброхотов — первая пара. Мы ползли за ними. При свете ракеты видны брустверы ровиков. Расстояние до ближнего — на небольшой бросок. День тому назад они были нашими, теперь в них немцы.

Леготин, приблизившись вплотную ко мне, зашептал:

— А ежели я тоже в комсомол подам? Может, нас с тобой, как старых «шнырей», чохом примут?

Обернулся к нам Саша Сидоров, взмахнул рукой, и мы, почти одновременно с ним и Доброхотовым, бросились к ровику — из него вынырнула голова в каске.

— Ру-ус! — вскрикнул немец и, не целясь, выстрелил, а затем выскочил из ровика. Сидоров ударил его наганом, он упал. Доброхотов — на него. И тут Леготин, ни с того ни с сего, бац немца прикладом! Поднялась стрельба. Еще не поняв, где был короткий вскрик, немцы просто лупили в сторону нашей передовой. Лишь один справа ударил по нам, но наша поддерживающая группа дружным огнем из автоматов подавила его.

Взмыли одна за другой ракеты, осветив нас. Гриша Доброхотов с «языком» на плече казался глыбой, катившейся по черному полю ничейной земли.

Противник, обнаружив нас, хлестанул вдогонку. Била автоматическая пушка, жужжали снаряды, рычали автоматы. Рассыпавшись по полю, мы отстреливались и отходили. Завизжал шестиствольный миномет.

— Ложись! — крикнул Сидоров.

Мы с Леготиным бухнулись, но увидев Гришу, бежавшего под взрывами по полю, погнались за ним, хватаясь за перевесившегося на его плече «языка», чтобы взвалить на себя.

— Уйдите, не надо! — крикнул Доброхотов.

— Быстрой, быстрой, — подгонял я его, то равняясь с ним, то приотставая. Впереди чернел бруствер. Сидоров, опередив нас, исчез в траншее и тут же вынырнул из нее, вытянув руки:

— Давай сюда!

Гриша упал на колени, свалил с плеч «языка» на руки Сидорову и выпалил прерывающимся голосом:

— Он... ка-ажись... не живой! Мертвый...

— Как?! Да вы что?! — Поляков упал на колени перед немцем и начал лихорадочно ощупывать его. Осветил фонариком лицо: оно было залито кровью, глаза остановились.

Гриша сорвал с немца каску и давай тереть ему уши, пытаясь привести в чувство.

— Мертвый! На виске вмятина! Да это Леготин проломил ему череп!

— Дурак! — вскрикнул Сидоров. — Кто тебя просил, он был уже подо мной, а ты ударил! — злился Гриша. — Кто просил?!

— Я думал, вырвется и убежит! — оправдывался Борис.

— От Гришки не вырвешься!

— Откуда я знал!? Вот для страховки и тюкнул!

Пришли в расположение роты — новая беда! Новичка Коваленко не оказалось среди нас.

— Где Коваленко? — строго спрашивал Гришу Доброхотова командир взвода Поляков.

— Не знаю! — пожимал тот плечами.

— Как не знаешь?! Ты головой отвечаешь за него!

— Он сказал, что ногу трет, идите, говорит, я переобуюсь, догоню. Я пошел...

— Найти Коваленко! Всему взводу искать! Живым или мертвым найти!

Развернутым фронтом, как в наступление, двинулись мы на передовую. Встречных солдат расспрашивали, не видели ли они где коротенького разведчика в маскхалате. Разглядывали трупы, но следов пропавшего не обнаружили.

Командир роты доложил о ЧП начальнику разведки дивизии.

— Найти! — приказал тот.

Снова пошли вдоль линии фронта, встретили солдата, собиравшего винтовки на передовой.

— Слушай, парень, ты в прошедшую ночь не видел разведчика? Маленького такого? — спросил Доброхотов. — Убей, найти не можем!

— Ах, гад! Убежал! То-то я и подумал, — сбрасывая с себя винтовки, выругался солдат. — Вижу, бежит к обгорелому танку, оглядывается. «Куда?» — кричу. Он упал, говорит: «Командир велел НП выбрать». Я и поверил, у разведчиков НП всегда на нейтралке. Опять собираю винтовки, много успеть надо, не смотрю на него, и все мысля в голове: «Чего он, как трус, бежал? Что-то не то!» Оборачиваюсь, а он как в землю провалился. Ах ты, предатель, обманул!

Пропажей Коваленко занялся особый отдел. Вызвали и меня с Леготиным.

— Что можете сказать о Коваленко? — спрашивал лейтенант. — Что он из себя представлял? Что за человек?

— Так себе человек — Богом убит, хреном придавлен! — рубанул Борис.

— Что-о?!

— Хреном, говорю, придавлен!

— Объяснил!.. Ты конкретно говори.

— Он немецкий язык знал.

— Листовки немецкие читал?

— Кто, я? — удивился Леготин.

— Коваленко!

— Чо их не читать — все поле усыпано, — говорю я. — Сел по нужде и листовки перед глазами.

Лицо лейтенанта вмиг изменилось: злой взгляд, словно раскаленный осколок, пронзил душу. Мое лицо запылало жаром.

— Что-то вычитал в листовках?! — рычащим голосом спросил особист.

Леготин, глядя на меня, прикусил кончик языка. «Не говори!» — понял я.

— Ну-у?!

— Не читал я! — тоже громко отвечаю. — На кой хрен они мне!

Опираясь руками о стол, особист тяжело поднялся и, шагнув ко мне, вынул из кобуры блестящий пистолет марки «ТТ»:

— Последний раз спрашиваю... Что немцы пишут в листовках?

— Да не читал я! Вот те крест не читал! — взмолился я.

Но лейтенант плоской частью пистолета «разгладил» мне макушку головы так, что заискрило в глазах.

— Ты что-о?! — взревел я. — Я пожалуйюсь! В Красной Армии не бьют бойцов!

Особист вытолкнул меня из дверей блиндажа, но тут же схватил за воротник маскхалата, рванул в блиндаж, и я оказался лицом к нему. Он пальцем прижал свои сжатые от злости губы. «Молчать!» — только и успел я понять, как опять вылетел из блиндажа, дверь которого с треском захлопнулась. «Бориса будет бить...»

Дверь распахнулась:

— Возьми пилотку!

Я обернулся и опять увидел палец особиста, лежащий поперек губ, он еще раз предупреждал: держать язык за зубами.

Холодный дождь освежил мне голову, смывая кровь с лица и груди. Я шел вдоль безлюдной балки, в конце нее — серая дверь землянки командира разведроты Королева. Дверь щелявая, и он все видел, что делалось в расположении роты. Идет навстречу. «Сейчас начнет расспрашивать», — я заспешил к своему ровику, спустился в него.

Королев следом за мной, тронул мою голову:

— Зверь, что сделал!

У меня в глазах стоял «смерш» с приложенным поперек губ пальцем: молчать! И я молчал.

— Теперь у них каждый солдат будет на подозрении. За что он тебя?

— Не трогал он, я в траншею упал!

— Хы! — усмехнулся командир. — Вот славянин! Ему башку разбили, а он говорит, что в траншею упал... Что ж, так и говори! Иначе может быть хуже. В оправдание своего рукоприкладства он припишет такое, что расстрелять могут...

То, что Коваленко оказался предателем, подтвердилось на второй день. Самолеты противника бомбили штаб дивизии и расположение нашей роты. Тяжелая артиллерия обстреливала. Ясно было, что кто-то нацелил немцев. После бомбежки, вечером, появились у нас в роте командир дивизии полковник Макаров и его помощник по политчасти Шишлянников. Стоя перед строем разведчиков, Макаров разгоряченно отчитывал нас:

— Позор! То один фриц набьет взводу морду, то они взводом бьют одного! Бьют до смерти! Кто из вас расколочил череп немцу?!

— Я, — отозвался Леготин.

— Кто так бьет человека? Человек — не бык! Его по-человечески бить надо.

— Я его по каске хлобыстнул, товарищ полковник. Голова сама лопнула... Научусь, легче буду...

— Некогда учиться, «язык» нужен! А они сами идут «языками»! Предательство! — сорвав фуражку с гладко выбритой головы, вытер ее носовым платком. Прошелся вдоль строя, отступил назад: — Новички! Два шага вперед — ма-арш!

Новички вышли.

— Сомкнуть ряды! Напра-аво!

И тут откуда-то вывернулся в пропотовшей гимнастерке сержант, встал головным новичков.

— В пятьсот сорок восьмой стрелковый полк на службу-у... ма-арш! — скомандовал полковник.

— Не пойду! — Леготин вылетел из строя и встал к нам, за ним — Тищенко.

— Куда? — окликнул их Макаров.

— Не пойду! Я не предатель! — отказывался Леготин.

Макаров взглядывал то на побледневшего Леготина, то на расплакавшегося Тищенко, то на угрюмо уходивших новичков.

— Вы присмотритесь к нам, товарищ полковник! — положила руки на грудь, умоляя Макарова Тищенко. — Нет, присмотритесь...

— Некогда присматриваться! — Макаров протянул руку в сторону передовой, где грохотали взрывы. — Слышишь? Некогда! Воевать надо! «Язык» нужен! А вы-ы! Предателя упустили! Позор! Ваять «языка»! Сегодня ночью взять! Счастливого пути вам, — и они с Шишлянниковым ушли.

Собрались в блиндаже Сидорова, едва втиснувшись вшестером. Досадно было, что мы не были обучены приемам самбо и боксу. При взятии «языка» не всегда нужно было применять оружие, как делали это мы. Порой приходилось стукнуть по голове немца пистолетом, чтобы тот не орал на всю передовую. Боксер мог бы сразу заставить его замолчать.

За ЧП в роте отстранили от занимаемой должности начальника разведотдела дивизии капитана Александрова.

Готовились к выходу за «языком» молча. У меня в ушах гудел голос Макарова: «Позор! То один фриц набьет взводу морду, то они взводом бьют одного! Бьют до смерти!»

— Дурак! — сказал я в сердцах Леготину.

— Ишо какой дурак! В пехоту направил разведчиков, — не понял тот.

— Ты!.. Дурак!

— А-а-а! Я думал, Макаров, — лукаво произнес Борис.

Ребята, что были рядом с нами, громко расхохотались. Командир взвода Поляков возмутился:

— Не ржать, а плакать надо!

— С Леготиным и перед смертью будешь смеяться! — сказал Каймонов. — Утром семьдесят самолетов над балкой... Бомбы визжат, грохаются! Мы прижались к земле, а он — Леготин — вещмешок схватил, давай его потрошить. «Надо съись! — кричит. — Вдруг убьет, сухарь старшине достанется!» Смеется, грызет сухарь. Улетели самолеты, он опять кладет сухарь в сумку: «Запас карман не тянет». Снова появились самолеты, бомбить начали, он хватает котелок, орет: «Кухню разбомбят! Надо успеть пожрать». И к повару убежал. Васильева танком не вытянешь из щели, а Леготин просит его: «Кок, налей супа! Прольют гады бомбой».

— Налил повар? — спросил Леготина взводный.

— Куда там! — махнул рукой Борис. — Он, как мышь, прижался в угол щели. А я у него припрятанный мосол нашел в полотенце. Вот такую кость с мясом! — развел руки.

Тут и командир взвода рассмеялся, однако тут же словно спохватился:

— Хватит! Слушайте задание! Во что бы то ни стало взять «языка!» Сгладить позор. Не возьмем, не вернусь в роту! В пехоте останусь!

— Не вернусь и я, — сказал парторг Калугин. — Все не вернемся, пока не выполним приказ.

Поляков, не сказав больше ни слова, пошел. Потянулись за ним на передовую и мы. Рослый и кряжистый Кузьма Ельчанинов выглядел здоровее всех, шел твердой походкой. Калугин сутулился, маскхалат на нем был мало поношен и отчетливо пестрел в цепи. Мало кто надевал маскхалаты. Заношенные, излатанные разными тряпками гимнастерки и брюки и так хорошо маскировали нас: были под цвет степной травы, засохшей на корню.

Всякий раз, когда проходили огневые позиции пятой батареи нашей дивизии, я забежал к однополчанину Василию Власову и наводил справки о доме, пишут ли девочки... Уходя, предупреждал: «Не убьет — ночью или утром загляну к тебе». Сегодня мне особенно хотелось повидаться с ним. Слова лейтенанта и парторга насчет того, что не вернемся в роту, пока не захватим «языка» — не выходили из головы. Поляков зря ничего не говорил. «Надо сказать Ваське», — думал я.

Власов сидел у вкопанной по ствол в землю пушки. Увидев меня, спросил:

— Что, опять за «языком»?

— Ага, паря, пошли. В случае... не вернусь, напиши домой. Останусь жив — забегу к тебе. Ранит — ребята скажут. До свидания.

У него вздрогнул подбородок:

— Возвращайся, я жду, понял? Жду!

На стыке 441-го и 548-го стрелковых полков мы заняли свободные ровики. Пыль, дым, видимость плохая. Солнце на юго-западе тонуло в мутном горизонте. Нигде ни кустика, ни ложбинки — ни укрыться, ни обойти противника. Каков будет исход, возьмем ли «языка»? Кого убьет, кого ранит?.. Ночь. Подползли к танку, укрылись за ним.

— Передохните, расслабьтесь, — сказал Поляков. — Я проберусь в танк, посмотрю через верхний люк, — и он скрылся внутри, за ним — Калугин.

— Давайте хряпнем, притупим нервишки, — предложил Гриша Доброхотов. Наркомовские сто граммов мы всегда перед ужином выпивали, на этот раз решили на нейтральной, перед вылазкой за «языком». Отстегнули фляжки от поясных ремней, тихо чокнулись, выпили из горлышка. Крамынин и Леготин лежали неподвижно.

— Вы что? — спросил кто-то.

Крамынин придвинулся к нам:

— На войну солдату стеклянную фляжку! Это кто придумал? Упал — фляжка вдребезги.

— А я, чтоб не разбить, в роте выпил! — отозвался Борис Леготин.

— То ли дело у немцев, — говорил Крамынин, — алюминиевые, легкие, в чехле, ремешком стопка пристегнута. Налил, по-человечески выпил. А у нас? Из горла да через край — захлебывайся.

— Немцам сразу на неделю выдают шнапс, семьсот грамм, — заметил Доброхотов. — Убит во вторник, во фляжке пятьсот грамм, убит в субботу, сто осталось. Почему бы нам так не выдать?

— Нам хоть ведро налей, пока не выпьем, не оторвемся, — рассудил Каймонов. — Пример — Леготин. Дай ему семьсот, он бы тут же «шумел камыш» запел. Мы, русские, нерасчетливый народ.

— Сегодня нечего на «языка» рассчитывать, — шептал Леготин. — Не возьмем, я опять баб во сне видел! Перед тем, как пришибить фрица, снилось мне: какой-то сарай, солома, две бабы, я в середине. Они к недоброму снятся!

Раздались невнятные звуки, похожие на удары дятла. И вместе с ними, словно кузнечным мехом: фу-у-у, фу-у-у.

— Внимание, внимание! — раздался громкий голос.

«Радио!» — понял я. Перестрелка вмиг заглохла.

— Внимание, внимание!.. Товарищи бойцы и командиры рабоче-крестьянской

Красной Армии! — выкрикивал немецкий пропагандист. — Кончайте бессмысленную войну! Сталинградские степи и так достаточно политы вашей кровью!

— Слышите? — спросил Леготин. — Политруков не приглашают, они, видно, шибко насолили.

— Переходите на сторону немецких войск, командование гарантирует вам жизнь, работу!..

Через нижний люк танка выползли Поляков и Калугин.

— Группа захвата — за мной! — подал Поляков команду лейтенанту, и они ползли на голос агитатора. Ударили «катюши», затряслась земля, воспламеняясь от термитных мин. Нас осветило, особенно запестрели в маскхалатах те, что ползли впереди. Вскочив, они бросились вперед и потерялись из виду. Стрельба, крик... Было понятно, что наши влетели в траншею противника и завязали драку.

— За мной! На помощь! — скомандовал Сидоров.

Ослепленный огнем, я влетел в дым и пыль, не рассмотрев траншею. Оступился и полетел вниз. На дне — возня, храп, удары, крик.

— Кляп! — рявкнул рядом Кузьма Ельчанинов. Я, разводя руками, левой скользнул по каске. Оплел шею немца, сорвал с себя пилотку и сунул ему в рот... И чуть не закричал от пронзительной боли — он прикусил мне мизинец, не выпуская его из зубов.

— Кусает! — крикнул я. — Кузьма — под дых ему! — Я успел вырвать палец. Толстый немец от удара обмяк, я с трудом навалил его на Кузьму, он тут же оттолкнул его с плеча на бруствер траншеи, выбросился сам наверх и сверху мне:

— Раненых!

Но раненых уже поднимали со дна траншеи, принимали наверху. Слева строчил из автомата другой немец и кричал:

— Ру-ус, ру-ус!

— Подавить! Прикрыть отход, — приказал Сидоров.

Мы с Борисом врезали из автоматов по оравшему фрицу. Снова ударила «катюша». Я нырнул в окоп, попавшийся нам на пути, почувствовал что-то мягкое под собой. Леготин сверху навалился и еще сильнее прижал к труп.

— Слазь! — кричу Борису. — Убитый подо мной!

— Кто? Немец, русский?

— Пошел к черту, вылазь!

— Снаряды же рвутся!

Мне было неловко, и я локтем, тычмя, ударил Леготина. Он выскочил. Термитные снаряды рвались позади. Гитлеровцы притихли на нашем участке. Мы отклонились от первого района, где нами была предупреждена пехота. На этом же участке пехотинцы не знали о наших действиях и, сочтя нас за немцев, открыли пулеметно-автоматный огонь. От неожиданности мы заметались...

— Свои! Матушкина мать! — прогремел голос Ельчанинова.

— Эй, пехота! В кого пуляешь?! — кричал Леготин.

— Стой! Прекратить огонь! — донесся голос из траншеи.

Показался человек, он ругался:

— Перебить вас мало! Почему не предупреждаете?!

— Перестань орать! Есть санинструктор? Давай быстро! — приказывал Ельчанинов.

Санитарный пункт был немного позади траншей, и ребята занесли раненых в блиндаж, положили на носилки. Медицинская сестра в свете двух фонарей, стоявших на ящике, который служил столиком, тут же стала разглядывать и ощупывать раненых. Раненые и порезанные кинжалами лейтенант Поляков и парторг Калугин были в тяжелом состоянии.

После обработки ран и перевязки первым в сознание пришел Поляков. Он тихо спросил:

— «Язык» есть? Все живы?

— Есть! — ответил Ельчанинов.

— У тебя что со щекой? Ранен?

— Немножко зацепило. Каймонова ранило в руку. Калугин плох. Кешке «язык» чуть палец не откусил.

— Приведи «языка», — попросил лейтенант Ельчанинова.

Немец лежал у входа в блиндаж, в траншее. Кузьма взял его под мышки, с маху поставил на ноги, втокнул в блиндаж. Немец был с разбитой физиономией, на шее остался отпечаток крепких пальцев Ельчанинова. Гитлеровец с ненавистью посмотрел на Калугина, Полякова и, кивая головой на Кузьму, выругался по-русски:

— Русс... собака!

— Ого, какого зверя взяли! — с трудом выговорил Поляков. — Он и тут еще рычит.

Немец был крупный в кости, с нашивками СС на рукаве, второй рукав ему оторвал в схватке Ельчанинов. Руки у эсэсовца были мускулисты и жилисты.

— Как ты совладал с ним? — удивился лейтенант.

— С таким злом черта сломишь, — ответил Кузьма. — Это он вас и Калугина поронил ножом. Мне чуть глаз не вынул. Кажется, агитатора я пришиб прикладом.

— М-м-да-а, — голос комвзвода был болезненным. — Молодцы... Так вот... и давайте... дружнее... Я... отвоевался.

Ножевая рана от бедра до грудной клетки оказалась смертельной... И мы хотели, как можно быстрее, донести Полякова до расположения разведроты, а там — на машину и в медсанбат. Но, увы! Заградотрядчики пропускали нас через свои траншеи лишь тогда, когда мы шли на передний край линии фронта. А когда возвращались, нас окликали, приказывали ложиться у траншей. Потому что часовой не имел права ночью пропустить в тыл даже одиночку. Они никогда не спешили вызвать дежурного по части, просили закурить. Так и на этот раз.

— Браток, — умоляющим голосом обратился Кузьма к заградотрядчику. — Пропусти-и, тяжелораненых несем...

Но не тут-то было. Часовой фонариком осветил Кузьму, а тот ударом выбил из его рук не только фонарик, но и винтовку и тут же дал из автомата длинную очередь в небо.

После стрельбы мы не сразу услышали крик:

— Тревога!

Нас окружили «вояки», спрашивают:

— Кто стрелял?

— Как не стрелять, — опередил Кузьму Борис Леготин. — Вечером я ему дал горсть махорки, а он, надзиратель, опять просит закурить! И еще говорит: дай на цигару для дежурного.

— Что-о?! — зычным голосом спросил тот.

— Так всегда, гражданин начальник, ваши солдаты просят у нас махорки для себя и для вас.

Борис попал в цель! И никто из заградотрядчиков не приостановил нас, когда мы с носилками перешагивали их «боевой» рубеж. За удар по рукам часового Кузьму могли бы взять под винтовку, о чем Борис и подумал, когда ловко соврал, что давал горсть табаку часовому. За такое вымогательство через своих подчиненных по голове бы не погладили.

...В расположении роты на наших глазах умер командир взвода лейтенант Поляков.

День с утра был пасмурным, к обеду ветер разорвал морок, и в прогалину вынырнуло солнце, ярко освещая поземлевшее лицо покойного. Мы опустили тело любимого командира в могилу. Долго плакали над его холмиком, салютовали, клялись, что отомстим.

Наплакавшись, я написал домой: «Мама, ежели Вася Власов напишет, что меня убило, не верьте. Я просто не смог зайти к нему».

Он же, как потом я узнал, ждал меня до утра и в последующие вечера, а не дождавшись, написал письмо своей матери, как условились мы: «Кешка пошел в разведку и не вернулся». И его письмо опередило мое. Сутки оплакивали меня всей деревней.



ИВАН МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ



Здесь в сорок пятом русские прошли

О чём ты думаешь?..

О чём ты думаешь, солдат,
Взойдя на гребень перевала?
Кругом, куда ни кинешь взгляд,
Лишь только пропасти да скалы.

Шагаем день за днём подряд,
И зной палит нас неустанно.
Куда же ты глядишь, солдат,
С заоблачных высот Хингана?

Кругом маньчжурская земля,
Хребты её непроходимы...
Как далеко сейчас поля
И рощи Родины любимой.

— Мне даль таёжная видна,
Волна песчаный берег лижет.
Там Родина лежит. Она,
Чем дальше я, тем сердцу ближе.

Молчанов-Сибирский Иван Иванович (1 мая 1903, Владивосток — 1 апреля 1958, Иркутск) — русский советский поэт, прозаик, детский писатель. Общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Организатор литературных сил Восточной Сибири. Один из создателей, руководителей Иркутского отделения Союза писателей. Член Союза писателей СССР (1934). Главный редактор альманаха «Новая Сибирь». Кавалер орденов «Красной Звезды» и «Знак Почёта». Родился в семье военного моряка-баталера канонерской лодки «Кореец». В 1905 г. семья переехала в Иркутск. В 1914 г. поступил в гимназию. В 1918 г. поступил и затем окончил два класса Иркутского технического училища. В 1920 г. начал работать в Иркутском депо помощником слесаря. В 1921 г. поступил в Иркутский политехникум на химическое отделение, где обучался до 3-го курса, а затем был переведён в Красноярский техникум путей сообщения. В 1938 г., с мая по декабрь 1939 г. служил в рядах Советской Армии (Монголия, Хасан, Халхин-Гол), работал в газете «На боевом посту». В годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1946 г. нёс службу в рядах Советской Армии на Дальневосточном фронте в качестве военного корреспондента газет «На боевом посту», «Героическая красноармейская». В 1933 г. был избран ответственным секретарём Иркутского отделения Союза советских писателей. С декабря 1938 г. по май 1939 г. работал в Иркутском отделении Союза советских писателей. С 1946 г. был консультантом в Иркутском отделении Союза советских писателей. С 1947 по 1958 г. — ответственный секретарь Иркутского отделения Союза советских писателей. Делегат Первого (1934) и Второго съездов писателей СССР (1954). Депутат областного Совета депутатов трудящихся. В семье Молчановых было шестеро детей, три дочери и три сына. Одна из дочерей — Светлана — стала женой писателя Валентина Распутина, вторая дочь Евгения — женой поэта Владимира Скифа. С 1932 по 2010 г. у И.И. Молчанова-Сибирского было издано в Москве, Ленинграде, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Чите, Чебоксарах, Хабаровске более сорока книг — сборники стихов, проза, произведения для детей — общим тиражом более 1 миллиона экземпляров.

* * *

Идём по спалённой пустыне,
По руслу исчезнувших рек...
Мне кажется: падает синий,
Пушистый, сверкающий снег.

Не звёзды ль вступили в круженье?
Боец любоваться не прочь,
Но нас ожидает сраженье
В грядущую чёрную ночь.

Песок точно после пожарищ,
Колоча сухая трава...
— Гляди! — восклицает товарищ. —
Сверкает озёр синева!

Нам кажется: плещется влага,
И мы убыстряем шаги.

Милей, чем столетняя брага,
Воды животворной круги.

Как будто доносится свежесть
Сквозь горький, томительный зной,
Сквозь лютую эту безбрежность
Озёра зовут белизной.

Дорога куда-то отбилась.
К терпению себя приневольт.
...В озёрах вода испарилась,
Осталась лишь горькая соль.

И снова пылает дорога,
Пески обжигают, палят.
— Ну что ж, до колодца немного, —
Со вздохом промолвил солдат.

Танк в облаках

Танк на Хингане. Вестник нашей славы,
Он вознесён на гребне в облака,
Как монумент могущества Державы,
Прославленной отныне на века.

Травую зарастут войны дороги,
Но этот танк от Родины вдали
На башне сохранит простые строки:
«Здесь в сорок пятом Русские прошли!»

Годовщина

Сигнал. И тронулась колонна
Вперёд, в неведомую даль...
Там близких нет, ни слёз, ни стопа,
Напутствий нет — и это жаль.

И после многих битв и стычек,
Как древний грозный великан,
Предстал во всём своём величье
Синеющий Большой Хинган.

Для танков здесь тропинки узки,
Темна подъёмов крутизна,

Но нет нигде преград для русских —
Грядёт победная весна!

Над хмурию жарких перекатов,
Поросших жалкою травой, —
Знамёна. Под руку Саратов
Идёт с Иркутском и Читой.

Пусть градом бьёт, пусть жажда мучит,
Но мы стремимся от беды
Идти быстрее. Беда научит,
Как обходиться без воды.

Дуб в пустыне Чахар

Как старик седой у двора —
У дороги столетний дуб.
На рассвете ему ветра
Развевают зелёный чуб.

Грустно здесь стоять одному,
А кругом полынь да ковыль.
Я на память лист подниму
О тебе, старина-бобыль.

На рассвете в степи чужой
Ты один провожал нас в бой.

Русская гармошка на Хингане

Поднимались на такие кручи,
Где никто ещё не проходил.
Под ногами проплывали тучи,
Друг от бездны друга отводил.

Пот струится. Подниматься тяжело.
И орёл пониже нас парит.
Спутница солдатская — баклажка
Больше суток без воды гремит.

Кухня батальонная в тумане.
Тянет провод по скале связист.
Русская гармошка на Хингане,
Русский на лафете гармонист.

То она поёт и веселится,
То грустит о чём-то в вышине.
Русская гармошка за границей,
На маньчжурской дальней стороне.

Год назад

Отроги гор. Их дальняя вершина
Цепями стягивает сумрачный Хинган.
А наша одинокая машина
Скорлупкой брошена
В песчаный океан.

Какая тишь! Здесь миг похож на вечность.
Века назад была морская гладь кругом.
Теперь степей усталых бесконечность.
Не здесь ли мы найдём
В песках свой вечный дом?

Схватка

Цветок склонился к изголовью, —
Пробита пулей голова.
Обрызгана горячей кровью
Степная жёсткая трава.

Сражались, засучив по локоть,
Чтоб не мешали, рукава.

Стирали наспех пот и копоть,
Роняли редкие слова.

Как будто богатырь былинный,
Поднялся в полный рост солдат.
И только очередь длинной
Считал убитых автомат.

* * *

Остановись, и шапку скинь, прохожий!
В чужом краю, где степь гудит, пыля,
Лежит солдат... Ему была дороже
Всего на свете Русская земля!

Говорит Москва

Сгустились сумерки степные, Включил приёмник наш радист. И вот сквозь щёлканье и свист — Москвы далёкой позывные.	И к нам в землянку из тумана Приходит запросто Москва. И над монгольской рекой Разносится напев знакомый. Хоть от Отчизны далеко, Мы в этот час как будто дома.
Звучат чеканные слова, Знакомый голос Левитана.	

Цветок победы

Подснежник называют здесь «ургуй». Цветок в степи! Приветствуем находку. Он мил, как первый робкий поцелуй... И я его надену на пилотку.	Прошли года тревог и маеты, Мы собрались для дружеской беседы, И были кстати первые цветы: Природы праздник — к празднику Победы!
---	--

Сибирское предание

Лежал красногвардеец на утёсе,
И капала на камень кровь из ран...
Его — враги — хотели в бездну бросить,
Но он укрылся в голубой туман...

Гранитные преграды расступились,
Ручей, журча, помчался перед ним.
В рукопожатье там соединились
Два кедр, прошумев: «Не отдадим!»

Орлы над ним бесшумно пролетели,
Медведь прошёл сторонкой в бурелом.
А он лежал в тиши, укрытый елью,
Её зелёным ласковым крылом.

Где кровь упала на холодный камень,
Там вырос пламенеющий цветок...
Склонись над ним, коснись его губами:
В нём — пламенного сердца уголёк.

Забайкалец-рядовой

В память этих дней осталось
В русой пряди серебро...
Но об этом не писалось
В сводках Совинформбюро.

В дни, когда к стенам столицы
Полк резервный подходил,
День и ночь солдат с границы
Глаз усталых не сводил.

В дни грозы, когда над Волгой
Бушевал жестокий шквал,

Забайкальской ночью долгой
Он свой пост не покидал.

В лютый зной и в холод адский,
Неизменный часовой,
Выполнял свой долг солдатский
Забайкалец-рядовой.

Он не шёл к Берлину с боем,
Вражьи танки не взрывал,
Он Отечество собою
На востоке прикрывал.

Избушка на Ичене

За день езды устали и олени.
Морозный нынче выдался денёк...
Охотничья избушка на Ичене,
Приветлив путеводный огонёк.

Забудешь здесь дорожные лишенья,
Благословив гостеприимный дом.
Хозяйка нам готовит угощенье:
Добыто всё охотой и трудом.

Мороз занятно расписал окошко.
Лежит у печки бурый волкодав.
Пахнула паром из котла картошка,
Запахло мёдом высушенных трав.

Над печкой пляшут золотые тени,
Как бы раскачивая потолок.
Отраднa нам избушка на Ичене,
Поскольку путь и долог, и далёк.

Как хорошо согреться крепким чаем!
Он словно смоль, когда глядишь на свет...

Хозяйка говорит: «А мы скучаем,
Когда подолгу человека нет.

Мой муж на фронте. Мы с Наталкой двое.
Охотимся. Вчeра попался волк.
В глухой тайге семейство зверобоя
Перед Отчизной выполняет долг».

Приятно видеть радостные лица,
Сиянье чистых и наивных глаз.
Наталка — удалая белковщица —
За эту зиму шкурок триста сдаст.

Запомнилась мне тихая беседа,
Я вновь увидел — стоек человек.
И здесь куётся русская победа:
Вблизи сибирских заповедных рек.

От печки пляшут озорные тени,
Окно в узорах, в блёстках куржака.
Как Русь крепка — избушка на Ичене,
Такая может простоять века.

Надпись на книге «Граница на Востоке»

Нельзя на этой книге строгой
О днях походов и побед
Писать про лунные дороги
Весьма изысканный сонет.

В боях за Родину мужает
Мой грубый стих, суров и прост,

Он не пьянит, не поражает,
В нём нет дыханья чистых роз.

В нём нет оттенков акварели...
Слова бредут, как мураши,
И вздрагивают, в самом деле,
Постройки трепетной души...

Был друг у меня

*Памяти известного
иркутского художника
Алексея Петровича Жибинова*

Был друг у меня, мы встречались не часто.
При встрече расстаться никак не могли.
Как солнце осветит, когда крикнет:
— Здравствуй!
Едва показавшись вдали.

Имел он души незабвенное свойство:
Беду разделить и понять, и согреть.
На фронте отмечено друга геройство —
Он в битву ходил, не боясь умереть.

Он с нами расстался...
Покинул безмолвно.
...Куда ни поеду, куда ни пойду,
О нём прозвенят мне байкальские волны
И яблони вспомнят в цветущем саду,

И — вечно зелёные сосны у сквера,
И солнце на иглах, и стынь куржака,
Картины его и мольберт у портьеры,
И в небе плывущие вдаль облака.

Был друг у меня...
Он ушёл, но остался...
Как кровь, будет время колючее течь.
Мне жаль, что я с другом
так редко встречался,
Не смог, не успел от беды уберечь.



АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ



Раны

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ

1

К Трунову он относился доверительно: подкупали очки, расколотые в двух местах, так и не починенные. А может, потому, что за две недели, перед тем как выехать на фронт, перешивал взводному шинель из солдатской в офицерскую и тут успел приглядеться к своему командиру. В минуту отдыха он подсаживался на край нар, спиной к спине лейтенанта и молчал, покуривая; он курил, глядя в землю и покашливая, и Трунову казалось, что солдат хотел сказать что-то и все сдерживался, все не решался заговорить. Раз повернулся к нему Трунов и, похлопав по спине, спросил:

ЗВЕРЕВ Алексей Васильевич (1913–1992). Родился 24 февраля 1913 г. в селе Усть-Куда Иркутского района в семье крестьянина-середняка. Окончил семилетку, затем поступил в Иркутский сельскохозяйственный техникум. Вернувшись в деревню, работал по специальности. Желание увидеть мир влекло будущего писателя в другие края: работал в Красноярском крае, на Волге, в Горьком. В 1940 г. Алексей Васильевич вернулся в Сибирь, откуда его дорога лежала уже на войну. После тяжелых ранений одиннадцать месяцев пролежал в госпиталях. Награжден орденом Красной Звезды и боевыми медалями. В 1945 г., вернувшись с фронта, А.В. Зверев поступает учиться в Иркутский педагогический институт. В общей сложности Зверев проработал в школе 36 лет. Литературной деятельностью вплотную занялся в 1960 г. Первая книга Зверева вышла в свет, когда ее автору было уже 55 лет. При жизни писателя опубликовано десять книг, каждая из которых становилась предметом самого внимательного изучения со стороны критиков. Повесть «Раны» стала подлинной вершиной творчества писателя-сибиряка. Автор книг: *Далеко в стране Иркутской*: роман (Иркутск, 1962); *Дом и поле*: роман (Иркутск, 1970); *На Ангаре*: рассказы (Иркутск, 1972); *Последняя огневая*: повести (Иркутск, 1977); *Лыковцы и лыковские гости*: повести (Иркутск, 1980); *Выздоровление*: повести и рассказы (М., 1982); *Раны*: повести и рассказы (М., 1983); *Жили-были учителя*: повести и рассказы (Иркутск, 1990); *Как по синему морю*: повести, рассказы (Иркутск, 1984). Член Союза писателей России.

— Ну как, Гневышев, письма из дому пишут?

Это был традиционный вопрос командира к подчиненному. Он сам собой задавался, если разговор начать было не с чего.

— Но, — ответил солдат однословно.

— Дома жена, дети?

— А как же, — сказал он не сразу, словно сам спросил: как же без этого?

— Все, значит, в порядке?

— Да в порядке-то в порядке. Что может стрястись. Как у всех.

Слышалось, что солдат думает сейчас не о том, и Трунов спросил:

— Вот ты все что-то молчишь, вроде тоскуешь. Это так?

— Да кто же нынче не тоскует? — ответил солдат, всем корпусом повернувшись к Трунову и глянув на него желтыми глазами, слепо глянув. Трунов сразу и не понял, отчего слепо, и лишь после разобрался: слепо-то оттого, что очень уж малы были зрачки в них, такие маленькие — как прокол игольный. Трунову тогда подумалось, что вот как человек не хочет глянуть на солдатчину, чужую ему, вот как живет он все оставленным дома, как надоела ему эта затянувшаяся война. Она была в ту пору в самом разгаре, и если сравнить ее с костром, то все подбрасывались и подбрасывались в него поленья, котел парил, кружилась вода, а не закипала, кружилась, ждала жару и с ним, новым, начнет плескаться, начнет заливать огонь. И вскипит, и огонь зальет, и все пойдет на убыль. Пока костер войны полыхал во всю силу, горели надежды на спасение, на то, выживешь ли, или чья-то рука швырнет тебя в пламя, и ты вспыхнешь и испепелишься. Трунов думал: видно, этот солдат за тысячи верст от пламени войны подсушил себя, изготовился сгореть — на нем это было заметнее, чем на других ребятах взвода. Был он старше многих, ходил вялой походкой, забывчиво курил до самых пальцев, обжигая их

— Что же тебя тосковать-то заставляет, если дома все в порядке? — спрашивал Трунов.

— Да то же самое, что и тебя, лейтенант, — отвечал Гневышев и улыбался едва заметно.

— Что же все-таки?

— А ты не думаешь, что умрешь?

— На фронте все случается.

— А я умру, лейтенант, убит буду. Это я чую всем нутром. Не думай, что трушу. Не-е-ет. Ты так не думай, лейтенант, а просто знаю, что убьют, и все.

— Да как это тебе втемяшилось думать так? Кто из нас может знать о том? — повысил голос Трунов.

— Я до самой до Оби — ничего не чуял и в лодку сел, и по воде плыл — ничего. А как ступил на берег, так не могу повернуться, чтобы глянуть на своих, на тот берег-то. Не могу, и все. Так и не глянул, так скорее за угол зашел, улочкой побежал и не оглянулся — там сзади-то будто смерть за мной, шагах в двадцати: потом уж я по привыкнул к шагу ее и оглядывался, она как-то вся таяла от взгляда, не любит, чтобы на нее засматривались Ты бровками дергаешь, лейтенант, ну и дергай, ну и не верь. Я тебе не сказку рассказываю. Теперь она не ходит за мной, приучила к себе, и хватит. Ну что же, умру. Не я первый, не я последний.

— Полно-ка, Гневышев, ерунду плести, — сказал Трунов тоном утешения, деланно сказал, по должности, а сам ждал, что ответит тот.

— Тебе одному говорю. Человек ты образованный. Материшься вон как неуме-ло, — продолжал солдат, — думаю, легче тебе понять, отчего у меня грудь в табаке, пилотка разъехалась, шинелишка черт знает как сидит, ем не чисто. Ну, повоюю, повоюю еще, не сразу же придет и хлоп тебя. А тебе скажу такое, — наклонился он к самому уху Трунова, — не жалей меня, не приглядывайся. Я говорю тебе не затем, чтобы жалеть. Не-е-ет.

— Хватит, Гневышев, ты нас всех похоронишь, а сам цел останешься. Что с тобой? Не хитришь ли? Да что за хитрость хоронить себя заживо? — проговорил Трунов, как бы размышляя, и увидел, как Гневышев закачал головой и вроде уже раскаивался, что поведал свое предчувствие, и прутиком зарисовал по земле, буркнув:

— Я в четвертый раз туда иду. По четвертому кругу.

— В четвертый! И такие разговорчики? — позавидовал, удивился и возмутился вместе Трунов, отходя от солдата.

2

К фронту, к пеклу того года, о котором уже говорила вся земля, подбирались они как-то исподволь. Под Москвой простояли полмесяца, под Тулой — два дня, потому что где-то задерживался хлеб. Солдаты ворчали. Командир полка то и дело вызывал к себе начпрод и, видимо, пробрал его порядком, и тот, явно для отвода глаз, направил Трунова просить хлеба в городе. Кто же в войну так просто хлебом разбрасывается? Толкнули его, случайного и вовсе непробойного человека, чтобы тем временем хлеб свой поджидать: он был на подходе. Трунов поглядел, кого бы взять с собой из солдат, на глаза попался Гневышев, и он приказал ему собираться. Прихватив вещмешок, солдат враскачку пошагал к машине, и они поехали.

Трунов обежал полдесятка хлебных учреждений, убеждал, что полк голодный, просил выручить, а там уж сполна рассчитаются и даже лишку приборсят, потому что через день у них всего будет навалом. На лейтенанта глядели с улыбкой, пожимали плечами, отсылали в другую организацию, а один просто сказал:

— Над вами подшутили, товарищ лейтенант.

Гневышев то с лейтенантом вместе заходил к начальству, то оставался в коридоре или в машине и нужен был ровно столько, как если бы его вовсе не было. Раз у машины лейтенант солдата не застал. Шофер подудел многократно, сбегал в соседний магазинишко, в столовую, на почту — Гневышева не нашел. Трунова охватила печаль — солдата потерял. Такая печаль тронула его, что он и про хлеб забыл. Тотчас они махнули на станцию — там все углы обсмотрели, вдоль состава раза три пробежали, все вагонные тамбуры оглядели — солдата не нашли. Трунов почернел от беды, сел рядом с шофером и голову свою руками обхватил, браня себя: пентюх, хлеба не добыл и солдата проворонил. Но тут до слуха долетел тихий крадущийся звон колокола, и Трунову пришло нелепое предположение: не в церковь ли пошел Гневышев? Трунов сам не понимал, как эта мысль могла прийти в голову: не Богу ли помолиться пошел солдат перед фронтом? Может, не все такие, как он, Трунов, проживший короткую жизнь без Бога.

— Давай-ка жми к церкви, — приказал он шоферу, — может, там он, подлец.

Гневышев стоял на паперти и нахлобучивал разношенную пилотку. Трунов тотчас подбежал к нему, хотел за воротник схватить и встряхнуть, как мешок, — тот глянул на него желтыми немигающими глазами.

— Удрать вздумал! — заорал Трунов матерясь. Гневышев махнул рукой и безразлично сморщился.

Трунов посадил солдата в кабину, сам в кузов забрался. Они проскочили несколько деревень и остановились у колодца следующей. Гневышев оторвался от цепи, вытер рукавом губы и пробормотал:

— Какое время! Свечи не достанешь!

— Ты что! И вправду ходил молиться? — спросил Трунов.

— Я за себя хотел свечку поставить. Я в ее, в церкву-то, за жизнь ногой не ступал. Тут надо.

— Крайность? — все еще косился Трунов на Гневышева. — А как не нашли бы тебя, куда бы ты, раб, двинул?

— Я бы ране вас к полку вернулся. Вон какая прорва машин идет. А свечку поставить надо было. Я там еще, когда от берега отходил, так почувал, что река эта — грань моя, я тогда сразу и решил: свечку где бы за себя поставить? Я ведь и сам не верю, и свечи эти видел ли? Слышал только о них, а вот свечку и свечку.

Трунов был молод и мало знал людей, иных и замечать не хотел. Война на них открыла глаза. В каком же мире жил Гневышев, если о свечке задумался? Зачем ему свечка, что она может открыть, кого и как она может утешить?

— Без Бога эта свечка, — заговорил Гневышев, словно подслушал размышления лейтенанта. — Душа просит, и все тут. Думаю, поставлю — и во мне поворотится, смягчится, сгладится что-то, и я обрету ровность. Что же я мучиться-то буду. Мне ровность нужна, особо сейчас, когда на фронт еду. Мне надо какую-то шишку сшибить с сердца.

— Ты раньше в комсомоле был, Гневышев? — спросил Трунов зачем-то. Солдат поглядел на него отчужденно и сказал как о чем-то самом обыкновенном:

— Как же. Бывал. Потом как-то с годами и выбыл. Я и в ем что-то искал. И нашел вроде. Ну, вроде заглянул за гору какую. Славно так, хорошо было, и парни хорошие собрались. Ты вот помалу привыкаешь ругаться, а мы в ем отвыкали. И креститься отвыкли, не то что верить в Бога, и сейчас не сумею креста на грудь наложить — забылось. Дай балалайку, с завязанными глазами сыграю, а перекреститься — нет, не получится.

— А свечка? — спросил Трунов.

— Не в свече дело, говорю, — сказал Гневышев. — Свеча, это, может, первое, что осенило... Ну, лучше высказать не могу, — махнул Гневышев рукой и пошагал в кабину.

3

За Тулой фронт уже чуялся. Не было слышно ни орудийного гула, ни отдельных выстрелов, а было непрерывное фыркание машин, упрямо лезших на подъемчик, да чавканье ботинок, да тихий осторожный говор людей, едущих туда и бредущих по скользким обочинам дороги. Чуялось, что если не за двумя-тремя вот такими угорчиками, то за пятью была передовая. Иные машины спускались с подъемчика навстречу, грохоча и поскрипывая пустыми кузовами, в них сидели то один, то два солдата, с забинтованными головами или руками; легкораненые шли пеше, и по белым, еще чистым повязкам понималось, что бои шли где-то рядом. Казалось, что раненые были довольны собой и даже веселы. Один подмигнул Гневышеву и, махнув белой рукой, крикнул:

— Езжай не оглядывайся, там тебя поджидают.

Гневышев помахал и ему и все следил за машинами и людьми, возвращающимися с передовой, и, потрогав Трунова за локоть, сказал:

— Так бы вот ранило, и хорошо.

— Хорошо бы, да, — сказал и Трунов.

— Нет, скажи, лейтенант, — насупив брови и блуждая глазами, спросил Гневышев. — Как это понять: жили люди, землю пахали, кормились, рожали детишек — и бах, давай резать друг друга. А? Это зачем кормились, зачем рожали?

— А если это враг? — спросил Трунов. — Если он придет да семью твою прирежет?

Трунов понимал, что разговор такой не ко времени и не к месту. И разговор этот с Гневышевым должен тоже погаснуть. Но солдат поправил за спиной карабин и продолжал:

— Но я же ведь не о том. Я о том — что же такое война? Отчего сила такая за этим словом? Может, эта волынка вся по глупости чьей-нибудь. По ничтожеству. Мы тут воюем, а миру-то в большую и в малую сторону конца нет. Мы над муравьями смеемся — дерутся, грызутся, зачем им грызться? А кто-то из того большого мира над нами потешается: смотрите, ползут в каких-то железных скорлупках, дымок пускают, соринки щекотливые в воздух пыряют, руку подставил этот великан, а в нее соринки тычутся, то есть страшные снаряды. И ему это муравьиная драка, не боле: вишь, копошатся, вишь, грызутся дураки, только мы, великаны, делаем умное дело. Так они думают о себе и забывают, что над ними есть еще больший мир.

— Ну, повез, — сказал лейтенант и отмахнулся, но и себя прихватил на том, что и он думал так, думал о большом и малом мире. В пламени-то вселенной, в огнях бесконечных сколь червячно и ничтожно это дело — война. Почему люди вместо войны не найдут то главное, что сделало бы прекраснее трагически малое время жизни, равное мгновению. В каком-то храме бы пребывать, какие-то свечи зажигать, да вот она, свечка-то Гневышева. И при свете их твердить — люблю, люблю, люблю. И любить бы трепетно, высоко, божественно, пить бы этот нектар мгновения, парить бы в радостях.

4

А над Труновым, как и над всеми солдатами и офицерами полка, висело одно слово — *прорыв*, переданное старшим начальством батарейным и взводным командирам, а от них уже перешедшее к солдатам. Он, далеко еще не военный человек, рисовал, как эта махина из машин и орудий, полков и дивизионов, служб разведки и связи, называемая механизированным корпусом, затягивается головой своей в узкую горловину прорыва, проталкивается плечами, отмахивается руками от наскоков таких же полков и батарей. В массе туловища ее подтягиваются сейчас и они своим отдельным минометным полком, своей батареей по этим пологим холмам к страшной горловине. Гигантский уж корпуса протолкнется весь на клочок земли, называемый плацдармом, и свернется кольцами, тугими узлами, которые не развязать никому, только разве разрежут его на части. Вереницы машин с пушками, минометами, с ящиками снарядов и мин, с пузатыми телами цистерн тянутся на холмы и скатываются с них, и ничто их не остановит, и была в этом потоке предательски странной неожиданной остановка машины Трунова. С машины разом поспрыгивали солдаты и забегали, засуетились в наступающей темноте.

— В чем дело? — спросил Трунов шофера, который видел спасение в отчаянном кручении заводной ручки. — Ты заведешь наконец ее?

— Подъемчик не взяла, — жаловался на машину шофер Протасов. Где-то спешно он кончил курсы и так плохо знал дело, что порой Трунов отталкивал его от машины и сам искал неисправность, а взвод помогал советами. Слева и справа обходили их задние машины, а их не заводилась и отставала от батареи.

— Бензин-то есть у тебя? — спросил шофера Гневышев, тот отгрызнулся и от него.

— Да брось-ка ты с бензином! Его больше, чем полбака. Мало? Да?

— Мало, — настаивал Гневышев, — я говорю, у тебя есть ли запасный бензин?

— Ну, есть. Ну, вон полбочки на машине. Ну чего тебе надо? — раздраженно кричал шофер и ковырялся в свечах.

— Да как же мало, если он говорит, что полбака? — не понимал Гневышева и Трунов.

— Потому и мало, что машина стоит в горе, бензин-то и слился назад. Во-от, — протянул он последнее слово.

— Черт те, правда, однако. А ну, попробуем долить, — почесал затылок шофер. Шлангом он спустил топливо из бочки, крутнул ручкой, и машина завелась.

Ни Трунову, ни другим молодым солдатам не пришла в головы такая простая мысль — пополнить бак бензином, а этот немолодой и малообразованный человек додумался. Когда поехали тихо, Трунов выскочил из кабины и, шагая сзади машины, спросил:

— Видно, случилось, Гневышев, такое?

— Стучалось, — растянул солдат снисходительно.

— Где же случилось?

Гневышев ответил не сразу:

— А где, как не на фронте.

5

В стороне, где всходила луна, слышалось уже погромыхивание боя, затянувшегося на ночь. Свет не так уж далеких ракет брезжил и трепетал над зубцами леса. Гнетущее, покусывающее состояние охватывало Трунова при мысли, что они уже на куске земли, который измеряется километрами и который называется холодным и пугающим словом — плацдарм. Не одни же они тут, вон сколько техники проперло через горловину, но тьма скрыла все, батарея нырнула в неглубокий распадок и как похоронила себя. Машины, отфыркав, успокоились в тени рытвин и кустарников, и остались тускло посверкивать едва освещаемые луной стволы минометов, плиты и лафеты. Какое-то тихое копошение проглядывалось и слышалось по фронту батареи, справа и слева ее. Бубукали голоса; чьи-то ноги приплясывали вокруг устанавливаемых опорных плит, выростали и вырастали едва видимые холмы глины, и где-то в утробе земли лязгали о камни лопаты. Все торопилось укрыться от наливающегося света луны. С левого фланга, обходя щели и неровности, шел человек, и по маленькой фигуре, по вольной шатучей походке и по сутулящимся плечам нетрудно было узнать комбата Рубакова. Он подошел к Трунову, пошатался еще, словно унимал свою походку, и спросил:

— Как? Окопался уже?

— Заканчиваю, — ответил Трунов.

С приглушенно выраженной досадой, с болью даже, с нажимом на главное слово комбат сказал:

— Лопат мало. Лопат, а? Есть «студебеккеры». Мин в достатке. Лопат, этой ерунды, нет.

— И табаку, — добавил полушутливо Трунов.

— Ну, это полбеды. А вот лопаты — да, — сказал Рубаков и закачался в шаг, и, как тень его размылась, Трунов подумал: «Славный мужичок. Отчего мне становится хорошо при встрече с ним?»

Во взводе его всех энергичнее работал Гневышев. Сноровисто и неторопливо он выметывал из щели землю лопатой за лопатой, какая и, должно быть, отдувая губы при каждом броске. Он был уже по грудь в щели, ворочался там в натальной рубахе, скоро и ее стащил.

— Оденьтесь, — приказал Трунов.

— Да кто же видит меня ночью? — спокойно возразил солдат.

— Простынете.

Копать больше было некуда, и Гневышев, как на турнике, вывернулся из ямы на лопате.

— Это вам щель, — предложил он, отряхиваясь.

— Мне руют, — сказал Трунов и кивнул на солдата, которому было приказано изготовить щель для взводного, но тот работал медленно и неохотно, и Трунов, передумав, добавил: — Ладно. Рой и себе рядом.

Прошел месяц, как полк, в котором служил Трунов, оставил артцентр — редкий сосняк, сыпучие пески и голодный паек. Пятая ночь начиналась на фронте, рылась пятая огневая. Первые огневые держались недолго, по три, по четыре часа, и время проходило в оборудовании батареи и в окапывании. Пристреляется первый номер, каждое орудие выстрелит по разу, солдаты бросятся укреплять плиты, выравнять двуноги, а от ровика связиста уже летит команда:

— Отбой!

И уж с пригорка в окружении разведчиков и связистов шаром маленьким катится комбат, паруса полами шинели, придерживая о бок бьющийся парабеллум.

— Почему так скоро отстрелялись? — спросит Трунов комбата.

— Я не больше твоего знаю почему, — ответит он.

Но по тому, как бросали полк то на один участок, то на другой, по тому, как большее время свое находился на колесах и проделывал короткие марши, по тому, как слева и справа и там оказывались те же артполки, те же батареи «катюш», догадывались, что фронт противника прорвать не удавалось.

— Резиновый он у них, фронт-то, — сказал как-то комбат услышанное им слово, и Трунов рисовал в своем воображении, как оттягивается и занимает прежнее положение эта многослойная резина фронта. Теперь она лопнула. Трунов не разбирался в этих скачках, есть старшее начальство, которому положено знать больше. Ему бы только на огневую, тут его работа, и тут он начальник над своими тремя расчетами и тремя орудиями — маленький начальник, неопытный и необстрелянный. Год назад от классов, заставленных и завешанных полусработанными картинами, от тоскующих натурщиц и тихих преподавателей, от робких зарисовок война оторвала его неожиданно и жестоко. Это был крутой поворот, и Трунов все шесть месяцев подготовки в военном училище пребывал в растерянности. Нет, он бойко решал артзадачи, познал материальную часть, а к концу учебы даже постиг строевой шаг, но русско-немецкий словарь, маленькую синюю книжицу, как раз по нагрудному карману, отрешенно читал каждую свободную минуту. Что уж говорить о том, что он боялся и фронта, и возможной смерти И вот на руках у него взвод, и вот он, фронт.

Ему казалось, что с одного полюса жизни перебросили его на другой, и кончился мир счастья и красоты. А может, он просто ошибался в себе, никаких у него талантов нет, и мало ли людей его возраста думают о поэзии, музыке, а время все смысляет, все сравнивает, и оборачивается: духовным-то складом они куда ниже и плоше искусного и мудрого пахаря или слесаря. Да, да, может, тут началась и его «обыкновенная история». Уходя в армию, свою картину «Рождение утра» он свернул в рулон и отнес старому преподавателю. Он выбрал его не потому, что тот был его учитель — учителя в полном смысле он не видел и не мог видеть в захудалом провинциальном училище, — а потому, что учитель стар и в армию его не возьмут, он переживет войну, а Трунов вернется и картину продолжит. Главная мысль, любовь, в картине обозначилась. К ней приглядывались чуткие способные люди и говорили: «Это ты любовь выражаешь, не так ли?» Трунов радовался, молчал и думал, что постиг он малую долю того, что должен постичь, и что он скажет в ней и о «мире», и о «свободе». Он одолеет все, он возьмет эту гору и в постижении истины найдет блаженство и покой. Он даже год постижения определил — 1948-й. А радоваться, то есть быть подле этой горящей свечи, постигать истину он будет по десять, по двенадцать, по шестнадцать часов в сутки. Он и войны-то начавшейся будто не замечал, поглощенный радужным миром видений. Но заметила его война, и не то что заметила, она взяла его за шиворот и вытащила на свет

божий. В первые же дни курсантской жизни он почувал, как предательски выветриваются из него и отлетают взлелеянные радости — «мир», «свобода» и «любовь». Дома, в тиши и уюте, он мог приманить их и рассматривать по целым ночам не смыкая глаз. Здесь он попал в «вертеп», в «ад крошечный», и светлые голуби мечтаний сменились гоготом и рыком, бранью, швырками и толчками, натужно жесткими командами и приказами, ночными тревогами, отработкой построений и зубрежек и тьмой прочих армейских «мелочей», которые угнетали Трунова, рассыпали его и среди этих новых для него людей делали смешным и по-своему потерянным. Он понимал, что «вертеп» этот живет своей наполненной жизнью. А может, он особый какой, не из того теста, как все. И что он, если он особый, взял бы из этой жизни? Спрашивал он себя и отвечал: ничего он тут себе прибавить не сможет, и убьет все светлое и милое, и многое уже убито. Раз заставили его «вести огонь» на кабинетном полигончике, и он понял, что команды, вертикальные и горизонтальные повороты, «вилки», огневые и наблюдательные, — все прошло мимо него. Он стоял истуканом и пялил помутневшие глаза на командира. Кто-то поправил разлепешившуюся на голове пилотку, одернул гимнастерку, развернул ссутуленные плечи — вот таким будь. Как опомнился — в кабинете никого не было. «Что делается со мной? — спросил он себя. — Нет. С этой гадостью надо кончать. И никакой ты не особый, а самая слякоть и есть. И делай, действуй, готовься к битвам, занимай себя чем-нибудь. Ну хоть немецким языком займись, ты же любил его в школе. Займись им, размазня ты этакий».

Слома голову Трунов понесся в библиотеку и с надеждой уставился на библиотекаршу, умолая: «Подарите мне словарь. Русско-немецкий. Прошу вас. Вы мне сделаете доброе дело. Подарите, пожалуйста!» Библиотекарша подарила ему словарь, новый, в синей обложке. Он читал его каждую свободную минуту, не слыша гоготания и насмешек. «Это что придумал наш молчун-то! Он в плен к немцам готовится, чтобы разом заговорить по-ихнему». Степин, глупый паренек, раз выкрал словарь у него. Дознавшись, Трунов смазал его по «сопатке», смазал отчаянно и прилежно и отсидел три дня на гауптвахте, а как вернулся, в тумбочке увидел словарь. «Это тебе старшина отыскал его», — сказал дневальный.

6

— Отдохни, — сказал Трунов разогнувшемуся в щели Гневышеву.

— Поневоле отдых, — ответил солдат и выбросил на бруствер отломанное лезвие лопаты, — теперь во всем расчете две остались, вовсе никудышные.

— Отвоевались, — сказал и Трунов. Он уже заметил, что далеко не последней солдатской заботой была лопата, да не главной ли заботой она была для батарейцев. Украсть лопату в другой части, выменять на хлеб или на табак считалось верхом солдатской находчивости. Хорошо заточенная и отбеленная лопата — предмет гордости и хвастовства. Как же, каким способом найти лопату, думал над этим и Трунов. Можно было бы одну из двух взять у шофера Протасова, но как возьмешь ее у заботливого и запасливого человека — молодец, что имеет лопату лишнюю. Ему и по положению надо иметь две — нелегкое деле укрыть на огневой машину, зарыть, как вон зарыл ее сейчас — вся моторная часть в земле. Плохо знает машину, но сберегает ее усердно. Нет, у него лопату брать не резон

— Лопаты, лопаты, — подумал вслух Трунов, и Гневышен отозвался сейчас же.

— В деревне надо пощупать. Тут вот на увальчике деревенька есть, — сказал он. — Пойдем.

Рывиной, подталкивая друг друга плечами, они вышли к деревне, к ее задам, засеянным просом.

— Вы почему же сами-то? Послали бы кого, — спросил Гневышев.

— Не додумался, — тихо засмеялся Трунов.

— И за себя никого не оставили.

— Да, забыл сделать распоряжение, — спохватился Трунов.

— Ну ладно, ладно. Мы моментом, — успокаивающе проворковал Гневышев. — А ты гляди, как полыхает В распадке-то нам не видно было.

Им пришлось остановиться среди поля, чтобы обозреть полосу огней, которая начиналась на северо-востоке, тянулась на юг и заканчивалась на западе, только малый участок горизонта, там, где они входили в прорыв, был темен. Огни не мерцали, а жили, вытягивались зелеными, красными, оранжевыми полосами трассирующих пуль, бороздили горизонт жирными линиями ракет, растущими то вверх, то вправо, то влево, повисающими на одном месте и лопающимися, обрызгав небо искрами. Вздыхались желтые лезвия прожекторов, теряя отточенные концы в звездах, падали в одном направлении, чтобы подняться в другом.

— Красивая подковка, — сказал Трунов.

— Докрасна накалилась, — добавил Гневышев.

— Разгибать завтра будем.

— Да, — протянул солдат, — а не страшновато?

— Жутковато, Гневышев, это верно, — сознался Трунов. Они перебрали, как речку, просяное поле, затем перелезли через прясло и постучались в первую хату.

— Кого вам? — спросил слабый старушечий голос за ставнем.

— Открой, хозяйка, — потребовал Трунов.

— Эва! Ночью-те? В такую пору-те?

— Тогда укажи, где лопаты.

— О-ё-ё! Лопаты! Им лопаты надо. Да нетути их. Усе поотобраны, усе сворованы.

— Все равно глядеть будем, бабка. Ничего не тронем, лопаты возьмем.

— А нечего и шариться по чужим дворам. Вот, осподи, наказанье-то!

Крепко севшим фонариком они осветили сарай, вовсе пустой, заглянули в хлевушок, в нем пахло подсохшим навозом; залезли на чердак и, сторонясь кос и серпов, пробрались в дальний угол, — и вот они, лопаты, прикрытые посконными снопами, вот они, труженицы крестьянские и фронтовые работницы, пара ловких лопат с резиновыми черенками. Это клад для взвода. Кайло и ломик прихватил еще Гневышев. Бабка палкой колотила о сенную дверь.

— Уж свои-то, свои-то зачем тащут! О-хо-хо! Приташ-шите назад. Не то сама пойду завтра!

— Не ругайся, старуха. С войны вернемся, занесем, — отозвался ей Гневышев и радовался, шагая обратно, — ладные лопатенки. Кажись, из доброго железа. Наповину источились, а все целы.

— А эти-то штуки зачем? — кивнул Трунов на лом и кайло.

— Ты первый раз тут, лейтенант. А я-то знаю, что надо нам, — рассуждал Гневышев и вдруг спохватился: — А соломы-то! Соломы хотел прихватить еще. Хоть тебе бы, лейтенант, в траншейку. Давай-ка я сбегаяю.

— Не надо, не надо, Гневышев. Обойдемся, — поспешил сказать Трунов и подумал: «Вот бы Рубакову, комбату, в ординарцы его. Да нет. И себе нужен такой солдат».

Подойдя к взводу, они услышали смех и колготню, которые при лейтенанте сразу же оборвались.

— Что за шум тут? — спросил он помкомвзвода.
— Да нечего делать им, вот и шумят, — ответил тот.
— А все-таки? — настаивал Трунов.

— Да вот принесли, смотрите.

У самых ног лейтенанта лежал ворох одеял, подушек.

— Откуда это все? — спросил он.

— Да вот Жуков. Где ты это достал? — спрашивал и улыбался помкомвзвода.

Жуков, командир второго расчета, самый молодой и беспокойный солдат, подошел к лейтенанту и спросил:

— Вы меня звали?

— Это откуда все? — повторил лейтенант.

— Это, товарищ лейтенант, из окопов я принес.

— Из каких окопов?

— Да вон там во ржи за бугорком окопы ихние. Да не одни мы. Мы опоздали. Там уж первая и вторая батареи побывали. Ишь, как немцы воюют, с подушками.

— Побросали все и утекли, — добавил другой солдат.

— А отчего ты веселый такой, Жуков? — спросил Трунов.

— А я там, лейтенант, нашел маленько. Вы только не подумайте, что пьян. Одна бутылка нашлась. На четверых одна.

Трунов хотел было распорядиться — отнести барахло куда-нибудь в ров, но он знал, что распорядится напрасно и все будет растащено по щелям.

— Вшей, поди, там кучи, — сказал он.

— Они народ чистоплотный, — засмеялся Жуков. — Я вам самое хорошее одеяло дам. Берите. Пощупайте, какое мягкое.

Лейтенант молча отошел к своей щели и хотел было залезть в нее и растянуться на сырой и холодной глине, но его окликнул Буретин, командир второго взвода.

— Мягко же будет нынче спать. Тебе что приволокли? Я три подушки забрал.

Трунов прислушивался, лежа на бруствере, как Буретин басовито выспрашивал своего солдата Зайнутдинова:

— Ну, так еще что в плов идет? Ох, и плов же вы варите, во рту тает.

— У, пулов! У, карашо! — подпрыгивал Зайнутдинов.

В какой уж раз, подстрекаемый Буретиным, солдат рассказывал, как варится плов, какой огонь нужен вначале, какой потом. Буретин сидел на стволе миномета и хохотал. Он любил садиться на ствол или на плиту и как бы срастался с ними, с металлом, и вообще он казался статуей, которая сорвалась однажды с пьедестала и маялась в поисках надежной для себя опоры. Передвигалась по огневой его медная фигура медленно. Брюки чуть не лопались на тугих коленях. Медные запястья рук распирали обшлага, казалось, вот-вот посыплются пуговицы. С лица Буретин был бронзово-медный, гладкий, полированный. Широкий крепчайший нос и маленькие глазенки, — как-то все так подобрано, чтобы иметь схожесть со статуей. В лагерях из столовой он выходил обиженный, проклинал поваров, и разговор о еде не сходил с его уст до тех пор, пока повар не выходил из столовой и не кричал: «Эй, Буретин, иди-ка давай!» Это командир полка распорядился давать ему добавочное, но как-то неудобно было Буретину при товарищах съедать все сразу, он делал перерыв и шел второй раз по приглашению повара. В лагерях, случалось, он бывал пьян, он падал на сосновые ветки нар и отключался от войны и армии, бредя о паровозе. Он требовал смены стрелок, звал дежурного по станции, спорил о дышлах, поршнях и клапанах, вставлял в рот пальцы и пронзительно высвистывал два коротких и один длинный. В такие минуты он казался не пьяным, а помешанным. Успокаивался, лишь когда подходил Трунов и, взяв лист бумаги, писал рапорт под диктовку самого Буретина.

«Прошу отправить меня служить на паровоз». После этого он засыпал как дитя. Трунова он отличал от других взводных и относился к нему уважительно. Он и стеснялся его, и тянулся к нему, и дивился, что это за штука такая — художник.

— Это ты учился, стало быть, года три? — спрашивал он Трунова.

— Четыре, — отвечал тот.

— Че-ты-ре! И что же ты постиг за столько годов?

Вопрос был не легкий, и Трунов отмалчивался, улыбаясь.

— Как это ты угодил в минометчики? — спрашивал он, и слово «ты» звучало приглушенно и не так басовито. А вообще он не жалел голоса, и, казалось, он и есть старший на батарее. Трубным басом он словно забавлялся, как певец любит своею своим голосом. Смех его долетал до первой батареи, а комбат спрашивал в трубку с наблюдательного: «Это Буретин опять ржет?»

Поболтав с Зайнутдиновым о плове, Буретин подошел к щели Трунова.

— Эка ночь месячная. Запечатлей меня, Трунов. Нарисуй меня вот таким, как есть сейчас.

Буретин стал над щелью, расставив ноги, отчего плащ-палатка раскрылилась, а пряжки ремня и полевой сумки зажглись слабым светом месяца.

— На отдых выйдем, нарисую, Коля. Даю слово. Я и сам о том думал.

— Думал! Ха-ха-ха! — привертывал свой хохот Буретин, потому что все в эту ночь казалось тихим и приглашенным.

— Вот и договорились, — сказал Буретин, — а теперь к тебе вопросик, служба, — обратился он к Гневышеву, — табачок есть?

Третий день на батарее нет табаку, и люди ходят друг к другу как что потеряли. В эти трудные дни в мешке Гневышева отыскался самосад. Солдаты прибегали из других батарей, табак быстро раскурили, и весь минувший день Гневышев показывал пустой кисет.

— На одну-то завертку наскребешь, — приставал к нему Буретин.

— Ни пол-одной нету, — отвечал солдат, — было, лейтенант, было, комбату на НП отослал. Сам вот мешочек нюхаю.

* * *

Когда вошли в прорыв и окопались, Гневышев почувствовал в себе неясность. Где-то там осталась земля своих, а еще дальше дом и семья — там все едино и ясно. Эта же земля ночь назад была у немцев и дышала и жила иной жизнью. Вот и эта рожь под луной, как бездна холодная, колышется — кто ее сеял? И вспахана земля кем-то, и посеян хлеб, и выколосился на русской земле этот хлеб, и не вовсе он тебе родня, потому что зачат он и взлелеян для другой судьбы. А ночь перевернула все, и складываться судьбе его будет не по-замышленному. А пока не этому хлебу низкий поклон. Там далеко, за просторами в семь ночей, там идет настоящая своя жизнь. И тепло той жизни дотягивается досюда. Разная была та житуха за немалую жизнь Гневышева, а вот, поди ты, и горькое и хорошее соединились в один зов, в одну песню, которая уж три года складывается и все не кончена. Что такое с ним, мужиком, делается — он там, там больше. И если он вдруг только тут, ему плохо, он что-то теряет, что-то искать надо, как вот трубку эту ищет суетно по всем карманам. Для дум ли место это, да и слышал он, что солдату на фронте и думать не о чем, кроме как о вражине-немце, сюда все думы должны сбегаться. По рассудку оно вроде бы и так, а по сердцу не получается. Может, Гневышев один такой, а вон те молоденькие... Да нет, и они не думая думают и не помня помнят о том, что там за семью-то ночами осталось.

* * *

— Эй, спишь, что ли? — услышал Гневышев над собой голос комбата. Это он еще не ушел на НП или вернулся оттуда — растерялся во времени Гневышев. Он поднялся в щели, поломался, покачался в поясе, разминаясь.

— Кто же это вырыл ровик для мин?

— Я рыл, — ответил Гневывшев.

— Рядом-то с орудием?

Гневывшев оперся локтями о бруствер и вывалился из ямы, отряхнулся и стал перед капитаном навтыжку. Он был еще у себя в деревне и не понимал, в чем его оплошка.

— Это я распорядился, — сказал подошедший Трунов. — Тут, капитан, кусты, тут бугор, больше некуда.

— Так вот в кусты, в кусты, подальше. Поднимайте расчет и копайте.

Лопату Гневывшев держал подле себя, в щели. Он достал ее, протер травой и пошел в заросли березняка и орешника. Оно правильно командир сказал, там безопаснее, но какая работа, до рассвета пророешься. Гневывшев постоял в кустах, покряхтел, досадуя. Как много у минометчиков этой зряшной разовой работы. А потом еще придут сюда мужики здешние и заочно облают за разор леска. Он потоптался в кустарнике и, поняв, что лопатой одной тут ничего не сделаешь, вернулся назад.

— Идем, идем, старина, — поторапливал его командир расчета.

— Ломы, топоры берите, — сказал Гневывшев. Ребятам хотелось поскорей отделаться от безвременной работы, и они, пошвырнув шинели, торопливо принялись за дело. Хрустели корни, звенели топоры. Луна уже склонялась к горизонту, и было не понять, ее ли свет или свет утра брезжит над головами. Скоро среди кустов обозначилась яма, пахло парной землей, измятой травой.

— Ну, скоро бегать тебе, солдат, в этот лесок, — сказал командир расчета, и Гневывшеву подумалось, что таскают ребята ящики в лес нарочно, чтобы помучить утром его, похихотать над его немолодой медлительностью, поругать и покричать на него: ящики были тяжелые, в каждом по две пудовые мины. Сколько дерева тратится, сколько зряшной работы! Кто-то стружками набил их, подставочки выпилил для боеголовок и стабилизатора, и все это на один миг. Утром, как начнется огонь, затрещат доски, вывалятся внутренности, все это останется гнить в кустах или сгорит на кострах.

— Пошли досыпать, — сказал командир расчета. Гневывшев прихватил несколько оторванных досок, он их под бок положит, не так будет холодить, и уснет маленько. Чтобы ничего не вспоминать, он так вот, ничком ляжет, голова скорее отяжелеет, к глазам тугота подойдет, может, и поспит. И так оно с первого раза на сон потянуло, поплыл, поплыл Гневывшев на теплых волнах, а в глазах Нюрка выросла. Так сладко, так нужно, так безысходно увиделась, что и сна не надо, лучше о ней думать, о Нюрке своей, не нонешней — той молоденькой, которую они с отцом сватали в чужом селе.

18

Как-то вовсе неожиданно на огневой появился старшина Трифонов. Огневая стоит не бог знает как близко к переднему краю, а Трифонов, околавившись где-то подле кухни, в делах своих ровно опаздывал: то с хлебом неладно, то вовремя каша не сварилась, то соли под руками не оказалось. На заре Трифопова не ждали, видно, кто-то его подтолкнул, чья-то сильная рука подействовала. В Трифопове хорошо уживались трусость и веселость. Этот раз, как бывало и раньше, он обратился с настороженной живостью к Трунову, к человеку без строгости, мягкому человеку, он с ним на формировке все заговаривал, стараясь казаться начитанным, и все толковал о какой-то пьесе, в которой Сарра Бернар рифмовалась со старой бороней. Ему нравилась игра звуков, и только. Любил он стихи за «складность» и под хмельком с рыданием в голосе декламировал «Девятнадцати лет после смерти отца», перевирал стихи безбожно, а под конец ронял голову на грудь и пускал натуральную слезу, бормоча «вспомнишь, жизнь

не мила тебе станет». Жизнь в старшине бурлила ключом, и он боялся бомбежек и артобстрелов. Его кухня имела привычку отставать и теряться по причине заготовки дров, поисков воды, а объясняться с начальством он умел вполне искренне, дотошно и обмозгованно.

— Как? Тихо пока? — обратился он к лейтенанту.

— Пока молчат, — ответил Трунов.

— Ага! — заблестел голубыми глазами старшина. — Соображают: дай поможем старшине покормить ребят.

— Какая нынче? — спросил Трунов, имея в виду кашу.

— Вчерашнее меню.

— На сале или как?

— На тушенке.

— О! — Трунов потер руками. — Гневышев, эй, Гневышев!

Лишь перед зорькой Гневышев заснул и тотчас увидел сон — барахолку давнюю, пермскую, вовсе не так увидел, как было в действительности, только черный бушлатик был тот самый, с замасленной кромкой на рукавах, с помятой железной пуговицей и с насекомой, ползущей по рукаву. Он тогда перевернул другой стороной бушлатик и сунул его в руки покупателю, а пятнадцать рублей скомкал в кулаке и бросился к водному вокзалу. К чему бы во сне эта явь давняя, к чему эта насекомая, к чему ее видят, к худу или к добру?

— Гневышев! Ты что же, брат, заваялся? — обратился еще раз к нему Трунов. — Пшенка прибыла, где котелок?

— А! Как рано сегодня кормят, — поднялся Гневышев и загремел котелком. Сминая в горсти лицо и припадая на ногу, которая пристыла от земли и онемела, Гневышев шагал к бачку, там была уже очередь. Повара не было, и орудовал у котла сам старшина, что было на руку Гневышеву.

— Это вот комвзводу Трунову, а это мне, — сказал он, подавая котелки.

— Это что за комвзвод? — притко спросил Трифонов.

— Это по-старому, по той войне. Ну, лейтенанту.

— А! Вот так бы и говорил, — сказал Трифонов, а Гневышев знал, что намек его окажет пользу. Видать, из дальнего угла хватил ковшом старшина, каши было много, полный котелок, и мясных прожилок было гуще, чем у других. К брустверу лейтенантовой щели подошел и Трифонов, когда разбросал из бачка еду. Он растянулся рядом, приминая в своем котелке с верхом наложенную кашу.

— Это кто, ординарец твой? — спросил старшина, но Трунов промолчал, оглядев размягченно-внимательным взглядом солдата. Старшина есть не хотел, он глядел, как аппетитно и неторопливо ели кашу солдаты, разметавшись по траве или склонившись над котелками, и достал из-за голенища сапога тоненькую с красной каймой книжку.

— Ты погоди еще, — обратился он к Трунову. — Я перепишу один стих. Этот самый, где Алешку-то поминают. «По-русски рубаху рванув на груди». Вот как умирают! Я его перепишу и Алешке, дружку, отправлю. А скажи, Трунов, что означают те буквы в начале книжки. «В. С»?

— «В. С»? А я ведь тоже не знаю. Посвящение, должно быть.

— «В. С», и только. Это чтобы одна она знала. «Будем знать только мы с тобой». А ведь не получится. Книжка-то для мира написана. Кто она — жена ему?

— Может, и жена, какое наше дело. Ты книжку не потеряй.

— Да ну! Из-за голенища-то? Ну, знаешь, хороша. С елки-то, говорит, мне тебя подарят.

— Заучиваешь?

— Само лезет в башку.

Гневышев коркой хлебной подчистил посудину и сунул в вещмешок, Трифонов

свой котелок ему пододвинул и воззрился на рожь, сказав этим — «ешь, не жалко». Гневывшев отъел две неполные ложки, вроде как попробовал, и, ложку свою облизав, затолкал за обмотку. Трифонов потянулся за узлом, сквозь марлю виднелись в нем хлеб и кастрюля. Так завязывали еду, когда отправлялись на далекое поле жать.

— Давай кого-нибудь, лейтенант. Пусть пожрать отнесет на НП.

— Кого пошлешь, все заняты, — возразил Трунов.

— Делов-то километр.

— Сам-то что?

— Некогда самому.

Было ясно, что старшина не хотел идти на НП: далеко и боязно. Кто знает, что будет через минуту или две, вон и солнце выметнуло лучи. Старшина лениво потянулся, зевая, кивнул на котелок с кашей.

— Гневывшев, отнеси его Буретину. Хоть я ему и дивно наклал, но отнеси, он съест. Ну так, лейтенант, пошлешь?

— Иди уж, иди. А то ведь скоро начнется.

Старшина поднялся с земли и, отряхнувшись, пошагал к бачку, громко крича:

— Кто еще чай пить будет? То вылью.

Никто ему не ответил. Старшина вылил чай себе под ноги, взял посудины за проушины и пошагал в гору.

19

Кашу на НП отнести не успели. Связист вскочил на ноги и, не отрываясь от телефонной трубки и оттопырив руку, словно для приветствия, прокричал:

— По места-а-а-ам!

В конце батареи раздался густой бас Буретина:

— Хоть пожрать успели. Спасибо ему.

Послышалась высокоголосая и певучая команда старшего на батарее:

— Приготовиться к бою!

Из ровиков, от котелков своих, из кустов ближних метнулись к минометам солдаты, на бегу расстегивая гимнастерки и сбрасывая на брустверы и в щели ненужные шинели. А Гневывшев аккуратно свернул свою шинель и опустил ее в ровик. Пока шла команда первому миномету, пока возился вокруг него расчет, другие подбивали уже давне подбитые плиты, скрежетали гвоздодерами, открывая ящики. Кряхтение и переругивание перебила громкая команда «одна мина огонь», и сухой треск разнесся по огневой, оставив после себя рассерженное нытье ствола, словно он был недоволен чем-то. Гневывшев снял ремень с пояса и пристегнул его через плечо. Он не помнил, какой бой начинался, по его солдатскому счету. По счету минометчика, это был пятый бой, точнее, пятая огневая, и она должна быть самая нелегкая. Те первые огневые были как бы скользкие, как бы с ходу возникавшие и копались не в полный профиль; такие скоротечные, что в сделанном и оборудованном чуялась ненужность, и по тому, как скоро отстреливались минометы свои и как там, впереди, и слева и справа, становилось все тише и тише, ждалось, что вот-вот объявится отбой. Начнется свертывание батареи: хлопанье чехлов, свинчивание, подтягивание, звон инвентаря, забрасываемого в кузова машин, ворчание моторов и запах бензина. Сегодня утро открыло все законченным, спрятанным, прихлопанным, сделанным сполна и надолго, и думалось, что жить собрались тут не час, не два. И в воздухе к утру как-то все устоялось, и слышен был густой запах зреющей ржи. Чад пристреливающегося миномета не погасил сырых светлых запахов лета. Гневывшев все еще не привык быть далеко от передовой.

Этот четвертый раз для него казался по-своему трудным и непонятным — ничего ты не знаешь, что делается за этим полем ржи, где стоят друг против друга свои и немцы. Сомкнулось поле с небом и сделало неведомым все, что дальше. К этому, оказывается, тоже надо привыкать — не видеть-то противника. И голове твоей приучиться надо домысливать, дорисовывать невидимую сторону боя, а без понимания того кажется, что взрослые, и неглупые, люди заняты опасной игрой. Вон Трунов выпятил грудь, косо растянул рот и упоенно кричит:

— Ба-т-та-р-ррея! Одной миной — огонь!

И, словно забавляясь, отвечают ему командиры:

— Выстрел! Выстрел! Выстрел!

И как отгремит батарея, будут слышны звон и грохот соседних батарей, будешь видеть оскалы зубов, округленные глаза, резкие взмахивания рук и странное безголо-сие людей. Тут после разведки-то, можно сказать, покой, тут «дом отдыха», как назвал минометное дело их комбат. Он и сам не раз замечал за собой: война сработала с ним такое, отчего он стал спокойнее, нет у него прежней утомительной суетности, окреп-ла покорность военному делу, и ему хотелось любить всех, кого он вокруг видел: он любил Трунова за неумение браниться и за то, что во всех отношениях со взводом он умел сдержаться, хотя по природе и был горяч. Он любил Жукова, командира своего расчета, за вспыльчивость, невоздержанность и суетность, за лихую, но все еще не-умелую матюгну мальчишки. Он подходил к нему и просил раз только дернуть за спусковой шнур и потом глядел, как мина, выхаркнутая из ствола, уходила в небо, покачивая стабилизатором, словно прощалась. Он даже хотел, чтобы тревога вошла в него, но тревога не входила, а помимо его воли приходило и разворачивалось военное утро, много раз встречаемое, летнее и зимнее, дождливое и, как вот это, солнечное и светлое, словно предназначенное не для войны. В грохоте и звоне, в рычании и гуле примолкли ржаное поле, травы, перелески, и птицы в них с верхних веток слетели вниз, ожидая, скоро ли все это кончится. Думалось Гневышеву, что где-то там, на востоке, тоже утро, и поют над рожью птицы, и покойные туманы, а не сизые заво-локи чада плавают над тихой неиспуганной рожью. Давно-давно, в начале войны, он боялся умереть, думал только об этом, радовался, когда бой стихал и приходила ночь: еще на день подвинулась война к своему концу, ведь не вечна она, и так пройдет оче-редное завтра и послезавтра, и, дай бог, может, спасется он. С годами думы такие сто-рели наконец, испепелились, и ему никогда теперь не вернуться в прежнее состояние. Он стал замечать, что в думах все чаще улетает далеко от войны. Сам себе дивился, как может в громе-то, в грохоте, когда то близко, то вдали лопаются снаряды, как он может думать о прошлом: вспоминать, как покупал, а затем скоро и продавал коро-венку, повторять давнишний с кем-то спор, воскрешать радостные и горькие минуты встреч, расставаний, смертей и рождений. Как старший по возрасту, он жалел всех ребят батареи, он так их в уме и называл «ребята» — и тех, которые были рядом, и тех, кто ими командовал, и тех, кто был не из его взвода, и ел, и ездил, и разговаривал от него далеко. Любил их вот такими — потными, ворочающими двуноги-лафеты, заворачивающими пудовые мины в стволы, отскакивающими и подбегаящими вновь к ухающим орудиям, расстегнутыми, окруженными сидорами, шинелями, ящиками, забывшими, что расслаби обмотки, вот-вот вывалится из-под них другое орудие сол-датское — ложка. Гневышев неторопливо шел в перелесок, заворачивал себе на плечо ящик и подносил к миномету. Шли минуты боя, когда никто еще не устал и каждый был охвачен молодым возбуждением. Вот и Гневышев подошел к Жукову и крикнул ему в самое ухо:

— Пошла работа!

Тот улыбнулся торопливо, должно быть, не расслышал и крикнул в ответ:

— Таскай!

Что-то домашнее виделось в движениях Гневышева, будто ходил по двору хозяин, запрягся неторопливо делать одну работу за другой. Он переколет все напиленные дрова, сложит в поленницы, там начнет хомут чистить, у оглобель тяжи подравняет и толкнет телегу в сарай, двор подметет — и дела сами идут в его руки: меня сделай, меня возьми. Не торопи Гневышева сделать все дела на огневой, он бы сделал их — не торопи воина. Не сломает Гневышев гвоздодером досок, снимет их осторожно и грудкой сложит подле, будто нужны они ему огород городить. А как создаст подле орудия запасец мин, примется помогать солдату навешивать на стабилизаторы кисло пахнущие колбаски зарядов, став на колени, потому что ему не по годам сидеть на корточках. А тут заметит — ремень спуска короток и стреляющий боязливо тянется за ним из ровика, Гневышев сидор развяжет и, порывшись, извлечет конец шнура, скрутит его вдвое и привяжет к ремню.

— Пробуй-ка.

Когда чаще стали рваться немецкие снаряды, Гневышев позвал шофера.

— Подсоби-ка, парень, не успеем.

— А что такое? — спросил Протасов.

— Кидать часто стал. Мы ямку выкопаем и туда мины. А вдруг ахнет.

— Ахнет, так всяко ахнет.

— Вот я и говорю, чтобы не шибко.

— Этого не надо, — услышал разговор Трунов. — Не надо ямы подле орудия. Из лесу почаще носи.

Гневышев поглядел на Трунова, соображая, руку к затылку занес, но, не поцарапав его, догадливо крякнул.

— Эт-та верна. Не докумекал, — осудил себя Гневышев и пошагал в перелесок, качая черной пропотелой спиной.

21

«Юнкерсы», разбитые на тройки, плыли на небольшой высоте, и было ясно, что шли они бомбить не дальние тылы, хотя шли и напористо. Ватные цветки разрывов развертывались и вили вокруг них.

— Пролетят, — сказал Жуков, высовываясь из щели.

— Погоди-ка, — ответил ему Гневышев.

Из первой тройки вывалился передний и, кренясь на крыло, как бы поворотил назад. Передняя часть его словно оступилась на воздушной дороге, и со свистом и воем он стал падать, казалось, прямо на Гневышева, будто его-то он и разглядел, его-то ему и надо. Удары один за другим завстряхивали землю, с брустверов посыпались комья глины, падая на ноги, на голову, на спину. «Эко хлещет, — думал Гневышев, — эко не знает, что все попрятались, выколушни попробуй. Э, вовсе рядом уронил, черт, так всю щель порушить может, берись потом за лопату да поправляй. А землей, а глиной как запахло, да я, кажись, наполовину похоронен. Ну бей, черт с тобой, прямого-то попадания на свете не бывает, все равно это не разведка, и родимая земля запрячет. Однако все там наверху исперекорежило, и минометы, поди, опрокинулись и лежат вверх лафетами». Когда упала такая же тяжелая и пустая тишина, Гневышев высунул голову и встретился взглядом с Труновым, как из могилы вылезшим, сплошь осыпанным серым прахом земли.

— Жив, старина? — голос лейтенанта казался тонким и слабым.

— Живой, — протянул Гневышев и оглядел небо: оно было чисто, голубо и спокойно. Ни близко, ни далеко не было ни своих, ни чужих самолетов, и, казалось, упала

на землю случайная минута мира. И на батарее не было видно заметных перемен: минометы — их Гневышев пересчитал — стояли на своих местах, упрямо уставившись в небо стволами, и шинели, и вещмешки, и чайник с водой находились там же, и пэтээры так же покойно лежали на отшибе в своих ровиках. Только во ржи желто разметнулись свежие воронки, и хлеб полег вокруг, прибитый землей и взрывом.

— Пошарило и нас чуть-чуть, — крикнул Буретин и встряхнулся, окружив себя облаком пыли.

Трунов все еще стоял в щели и подолом нижней рубахи протирает очки. Жуков запылен не был, может, он успел вытрястись. Глаза его блестящие, он брался за черенок лопаты, показывая на нее, но до лопаты ли сейчас было. Отчаявшись, что его так и не поймут, он спросил:

— Это откуда же такая лопата?

— А бомбой, должно быть, вырыло, — сказал, засмеявшись, Гневышев.

— Не твоя, Протасов? — спросил Трунов.

Шофер оглядел лопату, крепко источенную, немецкую, с толстым, прочно посаженным черенком, и сказал с сожалением:

— Нет, не моя.

— Спокойненько! — хитро улыбнулся Жуков. — Ее волной из шестой батареи занесло. Лежу в щели, а она летит ко мне. Знает, что в ней нуждишка.

— Ты в кою пору, не в бомбежку ли? — не договорил Гневышев и заметил, как Трунов долгим изучающим взглядом посмотрел в смелые и лукавые глаза Жукова, покачал головой и сказал:

— Ладно. Прилетела так прилетела. Очень-то не показывай. А вообще-то зря из-за...

— Из-за пустяка рискуешь, хотели сказать, — продолжил Жуков. — А нет, лопата не пустяк, лопата — наша спасительница.

Санитар Смирнов, припадая на ногу и придерживая санитарную сумку, понесся в пятую батарею, а Трунову захотелось к телефону, захотелось услышать голос комбата.

— Ваня! Это ты? — спросил Трунов, цепко охватив трубку, и облегченно, даже радостно стал докладывать.

— Да все в порядке. Все цело, все живы, а как у вас на НП? Тоже порядок? Ну и хорошо. Старик? Он цел и невредим. В шестой, Ваня, что-то неладно. Видимо, потеря есть. Возьмись, машину подкатили. Очки-то? Очки пока терпят. Словом, все пока ладно и не убыль на батарее, а прибыль. «Юнкерсы» новые вороночки нарисовали — дай боже, есть где укрыться. Да, да. Дооборудовали они нам огневую, правильно говоришь. И еще прибыль — лопата. Хорошая, немецкая. Жуков в какую-то батарею сбежал. Пока они, как куры, прятались в щелях, он прогулочку сделал. Вот тебе и мальчишка, вот тебе и необстрелянный. Как ты, Ваня, думаешь, прилетят еще?.. Не раз! Да нет. Нет пока ни табака, ни Трифонова.

Пока не были подвезены мины, расчеты углубляли ровики ПТР, Гневышев прижимал к плечу металлическую пластину приклада, зная, как сильно отдаст ПТР и как нелегко из него вести огонь. Кончив работу, солдаты один за другим попрятались в самой ближней, еще сырой и прохладной воронке.

— Вот это воюем, — заговорил Жуков. — Бросаем мины, а куда, сами не видим. Гляди, и война кончится, а мы немца живого и не увидим.

— Не все не видели, — сказал Гневышев.

— Вот и рассказал бы, пока мин нет, — наивно ширя глаза, попросил Жуков. За эти пять огневых Жуков заметно освоился, по привычке, сошло с лица напряжение, как-то обмялся, смягчился его острый приткий взгляд, голос, который вздрагивал и рвался, когда он подавал команду, стал ровнее и певучее. Командуя расчетом, он всеми силами старался казаться старше своих восемнадцати годов, но мальчишески припухшие губы, быстрая смена восторга на досаду и огорчение, особенно светлые, поч-

ти белые ресницы и брови делали его шестнадцатилетним подростком. Как-то скоро пришла к нему развязность — спасительница от страха, но бояться он не переставал: он первым улавливал звуки приближающихся самолетов, первым клонил голову, чуя шуршание пролетающих над головой снарядов, а в воронке выбрал сейчас самое горлышко, самое глубокое место.

— Говорят, второй снаряд в воронку не угадывает, — намекнул Гневышев на усердное желание парня обезопаситься.

— Я еще в школе об этом знал, — сказал Жуков, — вовсе не существует вероятности попадания.

— Вот сиди и не бойся.

— Я и не боюсь, — возмутился Жуков, — откуда ты взял, что я боюсь. Я просто удобнее сел, чтобы слушать тебя. Верно, пока мин нет, давай.

— Это не будет их, так и сидеть целый день? — спросил Гневышев.

— А ПТР на что? — вмешался в разговор Буретин. — Придут танки, и работа найдется. А пока рассказывай.

— О чем рассказывать? — вздохнул Гневышев.

— Про разведку, — попросил Жуков.

— На войне про войну? Что-то неладно.

— Расскажи тогда, как женился, — посоветовал Буретин.

— Ага. Вот хороший разговор.

Жуков расширил глаза и озорно спросил:

— А то расскажи, как кулачили тебя. Ведь кулачили, а, кулачили? — заглядывал он в глаза Гневышева. — Молчишь, сопишь, думку думаешь. Поди, жалко? Старой жизни-то?

— Эко привязался, — отмахнулся Гневышев и заметил за собой, как медленно с лица его сходила слабая улыбка, хоть он и старался ее удерживать. Это не прошло мимо глаза Жукова.

— Угадал же ведь, угадал!

— Да что на нем, написано, что ли? — заступился за солдата Буретин.

— Я по книгам сужу, — продолжал Жуков. — Я кучу их проглотил. И все про кулаков. Как тут не втемяшишь в башку. У меня вот тут сидит кулачина книжный. А в жизни не видел. Ну, как сказочный герой, невидимка. Я даже сон раз видел, как кулачина душить меня принялся, едва вырвался от него. Вот так я его и воображал всегда: сутуловатым, молчаливым, щуроглазым, как ты, Гневышев.

— Мои родные кулачены, — уставился на Жукова Трунов. — По мне это видно? Я ведь тоже молчу, тоже не из говорунов.

— Маленько и по тебе заметно, товарищ лейтенант. Маленько, — захохотал Жуков.

Трунов лежал дальше всех, не в воронке, а на отвале ее, сыром и парящем под солнцем. Он оглядел всех скользящим взглядом и пристукнул кулаком по новенькому планшету:

— Нашли о чем говорить. Так вы договоритесь до точки.

— А! Тут-то и сказать обо всем! — хлопнул себя по круглому колену Буретин. — Тут в самый раз сказать. Мы перед ним, перед немцем-то, все сравнялись.

— И перед смертью, — вставил Гневышев.

— И перед ней тоже, — подхватил Буретин. — А я вот вором был. Ну и судите меня. Меня в училище взяли и выучили на командира, и если сейчас немец сюда придет, я двоих вот этими лапами задушу. А я был вор. Крал хлеб, кожи, раз квартиру обворовал. Не верите — побожусь. Как вор ни ворует... — пословица-то, а я не попался, не судим, открутился. Ну что ты со мной поделаешь, Трунов. Потом машинистом стал, и меня в этот самый, в рабочий контроль, а я вором был.

— Я по харе твоей разбойничьей разгадал такое, — нахраписто уставился на Буретина Жуков.

— Разгадал, говоришь, — захохотал Буретин. — Значит, ты тоже хороший «гад». Это от слова «раз-гад-ывать».

— Ну! В самом же деле! Хватит, — поднял голос Трунов. — Это что в самом деле?

— Ты иди-ка, иди, Трунов, батарею обгляди, непорядок найди. Иди, а мы поговорим тут, — сказал Буретин.

— Шут с вами! — покачал головой старший, оставаясь лежать.

— Ну во-о-от, — вздохнул Буретин. — Кто из нас будет рассказывать? Ты или я?

Гневышев, к которому обратился Буретин, все искоса поглядывал на Жукова, все надо было ему спросить того или объяснить что-то ему.

— Молодой, да ранний, — заговорил он. — Когда ты успел меня окулачить? По книжкам, говоришь, опознал? Книжки, они, как навалются на что, — в прах изничтожат. Я ведь тоже маленько читал их, искал себя, сравнивал с собой и не нашел. Ругачки много, зубовного скрежета, а себя не увидел: а глаз у те ватерпас. Кулачен я, признаюсь. Да сказать, тебе не первому признаюсь, а последний раз в военкомате откровенный разговор был. Я по ранению дома был и к военкому в кабинет завалился. «Вот объясни-ка мне, военком: я кулак, я чужак, значит, а вы мне скомандовали: иди воюй. Я не могу навредить там, на войне-то?» А он мне только и сказал: «Ничего. Сгодишься». А угадал военком, сгодился ведь! Четвертый раз сюда, три раза сваливали.

— Ты не расстраивайся, ты давай все по порядку, — покачал ему колено Буретин. — Ты не бойся ничего. За рассказ твой тебя самое большое в хозроту или в похоронную команду направят, худо ли тебе будет. Спасибо еще скажешь.

— Никуда меня не денут — проверенный кровушкой. Ну вот слушайте, пока время есть. Тут как раз рассказать такое.

* * *

— Эх, черт подери, — поднялся со дна воронки Жуков. — Машина с минами фырчит.

Машину разгрузили вмиг, и так как огня не открывали, то все вновь начали было собираться в воронке.

— Постой-ка, постой, — пригляделся Жуков к солдату из соседней батареи. — Это как к нам Аношкин попал? Что он шарится у нас?

Аношкин ходил по батарее, словно ко всему принюхивался, заглядывал в ровики, порылся в пустых ящиках, даже в машину Протасова заглянул, и, когда его увидел Жуков, он стоял у его орудия и, размахивая лопатой, тряс кулаком и свирепо орал:

— Вашу мать! Я с ног сбился, куда могла согнуться, а она в другой батарее. Да я эту лопату из тысячи отличу. Я ее в похоронной команде за табачок выменял. Сказывай, кто уволок ее? Ты, что ли, белобрысая падла?

Это касалось Жукова, и он поднялся, обтряс шаровары и подошел к Аношкину.

— Ты где ее взял? — спросил он солдата.

— Подле этого миномета, — ответил Аношкин

— Вот и положи ее на место,

— Это как «положи!» — заорал Аношкин. — Да у меня на черенке буквы вырезаны! Гляди, — Аношкин Константин Тихонович.

— Ага! А у меня тоже. Гляди-ка: Жуков Владимир Иванович.

— Верно! Да ты когда это сумел? И как хитро: вырезал и грязью замазал. Ну, ловкач! А скажи, какое клеймо на ней?

— Знаешь, Аношкин, — взялся за лопату Жуков, — у меня тоже приметы есть: черен деревянный и штык железный.

— Ты изгаляться надо мной, сопляк?! — взревел Аношкин. — Ты под стол пешком ходил... молокосос, а я... Как не стыдно!

— Покраснел от стыда, — засмеялся Жуков. — А ну давай, кто у кого отберет.

Цепко держась за черенок, солдаты отталкивали друг друга плечами, кружась, пытаясь и матерясь. Потом, шутя-шутя, и пинаться принялись.

— А ну, чья возьмет, — подливал жару Буретин. Карабины взметывались и били по спинам, явно мешая солдатам, и сперва Аношкин, за ним и Жуков сбросили их. Тут же подобрал их услужливый Гневышев. Налегке, ловчась подплести и побороть друг друга, как петухи, наострились солдаты, скомкав на груди гимнастерки.

— Ну-ка еще маленько! Ну-ка кто кого поборет! Кто кого переборет, того и лопата. А ну, напоследочек, а то вон Трунов идет, — подбадривал Буретин. Солдаты устали и, обхватив друг друга руками, кружились, брызгали слюной, тяжело всхрапывали. Трунов шел от связиста, и все ждали, что веселье сейчас конец, сейчас он, бледный и начальственный, уставится на них осуждающим взглядом и закричит: «Вы с ума сошли! А ну кончайте с этим!» Но Трунов шел как-то слепо и, не дойдя до солдат и ничего не замечая, косо растянул рот:

— Танки-и! По места-ам!

Оттуда, где ржаное поле сходилась с небом, из-за глиняного холма, покинутого немцами оборонительного сооружения, вышел танк. Потянулся он в сторону, как бы вовсе не на огневую позицию минометного дивизиона. Потом уж он развернулся на месте и направился на четвертую батарею.

— К нам в гости прет, — крикнул Жуков, возясь у орудия и поднимая ствол до самой крайней точки. Второпях открыли сосредоточенный огонь всей батареей, и мины начали было рваться вокруг танка, но он одолел опасную полосу, а ближнего огня тяжелые минометы дать не могли. Как-то разом огонь оборвался, люди притихли, скрывшись в ровиках и щелях, и только хлопали пэтээры, да чья-то пушка справа была по танку и мазала. Бухал и Гневышев своим пэтээром, целясь в пушечную и пулеметную амбразуры танка. В бою ему не доводилось стрелять из этого ружья, но он помнил, как на стрельбище его пуля разворотила железную полосу в палец толщиной. Он понимал, что ничего с танком сделать не сможет, разве поцарапает его или случайно попадет в прыгающие и все убегающие от мушки амбразуры. Но он стрелял и стрелял, встряхиваясь от непривычно сильной отдачи и не чуя боли в плече.

«Экой дурак за пушкой сидит», — ворчал он не на себя, не на свою слабость и беспомощность, а на того артиллериста-наводчика, пушка которого хлопала и мазала. Танк был близко, месиво из земли, колосьев и соломы сваливалось с его потолстевших гусениц. Близко уже слышалось оглушающее харканье лениво ворочающегося ствола, треск пулемета, а Гневышев стрелял, сознавая, что не надо бы уже стрелять, потому что и ружье перегрелось, и требовалось делать что-то другое. И тут он увидел, как спереди и слева танка лопнули гранаты, и чья-то бутылка с горючим прилась по башне. Легкие синие лоскутья огня отлетали от брони и свивались в дым, но танк все шел, миновал Гневышева и, ткнувшись в крутой бруствер окопа, промял его неторопливо и опрокинул миномет. «Ну-ка, чо ты дальше скажешь», — прошептал Гневышев и нащупал за собой бутылку. Огонь ее лизнул корявую броню и переполз на бак, из которого лилась огненная струя. «А дырку-то эту не я ли проделал?» — подумалось Гневышеву. Танк рыкнул последний раз, грохот и скрежет его оборвался, и из открывшегося люка один за другим вывалились немцы. Отбиваясь от огня, как от ос, они побежали было от огневой, но тут же попадали в рожь, молчаливо и ожесточенно тычась лбами о землю. Гневышев искал взглядом Трунова — ему сейчас же хотелось увидеть лейтенанта, посмотреть в глаза и найти в них и испуг, и удаль, и вздох, и легкость, все то, что он сам испытал после первого своего боя, хотелось крикнуть что-то радостное или хоть круто и весело выругаться. Но лейтенанта он не находил и тревожно спросил Жукова:

— А где командир? Где?

— А верно, где? — спохватился и тот.

«Неужели еще в ровике! — испугался Гневышев. — Что он медлит, что копается?» Он обежал горящий танк, перескочил через распластанный миномет. Опорная плита его сдвинулась и закрыла щель. Напрягшись, Гневышев отволоч ее в сторону и увидел торчащие из глины сапоги.

— Лопаты! Живо! — крикнул он и, не мешкая, потянул за кирзаки, они, разношенные, сползли с ног. Подоспевший Жуков помог вызволить лейтенанта из земли. Серого и запорошенного, они отнесли его в сторону. Санитар Смирнов захопотал подле Трунова. Расчеты бойко оттащивали от огня мины. Но танк взрывать не думал. Он подымил еще немного и притих, и, словно забыв о случившемся, батарея пристрелялась и повела огонь по новой цели. Лейтенант Буретин поднимал и опускал руку, ширил глаза и перекашивал рот, будто хотел перекричать стальной рев орудий:

— Огонь! Огонь!

Трунов лежал, привалясь к ящику головой, непонимающе оглядывал огневую и вяло тер тылом руки шею и лицо. Он сам подтянулся к ящику, потому что лежать пластом было стыдно; он считал себя виноватым в том, что не осмотрелся и так несуразно его зарыло в ровике; что все работали, все здоровы, лишь он лежал, и извинительная улыбка набегала на его лицо. Он попытался подняться, но дрожащие слабые руки сламывались в локтях, и он опускался опять головой на ящик. После огня, как измочаленные, вытирая пот подолами гимнастерок, солдаты падали на траву, сваливались подле Трунова.

— Ну, как, лейтенант? — спросил его Жуков. — Мы же вон как волокли тебя. Как корягу замытую выворотили Ну, как?

— Шею немного поламывает, — ответил Трунов.

— Это ерунда. Запиши в книжечку, мол, такого-то числа хорошо отделался.

— Да вот потеря: очки куда-то подевались.

— То я и гляжу, каким-то другим ты стал.

И все отметили осунувшиеся без очков лицо и нос лейтенанта.

— Отыскать лейтенанту очки, — распорядился Жуков.

Подошел Буретин и сел на землю, охватив колени руками, и Гневышев сел рядом, и все были потные, жаркие и счастливые, как охотники, за спиной которых лежал поверженный медведь, а им и дела нет до него. Танк, как помеха, торчал на огневой, обгоревших немцев спрятала рожь, и никто о них не проронил ни слова.

— Вот покурить бы кстати, — не унимался Буретин и потер руки.

— Одну бы затяжечку, — с шутливой жалобностью протянул Гневышев.

— А вот и очки, — обрадованно сказал подошедший солдат, подавая их лейтенанту на широкой ладони, — в щели нашли.

— Да, да. Когда тащили, они и сползли с меня, — объяснил Трунов.

— Это воевать в очках — чистая беда, — посочувствовал Гневышев. — Глаза береги и очки береги.

Дрожащей рукой Трунов надел очки, лопнувшие еще в двух местах.

— Дай-ка, — снял их Гневышев. — Что делать с ними? Ведь рассыпятся. У тебя, санитар, клейкопластырь, поди, есть, — обратился он к Смирнову.

Клейкую ткань Гневышев положил на ящик, вырезал складешком два кольца и приклеил их с обеих сторон окуляра. Солдаты засмеялись, когда он надел очки на нос лейтенанта.

— А мы и для другого глаза такую красу сделаем, а то не человек, не сова.

И пока Гневышев возился с очками, Трунов вздрагивал от воспоминаний, как его заваливало в щели и как уж он вовсе похоронил себя. Он улыбнулся продолжительнее, с благодарностью поглядел на Гневышева и потряс его широкую жилистую руку:

— Отремонтировал. Спасибо.

И усталился на новый, третий след танка в ржаном поле. Солдаты выправили Трунову щель. Стала она шире и глубже, и можно было в ней сидеть и лежать и даже плясать, как пошутил Жуков. Трунов торопился войти в себя. Он поднялся на ящик и зашевелил плечами и шеей, словно устанавливал их на прежние места, затем поднялся на ноги и, ставя их широко, как учатся ходить, пошагал к связисту.

— Это ты, Ваня? — обрадовался он, услышав в трубке голос комбата. — Как ты там?

— А что со мной поделается; я среди пехоты Тебя-то здорово?

— Да вот очки.

— То-то же, очки. К бабам в город бегал, а что бы там об очках подумать.

— В кармане у немца нашли, да не подходят

— Говорят, ты поджег танк-то?

— Может, я, может, кто другой

— Гляди, и награда будет. Как там наш портной?

— Ты почему, Ваня, так — «портной». Он на батарею лучший солдат.

— А я нет-нет да и вспоминаю, как он шил нам шинели. А ведь не умел.

— Не умел.

— Не умел, а сшил. Взятся. Это отчего, думаешь?

— Такой уж он прилипчивый к делу. Обглядел весь танк, все искал свои попадания.

— Нашел?

— Бак же пробил!

— Знаю. Давай-ка сюда радиста. Работать надо.

Трунов отошел к своему взводу. Шея и спина по-прежнему ныли, но он, показно бодрясь, встряхивал ими и усердно наблюдал, как солдаты затаскивали в кузов порушенные части миномета и громко удивлялись тому, что самая тонкая и хрупкая из них, прицел, осталась невредимой и что на пять минометов их будет теперь шесть. Затолкали прицел в вещмешок Гневышева, чтобы тот сберег его. Вспомнился Трунову недавний рассказ Гневышева, вспомнилось, как внимательно все слушали его исповедь, а солдат, словно забыл, где он сейчас, улетел далеко и то молодец, то грустнел, голосом менялся и останавливался от волнения. Не выжгли, видать, беды и испытания души его, а взрастили и выправили ее. Здоровое-то от бед становится еще здоровее. Поваливает-работает и тут. Вон как с кряком берет на себя ящики, с кряком опускает их подле миномета и гвоздодером раздирает, сосредоточиваясь и обглядываясь, будто не на войне сейчас, а в тайге лес кряжует и таскает в стопы, чтобы просох к осени. Как-то шире и глубже Трунов видел все вокруг от того солдатского счастья, что остался живой. Ему казалось, что не так опасны стали разрывы снарядов, что рвутся они теперь где-то далеко, стали привычными воющие и пофьюкивающие мины над головой, пролетающие куда-то дальше. И, зная, что не надо бы отрывать солдата от работы, не место бы об этом говорить тут, он сказал Гневышеву:

— О тебе комбат спрашивал. Как, говорит, воюет наш портной.

Гневышев улыбнулся и шинельку, наброшенную на плечи лейтенанта, бегло оглядел, но тут подошел Буретин и спросил Трунова, может ли он теперь распоряжаться огневой.

— Могу, — ответил Трунов коротко и решительно и отошел к первому расчету.

А Гневышев готовил мины и думал теперь о шинелях, как только что думал о Гнедке, последнем его, баргузинском, коне. Он слышал команды, следил за своей ра-

ботой и за огнем батареи, переругивался и перекликался с товарищами, но, с остановками и перерывами, тянул и тянул счастливо подвернувшуюся нить воспоминаний. Вспоминались лагерь и знобкий февраль. В огромной землянке над Гневышевым и батарейцами спали их командиры — Трунов, Буретин и Рубаков. Гневышев спал чутко и прислушивался, как под боками лейтенантов шумели ветки, — это они менялись местами, кого-то клали в середку, чтобы тот часок поспал в тепле. Он знал, что под боком у них шинель Трунова, ноги закутаны маленькой шинелью Рубакова, а большой шинелью Буретина укрыты. Он сам не спал от холода, а думал о командирах, им-то мерзнуть и вовсе не надо бы. Днем он видел: как и все, командиры мерзли на учениях, и ему вздумалось утеплить их шинели. «Я вам их не только на вату посажу, а перешью вам их, из солдатских в командирские переделаю, если позволите», — сказал он раз. «Ты что, портным был?» — спросил его Буретин. «Я завхозом был в пошивочной». — «Ого! Завхозом-то будучи, ловко, поди, научился шить». — «Я приглядливый». — «Валяй, шут с тобой. Теплей будет — и ладно». Два дня тревожился Гневышев, хватит ли у него ловкости на обещанное. За всю жизнь он сшил себе полушубок, неплохо сшил. Сошьет он и шинель. Тут, в солдатах, лишь бы заняться, лишь бы приложить к чему неугомонные руки. «Идите к каптенармусу и шинели ваши на большой номер обменяйте, — попросил он командиров, — и чтобы были они новые и этакого темно-свинцового отлива. А большой размер потому, что из большого малое сделать легче». Затем он решил, что первому будет шить Трунову: он интеллигент, стало быть, смирен, скомандовать путем не может, этот не взыщет, если не так складно получится. Гневышева и от нарядов освободили — шей, солдат, сошьешь хорошо своим командирам, станешь обшивать пятую батарею, а там и шестую. Не зря же комбат шестой батареи зачастил к Гневышеву и все приглядывался к его рукоделию. Первая шинель, труновская, получилась в талию, как для барышни, а ватные плечи и пышный бюст выдавали Трунова за дородную даму. Борта были широкие и топырились, как крылья, и все же шинель складом своим намекала на офицерскую, лучше сказать, перестала походить на солдатскую. Надев шинель на Трунова, солдат долго оглядывал ее, прицокивая и подсвистывая, изучал плод своей фантазии, прикидывая, как и что у новых шинелей прибавить или убавить. Консилиум собрал из каптенармуса и старшины, людей немолодых и рассудительных и с тряпками дело имеющих. «Ба! У меня старая комсоставская шинель есть», — вспомнил каптенармус о своих складских тайниках. И вот уж распорота изношенная шинель и рассмотрены все клинышки и детальки на ней. С хваткой сноровистостью набросился Гневышев на работу — и вот уж обновка на плечах комбата. Так смекнул Гневышев, что сутулость того и малорослость скрасил, вышло отлетисто и лихо, и командиры других батарей глядеть приходили, примеряли шинель на себя и на очередь к Гневышеву становились. «Сошьешь мне вне очереди, я поллитру куплю», — подговаривался комбат шестой, курносый лейтенант Мороз. «Поллитру не надо, — отвечал Гневышев, — я от самого шитья радостно пьян». Матерому Буретину шил особо осторожно, потому что на лишек материала не надеялся, даже при остатке от шинели маленького комбата. Шил и все прикидывал шинель на взводного, щурил глаза и покусывал губы, обдергивал, обглаживал и сказал наконец: «Не получится». «Как не получится?» — громыхнул Буретин. «Тебе нет такого солдатского номера, из какого мог бы командирскую сшить». — «Что же делать?» — загоревал взводный. «Еще одну шинель добудь. Тебе же дают две порции в столовой, дадут и две шинели. Ступай к майору». Разрешил командир полка дать шинель Буретину, и продолжилось гневышевское творение, сладкое творение, минутные радости, полные открытий, мечтаний и опасений, потому опасений, что пожаловал к нему сам майор. Глазом черным глянул искоса на солдата, замершего навывтяжку, и сказал, сунув руку за борт поношенной шинельки: «Сможешь?» «Смогу!» — гаркнул Гневышев. «Из отреза?» — испытующе впился в солдата майор. «Смогу и из

отреза!» — рванул с хрипотой Гневышев, и голова его затуманилась. «Хорошо мне сошьешь, шить будешь замполиту и начштабу. Ясно?» «Ясно!» — проревел Гневышев в упоении и озорстве и уж верил, что и тут получится, лишь дали бы дня два одному побыть и поразмышлять и повзвешивать. Он выпросил эти дни у майора и еще одно условие поставил перед ним: пусть эти шинели будут последними, потому что на них он потратит все силы и способности и дальше начнется слабость и равнодушие. Не видели батарейцы своего портного две недели. Вернулся он из майорской землянки худой и бледный, руки слегка потрясывались, а глаза блестели и чего-то ждали. А ждали они полкового построения и дождались наконец. Перед строем майор шел первым, за ним замполит и начштаба, все в новых с иголочки шинелях, одну ножку стелют, одну линию рук к вискам устремили, и одному Гневышеву введомая тайна, одного его мучает она за полу шинели замполита, никто огрех тот не приметил, ни сам замполит, ни тысяча солдат, никто, кроме острого глаза Гневышева. Один он видит, как слегка заносит полу, как пробегает по ней при шаге досадная волна. Посидеть бы да покумекать еще маленько над этой полкой, но знал Гневышев, что дошел до грани и начался спад его радостного порыва, испортил бы он шинель, уж и так начал портить да остановился на грани неприметности. И тут пристал к нему курносый комбат Мороз — сшей и сшей, — а при наступающей слабости шить шинель на мешкастого и нескладного человека, на болванку этакую шить — риск немалый. Главное, иссяк дар, как иссякает энергия в батарейке, все взяли из него те шесть шинелей, а Мороз нудил: «Сшей!» И не сдержался Гневышев, дай сошью, что уж получится. И сшил. Если выставить с этой шинелью первую, труновскую, то она покажется красавицей. Черт знает, что за ворот получился, хомутом торчит, и собралось на Морозе все как-то сбруисто, даже хлястик на спине торчал седелкой, и в завершение всего бабьим сарафаном вздыбились полы. «Клеш-шинель» назвал ее остряк Жуков, но никто ему не поверил, а сам Мороз гоголем ходил в обновке, ловко козыряя и прищелкивая каблуками. Да, вот он и кончился праздник, принесший и радость и огорчение. Сколько малых и больших радостей и печалей на пути Гневышева, а больше радостей. Вовсе недавно, здесь на фронте, добыл он килограмм муки, как добыл, это солдатская тайна. Зажила идея накормить лейтенанта лепешками. Нашел масла и сковородку, и радостно вспомнить, как они ели и обжигались, и Буретина угостили, и комбату Рубакову на НП послали в газетку завернутых лепешек.

Гневышев отечески поглядел на Трунова, все еще гнувшего, все еще встряхивающего плечами, будто хотел сбросить неотступающую боль. Гневышев с ящиком на плече остановился перед лейтенантом и спросил:

— Может, тебе что надорвали, тащили-то?

— Ну что ты, Гневышев. У меня все в порядке, — ответил Трунов. — А знаешь, на чем я себя прихватил: боя не замечаю, про бой забываю. Будто его и нет.

— Он, и вправду, к вечеру-то глуше стал.

— Нет, нет, как сравню, такой же, а забываюсь.

— Солдатом становишься. Я в четвертый-то раз и слышу его, и не думаю о нем. Я, лейтенант, о другом думаю. О шинелях, тех лагерных, думаю.

— Что же ты о них?

— А хорошо думается, вот и думаю. А ты в щель спустишь, лейтенант.

— Кто же в щелях-то сейчас?

— Да, верно, никого нет в них. Жнем вовсю, жнем, а все от межи отойти не можем. Ни они с того конца, ни мы пожать поля не можем.

— Гляди, завтра-послезавтра рожь-то поспеет.

На самом деле, бой принимал затяжной, ровный характер. Казалось, с обеих сторон как бы чего-то ждали, накапливали, должно быть, силы, готовились к большему. Бог знает, как и что делалось за рожью у них и за плечами у наших? Что извест-

но солдату и взводному у минометов? Укрылись они в первой попавшейся балочке, зарылись, как могли, и ведут огонь по невидимым площадям, по пехоте вражеской, бережливо огонь ведут то одним, то тремя минометами. Залп дадут всей батареей, и смолкнут орудия, спохватившись, и сквозь утомленный мозг услышишь далекие и близкие и тоже нечастые пушечные залпы. А «катюш» стало совсем не видно, и самолеты, наши и чужие, летят на большой высоте, куда-то дальше к ним и дальше к нам. А перед глазами все та же рожь, заметно побуревшая, и белые вызревшие полосы пошли по ней. Завтра, как сойдет роса, надо бы зажинать, и было понятно, что ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю никто жать ее не соберется, она будет прифронтовой неприкосновенной полосой. И было скорбно смотреть на щедрую работу солнца, на догуливавший день, как по заказу подаренный этому сиротеющему полю, страдающему и все-таки живущему прежним миром добра и благодати.

24

Конец огневой пришел неожиданно, как все неожиданным кажется на войне. Трунов поглядел, много ли в ровике мин, и приказал поднести еще. Он пошел было к Буретину, чтобы выпросить пэтээровских патронов, и остановился, услышав сзади раскатистый взрыв тяжелой мины. Фугаска легла в рожь, и только отдельные осколки просвистели над огневой. Трунов пошел дальше, но следующая мина рванула подле орудия Жукова и закрыла его чадом. Трунов метнулся к расчету и почувствовал мгновение, как тугая сила во всю спину толкнула его вперед, приподняла и уронила. Он еще вскочил и успел подумать еще, что живой и сейчас узнает, что случилось с расчетом. На этом и угасла его память. Зажглась она при чувстве стесненности и не сразу. На огневой было необычно тихо. Он понял, что перевязан, зря перевязан, и сейчас сядет, а то и встанет. Он попытался было подняться, но услышал комарино-тонкоголосый окрик санитаря Смирнова:

— Лежать, лейтенант! Тебе нельзя ворочаться!

— Я... ранен, что ли? — спросил Трунов недоуменно.

— В голову, немного, — бросил ему Смирнов с намеренной небрежностью, и Трунов согласился: ранен он и есть и вставать, пожалуй, ни к чему. Но он не так уж плохо чувствует себя, лишь самую малость болит голова. Он и слышит хорошо, только издали будто, и думает и волнуется, даже радуется тому, что вот ранен, а не убит, и это хорошо, счастье, фарт, как говаривал Гневывшев. И не больно и не страшно быть раненым. Сейчас он на огневой, а скоро будет там, где нет ни огневых, ни огня, ни разрывов.

— Дайте пить, — попросил он ровно и спокойно, и Смирнов ответил:

— Там уж, там, врач разрешит, дак... да вон и машина пришла.

«А! Потерплю до вечера», — подумал Трунов, соглашаясь, и покосил глаз на сторону. Рядом лежал Жуков, он узнал его по светлым волосам, каких не было ни у кого в батарее.

— Жуков, — позвал он его.

Жуков не ответил. Его рука лежала близко и можно было ее потрогать, но она слишком белая, и нет на Жукове бинтов. «Да он же мертв!» — ужаснулся Трунов и с усилием перевел взгляд на другую сторону. Там лежал Гневывшев, он поймал взгляд Трунова и подержал в своих, счастливых, глазах, попытался сказать что-то, но лишь слабо пошевелил губами.

— Что у тебя, Гневывшев? — спросил его Трунов.

— Нога, — ответил за него Смирнов, хлопотававший подле, — погоди, Гневывшев. Я тебе сейчас сделаю. Вишь, трубку на табак искрошить просит.

Положив на доску трубку, Смирнов раздавил ее каблуком и мелко искрошил финкой.

— Раза на три хватит, — сказал он и зашумел бумагой. — Не табак, а все ж таки. Гляди, полегче будет. Маячит мне, кроши, мол, трубку. Пробуй-ка.

Пофырчала машина и остановилась. Соскочивший с нее солдат дотолковывался с шофером, как лучше подвести ее, мешала воронка. Впутался голос Смирнова.

— Буретина видели? Он же контужен.

— Буретин за поворотом бегают, — ответил кто-то издали.

— Не убежит?

— На месте крутится. Мы его сейчас подхватим.

Трунову показалось забавным, что так осторожно понесли его в кузов и головой положили на мягкое сиденье. «В голову, потому и осторожничают», — подумалось Трунову. Но он-то знает, что рана — пустяк, так — царапина, за ухом саднит немного. Трунов с жалостью поглядел на Гневышева, положенного рядом, на его свежее-кровяную обмотку, туго накрученную выше колена, на шапку бинтов, которая билась в мелкой дрожи. В запекшихся губах торчал холодный окуроч, солдат снял его с губ языком, уволок в рот, и серо-пепельные скулы заворочались, а сам он устался на Смирнова.

— Еще? — спросил санитар и захлопотал над новой папиросой. Гневышев затаился раз и другой и замер, закрыв глаза. Открыл он их при остановке и прошептал едва слышно:

— Отвоевались. Эко как нас, лейтенант.

— Тут он где-то бегают, — сказал Смирнов и выскочил за борт машины.

Трунову хотелось подняться и посмотреть, как это «бегают» Буретин, что с ним такое? В его голове не было ни кружения, ни шума, какая-то настораживающая легкость чувствовалась в теле. Он поднялся на локоть и увидел Буретина, крупным шагом вышедшего из рытвины и побежавшего к машине. Трунова удивили его маленькие, дико расширенные глаза, открытый рот и вздрагивающие раздутые ноздри. Буретин уже был у машины, но оттолкнулся от нее, прокричав «У-ю-ю-ю», метнулся в сторону. Тогда и колченогий Смирнов побежал за ним, а догнав, обнял его сзади и похлопал, успокаивая, по широкой спине. И тот, обмякший и все еще уююкающий, пошел с ним назад изломанной, разбитой походкой

— Давай, Коля, давай, милай, залезай. У, как тебя оглушило! Вот так, Коля, полежи немного, — и Смирнов поводит над ним руками, как бы завораживая. Буретин растянулся во весь кузов, разметав руки и выдохнув:

— У-ю-ю-ю! О-х-х!

25

Машина шла избитой проселочной дорогой. Позади еще слышались ухающие разрывы снарядов, но война уходила назад. Скрежетали танки, фырчали грузовики. Без строя и неторопливо шли навстречу солдаты, но была тут уже суета тихая, и тихими казались встречные поселки и деревни, полные солдат, машин, белых брезентов над ворохами ящиков — все для войны. Для мира одна борона лишь встретилась на пути, приваленная к пряслу зубьями наружу, словно оцетинилась и молила: «Меня не трогайте», и было горько видеть ее незащитность. Долго и тихо ехали в гору по глыбистой от дождей дороге, и Трунову казалось, что гора эта навсегда разделит мир на две части — на войну и тишину. Они поедут под уклон, в царство покоя. Там он вылечится, уедет в край лесов и гор и станет дописывать картину. Она уже сейчас, в дороге, вставала и вставала перед ним, и особенно ясно виделась та часгь ее, где юноша склонился над девушкой. В целом ему удалось найти мысль о свободе и любви, но

глаза — глаза влюбленных были не те, не найдены, о том он знал и думал раньше и не находил решения. Были приближения, миги, когда он улавливал нечто главное, но оно отступало и терялось. Он туго закрыл глаза, напряг память и вызвал картину всю. Новое озарение напугало его, и он страдальчески сморщился. Он увидел лучащиеся глаза и протянул руку в желании потрогать их, и вдруг блеснули в них алые капли слез. Как удалось ему вообразить эти слезы? Они светились живее самих глаз, живее всего, что было на полотне. Рядом с ними все гасло, все краски — одни капли слез в глазах сверкали огнем, готовые сорваться. И потом, сколько он их ни гасил в сознании, они всплывали с той же скорбной силой и ясностью. «Вот видишь, вот видишь, где и как я нашел это главное, — подумал Трунов. — А нет! Это не то, чего недоставало. Это то, что пришло разрушить сделанное раньше. Слезы размыли все прежнее, ужасные слезы, разрушительные слезы. И не те ли они, которыми я оплакивал жалкие попытки мои сказать о любви и свободе?..»

— Попрошайся, лейтенант, с последним обстрелом, — сказал Смирнов. — Долго не увидишь.

С горы виднелась обширная долина. Она была серо-розовой от закатного солнца. У смыкания неба с землей вырос одуванчик, изящно-круглый, медленно растущий и медленно тающий, а рядом поднимались другие одуванчики, и издали утробно, запоздавшей угрозой пробурчали взрывы, слегка шевельнув землю.

Все, что теперь встречалось взору, было светло и ало, окрашенное пламенеющим солнцем. Как сутки назад, встречные раненые кричали и махали ему руками, махал и он теперь немым и сосредоточенным солдатам, выкрикивал подбадрывающие слова. Его усаживал Смирнов, но он вновь цеплялся за борт и оглядывал все вокруг сверкающими глазами.

— Церковь-то, церковь-то какая розовая! — показывал он пальцем вперед. Это была обыкновенная сельская церковь, давно примолкшая и обветшавшая. Кресты похилились в разные стороны. Крыша зияла дырами, и листы железа свесились на карниз. Стаи голубей кружили над куполом и над сушилом, которое примыкало к стене. Сосновый парк, окружавший церковь, был иссечен осколками, желтые воронки разрывов виднелись между деревьями. Два «газика» стояли возле невысокой паперти. Остановилась их машина, Смирнов отстегнул борт и позвал шофера:

— Давай, Протасов, сперва Трунова.

— Это что же такое в церкви? И почему меня первого? — возмутился Трунов.

— Это полевой госпиталь, — ответил Смирнов. — И давай без шума, лейтенант. У тебя осколок. Давай поспокойнее.

«Он не знает, как хорошо я себя чувствую. И осколок этот — попугать», — подумал Трунов, когда, как в кресло, осторожно посадили его на руки санитар и шофер. Все это странно, что его на руках несут в церковь, в ней он не бывал никогда. Хотя какая же это теперь церковь, она ею была двадцать лет назад, а потом стала зернохранилищем, в пазах и щелях и сейчас, поди, чернеют истлевшие квасники зерна. В сумраке слышались стоны и кашляние. Два-три раненых подняли головы и проводили Трунова взглядами, и от них опять ему стало неловко.

— Да отпустите вы меня, черт возьми? — ворохнулся он.

— Ладно уж, ладно. Вот тут тебя и устроим, — сказал Смирнов, и они положили его в темном углу, насобирав под голову соломы.

— И Гневышева сюда, и Буретина, — попросил Трунов.

После дороги и свежего воздуха тут было сумеречно и душно — пахло кровью и потом. Слабо улавливался запах поля, принесенный свежей ячменной соломой, еще сыроватой и прохладной. Перед глазами зияла большая дыра, соединявшая этажи. Сквозь нее виделась половина купола, и там плавал запыленный, почти черный голубь. Темные ангелы с крылышками и с сияниями над головами печально глядели на бормочущих, охающих или забывшихся людей.

Принесли тихого и бледного Гневышева. Он сам неторопливо собрал для себя солонку.

— А Буретина не уложишь. Вокруг церкви бродит. Я пойду оформлю вас, — сказал Смирнов.

— Ступай, ступай, — согласился Трунов. — И ты, Протасов, ступай. Вам возвращаться надо. Ты прости, Протасов, что поругивал тебя. Такое дело, брат, нельзя не выругаться. Машину ты неважно знаешь.

— Я, лейтенант, месяц на ней только, — оправдывался Протасов.

— Знаю. С тебя нечего взять. Но парень ты хороший. Ты вон как машину оберегаешь, вон как закапываешь ее. Тихий ты, а солдатское дело знаешь. Где можешь, там ты молодец.

У Протасова покатались слезы. Они пришли так неожиданно, что смутили парня, и он их тут же смахнул, зашвыркал, заулыбался и, на колени став, обнял и Трунова и Гневышева поочередно.

— До свиданья. Я пошел, — выдохнул он и с какой-то отчаянностью махнул рукой.

Гневышев его остановил и сухими воспаленными губами зашелестел, роясь в вещмешке:

— Не бойся, Протасов. Ей скоро конец. Не бойся. Да, на-ка прицел вот, совсем забыл, пригодится.

Шофер отходил, оглядывался и махал рукой, таким его и принял в себя оранжевый луч и вынес за двери, и из луча же явился Смирнов с сестрой.

— Вот они, — показал он на своих раненых, — как бы поскорее, а то уж шибко тяжелые.

— Тут легких нет, — бесцветно и привычно ответила она, — скоро ночь, а половина необработанных.

— Хоть этого сперва, с головой.

— Хорошо, хорошо, сержант. Буду знать. Хорошо, — словно отговаривалась сестра, она остановилась перед капитаном, лежащим без памяти.

— Видите, какие есть.

Смирнов не отставал от сестры, доказывая и разъясняя, размахивал руками, а вернувшись, виновато поглядел на своих батарейцев.

— Ну, мы поехали. Надо. До свиданья, — пожал он руки товарищам и бойко зашагал к двери.

Ноги Трунова касались ног капитана-пехотинца, лежащего в другом ряду. Носки крепко избитых сапог капитана беспомощно развернулись на стороны, из груди с хрипом вырывался воздух. Иногда он переставал дышать и, казалось, был уже мертв, но смалу, исподволь начинал дышать вновь, и скоро грудь раздувалась так, что билось и вздрагивало все тело и зябко посверкивали ордена и медали.

«Да, вот он как тяжело ранен, едва ли дождетя операции, — подумал Трунов, — и Гневышев ранен тяжело, даже говорить не может, а я могу говорить и думать и потерпеть могу до утра. Затылок тяжел, так это не так уж страшно. Я здоровее себя чувствую, чем там, на батарее. Вот и дума моя может улететь далеко. Вон куда полетела, на Урал, к Сане, неведомой «заочнице», прекрасной женщине с пышными русыми волосами. А в самом деле, если после госпиталя отпуск дадут, не махнуть ли на Урал, в городок Реж, на ту улочку Озерную, в домик деревянный. Все ли таким будет, как рассказано в ее письмах? А будет вот как все. Приедет он в Реж, и на станции его встретит Саня, которая давно любит и ждет его. Вот уж увидела она, поражена его молодостью и статностью, и смывается, смыывается с ее лица наигранность, несерьез тот, приобретаемый от переписки с «заочником». Губы ее еще поджаты и ироничны, она бодренько потряхивает руку и кокетничает, но взгляд ее что-то поймал, и что-то уж пришлось по сердцу. «Так вот он какой — мой заочник!» — скажет она, и голос

ее подсечется. Они пойдут по малой улочке, и там уж где-то спохватится она: «Какая я невнимательная, дайте же, дайте ваш чемодан, вы ж ранены!» Они улыбнутся друг другу и понесут чемодан вместе, и рука ее теплая коснется его руки. Где-то там у горы (ведь это Урал), где-то у скалы и леса стоит хатка бревенчатая, а из ворот навстречу им выбегает мальчик, так похожий на мать, и она говорит: «Я папу тебе привела, нравится тебе папа?» Мальчишка пожимает плечиками и охватывает их сухонькими руками, ему холодно, он из постели только. Он не помнит папы, не знает, зачем он нужен, но ему так хорошо видеть молодого дяденьку в шинели. У дяденьки нет ружья, нет медалей, да что из того? Он молодой, дадут ему и ружье, и медали. Мальчишка смело карабкается на колени и ручонкой дотрагивается до лица лейтенанта, погладил его, до пилотки дотянулся, и тогда он, Трунов, говорит: «Подарить тебе пилотку со звездой?» Он стягивает с головы тяжелую, просоленную потом пилотку и надевает ее на мальчишку. Как приятно матери, как растрогана она и поспешно нос мальчишке вытирает, помочи на плечико натягивает, и лицо ее, плечи, глаза такие желанные и милые, и не искал ли он их всю жизнь? Не искал ли лицо это, живое и меняющееся...

«Пожалуй, я начинаю бредить», — очнулся от сладких раздумий Трунов. Он дотронулся до шеи, сунул руку под мышку узнать, нет ли жару, но не узнал, догадываясь, что жаркому жара не почувствовать. Он дотронулся до лба Гневышева, сравнивая со своим, но и так ничего не узнал, лишь разбудил дремавшего товарища.

В церкви уж было темно. Лишь под куполом вокруг голубя не замер красный свет. Санитары с фонарем в руках остановились рядом.

— Не дышит, кажется, — сказал один, а другой добавил:

— Он уже.

— Я жив! Что вы! Я живой! — вскричал Трунов, почувствовав, как трудно было ему крикнуть.

— Не о вас, товарищ, мы о капитане. Не дождался, — сказала подошедшая сестра и велела снять ордена, забрать все, что есть в карманах умершего, и унести самого.

Трунов долго глядел на пустое место, уверяя себя, что так вот с ним случиться не может, он все вынесет, только бы жару не было. «Нет, нет. Со мной не будет этого», — прошептал Трунов. Тихо лег на спину и тотчас вернулся на Урал, в бревенчатый домик.

26

...«Милый, милый, милый?» — слышит он голос Сани, добрый ласковый голос, так много в нем задушевности и теплоты. «Вы любили своего мужа?» — спрашивает он ревниво. «Он хороший был человек, но не будем об этом. Я тебя давно люблю. С тех самых пор, как в эшелоне увидела». — «Это в каком эшелоне?» — «Да в том, в каком ты ехал на фронт». — «Я тут ехал? Да, правда, я проезжал тут, но как вы видели, как заметили? Ах да, могли и видеть, конечно. А вас я помню с письма, с того письма, в котором фото было. Я тогда же все сразу понял, что выйдет вот так. Как хорошо все получилось с нами».

...Время, время, как бежит оно. Он, Трунов, уж месяц живет у Сани, он муж ей и отец мальчику. Он и огород вскопает, и сена накосит для коровенки, прясло загородит и ворота поправит, а все, что родится, соберет и в чулан, в погреб, в подполье спрячет. Да вот уж он и копает землю, мягкую, черную, и лопата о камешки почиркивает, потому что Урал. Саня несет ему холодной воды из родника — вот же он рядом. «Пей, Володя, пей, прохолонись». Он пьет, и новая уж дума в голове, не прогнать теперь ее, и он говорит Сане: «Мне непременно надо съездить, надо привезти сюда картину. Я о ней тебе рассказывал. Она о мире, о любви и свободе. Мне же непременно надо ее

закончить, а теперь-то и время. Я и по хозяйству все сделаю, и картину завершу, и ты будешь любовью в ней. Ты не пугайся красных слез, слезы всякие бывают, ты не пугайся, как увидишь ее».

И вот уж собирает его Саня в дальнюю дорогу, напекла шанег, сахарку добыла где-то и чаю щепотку настоящего. Машет она ему с перрона, и он не спускает с нее глаз. Какая женщина! Это бы не потерять ее, это бы спасти красивую, праздничную, высокую жизнь. Ему уже не надо стука колес, не надо тесного, сутолочного купе. Он в светлой мастерской из красного уральского камня. Яркий свет дня залил помещение и осветил полотно, огромное, во всю стену, а стена вон какая, но и кисть длинна, и полнится картина яркими, все красными, все от солнца цветами, и лицо Санино красное, и плачет она алыми слезами. Как слезы эти прекрасны, как заполнили смыслом всю картину!

«Саня! — зовет он подругу свою. — Саня! Гляди, какая ты получилась у меня!»

«Нюра! Нюра! Нюра!» — слышит он издалека и слабо и неохотно догадывается, что это бредит Гневышев. Ему не надо Нюры, не надо Гневышева — Саня нужна ему, светло-алая, огненная Саня. «Саня!» — крикнул Трунов и испугался оттого, что темнеть стала картина, что едва просматривались, а потом и вовсе погасли на ней лица. «Ах, ночь, ночь наступила. Ну что же! Теперь до утра. До утра-а-а? Так долго ждать? А не затем ли Гневышев Нюру позвал, чтобы свечу заветную принесла. И верно, огарочек тонкий несет Нюра, загоразивает рукой, чтобы не погас: вот и пригодилась свечка-то, Гневышев. Он для меня возил ее с собой. Он знал наперед минуту мою трудную, когда осталось так мало работы, всего-то два-три мазка, две-три поправочки. Он такой, Гневышев, он всем помогал, да не он ли, не тот ли он человек, который мир в себе нес, и свободу, и любовь, да ведь он, он на картине-то! Свет так его и выхватил с полотна. Ну все! Гаси, Нюра, свечу. Саня-я-я! Погляди на мою картину последний раз...»

Рука Трунова на минуту поднялась с полу, и пальцы свелись в щепоть, будто все еще держали кисть.

А грудь качалась, гуляла, возносимая порывистыми и судорожными толчками изнутри. Он пил, захлебывался и пил воздух, а его с каждым глотком все более не хватало.

27

Гневышев очнулся от короткого сна и тотчас вспомнил, что звал Нюру, свою жену, и улыбнулся. Ему было приятно, что назвал ее так, пусть во сне, пусть в бреду, если он назвал так ее, стало быть, в какую-то трудную минуту он называл ее не Нюрка — Нюра. Он упрямо искал в памяти день, и стало проясняться: вспомнились редкие леса, зима лютая, холмы и холмы бесконечные тянулись перед глазами — да ведь это Север, это Кыренга, вон где он назвал ее так, да нет, и не тут, а далеко и от этой дали, на Витиме так назвал он ее. И от того далекого Витима, от края земли на другой край поползла нить воспоминаний и уткнулась в Рамодановский вокзал в Нижнем Новгороде. Как ни просил его земляк остаться, ринулся он с Нюркой и детишками через всю землю, через Урал и Сибирь и там купил Гнедка и немудреную тележку. На черном рынке добыл хлеба и круп, подковал коня и выехал в места, о которых слышал смутно. Конишка попался нескорый, но тяглый, и вот уж двести верст позади. Вот и Витим пересечен, вот и район Богдаринский и знаменитое Баргузинзолото. От того Богдарина еще двести верст по горам и лесам лиственничным, подальше от шума и суеты с хорошими справками, с грамотами и рекомендацией. В такую-то даль от мира большого схоронился Евлампий, и на тишину, которая держалась здесь стойко,

на озера и речки, на светлоигольчатые лиственницы он рад бы молиться, да не мог, всего Бога растерял, не было уж опоры в эту сторону, в другую сторону опоры поставлены — в работу радостную, неутомимую работу. Природа наделила его силой лошадиной, умом трезвым, только спокойствие его убавилось изрядно. Часто стал жизнь свою проглядывать и досадно морщился оттого, что самые сердечные подъемы непременно кончались самыми горькими итогами. Хорошо, что заботы новые уведили от неприятных размышлений. Надо было на землянку лесу навалить и свозить его к облюбованному месту, надо в озерах карасей наловить и хоть как-нибудь пробиться первое время. В жилье некорыстное надо влезть до октябрьских северных морозов. И к бригаде приискательской надо попривыкнуть, приглядеться, такие ли они варвары, какими их рисуют издали.

— Ты, Нюра, не куксись. Поди, проклинаешь меня? Не надо. Всяко в жизни бывает, — говорил он в самую глухую пору ночи жене, обнимая ее. — А мы и тут заживем. Увидишь — ловчее всех тут заживем. Я уж затейку тут начинаю затевать.

— Хватит бы с затеями-то. Живи тихо. Всей душой молчи, — шептала ему хозяйка.

— Не могу, Нюра, вижу, не так. Как тут смолчишь.

А затейка-то — станок для валка, для разгрузки шурфа. Как ни новый шурф — строй станок, малая ли работа, сколько времени тратится на поделку его. А давайте-ка, мужики, переносный станок сделаем, переноси его от шурфа к шурфу и разгружай шахту. Внизу накатины крепкие, в них стойки, а к стойкам бастричины, а на них валок. «Дак ты эту технику до зимы проделаешь», — возражали дружки. «Я ее после работы сделаю», — отвечал Евлампий. И скоро забыли приискатели к каждому шурфу валки примачивать. Запрягут Евлампиева коня и станок перевезут.

— Варит у тебя башка, Гневышев, — сказал ему начальник прииска. — Я срисую станок, и по всему прииску пустим его. А ты с этих пор рационализатором будешь у нас. Ну, ставлю тебя бригадиром. С сего дня ты руководишь тут. Ясно?

С этим бригадирством Гневышев чуть на тот свет не ушел. Все самому надо обсмотреть и взвесить и в шурф самому надо спуститься и узнать, верно ли, что камня коснулась. Да вот она, подошва пологая, разостлалась, теперь на сторону можно податься. Указал он, куда на сторону надо лезть, крепежник понадобился, и он крикнул наверх:

— Спускайте вязанку!

А сам в нишу малую стал, чуял, что ли, Гневышев, что наверху парень растяпистый стоял. И развяжись тут вязанка, просвистел крепежник мимо, не задел, а волной выхватил Гневышева и бросил на себя. Синяками отделался, и как стало дивно золота попадаться, сотня, а то и полторы сотни граммов намывалось, тогда и страх забылся, и шутки полетели:

— Это тебя, Гневышев, черт от золота отпугнуть хотел.

После первой же зимы Евлампий в дом просторный перебрался. Лиственничный большеоконный дом с узорчатым карнизом, с балясинами по крыльцу и веранде, а на задах амбар, баню и скотник добрый срубил для Гнедка и коровенки. А как дом и хозяйство достались, знает он да Нюрка. Казалось, что и не спали они, и Нюрка вроде горбатенькой стала от досок и плах, от вершинок лиственничных, как чугун, тяжелых, а Евлампий подсох и поджарым стал. Это ведь даль-то, даль-то какая от мира большого! Тут на двести верст кругом только старательские бригады, три малых поселения да медведи, маралы да сохатые с козулями бродят. Рыбы, сига, из Витима хоть мешками добывай и соли и копти, а девать ее больше некуда. Из приискателей никто и словом не обмолвится, кто ты есть, бригадир. Каждый сюда со своей сложной судьбой притащился. Лишь спирт, разведенный и пахнувший керосином, открывал рты, и то для артельной песни. А любили больше петь «Бродягу с Сахалина». Хлестнут молча по стакану, зажуют куском сохатины, хлестнут по другому, упрутся локтями в стол и, глядя не в глаза друг другу, а в темноту зимних теплых углов, завоюют на ночь. К

другой песне потянутся, повалывают ее, как горячую картошку, сглатывают неразжеванной и опять к бродяге, опять к звериным узким тропам, а за окошком бушует непогода в пятьдесят градусов мороза.

Наконец пришла весна с дымчато-светлым налетом зелени на лиственницах.

— Что-то ты все покрываешь, Евлаха, — говорили ему товарищи и сами же отвечали: — Премию ждет наш бригадир. Считаю, бригада выйдет самой добычливой за весну.

— Хорошо золото идет. Это верно, — соглашался Гневьшев, — должны и премию дать.

Премия не задержалась. Пять бостоновых костюмов и три пары юфтевых сапог болотных, как раз на всю бригаду хватило. Себе Евлампий взял юфтевые. Опять, как на нижегородском автозаводе, хвалили его с трибуны, а станок его, художником срисованный, висел в райклубе и носил имя изобретателя. И было сладко, было гордоволнительно на душе, так и поднимало в какое-то парение, и так страшно становилось, что вдруг кто подкрадется и унесет радость его новую. Увидит кто-нибудь из деревенских станок его и пойдет с лихой вестью куда надо. «А! вот он какой, этот Гневьшев, вишь в бригады, в рационализаторы пробрался, чтобы вредить и палки вставлять в колеса». Гнал эту коварную думу трехдневной районной гулянкой на слете ударников-старателей. Бил себя в грудь Евлампий, когда сидел за одним столом с начальником и уверял горячо:

— У меня планы новые в башке гудят. Штреки — ничего. Штреки такие пойдут. Рассечки, рассечки длиннее надо делать, потому что золото...

Ему не позволял много обещать начальник прииска:

— Хватит, Гневьшев! Сейчас о другом у нас речь тут: гуляй, отдыхай, старатель.

И Гневьшев пил шампанское, пил спирт бочковый, «жененый», пил водку из-под пробки и, выйдя на улицу, выбивал дробь и чечетку, поднимал красное лицо к небу и орал:

*Оставил мать свою старушку,
Детей, красавицу жену...*

Гневьшев зашевелился и зародовался в душе, что вспомнил те давние и высокие минуты, настрой тот, когда он будто на крыльях поднялся, гордый умом своим и золотыми руками, счастливый причастием к чему-то огромному, что он и назвать не мог.

Это после, особенно тут, на войне, он понял глубже и дальше, что это такое «огромное», и с высоты зрелости нынешней поглядел на себя, на того и на этого: вот он, мужик, — пахал, воевал, опять пахал, рвался своим путем к зажиточности, познал мертвое время, но вывели его голова трезвая и руки надежные на добрую дорогу. И зарубцевались раны перед новыми ранами, и вот он нынче, слабый и немощный, миру тому, жизни той говорит спасибо. «Спасибо, — кто-то говорит и ему, — за веру в себя, за жадность к жизни, за то, что сберег мир сладкий и неотступный, который зовется — Родина». Одного хотел бы теперь солдат: пожить маленько да увидеть, как ребята выгоняют вражину из земли, да как погуляют после тяжелой работы, да как засучив рукава примутся ровнять развалины, обстраиваться и добывать себе сытый кусок хлеба. Пускай бы он одыбал от последней раны, пришел бы домой, навалился бы на прясло и увидел бы, как запахнулась дверь и на крыльце появилась Она. Он бы радостно потряс костылями над головой и позвал ее.

— Нюрка! Вот я опять дома.

Нет, нет, не станет дальше думать Гневьшев, да и сердце шибко колотится, и боль все теснее связывает тело. Жар туманит рассудок — не от этих ли дум жар?

Чтобы убедиться, так ли велик его жар, он дотянулся до Трунова, отыскал руку его и тотчас отбросил — она была холодна. Гневывшев едва сел, опершись на руки, и в рассветной мгле увидел длинное тело лейтенанта. «Как смерть-то берет, кажись, и не ждешь. Радовался ведь, что ранен легко, а вот уже смерть, — Гневывшев горько улыбнулся, вспомнив ложку, оставленную на огневой вместе с оторванной ногой... — Да когда же, когда эта операция», — простонал он и огляделся. Были уже видны белые халаты сестер. Санитары несли на носилках то ли живого, то ли умершего, но все это пока жило и двигалось в дальнем ряду. Его ряд у стены все еще не распечатали. «Неужели я не доживу и, как лейтенант, умру? Надо позвать, надо спросить, и пусть уберут его». Он набрал в грудь воздуха и вскрикнул, но крика не получилось, а получилось глухое хрипение. Не поверил Гневывшев и крикнул еще, и опять едва прошуршало в горле. «Это я умираю, с голоса умираю», — подумал он и почувствовал, как стали подкашиваться и дрожать руки, на которые он опирался. Слышалась совсем не та, не вечерняя боль в ноге, не давящая, не душащая, а смягченная, привычно дремлющая. Ему хотелось доказать себе, что он далек от смерти, и он повернулся на бок и достал из вещмешка бумажку, в которой оставалось немного крошева от трубки, но сделать сигаретку уже не мог. Он зашуршал голосом во всю силу, желая обратить внимание соседа.

— Товарищ! Товарищ! — старался он крикнуть, и не получалось, казалось ему, более оттого, что само слово было шелестящее, не звонкое, и он нашел другое.

— Дружба! Дружба!

Это слово давалось труднее, но слышалось в нем некое бубуканье, и Гневывшева слышали. Человек рядом зашевелился и стал брать слово, но и ему, басовитому, оно не давалось.

— Бра... бра... бра-то-ок. Че-го-о те?

— Заверни, — попросил Гневывшев.

Он ждал, слушая, как шелестела бумага в руках соседа, как покивал слабо тот, сунул в рот ему сигарку и поджег. Гневывшев затянулся и задержал в нутре дым, нарочно задержал — что уж будет, и не закашлялся, не поперхнулся, только изо рта и носа повалил дым и голова слегка помутилась. Он трижды затянулся, оболочек себя дымом, опустил сперва на локти, потом на спину и облегченно вздохнул, подумав: «Должно быть, жить буду».

Задремал ли Гневывшев или забылся от курева, не заметил, как подошел к нему человек и потрогал за руку. Гневывшев раскрыл глаза и улыбнулся, узнав Буретина.

— Здорово, лейтенант, — прохрипел Гневывшев и заметил, что Буретин глядел не на него. Он глядел на Трунова, и глаза на потемневшем лице его округлились в испуге. Он долго и молча глядел, потом тихо сказал свое «У-ю-ю!», и по лицу его побежали слезы. Побежали, упали, и лицо его онемело вновь, и таким он стал на колени, сложив на грудь руки товарища. Вздрагивающей неверной рукой он расстегнул нагрудный карман Трунова и вынул синюю книжку. Из нее выпали фотография и три письма-треугольника. Как впервые видел, Буретин долго глядел на фотографию, переводил взгляд на белое лицо Трунова и глядел долго и немо, словно что решал, что додумывал и не мог додумать до конца. «У-ю-ю!» — тоскливо сказал он, замотал головой, сунул книжку, фотографию и письма в свой карман и ушел. Вернулся он через час. Сапоги и брюки его были в глине, лицо в поту. Он тяжело дышал и оглядывался. Как дитя малое осторожно поднял на руки Трунова и тихо понес его между рядами раненых к широкой двери и там скрылся в лучах восходящего солнца.

Утром распечатали ряд Гневывшева. Когда санитары поднесли носилки под него, стоящий тут же Буретин отстранил их. Он закинул на плечо вещмешок Гневывшева,

осторожно подтолкнул руки под солдата и, подняв, отнес его в операционную. Там он подманил к себе врача и, показав на Гневышева, положил свои черные руки на грудь, что означало: «Пожалуйста, сделайте как лучше, это мой однополчанин. Пожалуйста».

— Ладно, ладно, не мешайте, лейтенант, — торопливо проговорил врач, и Буретин вышел. Как маятник, он ходил и час, и два подле двери, останавливался перед ней, словно мог слышать, что делается за ней. Когда вынесли полуживого, не отошедшего еще от наркоза Гневышева, Буретин пошел за носилками и красными воспаленными глазами глядел на бледное лицо солдата, на его открытые и непонимающие глаза, на забинтованный обрубок ноги, ставший еще короче. Машина с ранеными выехала на дорогу и, окружив себя пылью, скрылась за пригорком. Буретин пошел было за ней бойко и решительно. Потом его повело в сторону, но он все еще шагал с прежней энергией и глядя вдаль. Голова его больная все путала и мешала, не уясняла ничего, кроме лица, которое только что видел он и которое исчезло вместе с машиной — ушло последнее, что соединяло его с батареей, и он теперь вовсе один. На сердце было пусто, и хотелось плакать. На его большое тело давила тяжесть, и ноги подкашивались. Он оступился в борозду и упал ничком, выбросив руки вперед. Он спал, встряхиваясь от жадного ненасытного всхрапывания.



АЛЕКСАНДР ГАЙДАЙ



У ВЫЖЖЕННЫХ ВЫСОТ

Затишье

Ни выстрелов, ни криков, ни разрывов...
По небу тихо облако плывёт.
Да на берёзе около обрыва
Малиновка мечтательно поёт.
Затихнет — и тогда услышать можно:
Растёт трава, пчела, жужжа, летит,
Шумит листва деревьев осторожно,
И вновь и вновь малиновка звенит...
Она не знает, глупая пичужка,
Что на войне непрочна тишина,
Что под берёзой спрятанная пушка
Вот-вот ударить по врагу должна.

ГАЙДАЙ Александр Иович (1919–1994). Русский советский поэт, журналист, старший брат кинорежиссёра Леонида Гайдая. Заслуженный работник культуры РСФСР. Член Союза журналистов СССР. Родился 22 апреля 1919 г. в г. Свободный Амурской губернии в семье железнодорожного служащего. В 1923 г. семья переехала в Читу, в 1931 г. — в предместье Глазково г. Иркутска. Окончил 10 классов средней школы, три курса физико-математического факультета Иркутского государственного университета. В 1940 г. отправился в летний военный лагерь в качестве члена литературно-шефской бригады Иркутского отделения Союза писателей СССР. Руководили бригадой Иван Молчанов-Сибирский и Георгий Марков. В бригаде принимали участие: Анатолий Ольхон, Агния Кузнецова, Иннокентий Луговской, Моисей Рыбаков. Участник Великой Отечественной войны, военкор газеты 36-й армии, участник советско-японской войны. Печататься начал в 1934 г. В 1947 г. в Читинском книжном издательстве вышел первый сборник стихов «Стихи». С 1953 г. — специальный корреспондент ТАСС. Скончался 27 октября 1994 г.

Журавли

Я на посту в степи стою, Песок в лицо мне бьёт. А там, в моём родном краю, Сейчас сирень цветёт.	Быть может, сыновьям они Передадут привет. Пусть скажут, что их ждут поля, И мать с победой ждёт, И возле хаты тополя, И на селе народ.
Из-за кустов, из-за ветвей Окошек не видать, А в небе стаи журавлей Курлыкают опять.	Пусть скажут... Но всё дальше зов Весенних журавлей Над лёгкой дымкою лесов, Над зеленью полей.
На долгий журавлиный зов Выходит мать моя. На фронте пять её сынов Да на востоке — я.	Я на посту стою в пыли, Кругом пески белы, А надо мною журавли Кричат: «курлы, курлы...»
Глаза от солнца заслонив, Мать смотрит птицам вслед:	

* * *

Даурская степная сторона.
Стык трёх границ у выжженных высот.
Вода в озёрах синих солона,
Но солонее наш солдатский пот.
Весь день, не поднимая головы,
Орудует лопатой и киркой,
Долбим противотанковые рвы,
Окопы роём.

Сушит землю зной.

Пыль на виски ложится сединой.
Но лишь комбат у нас и вправду сед.
В разгаре страданный год 42-й,
И нам всего по двадцать с малым лет.
Наш боевой экзамен впереди.
Там, за Аргунью, где шумит бурьян.
Всё впереди, всё только впереди:
И первые потери на пути,
И первые медали на груди,
Стремительный бросок через Хинган.
Ещё горит пожарищем закат,
Ещё войне не вышел долгий срок.
В походных кухнях варят концентрат.
— Плесни-ка, друг, добавки в котелок!

Солдатский разговор

Четвёртый день нас дождь сечёт.
В окопе вянут ноги.
И, как река, вода течёт
Вдоль брошенной дороги.

В такую хмарь счастливцев тот,
Кто может спать в землянке,
Кто кипятку в тепле попьёт
И высушит портянки.

А мы сидим, вперёд глядим
Сквозь морок невозможный,
Да иногда в руках дымим
Цигаркой осторожно.

О чём солдатский разговор
В осеннее ненастье?
О том ли, что война — разор?
Что далеко до счастья?

Нет, мы со страстью говорим
В осенний час полночный
О том, как немцев разгромим
И мир устроим прочный.

Тогда, вернувшись в отчий дом
С фронтов, с полей сражений,
Доспим, долюбим, допоём
За все года лишений.

Скорей свести б с фашистом счёт,
Сжить врага со света...
Мы говорим, а дождь сечёт.
И вдруг взвилась ракета.

Огнём распорот мрак ночной.
И вот из-за полянки,
Обдав нас гарью и водой,
Промчались наши танки.

Орудья грянули вдали,
Как гром, неукротимо,
И запах вздыбленной земли
Смешался с едким дымом.

И мы вперёд, вперёд пошли,
И страх нам был неведом,
Ведь каждый видел, что вдали
Цветёт зарёй победа.

Песня о шинели

Мы многое в песнях воспели, —
От песен теплеют сердца.
Споём же, друзья, о шинели,
О верной подруге бойца.
Кто нас от дождя укрывает,
Кто нас от ветров бережёт,
Студёной зимой согревает,
Все тяготы с нами несёт.
Шинель, мы с тобою ходили
Не раз сквозь буран огневой,

Мы вместе с тобою вступили
В жестокий и праведный бой.
Призывно клинки зазвенели,
Над строем сверкнули штыки,
И Сталин в походной шинели
Повёл боевые полки.
Мы сталинским словом согреты,
Пройдём и снега и метель.
В шинель миллионы одеты,
Отчизна одета в шинель.

Присяга

Присяга... Наша клятва свята.
В ней слышен ратной стали звон.
В ней — честь советского солдата
И высший воинский закон.

Она исполнена отваги,
Любви к отечеству полна,

И сила воинской присяги
В огне боёв подтверждена.

Нет благороднее удела,
Чем быть ей верным до конца.
Она ведёт к бессмертью смелых,
На подвиг вдохновив сердца.

Крылатое слово

Когда по дорогам военным
На запад Россия идёт,
Я славлю стихом вдохновенным
Крылатое слово — «вперёд!»

В нём всё — и расплата за беды,
И яростный, гневный порыв,
И отблеск грядущей победы,
И близкого счастья мотив.

Ничто не удержит солдата.
«Вперёд!» — раздаётся в огне.

Гремит в орудийных раскатах,
И слышится, чудится мне:

Над шитью туманных просторов,
Всем телом подавшись вперёд,
Простёр свою руку Суворов
И страстно к победе зовёт:

— Сыны мои, милые чада!
Я вашей отвагой горжусь.
Разите врага без пощады,
Вперёд, за бессмертную Русь!

* * *

Хорошо, когда от любушки
Получишь письмецо —
Просветлеет запылённое
Солдатское лицо.

Станет путь-дорожка дальняя
Незаметна и легка,

И до слёз волнует песенка
Забайкальца-земляка.

Сердце верит: грусть забудется,
И как кончится война,
Всё желанное-мечтанное
Исполнится сполна.

Русская пляска

Эх, и пляска, ну и пляска —
Буря, молния, гроза!
Набекрень надета каска,
Озорно блестят глаза.

Залихватским перебором
Баянист по сердцу бьёт.
Зажигает кровь задором,
Отдышаться не даёт.

— Кто там млеет да робеет?
— Спрячь застенчивость в карман!
— Эй, наддай. наддай сильнее,
Перламутровый баян!

И на звонкий зов баяна,
Статны, молоды, легки,

Вылетают на поляну
Автоматчики-дружки.

Все коленца по порядку
Поначалу повторят,
А потом пойдут вприсядку,
Аж подковки зазвенят!

И летят, летят, как ветер,
Манят робких за собой...
Через час ребята эти
По сигналу вступят в бой.

С той же страстью драться будут,
Будут бить из ППШ!..
В этой пляске наша удаль,
Наша русская душа!

* * *

У высокого тына, у хаты
Провожала мать сына в солдаты.
Но, прощаясь, она не рыдала,
Лишь к сыновней шинели припала.
И сказала ему тихо-тихо:
— Знаю, встретишь ты горе и лихо,
Но я верю в тебя, мой любимый,
Ты вернёшься домой невредимый.
С той поры пролетело три года,
Вырос парень в боях и походах,
В жарких схватках бывал, в наступленьях,
Ни контузий не знал, ни ранений.
Видел смерть, слышал скрежет металла,
Но и смерть перед ним отступала.
Вся страна знает имя героя:
Берегут храбреца среди боя
Материнское благословенье,
Воля к жизни и к смерти презренье.

* * *

О прежнем, о дальнем, о милом
Я вспомнил сегодня не зря.
Пылает с неистовой силой
Над майскою степью заря.

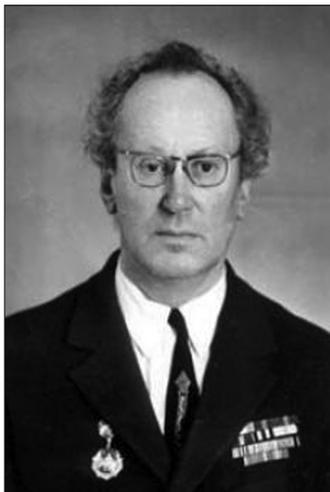
Поёт за брезентовой дверцей
Чуть слышно кудесник-баян.
И пади, и сопки, и сердце
Окутал вечерний туман.

Пропой мне, баян, о разлуке,
О счастье грядущем пропой,
Чтоб легче сквозь беды и муки
Шагать мне солдатской тропой!

Чтоб мог я, как крылья, расправить
Суровую песню мою
И нежность любви переплавить
На гневную ярость в бою...



ЛЕВ КУКУЕВ



Живые и мертвые

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

«Газик», подпрыгивая на ухабах проселочной дороги, мчался вперед, оставляя за собой клубы медленно оседающей пыли.

Штабу инжвойск армии требовалась схема инженерных заграждений противника в районе «Подкова».

Когда слышишь слово «фронт», невольно представляешь грохот боя, наседающие косяки бомбардировщиков, визг падающих бомб, лязг танковых гусениц и беспре-рывный раскат орудийных залпов. Кажется, что все на местности должно быть по-крыто толстым слоем пыли и пепла. А воздух насыщен удушливой гарью.

Подъезжая к фронту, всегда испытываешь неясную тревогу и, только вступив в зону боевых действий, погрузившись в общую обстановку, подчинившись ей, чув-ствуешь, как тебя покидает эта тревога.

КУКУЕВ Лев Архипович (17 мая 1921 г. с. Анцырь Канского района Красноярского края — 26 марта 1992 г. Иркутск). В июне 1941 г. окончил иркутскую школу № 9, в июле был призван в армию, закончил саперное училище. В 1942-м командир саперного взвода, гвардии майор в 1945-м. Подмосковье, Брянщина, Орел, Сталинград, Варшава, Берлин — такой боевой путь будущего писателя. После войны преподавал (с 1947) в Иркутском училище ГВФ. С первыми рассказами и сказками для малышей выступил в иркутской периодике в 1952 г. Успех писателю принес роман *«Живые и мертвые»* (название дано до появления книги К. Симонова), во многом автобиографический, посвященный сибирякам на войне. События, связанные с постройкой целлюлозного комбината на берегах озера Байкал, послужили основой для другой книги Л.А. Кукуева — *«Море в ладонях»*. Член Союза писателей СССР (с 1958), директор Восточно-Сибирского книжного издательства, руководитель Иркутской писательской организации (с 1968 по 1970), член Правления Союза писателей РСФСР (1968–1971). Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I (дважды) и II ст., Красной Звезды и многими боевыми медалями.

Олег вглядывался в окружающее. Судя по карте, оставались последние километры до линии фронта, а признаков этого не было.

Солнце стояло в зените. На небе недвижно, словно застыв, растянулись две белые ленты облаков. Воздух был насыщен густым ароматом медуницы. Хотелось спрятаться в тень дубовой рощи, завалиться в траву, помечтать.

Дорога вела на подъем. Издали виднелось несколько повозок. Они свернули вправо к леску. Курганову ни о чем не хотелось спрашивать случайных встречных, а выехав на возвышенность, сразу самому уточнить по карте путь до ближайшего штаба.

На перевале шофер притормозил и вопросительно посмотрел на Курганова. Впереди раскинулась широкая долина. Река в извилинах и перекатах играла на солнце слепящей радугой. На противоположной стороне прижалось к берегу село, а на подъеме холма ютились шапки деревьев. «Это же Зуша!» Курганов резко повернулся к шоферу, но тот понял его без слов. «Газик» помчался под укрытие дубовой рощи, где группу остановил заградпост.

Из-за реки глухо, но отчетливо донеслось: бум, бум бум... Высоко над головами зашуршали снаряды. «Не наши! — заметил Курганов. — Шуршащие — летят дальше, свистящие — падают... на тебя!..»

Обернувшись, он увидел, как на гребне холма, где несколько минут назад стоял «газик», взметнулись черные клубы дыма, куски вырванной земли и дерна. Олег поежился.

Пожилый сержант с пышными черными усами, проверил документы Курганова, укоризненно покачал головой:

— Демаскируете, товарищ лейтенант! У нас днем на глазах противника не ездят. Вот разве артисты из фронтовой бригады, так те тоже чуть не влипли вчера. — Но, вспомнив о документах, подписанных «большим начальством», и многозначно скользнув взглядом по хромовым сапогам и опрятной диагоналевой форме Курганова, он примирительно добавил: — Ну да ладно. Проскочили для первого раза. Видать, не здешних мест служивые?

Курганов поправил фуражку. В ней он казался себе старше и серьезней. На вопрос сержанта он ничего не ответил. Однако тот не унимался:

— Возможно, и соседями будем...

Курганов понимающе улыбнулся и, первым отковыряв, дал понять, что разговор окончен.

Прошли вторые сутки работы на переднем крае. «Подкова» в излучине Зуши оказалась небезынтересным местом. Она могла послужить трамплином для броска противника, но могла явиться и выгодным плацдармом для нанесения ему удара.

Чутьем сапера Олег понимал, что сведения об инженерных сооружениях гитлеровцев на его схеме неполные. Он готов был ударить об заклад, что три едва заметных холмика в низине — не что иное, как скрытые огневые точки. Но чтобы убедиться в правильности своих выводов, следовало по нейтральной полосе выдвинуться за передний край на две-три сотни метров. Было бы разумней сделать вылазку ночью и с короткой дистанции понаблюдать за противником день. Но срок задания кончался. Минута и та дорога! Надо было рискнуть!..

Странно это или не странно, но Курт Мюллер был примерно одного мнения с Кургановым о значении данного участка фронта. Он считал слабым местом своей обороны низину в основании «Подковы». Однако, к его удовлетворению, там — цепь хорошо замаскированных дотов, надежно прикрытых минными полями.

В течение многих дней Мюллер детально знакомился с противником. Со дня на день он ждал приказ на разведку боем с целью прощупать оборону русских и заполучить пленных.

Наблюдая за поведением русских, Мюллер долго смотрел в бинокль через узкую амбразуру дота.

День уже близился к концу, а с ним подходил и конец дежурству. Солдаты-наблюдатели сидели в стороне, курили и о чем-то тихо разговаривали с ефрейтором. Мюллер тоже хотел закурить, но в последний момент, внимательно взглядевшись вперед, вдруг замер. На нейтральной полосе пошевелилась осока.

С утроенным вниманием он осмотрел каждую кочку, кустик, бугорок. Всмотрелся в камыши и кустарник, что виднелся слева, но ничего не обнаружил. Прошла минута, две, пять. Мюллер начал уже думать, что зрение обмануло его. Но на нейтральной полосе (гораздо ближе!) вновь зашевелилась осока. Черт возьми! Сомнений не оставалось — там люди. И Мюллер даже заметил их. Однако чем ближе они ползли к реке, тем больше скрывали их камыши и трава.

С каждой минутой все трудней и трудней становилось наблюдать за ползущими. Мюллер боялся, что они бесследно исчезнут в каком-нибудь укрытии. Решение созрело мгновенно. Он потребовал винтовку с оптическим прицелом. Не оборачиваясь, крикнул ефрейтору:

— Штальбрук, сообщите на батарею о замеченном противнике. Скажите, что я прошу немедленно открыть огонь после моего выстрела целевой пулей. Русским надо отсечь отход.

Каждый мускул Мюллера напрягся до предела. Рассчитанным движением Мюллер дослал патрон в патронник, снял с предохранителя курок и указательным пальцем нащупал спусковой крючок. На мгновение ему показалось, что он заметил спины ползущих... Нет, нет... Вон там... Да-да! Над травой приподнялась голова. Припав к оптическому прицелу, Мюллер с радостью заключил: «Четыреста метров!» На это расстояние он бьет из снайперской винтовки без промаха. Солнце опускалось за его спиной, ослепляло русских и помогало Мюллеру, Ещё мгновение — расчет на поправку — и он нажал бы на спуск...

Но фуражка скрылась в траве. Проклятье! Мюллер до боли сжал зубы. Ну же, ну!.. Нет, не видно. Возможно, что русские сумели добраться до укрытия. От напряжения слезились глаза, руки немели и слабли.

И, словно две вспышки магна, в стороне от того места, где Мюллер ждал русских, снова блеснули стекла бинокля. На темном фоне осоки он увидел две головы. Одну в фуражке, другую в пилотке. Он прицелился в того, кого считал русским офицером...

Резко и раскатисто прогремел выстрел.

— О, господин лейтенант, вы прекрасный снайпер, — раздался восхищенный возглас ефрейтора, который все еще держал в руках бинокль.

В груди Мюллера что-то клокотало. Он был во власти желания убить и второго русского. Это пьянило и разжигало его.

С минуту стояла тишина. Ее вспорол лязг мины. Правее укрытия русских вырос дымок разрыва.

Немцы открыли беглый огонь.

Мюллер от возбуждения не мог найти себе места. Он бросился к телефону и поспешил доложить о подробностях командиру роты. Однако Фридрих Мауз со своего НП почти все видел сам. Бои во Франции и Польше не прошли для него даром. Он знал, когда и как доложить начальству. Чем больший успех имели его подчиненные, тем большим авторитетом должен был пользоваться и он.

Подвиг Мюллера был подхвачен Маузом на лету. Он немедленно доложил по инстанции о своем подчиненном, сумевшем выследить вражеский наблюдательный пункт и уничтожить офицера-наблюдателя. Русские, конечно, имеют у реки укрытие. Оно настолько удалено от их переднего края, что можно легко захватить наблюдате-

лей в плен. Он просил, чтобы отличившийся офицер с наступлением темноты взял группу солдат и предпринял вылазку.

И разрешение было получено...

8

Первые секунды после выстрела Арутинов лежал неподвижно, уткнувшись лицом в затхлую илистую землю, прислушиваясь к каждому шороху и своему дыханию. И вдруг его оглушила мысль: Курганов убит. Он видел сам, как пуля сорвала фуражку с головы лейтенанта. Михаил повернул голову и онемел.

Курганов лежал на расстоянии вытянутой руки с окровавленной головой.

— Товарищ лейтенант... товарищ...

Курганов медленно повернул к нему выпачканное сухим илом лицо.

— Жив?! Ты жив? — выдохнул Арутинов.

Олег притронулся к виску, потом посмотрел на пальцы со следами крови и скрипнул зубами.

Пуля поцарапала основательно. Шрам, конечно, останется...

Арутинов осмотрелся. Впереди крупные кочки. Сзади, хотя и осока, но ровное место. Немцы поведут обстрел так, чтобы отрезать пути отхода. Надо ползти вперед в сторону противника.

Когда немцы открыли залповый огонь, Курганов и Арутинов лежали уже между большими кочками и слушали, как цепкие осколки стригут стебли болотных трав над головой. Не теряя времени, боец достал перевязочный пакет и забинтовал голову командира.

Постепенно разрывы стали удаляться. Немцы действительно переносили огонь от их укрытия в сторону отхода. И вот все стихло.

— Ай, ай! Фриц хитрый, и мы не дурак. Теперь и голова зарастать будет.

Курганов не ответил. Было ясно, что выбраться из укрытия и доползти до своих траншей, пока не стемнеет, нельзя...

Командир стрелкового полка, сухопарый пожилой майор с седенькой бородкой клинышком, шел в сопровождении ординарца по участку обороны. Поведение противника удивило его. Он поспешил туда, откуда удобнее всего было наблюдать за происходящим. В третьей роте майор столкнулся с Третьяковым и с командиром стрелкового батальона. Выслушав их, он сощурил узкие, монгольского типа глаза и задумался. Потом быстро заговорил:

— Командир батальона, готовьте группу. Пошлите ее, как стемнеет. Сами понимаете, там все может быть, — он махнул жилистой рукой в направлении нейтральной полосы. — Фрицам... никого не оставлять...

Вскинув свой клинышек-бородку и потянув воздух ноздрями, майор продолжал:

— Немцы, пожалуй, предпримут вылазку. Им втрое ближе до реки, чем нам. А мы возьмем и устроим засаду. Артиллеристам я указания дал — огоньком поддержат. Теперь ступайте, готовьте людей... Я задержусь на вашем КП, там мне и доложите о результатах.

Только Галкову и Хаво удалось получить разрешение на вылазку вместе со стрелками. Группа была уже на половине пути, когда встретила Курганова и Арутинова. Первая задача отпадала, вторую предстояло еще выполнить.

Едва Курганов доложил командиру полка о своем возвращении, резко и плотно ударили по передовым позициям немецкие батареи. Многократным эхом, подхлестывая друг друга, покатались разрывы по холмам и долинам. Полосою града посыпа-

лись мины и снаряды. Они рвались у самых траншей, заваливали ходы сообщения, наполняли окопы и ячейки приторно удушливым запахом взрывчатки, загоняли людей в укрытия.

Командир полка сидел на лежанке и молча курил, наблюдая, как санитар снимал с головы Курганова одну и накладывал другую повязку. Свет десятилинейной керосиновой лампы то мерк, то снова становился ярче. Сухая земля, сквозь щели наката сочась песчинками, могла угодить на рану, и потому санитар торопился, делая больно, срывая бинты и туго затягивая концы повязки. Курганов думал о Наде, представляя себе прикосновение ее маленьких сильных, но осторожных рук.

— Ну вот, — заговорил майор после ухода санитаря, — раз немцы стараются нас припугнуть, значит, вылазку делать будут. Посмотрим, посмотрим...

Курганов прислушался.

Странно, но земля умеет стонать. Она вздрагивала, и стон ее то утихал, то нарастал. Дощатая дверь дрожала в косяках, словно тонкая металлическая мембрана. В блиндаже уже пахло толом.

Вскинув бородку и поострив ее пощипывающим движением руки, майор пытливо посмотрел в глаза Курганову.

— Жаль, не мой ты подчиненный. Была бы тебе банька. Сиди, сиди. Сглотни, дружок, пилюльку, я больше видел и вправе упрекнуть тебя. Ей-ей, не пойму, какой леший погнал тебя за передний край... Ну, а потом надо же соображать — солнце светит тебе в глаза, значит, и бинокль отражает лучи в сторону немцев! На всю группу один средний командир: шлепнули его — кто будет задание выполнять?

Голос майора казался безобидным, но в каждом его слове звучали нотки иронии. «Лучше бы обругал», — подумал Олег.

— Товарищ майор! — горячо воскликнул он. — Однако не ваши разведчики, а я обнаружил доты. Пусть в в чем-то виноват, но...

— Вот сам и убедился, что виноватых бьют. Вчера не обнаружили, сегодня обнаружат. Нет, батенька мой, так не пойдет! Хочу и очень хочу, чтобы этот урок тебе пригодился...

«Пусть пригодится, а я тоже прав!» — упрямо думал Курганов.

Майор протянул папиросы.

— Спасибо, я трубку.

— Дело хозяйское, не неволю.

После первой затяжки в голове зашумело, веки отяжелели. Фуражка Олега лежала на столике. Ее околыш распорот пулей, но такой она казалась ценнее! Сейчас Курганов выглядел гораздо старше своих лет. Волосы скатались, глаза запали, кожа огрубела, обветрилась.

Майор о чем-то думал.

Еще один снаряд рванул совсем близко, заставив пламя лампы вытянуться в желтый язычок, и разрывы смолкли. Однако до слуха донеслась все нарастающая автоматная перестрелка. Не скрывая тревоги, Курганов прислушался. Прислушался и командир полка, но лицо его посветлело. Курганов с досадой отвернулся: «Кто знает, чем все кончится? Не слишком ли уверен майор в успехе дела?»

И вновь забили немецкие минометы, но только разрывы мин доносились с нейтральной полосы, оттуда, куда ушли бойцы в засаду. Вслед за этим раздалась залпы наших батарей.

— Так, так, пока все нормально, — прищурил глаза и потрогав бородку, подтвердил майор. — Давайте, давайте, артиллеристы, помогайте пехоте-матушке отойти...

Минуты тянулись томительно. Выкурил трубку и отложив ее в сторону, Олег начал рассматривать блиндаж. Взгляд его с потолка упал на стол, затем скользнул

на противоположную стену, и вдруг Олег встал. Там, в углу, из-под короткого куска плащ-палатки, почти у потолка, виднелись колки инструмента, а из-под нижнего конца торчал оголенный до половины смычок.

«Нет, нет, не может быть», — не веря себе, он даже закрыл глаза. В мыслях промелькнули и дом, и мать, вся в белом наряде яблонька-дикушка под окном, потом тихий вечер над Ангарой и школьный шумный прощальный бал. Перед танцами, в концерте, он, как всегда, играл на скрипке.

...Музыка! Музыка... Как часто задумывался он над тем, что больше волнует, влечет, что выберет он?

— Что, лейтенант, играешь? — голос майора вернул его к действительности.

— Да так... Немного, товарищ майор. Во Дворце пионеров сначала занимался... А потом сосед — дирижер — три года меня учил, уверял, что... — Олег смутился, умолк. — Ну, в общем... учись, мол, дальше...

— А ты посмотри, как инструмент, хорош? Не бойся, не бойся! Скрипка комбата. Три дня у него живет. Он немного играет... Нашли ее в доме, где наш КП. В байку была завернута и спрятана на чердаке.

Чужими, непослушными пальцами Курганов осторожно снял скрипку и уже пожалел, что разоткровенничался.

Скрипка казалась необычно хрупкой. Матовым тонким налетом пыль лежала на ее полированной поверхности. Олег боязливо коснулся смычком струн. Они издали жалобные и неверные звуки. Надо настраивать...

Через несколько минут, слегка склонившись и повернувшись спиной к двери, лицом к попыхивающей лампе, Олег смелее повел смычком. Но пальцы, покрытые мозолями и ссадинами, привыкшие уже к тяжелым саперным инструментам, казались слишком грубыми для струн.

Где-то близко ударил снаряд, и сухие песчинки с тихим шуршанием посыпались с потолка на скрипку, скатились с нее, оставив блеклый след.

Но трепет скрипки уже передался Олегу. Еще одно усилие, еще. Выбившиеся из-под бинта волосы прилипли к мокрому лбу. Олег, почти отчаявшись, сделал последнюю попытку, и только тогда скрипка запела и ожила. Чистый и нежный звук забился в землянке, где и вздрагивал потолок и тихо стонала земля.

Командир полка, прикрыв ладонью глаза, слушал. Его дочь училась до войны в консерватории, теперь где-то на Южном фронте снайпером...

Олег играл «Осеннюю песнь» Чайковского. Майору казалось, что слышит журчание, словно рядом бежала многоструйная речка. Сначала тихая, она становилась все более говорливой... Потом ветер коснулся багрянца берез и кленов. Зашуршали листья, гонимые новым порывом ветра вдоль опустевших аллей печального парка; донесся шорох сухих камышей и крик журавлей, улетающих на юг. И снова над всеми этими звуками рассыпался звон колокольчиков, казалось, запела не одна, а десять скрипок. Майор раскрыл глаза, и ему показалось, что Олег придерживал пальцами не струны, а звуки, властно касался их, заставлял эти звуки то биться трелью, то приглушенно шептать, то звенеть бубенцами.

Курганов не видел ничего. Он играл. И заново, как и всякий раз, был захвачен красотой мелодии Чайковского.

Хлопнула дощатая дверь, и кто-то вошел, где-то тягуче провыла мина. Но ни Курганов, ни майор не обернулись.

Последний такт — и певучая, бесконечно длинная нота повисла в воздухе.

Грохнул поблизости взрыв и потряс блиндаж. Пламя лампы, выпустив черный клуб дыма, чуть не погасло. И тогда Курганов снова бросил смычок на струны... Скрипка звучала и гневно, и протестующе, и яростно. Мелодия становилась все более стремительной, более мощной, и, наконец, она слилась с шумом многоголосого

фронта, говорившего языком батарей, казалось, что заглушила его. Вторили скрипке орудия, что били с наших позиций по батареям врага.

Командир полка, откинувшись к стенке дрожавшего блиндажа и закрыв глаза, по-прежнему не шевелился. На этот раз он не угадал, чья музыка исполнялась. Он только чувствовал, что во рту его стало сухо, а горло вот-вот перехватит.

Взлетел еще раз над скрипкой смычок и медленно опустился к ноге Курганова. Лицо его было мокрым, почти измученным, он тяжело дышал.

— Бетховен?! — донеслось из-за спины глухое изумленное восклицание.

Олег быстро обернулся. Возле дверей он увидел комбата, Хаво, лейтенанта, руководившего вылазкой, и с ними пленного немецкого офицера. Но кто, кто из них в каком-то подавленном волнении произнес это имя — Бетховен?! Все они удивленно смотрели то на Олега, то на майора. Сероглазый комбат сдержанно кашлянул. Тогда командир полка поднял голову. На лице его все еще лежали то недоумение и восторг, с какими он слушал скрипку. Расценив движение майора как немой вопрос и быстро шагнув вперед, комбат доложил:

— Товарищ майор! Группа потерь не имеет, один из бойцов легко ранен. У немцев один убит, а вот этот, — легким поворотом головы он показал на пленного, — доставлен...

Живого врага Олег видел так близко впервые. Он положил скрипку рядом с фуражкой на стол, медленно опустился на край лежанки и стал искать в пленном что-то необычное — не человеческое. Но у немца строгие прямые черты лица, высокий, слегка выпуклый лоб, русые, закинутые назад волосы. Щека расцарапана в кровь. Он совсем молод, может быть, сверстник Олега, но в голубоватых глазах надменность.

Стараясь не ступать на правую ногу, гитлеровец исподлобья стрелял глазами по лицам присутствующих.

— А руки можно и развязать, — словно успокаивая кого-то, вполголоса сказал майор.

Хаво бесцеремонно стянул с рук немца ремень. Офицер покосился через плечо и поморщился. Но поморщился он не от боли, а явно из чувства пренебрежения. Курганов следил за каждым его движением. На лице пленного он видел не страх, а наглова-тое презрение к окружающим.

Дробными перекатами ударили по передовым немецкие батареи. В блиндаже стало вдруг тесно и душно. Майор неторопливо закурил и предложил закурить команди-рам. Комбат охотно взял папиросу. Олег нетерпеливо засопел трубкой. Он не мог понять майора. Еще недавно тот упрекал его, казался щепетильным до мелочей, а сейчас делал вид, что поведение гитлеровца ему безразлично. Олегу так и хотелось бросить негодующие слова пленному, дать, наконец, почувствовать, где тот находится и перед кем стоит. Будь Олег здесь старшим, немец не вел бы себя так!

Возможно, и пленный понял Курганова. Наделив его холодным взглядом, он расправил плечи и, заложив за спину руки, отвернулся.

Докурив, майор примял папиросу и спросил на немецком языке:

— Ваша фамилия?

Немец облизал потрескавшиеся губы.

— Курт Мюллер.

— Немец?

— О, да! Уроженец Хемница. Саксонец! — подчеркнул пленный.

— Номер части, в которой служите? — рука майора потянулась за спичками, но натолкнулась на разорванный околыш фуражки Курганова.

И тут майор заметил, как гитлеровец вздрогнул, затем побледнел, перевел взгляд на забинтованную голову Курганова и вновь посмотрел на фуражку. Не давая опом-ниться гитлеровцу, майор быстро спросил:

— С какой задачей покинули свои позиции?

Из-за реки забили шестиствольные минометы. Грохнул разрыв, и дверь заколотилась о косяки, лампа едва не угасла, а Мюллера обожгла мысль — бежать! Но сзади стоял бесцеремонный русский солдат, закрывал собою выход.

— Вам задан вопрос, отвечайте!

— Я все сказал, что мог! — кажется, Мюллер поборол себя и с прежней наглостью добавил: — За меня еще отомстят..

Впервые за этот день Курганов от души рассмеялся, и смех его словно ошпарил пленного.

— Мы все равно победим! Победим мы — немцы, без которых вы остались бы дикарями. Даже здесь... — Мюллер коротко передохнул и горделиво закончил: — Даже здесь, под гром орудий фюрера, вы играете Бетховена. Нашего, немецкого гения!

Курганов подался вперед и медленно, очень медленно, будто кладя каждое слово на чашу весов, сказал:

— Бетховен не ваш! Вы нищие, потерявшие все, что имела Германия. Он ненавидел насилие и смерть, а вы их сеете. Он свободу любил, а вы ее давите.

Затравленным взглядом Мюллер долго смотрел на Олега, затем с бешенством выдохнул:

— Ненавижу!

— Молчать! — стукнув ладонью о стол, крикнул майор. — Стоять смирно!

Кажется, эта команда подействовала на пленного отрезвляюще.

— Так оно лучше, — заметил майор и, чуть помолчав, продолжал по-немецки: — Это в тебя, лейтенант Курганов, стрелял наш сегодняшний гость. А потом полез проверять: убил или нет. И трупом бы не побрезговал, унес к своим, доказал, какой он герой... Но сам угодил в ловушку!

Глаза Курганова встретились с глазами Мюллера. Рука непроизвольно коснулась повязки на голове. Он вскочил и увидел лишь синюю жилку на горле врага. В наступившей тишине половица под ногами Курганова скрипнула, а Мюллер попятился и почувствовал, что уперся спиной в стенку. Отступить было некуда. Должно быть, в глазах русского офицера он прочитал что-то страшное, прикрыл руками горло и хрипло вскрикнул.

Но Курганов не сделал больше ни шага. Еще минуту назад Мюллер мог показаться сильным, быть может, даже способным умереть, глядя смерти в глаза. Презрение к гитлеровцу оказалось сильнее мгновенного жгучего желанья ударить, унижить. Олег брезгливо улыбнулся:

— Послушай, Мюллер! — сказал он. — Жаль, что встретились в блиндаже, а не в поле... Но ты уже отвоевался, а я еще приду и в Берлин. Запомни это!

Курганов сел на лежанку и нервным движением пальцев стал набивать табаком трубку. Глаза Мюллера все еще испуганно следили за выражением его лица. Майор как ни в чем не бывало перевел взгляд на пленного:

— Нам известно, что вы из особой ударной дивизии. Когда ваша часть прибыла на данный участок фронта?

Задыхаясь, Мюллер схватился за ворот мундира, ему хотелось кричать, и в то же время его сковало полное оцепенение. В этом состоянии его бесполезно было допрашивать.

Командир полка повернулся к комбату:

— Назначьте конвой для отправки пленного в штаб..

За время войны он немало видел пленных немцев и потому не сомневался, что от Мюллера своего добьется.

Блиндаж опустел. Комбат ушел к себе. Майор, Курганов и Хаво направились к штабу полка. Там группа Курганова разместилась на ночь в землянках полковых саперов.

С Мюллером в блиндаже остались два стрелка дожидаться своего командира взвода и под его командой отправить пленного в штаб.

Стрельба по переднему краю все усиливалась. За холмами множились зарницы залпов, а на передовых позициях обеих враждующих сторон — зарницы взрывов. Один из снарядов упал так близко от блиндажа, что Мюллер почувствовал холодный озноб под сердцем. Дышать становилось нечем. А земля гудела, охала.

И снова ударил снаряд, за ним сразу несколько. Еще! Какая-то страшная сила отбросила Мюллера к проходу. Сверху обрушились комья земли, чем-то тяжелым ударило в плечо, кто-то дико закричал и смолк.

Во мраке ночи и в клубах удушливого дыма Мюллер инстинктивно карабкался в сторону, через бревна наката и груды земли. Он не понял, как очутился в заваленном ходе сообщения. От звона в ушах окружающий грохот утратил резкость, но мысли работали с поразительной быстротой. Все сводилось к одному: «Спасенье, спасенье, спасенье!..» Не чувствуя боли в ноге, он сгоряча кинулся в сторону, метнулся вправо, затем влево, наконец выскочил на бруствер и, не переводя дыхания, побежал к своему переднему краю.

Снаряды выли, ревели, но рвались уже за спиной. Осколки жужжали, как сотни разъяренных шмелей. Споткнувшись о кочку, Мюллер упал и несколько секунд лежал без движения. Тупая боль выше колена становилась острее. Липкая, теплая кровь расплывалась по ноге. Но мысль о ранении вдруг обрадовала его: ранением можно было оправдать свое продолжительное отсутствие. Идти не хватало сил, и Мюллер пополз.

С жадным вниманием вглядывался он в окружающее. Наконец впереди заметил чернеющий силуэт березки. Значит, то место, где был обнаружен этот русский офицер, этот... Курганов... осталось уже позади. Возле березки и происходила короткая схватка с засадой. Значит, до реки осталось совсем близко. «Скорее, скорее туда! И чуть правей, — там брод», — думал, взывая к Богу, Мюллер.

И он дополз.

14

Бывает на фронте час, когда горячка боев сменяется вдруг удивительной тишиной. Лишь изредка тут или там прострочит для остратки пулемет. В небо, шипя и ослепляя, взлетит хвостатая ракета. И снова тишина.

Но сегодня тишины не было. Нащупав в обороне немцев слабое место, взвод Курганова тропинкой через болото вышел на просеку, смял пулеметную точку и занял высоту.

Немцы в ответ обложили высоту цепью солдат. Выход остался только к болоту. Теперь через каждые пять-шесть минут вдоль просеки бил их ручной пулемет. В небо поминутно взлетали ракеты.

Быть может, в десятый раз Курганов торопил окопаться своих бойцов. Посланный к Малышеву связной долго не возвращался. Хуже всего, когда не знаешь общую обстановку. Возможно, батальон получил другое задание, снялся с переднего края?.. В подобные минуты черт знает что лезет в голову.

Но рядом раздался знакомый певучий голос:

— А где лейтенант? Где, хлопцы, лейтенант?

Курганов бросился на голос связного. За связным вторая фигурка с горбом за спиной.

— Вот телефон, товарищ лейтенант, — вместо доклада пояснил боец, ходивший к Малышеву.

Но Курганову было не до доклада. Какой там доклад, если ясно и так, что Малышев одобрил его самостоятельный шаг. Едва успел связист подключить телефон, как из трубки донесся знакомый спокойный голос.

— Алло, алло, «крот», алло...

— Я «крот»! Я вас слушаю, товарищ восьмой!

— Давай обстановку, давай.

Курганов, не переводя дыхания, доложил и замер в ожидании указаний.

— Хорошо, друже. Держись только крепче. Пришлю на помощь коробочку, как и твоя. Хозяином будешь ты. Учти, зеленая лента у свекровки на особом счету. Ты для нее, что скипидар для мерина. Может и ночью полезть в драку. Чем могу — тем помогу! Выстоишь — расцелую, удерешь — шкуру спущу! Как дело с капустой!

Только теперь Курганов вспомнил про мины.

И снова он заспешил вдоль линии своей обороны. Ночь коротка, и все надо успеть. Надо заминировать просеку, отрыть ходы сообщений, расставить силы так, чтоб в любую минуту отбить любую атаку. А тут еще Хаво с Галковым идут по пятам.

— Значит, можно, товарищ лейтенант?

— Ну ладно, идите, — махнул рукою Олег.

Галков и Хаво поползли к повозке, кинутой гитлеровцами на нейтральной полосе. В повозке оказались исправный ручной пулемет, ящик немецких «лимонок», узел тряпья и чудом попавший старенький граммофон. Пластинок найти не удалось. Но это не огорчило Хаво. Взвалив на Галкова гранаты, он взял пулемет и прихватил граммофон. Хаво не желал оставлять «нежную музыкальную штуку поганым фашистам».

Над выходкой Хаво бойцы посмеялись, зато пополнение гранат вызвало всеобщее одобрение.

— Гранат будет штук по семь на нос, а с этим жить можно! — объявил Третьяков.

И это «жить можно» привело Курганова в хорошее настроение. Он уселся на дно ячейки и закурил...

Вершины сосен молчаливо уставились в густую синь неба. На нем кучно выступали набрызги звезд. Они так же мерцали над этим клочком земли, как и над далеким мирным Иркутском. «А у нас уже утро, — подумал Курганов. — Скоро оно придет и сюда». И почему-то вспомнилось, что еще совсем недавно больше всего на свете боялся он классного руководителя, преподавательницу русского языка и литературы. Она не могла упрекать и читать мораль, умела просто посмотреть в глаза, посмотреть как взрослому, с материнской строгостью и укором друга. И от этого взгляда становилось так стыдно, что больше уже не хотелось спорить с «физичкой» или читать на уроке Жюль Верна. Пожалуй, Сашке меньше доставалось от Надежды Петровны. Сашка умудрялся писать диктанты без единой ошибки... «Войти бы сейчас вот в этих кирзовых сапожищах и в гимнастерке во время урока в класс. Войти незаметно, тихо, присесть на заднюю парту, закрыть глаза и вновь представить... Позвоню-ка Сашке, скажу ему несколько добрых слов, спрошу, как у него дела, пожелаю удачи... Вот сейчас докурю и попытаюсь связаться с ним...» — думал Олег.

В трубке потрескивал табак. К запаху махорки примешивался запах горелой шерсти, хлебных крошек и еще чего-то приторного. Последняя щепотка табака была вытрясена из карманов. Но прав Третьяков: жить еще можно! Не будет махры — можно, по примеру Хаво, размять на ладонях сухие дубовые листья. Сухари можно еще раз поделить на три части. Вот если не хватит гранат и патронов — тогда долго не протянешь.

Неожиданно со стороны немецкой обороны вначале глухо, а потом все громче и громче понеслись звуки чеканного марша. Минуты через две марш оборвался, наступила настороженная тишина. Немцы перестали швырять ракеты и обстреливать позиции. Курганов выскочил из ячейки и перебежал к бойцам. Ему показалось, что

немцы «под шумок» пойдут в ночную атаку. Но вслед за коротким вступлением на немецком языке из репродуктора ясно донеслось:

— Внимание! Внимание! Говорит полевой радиоузел германского командования. Русские бойцы и командиры, послушайте нашу очередную передачу.

До репродуктора было не больше трехсот метров. Голос говорившего доносился отчетливо и громко. Хаво о чем-то заспорил с Галковым.

Всем хотелось что-то предпринять, а по возможности и проучить гитлеровцев.

— Разрешите, я мазану их из пулемета? — попросил усач Романов. — Вот гады еще!

— Не горячись. Они же в окопе сидят, — досадуя на свою беспомощность, ответил Курганов.

— Советские бойцы и командиры, — донеслось от немцев. — Не верьте своим комиссарам, они толкают вас на гибель. Вчера доблестные германские войска сбросили в Волгу тех, кто шел за большевистскими комиссарами. Цитадель на юге — Сталинград — пал. Ключ от России в наших руках. Реки крови пролиты зря. Мотомеханизированные войска фюрера продолжают успешно наступать на Урал, Кавказ, обходят Москву. Группа армий фельдмаршала фон Гота...

— Врешь, гнида! Врешь! — крикнул Олег, все еще не зная, что предпринять. Его мысли оборвал громкий, удивительно гулко звучащий голос Хаво:

— Эге-е-й, салага! Сейчас я с тобой на совесть поширехаю! Не пудри мозги!

Курганов представил себе заговорщицки таинственное, озорное лицо Григория, с которого почти никогда не сходит улыбка. Но что задумал Хаво, Курганов не знал.

А Хаво тем временем, оторвав от граммофона трубу и направив ее раструбом в сторону врага, во всю силу своих легких продолжал:

— Расскажи-ка, молодчик, как зимою из-под Москвы в бабьем платке драпал?! Кое-кто из бойцов прыснул смехом.

— ...Немецкое командование благосклонно относится к пленным, дарует им жизнь. Наш пароль: штык в землю! — выкрикнул гитлеровец.

— Смотри ты, куда загнул?! — удивился Хаво. — А мой пароль: дрын твоему фюреру по затылку!

— Переходите к нам! Пропуском служит наша листовка!

— Передай Гитлеру, что листовки с его рожей я в другом деле пользую. Пусть на мягкой бумаге печатает!

— Правильно, Гриха! Давай паразита под ноготь!

Окопы бойцов наполнились смехом, и этот смех был слышен в ночной тиши далеко.

— Русские друзья! Бойцы и командиры...

— Поищи друзей в свинарне! — подсказал Гришке Галков.

И Гришка не заставил себя упрашивать. Передал пожелание друга. Он говорил не только за себя, он говорил за всех.

— Пленные у нас получают хороший армейский паек, шоколад, сигареты...

— А ложки найдете или с собой брать? — крикнул Григорий.

— Не забудьте взять котелки и ложки!

Этим шутовским воззванием: «Не забудьте взять котелки и ложки» гитлеровцы заканчивали многие радиопередачи и листовки. Теперь же, после вопроса Хаво, оно прозвучало так кстати, что бойцы разразились неугомонным хохотом. Вопреки всем дипломатическим правилам, Григорий, не задумываясь, отрубил:

— Что ж ты, рыло, за русским салом приперся? Жрал бы свои шоколады и сосал сигареты... — Григорий добавил еще такое, что дружный солдатский смех вновь покатился по передовым позициям туда — к батальону Малышева.

Репродуктор немцев недовольно пробурчал: «Руссише швайн большевик... комиссар», — и смолк.

Это вызвало новый взрыв хохота.

Курганов был благодарен находчивому ординарцу. Саперы от души жали руку Григорию. Галков уверял, что за всю свою жизнь не встречал лучшего дипломата...

Давно перевалило за полночь, но в окопах все еще слышались смех и громкие возгласы. А Хаво молча сидел в своей щели, перебирая в памяти картины недавнего прошлого.

Война застала его в тюрьме. Там он впервые познакомился и с немцами. Вместе с бывшим кулаком Каценко его направили в распоряжение коменданта ближнего села. В сопроводительной бумаге говорилось: «Направляю в ваше распоряжение репрессированных большевистскими властями Илью Каценко и Григория Хаво. Первого рекомендую на должность старосты, второй вполне может быть использован полицаем. Личные дела перешлю следом. Комендант тюрьмы — обер-лейтенант Зуббе».

Конвоир считал их скорее «комаратами», чем врагами, позволял им разговаривать и курить. Вначале гитлеровец пытался скоротать время в беседе, но так как его лексикон ограничивался словами «дай», «курка», «яйка», «млеко», «шпек», «масло», то он вскоре оставил затею и в заключение пропел: «Нима курка, нима яйко, дольсвидания, хозяйка».

Хаво никак не мог понять, чего от него хотят и чего ради он попал в милость. Проходя через небольшую деревушку, Григорий первым заметил двух приближающихся парней. Оба были одеты в немецкие мундиры, сбоку у каждого висел штык-кинжал, на левом рукаве резала глаз белая повязка с надписью: «Полицай».

При встрече парни учтиво раскланялись с плюгавым солдатом и отдали честь.

— Кто такие? — спросил Хаво Каценко.

— Полицейские! — охотно ответил тот.

— Значит, легавые? — усмехнулся Хаво.

— Что ты понимаешь, жулик советский! — возмутился Каценко.

Хаво с присущей ему грубоватостью угрожающе пробасил:

— Заткни-ка ты хайло! А я не продажный, меня не купишь! Понял, красавчик?

Каценко хотел пожаловаться солдату, но побоялся в присутствии Хаво сделать это. Молча пошли они дальше. На площади виселось какое-то необычное сооружение. Когда Хаво разглядел, колючие мурашки забегали по его спине, а в глазах зарябило.

— Неужто баба?!

— Ба-ба, ба-ба. Коммунист... ферштейн? — оскалив редкие зубы, закивал головой плюгавый солдатик, восторженно показывая рукой на виселицу.

— Понимаем, понимаем, — поддакнул за себя и за Хаво Каценко. — Давно бы их так, смутьянов, пропитались советским духом.

— А что она сделала? — надулся Григорий. — Убила? Она же женщина. У ней, наверно, и пацаны есть. Коль слямзила, — за решетку ее. А вешать-то зачем?

— Ты что, не понимаешь? А? Не понимаешь? Ишь, щенок, молоко на губах не обсохло, а тоже туда...

— Ну ты, подлюга, — угрожающе придвинулся Хаво, — насчет моих губ не гунди! Я тебя быстро сделаю. Крови тебе надо? Пущу поганую...

Каценко осекся и пристроился к солдату.

Вдоль дороги расположились на отшибе несколько домиков. На дорогу выбежала девочка лет девяти. Увидев идущих, она растерялась и замерла. В ее руке был котелок. От резкого поворота из котелка плеснулось молоко. Немец радостно бросился вперед и возбужденно залепетал:

— О-о-о, дас ист млеко. Дас гут!

Девочка отшатнулась, лицо искривил испуг и отчаяние. Бросившись бежать, она дико закричала:

— Ма-а-м...

Григорий не верил глазам.

— Штой! Штой! Цурюк!

В несколько скачков солдат настиг обезумевшего ребенка, схватил за плечо. Девочка от страха выпустила котелок. Солдат ударил ее по лицу, и она упала.

За какую-то долю секунды в воображении Григория промелькнули два парня полица, заискивающая ехидная физиономия Каценко, площадь с виселицей, оскал желтых зубов конвоира и искаженное ужасом и болью лицо ребенка.

Хаво рванулся к гитлеровцу, но, услышав: «Не тронь», — обернулся, попятился. Челюсть его запрыгала, рука никак не могла дотянуться до автомата, висевшего за спиной. Изогнувшись и выпрямившись, словно пружина, Хаво ударил головой в редкозубый раскрытый рот. Гитлеровец перелетел через канаву. Григорий сорвал с него автомат и хватил им наотмашь по голому затылку. Когда он вспомнил про Каценко, тот во весь опор удирал к деревне.

Долго бродяжничал Григорий по немецким тылам и при каждом удобном случае мстил гитлеровцам. Повстречав двух бойцов, вышедших из окружения, перешел с ними линию фронта.

Докурив сигарку, Хаво встал во весь рост и сразу же оказался по грудь над бруствером. Осветив мертвенным светом угрюмый лес и просеку, в небо взлетела ракета, распалась на несколько частей и угасла. Григорий прислушался. И справа, и слева от него бойцы не спали. Они говорили между собой вполголоса. Откуда-то донесся голос Курганова.

«Видать, никому не спится», — подумал Григорий и вновь опустился на колени, чтоб прикурить новую сигарку.

15

Если на траву легла обильная роса, значит, день будет ясный и солнечный. Но это мало радовало бойцов. Осенний пасмурный день с морозящими дождями, с низкими облаками, укрывшими их от прицельной бомбежки, был бы им куда милее.

Многократное эхо разнесло по лесу далекий разрыв.

Похоже, пушка сыграла подъем. Хаво высунулся из тени, громко, протяжно зевнул. Из соседней щели показался заспанный Галков. Хаво шмелем загудел:

— Ты, Иван, как на курорте. Даже птицы не беспокоят. И чего это фрицу не спится? Может, блохи шпарят, а может, животы через обжорство пучит? Чуть свет, а они гав да гав! Ясно, что шальные. — Хаво погладил себя ладонью по животу и добавил: — А жрать, Иван, треба...

Продукты и табак бойцы ожидали еще вечером. Не заметив Курганова, Григорий принялся разносить старшину:

— Вот пузатый жадога! Чтоб у него пуп присох к хребту...

Кажется, злейший враг Хаво — Куклин. Боец может ругать его за каждую мелочь, вплоть до иголки с ниткой, которых нет, чтоб заштопать штанину и не выставлять себя на «посрамление взводному обществу». Но стоит бойцу другой роты неместно отозваться о Куклине, как Хаво из чувства патриотизма к собственной роте тут же обрушит свой гнев против «обидчика».

Однако сегодня не успел Григорий излить свою душу, как Куклин, словно махровый груздь из-под прелой листвы, появился на просеке. Кряхтя и посапывая, он тащил за спиной узел из плащ-палатки. Следом за ним семенил Рябкин. Ноша ездового была вдвое больше, чем у старшины. Три фляги водки Куклин бережно нес сам. Этими флягами он надеялся смягчить свою вину за долгое отсутствие.

— Мое вам с кисточкой, благодетели наши! — рявкнул обрадованный Хаво. — Наконец и до вас дошли мольбы простых смертных...

Длинная пулеметная очередь заставила Куклина с необыкновенным проворством втиснуться в щель.

— Ты чего разревелся, чего? — возмутился Куклин.

— Так это же фрицы тебе салютуют, товарищ будущий гвардии старшина. Ей-богу, не вру! Они припухали. Не веришь? Спроси Ивана, он рядом, только что мне говорил, что соскучился по тебе аж до боли под ложечкой...

Глаза Григория озорно стреляли по Куклину. Он подмигнул и сделал умильную мину, потягивая носом воздух, причмокивая губами.

— Ты зубы не скаль, зови Третьякова, пускай скорее продукты примет. Мне дел по горло...

— Разрешите доложить? Старший сержант со своим отделением, не дождавшись вас, еще ночью отбыл в распоряжение капитана Малышева. Продуктики придется поделить и до него нести...

Куклин готов был наброситься с кулаками на Хаво.

Выругав про себя старшину и Рябкина за то, что те вылезли неосмотрительно на просеку, Курганов, пригибаясь, поспешил к Куклину, но пули заставили залечь в воронке.

— А где же доктор? — спохватившись, зашумел старшина. — Где доктор? Мы болото вместе переходили...

Несколько секунд Курганов лежал неподвижно и вдруг понял, что Надя где-то отстала. Он сбегал в низину, минуя овражек, и выскочил на свежепроторенную тропу. Где-то там, наверху, с опозданием прострочил пулемет. Но в низине он был не страшен.

Курганов ускорил шаг, минуя кусты тальника, и обошел березняк. Он уже подумал, что Куклин сболтнул, но тут за крутым поворотом увидел Надю. Она вылила из сапог воду, а теперь, приподняв слегка подол, обнажив покрасневшие ноги выше колен, отжимала край юбки.

Услышав рядом шаги, Надя инстинктивно одернула юбку и резко выпрямилась. «Олег!..» Она не видела его целую вечность. Он был небрит, пилотка помята, лицо осунулось. Она понимала, что он бежал к ней...

Олег тяжело перевел дыхание и вдруг, холодея от страха, подумал: «А что, если там я лишусь ее? Немцы вот-вот ударят».

— Надя, ты не должна туда ходить! Там... там, понимаешь, что может начаться?

Радостная улыбка растаяла на лице Нади. В глазах засветилось беспокойство, и, наконец, лицо ее быстро стало бледнеть. Неужели он видел в ней только слабую женщину?

А он продолжал, будто заполучил ее согласие покинуть передовую:

— Да, да, Надя. Ты дождешься здесь Куклина, и вместе уйдете.

— Да как ты можешь, как?! Ты не командуй мной как девчонкой! Я в гости к тебе не шла, у меня тоже здесь люди, — она говорила быстро, сбивчиво, задыхаясь.

— Но я командир и знаю, кто нужен здесь, а кто нет! — и только выпалив это, он понял, что хватил через край.

Надя холодно посмотрела на него и сказала глухо и медленно:

— Какая я вам Надя?..

Резкий грохот снаряда оборвал ее. Вблизи зашуршали и зашлепали осколки. Олег схватил девушку за руку и увлек ее за собой. Они бежали вверх по направлению к просеке. Она едва успевала за ним. Ей сделалось страшно от этого стремительного бега, но было еще страшней отстать сейчас от Олега. Снова загрохотал разрыв, на этот раз совсем рядом. Курганов с силой втолкнул Надю в ход сообщения, а сам устремился

к ячейке, откуда лучше был виден противник. Упав на колени и больно ударившись, Надя не вскрикнула, а только, зажмурив глаза, прислушалась к вою снаряда.

Третий снаряд угодил под основание большущего пня. Бешеной силой пень рвануло вверх и расколело на несколько частей. Они взлетели выше вершин, напоминая обрубки ног и рук. Комья выброшенного дерна, обламывая сучья, глухо стучали о землю.

Вслед за пристрелкой начался огневой налет. Он длился несколько минут.

— Ну как, старшина, не скучно у нас? — поморщась и втягивая голову в плечи, справился Хаво.

Куклин не отозвался. Каждый новый разрыв заставлял его вздрагивать и жаться в угол щели. В эти минуты он готов был простить любые нападки, лишь бы скорее убраться отсюда.

Прекратился обстрел, и сразу же несколько голов показалось из-за укрытий.

— Санита-а-а-ар! — донесся чей-то обезумевший голос. — Санита-а-ар...

И вдруг все увидели, как Надя бросилась вдоль просеки на этот зов. Она не знала, что немцы вторым излетом после короткой паузы будут бить тех, кто вздумал помочь пострадавшим. Разнесся пронзительный свист, и сразу же грохнул разрыв. Курганов закрыл глаза, а когда раскрыл их, то Надю уже не увидел. Значит, успела укрыться в окопчик!

Надя нашла Курганова через некоторое время и сухо, официально доложила:

— Я вынуждена эвакуировать раненого.

— Это ваше право, — впервые подумав с огорчением о ее удивительной прямолинейности, ответил он. Олег не чувствовал, что окурок обжигает ему губы. Он готов был повернуться к Наде и сказать ей «прости», но задетое самолюбие мешало.

Солнце косым лучом, мягко огладив макушки израненных сосен, выглянуло в просвет и осветило сосредоточенное лицо Курганова. Он слегка склонил голову, защищаясь рукой от солнца. Надя увидела большую кровоточащую царапину на тыльной стороне ладони и резкую синеву возле глаз. Ей стало жаль его, захотелось подойти к нему.

— Послушай, Олег... — дрогнувшим голосом начала она, но не смогла говорить. Олега охватила неясная тревога.

— Что ты хотела сказать? — почти крикнул он.

— Нет, нет, — испугалась она.

Он осторожно взял Надю за плечи и отступил на шаг, чтоб видеть ее лицо и глаза. Губы Нади дрожали.

— Сашу... и Арутинова...

— Что?! — закричал Курганов, впиваясь пальцами ей в плечи.

Ему показалось, что стены окопа сжали его и Надю и все поплыло, закачалось вокруг.

— Я пойду, — сказала Надя. И рукавом гимнастерки вытерла слезы.

Олег не ответил. Она еще постояла и пошла. А он, склонив голову к бровке, касаясь лбом холодной земли, так и остался стоять. Рядом провыл снаряд и, не разорвавшись, отрикошетив, словно смеясь над горем Курганова, хрипло захохотал на весь лес.

Через минуту Курганова окликнул Хаво:

— Товарищ лейтенант, немцы! Товарищ лейтенант, немцы зашевелились.

Курганов молчал.

— А? Что? — отозвался Курганов.

— Да что вы, товарищ лейтенант?! — изумленно спросил боец и тут же спохватился: — Может, вас зацепило?

— Нет, нет, это пройдет... Это так, это так, — повторил Олег, но голос его сорвался. Он почувствовал, что не может больше молчать. Еще мгновение — и боль в

груди стиснет сердце так, что оно перестанет биться. — Лейтенанта Попова... Сашку и Михаила... — выдохнул наконец Курганов.

— Убили?! Фрицы? Да я их в бога и в душу мать...

Хаво бросился к пулемету. Немцы шли валом со всех сторон.

Так началось то утро...

...До полудня немцев отбросили трижды.

В небе появились «фоккевульфы». Их много, сразу не сосчитать. Один за другим, переворачиваясь колесами вверх, включая ревущие сирены, они бросались камнем в пике. Рев моторов и сирен дополнялся грохотом разрывов и воем града осколочных бомб. «Фокки» пикировали с нагловатым риском. Их красные колеса походили на окровавленные когти кондора. Казалось, этими когтями они пытались схватить с земли намеченную жертву и растерзать ее над пиками елей и сосен.

Неожиданно для всех над головами пронесли три «ястребка» и ворвались в строй «фоккевульфов».

Но откуда-то с головокругительной высоты на «ястребков» навалились шесть «мессершмиттов».

И странно: бой на земле прервался. Бой шел только в воздухе, а враги на земле, не выпуская из рук оружия, с замиранием сердца следили за тем, что делалось там — в высоте.

Хаво схватил за руку Галкова, когда один из «мессеров» приблизился к «ястребку» и разом ударил из пушек и пулеметов. «Ястребок» повалился набок и потерял управление. Еще несколько секунд он пытался выровнять полет, но закувыркался и врезался в гребень холма.

Никто уже не прятался в укрытиях. И немцы, и русские выбрались из окопов. Первые что-то кричали восторженно. Вторые яростно негодовали.

Новая жестокая схватка. Три вражеские машины бросились на оставшийся без прикрытия «ястребок». Он ловко увертывался. Но после нескольких длинных очередей, объятый пламенем, пошел в пике.

От горящего «ястребка» оторвалась маленькая точка. Раскрылся грибок парашюта.

Хаво с шумом вздохнул и грязной ладонью провел по влажному лицу. Но вздох облегчения оказался преждевременным. Один из «мессершмиттов» круто развернулся, и, привлекая к себе внимание остальных, лениво покачал плоскостями. Он сбавил до предела скорость и стал приближаться к советскому летчику.

Все замерло. Даже гитлеровцы и те притихли.

Но тут последний из трех «ястребков» оторвался от «мессершмиттов» и бросился в лобовую атаку. Немецкий ас был вынужден оставить парашютиста и защищаться. Мотор «мессершмитта» взревел, и две машины с бешеной скоростью стали сближаться. Кто не свернет? Кто выдержит? Вот «мессер» словно подпрыгнул вверх...

Хаво закрыл глаза и тут же раскрыл их. Ему показалось, что немец уже уклонился от боя. Но он не успел. Машины столкнулись, рассыпались в воздухе...

И вновь застонало и загудело вокруг. На противоположный гребень холма выполз танк.

У Курганова есть карабины, автоматы и пулеметы. Но, черт побери, у него нет не только маленькой пушки — «полковой сорокапятки», прозванной бойцами «прощай, Родина», но даже нет обыкновенного противотанкового ружья!

Танк с ходу повел огонь.

Припав к пулемету, Хаво до крови закусил губу. Его автомат лежал под рукой, но в диске с десятком патронов. Григорий силился разглядеть смотровые щели, а мушка двоилась и прыгала.

По другую сторону Олега пристроился Галков. Он снарядил запалами связки гранат. Сзади разорвался снаряд. Курганова и бойцов обсыпало землей. Земля набилась в нос, в уши, за воротник, попала в глаза, закрипела на зубах, засолонила во рту.

И снова грохнул снаряд, второй, третий. Гитлеровцы подступали со всех сторон. Они мелькали между деревьями, появлялись там, где их не ждали, кучно бежали за танком.

Галков выбрал левую гусеницу и видел только ее. Она набегала, широкая, блестящая, массивная. И надо было ее перебить.

— Гранатами бей! — закричал Курганов, чувствуя, как все внутри холодеет.

Танк вздрогнул, слегка качнулся набок, и черный дым вырвался из-под него. Развернувшись на месте, он заглох. Гусеница стальной дорожкой растянулась поодаль.

В немцев полетели десятки гранат. Кто-то надрывно крикнул: «Лупи гадов, бей их!» И это «бей!» прозвучало нужнее любой команды.

И снова застучали приклады, послышался лязг штыков. Снова горькая ругань и стоны сквозь стиснутые зубы.

Сколько все это длилось, — трудно сказать.

— Неужели отбили? — не веря глазам, спросил себя Курганов. Гимнастерка прилипла к мокрой спине. Каждый нерв все еще ощущался, как сжатая пружина. Три бойца оказались убитыми. Четверо — тяжелоранеными. Они метались, стонали, ползали по земле. Их следовало перенести в овражек. Вид тяжелораненых всегда действует на здоровых более угнетающе, чем трупы...

А где теперь Надя? Что с ней?! Неужели и там... В глазах Олега на секунду потемнело...

Легкораненые — в их числе и Галков — в тыл не пошли. Здоровые перевяжут их, а они еще пригодятся здоровым.

— Гришка, бинтуй! — потребовал Галков. — Помирать, так вместе, и чтоб с музыкой!

Гришке не хватило пакета, чтобы забинтовать простреленное ухо Галкова. Повязку он наложил через всю голову, сердился и ничего не мог поделать. На голове Галкова появилось из белых бинтов подобие тюрбана...

Курганова позвали к телефону.

— Ну как, друже, дела? — спросил Малышев, словно речь шла о загородной прогулке.

Курганов с трудом сдержался: раненых некому эвакуировать. В овражке образовался целый санпункт. Но голос Малышева звучал трезво:

— Ничего, Курганов, держись. Главное — духом не падай. Через час увидимся...

Трудно было поверить, но сказано твердо.

— О патронах не волнуйся, — заверил комбат, — был из твоего хозяйства связной, дал ему проводника, обоих загрузил под завязку.

Немцы притихли. Может, подсчитывали потери, а может, готовились к новому броску. Хаво подсунил Курганову кусок колбасы, флягу и сухарь. Водка обожгла внутри. Но в такие минуты пить ее можно как воду, прямо из горлышка, двумя, тремя большими глотками и даже не морщиться.

В небе проплыли косяки «хейнкелей». Курганов опустил в щель и увидел пачку газет, оставленную Куклиным. К ним не хотелось даже прикасаться. Сводки давно устарели, а на последней странице: «Сегодня в кино и театре». Люди где-то слушали оперу, умывались с мылом, в дождь надевали калоши, вечерами читали душещипательные романы...

Дорого дал бы сейчас он за то, чтобы побыть рядом с матерью, поиграть для нее на скрипке, попить чаю с домашним вареньем...

В щель просунулся связной штаба, за ним спустился боец. Они принесли патроны.

— Возле болота пришлось ползти, товарищ лейтенант, там фрицы засели...

— Чего? Вы мне бросьте! Зовите Хава и никому ни слова...

Вчетвером они миновали овражек, тальник и лишь появились на тропе, как пули заставили залечь.

Хаво сплюнул сквозь зубы:

— Похоже, колечко, товарищ лейтенант?

— Не делай из мухи слона!

Повернувшись к бойцу и связному штаба, Курганов тише добавил:

— Здесь немцев не пустите — значит, в затылок нам не ударят. Пришло еще двух бойцов. Идем! — позвал он Хаво.

— А как же пакет? — недоуменно спросил связной. Он добрых шесть километров отмахал ради этого пакета.

Курганов вскрыл небольшой голубенький конверт. «Срочно донесите о проделанных инженерных работах. Впредь не допускайте задержек и доносите ежедневно к 18.00. Адъютант старший батальона — старший лейтенант Войтенко».

Курганов презрительно поморщился. На впалых небритых щеках резче выступили желваки. «Там даже не знают, что саперы сидят здесь вместо пехоты». На вопрос связного он ответил с укором:

— Куда ты пойдешь? На болоте скорее шлепнут. А будут ругать, так меня...

Но немцы не только отрезали путь к тылам, они перерезали и провода.

Все складывалось паршиво. Кольцо было по всем правилам. Теперь не вызвать огня батарей даже на себя. Что-то надо было предпринять...

— Товарищ лейтенант, смотрите! Смотрите! — донесся голос Хаво.

Немцы мелькали между деревьев. Их, может, десять а может, и по два на каждого.

— К бою-ю-ю!..

Как в лихорадке, задрожал пулемет...

— Бей их!

Дробными перекатами ударили по немецким передовым «катюши». Откуда-то снизу уже донеслось еще глухое, но возбуждающее «ур-ра!» Рванувшись навстречу врагу, рядом с Кургановым бежал Хаво, за ним Галков...

Но и немцы уже бежали с высоты — они отступали. Во фланг им ударил Малышев... Сдержал слово!

* * *

1

Отшумели весенние паводки. Смыли бурливые потоки талую кровь людскую. А ту, что не смыли, впитала в себя земля.

К осени 1943 года батальон прошел с боями не одну сотню километров. Дивизия полковника Шугая дралась под Лисичанском и Красным Лиманом, под Изюмом в Лозовой, под Павлоградом и Синельниково. Теперь она шла по пятам отступающих немцев к прославленному в былинах и песнях седому Днепру.

На Северном Донце при переправе Курганов потерял почти половину людей своей роты. Под Изюмом немцы вместе с сотнями бомб швырнули сверху листовки «Мы в кольце, и вы в кольце, посмотрим, кто будет купаться в Донце!» Купались в Донце и те, и другие. Там же ранило Хаво, Галкова и Третьякова. Но все они вскоре вернулись в свой батальон. Надю крепко контузило под Юрьевкой, Яковлева — у Новониколаевки... Воины покрылись рубцами, но, как только могли брать оружие, вновь становились в строй.

Сколько минуло событий, никто никогда не сумел бы запомнить. Однако были детали, детальки, штрихи которые врезались в память. В марте весь батальон от души приветствовал смерть генерала Эйке, командующего дивизией СС «Мертвая голова». По этому поводу Хаво выразил общее мнение так:

— Кому мертвец, а русскому солдату товарец!

Прочитав заявление генерала Монтгомери корреспонденту ТАСС, в котором тот передавал горячий привет Красной Армии (стало быть, и ему, Григорию) и следом заявлял, что бои в Тунисе будут жестокими и упорными, что он привык действовать только наверняка и что удар его армии будет молниеносным и решающим, Хаво невольно сорвался с дипломатического такта:

— Ну и нахал, а еще генерал.

Спустя месяц, когда появилось сообщение о том, что генерал занял Махарес, Хаво с Галковым долго искали его на карте Северной Африки, но так и не нашли. То ли карта попала им неудачная, то ли этот Махарес был даже не Пятихатками.

Майское выступление премьера Черчилля в конгрессе США расстроило даже старшину Куклина и ездового Рябкина. Они и год назад слышали от премьера, что «англича-не должны сделать все, что в их силах, для того, чтобы облегчить бремя России».

Недаром Гитлер, махнув рукой на премьера, послав к чертям Монтгомери и Эйзенхауэра, сосредоточил на Орловско-Курском и Белгородском направлениях крупные силы и пошел в наступление.

И опять отдувались иваны, а не янки и томми.

И тогда в оправдание Черчиллей и Эйзенхауэров перед миллионами американцев выступил радиокomentатор Пирсон; он заверил, что Советская Россия нагло ведет за спиной своих союзников переговоры с Гитлером о заключении мира. Тут даже Надя и та не постеснялась, сволочью вслух его назвала.

Нет. Не слова, а дела решали все. В России аукнулось — в Италии откликнулось. Итальянский народ устал от войны. У короля Виктора-Эммануила не оставалось надежды и на Гитлера. Двадцать пятого июля он вынужден был сменить Муссолини на Бадолльо. И только утром третьего сентября английские и канадские войска форсировали Мессинский пролив и высадились в Южной Италии, не встретив перед собою ни одного итальянского солдата. Ось Берлин — Рим — Токио дала трещину. Обнаружилась и «искренняя любовь» Гитлера к неким друзьям. Оказывается, Роммель заранее разработал план разоружения итальянских войск по сигналу «Вариант Ось», 18 сентября гитлеровскому парашютному десанту удалось выкрасть из Абрुццача Муссолини, с тем чтобы на севере страны создать новое фашистское правительство...

Не скоро все это забудут люди, не скоро. Им вовсе не безразлично, что было вчера, что будет завтра. Солдат должен знать, кто его друг, кто недруг.

2

Старый, проживший три человеческие жизни ворон к вечеру отмахал добрую сотню верст. Он летел вдоль миллионов немцев, сочувствующих Гитлеру, к началу Днепра с юга на север. Летел не спеша, иногда отдыхал на таком же старом, как он, дубу, иногда долго кружил над одним местом, вглядывался в поля и рощи, долины и пашни, где не раз приходилось ему жировать.

Возможно, с годами память его притупилась, но две битвы людей в последние четверть века он помнил даже во многих подробностях. Эти битвы давали обильную пищу ему и его сородичам. Пряное человеческое мясо он предпочитал другому. Самым излюбленным блюдом был для него человеческий глаз — не талый, который сам вытекал, когда труп оттаивал из-под снега, а не давно остывший, едва успевший подернуться мутью.

Ворон покинул огромную стаю сородичей потому, что был уже стар. Его оттеснил сильный и молодой соперник, родившийся в годы прошлой большой войны. Теперь

бывшая стая мудрого ворона где-то рыскала по полям в поисках пищи... Сам же старый ворон знал, где будет ее в изобилии...

Солнце коснулось далекого горизонта, когда ворон снова заметил большие колонны людей и повозок, машин и пушек, тянувшихся также к Днепру. Там, выше по реке, в дымке виднелся огромный город. Но колонны свернули влево, и только одна небольшая, дойдя до развилки дорог, потянулась вправо, к дубовой роще, остановилась там на привал.

Ворон устал. Плавно снижаясь, стал облюбовывать место для отдыха на противоположной стороне рощи. Он уже снизился наполовину, когда вдалеке заметил сотни чернеющих точек. Потом в другом месте он снова увидел такую же стаю собратьев. Обе стаи смешались, попадали камнями в бор или лес, куда-то за холм...

После того как свернули с дороги и был объявлен привал, Курганов подал команду: — Командиры взводов, ко мне!

Подошли Яковлев, Третьяков, Мещеряков, замкомбат по политчасти Левченко. Курганов раскрыл планшет, вынул карту, нашел на ней рощу — место привала. До Днепра оставалось рукой подать.

Каждый из присутствующих видел жирную линию красного карандаша, ведущую к деревне Майорке. Днепропетровск оставался правее, километрах в восемнадцати. Дивизия ушла влево, возможно на Варваровку или в сторону Войскового. Там Днепр значительно шире. Но в скольких местах и какими средствами он будет с ходу форсирован, знали только в больших штабах.

— Вот наш маршрут! — объявил Курганов, указывая на красную черту. — К двадцати четырем должны быть в этом районе, от южной окраины деревни в трехстах метрах. Парк армейских переправочных средств получим в час ночи. Приказано на рассвете перебросить на тот берег усиленный батальон и пультоту для захвата плацдарма. Стрелки подойдут к трем часам ночи. Соблюдать полнейшую маскировку, во взводах не должно быть ни одного отставшего, отвечаете головой. Есть вопросы?

— Немцев на этом берегу не встретим? — спросил Мещеряков.

На это Курганов ответить не мог. Последние три дня враг, почти не оказывая сопротивления, спешил за Днепр.

— На всякий случай выдвинешь боевое охранение.

— А где остальные наши люди? — прозвучал еще глуше голос Мещерякова.

— Выполняют другое задание.

— Следом за первым будем переправлять другой батальон или все?

— Надеюсь, что будем... и полк, и дивизию. Все в наших руках!

Но в этот ответ вряд ли кто поверил. Не поверил и Курганов. Он уже смутно догадывался, что дивизия будет форсировать Днепр мощным и сильным потоком где-то в другом месте. А им предстояло отвлечь на себя внимание немцев, что самое худшее, принять первый удар не на суше, где горсть земли в кулаке и то помогает.

Когда спускались с холма к Днепру, Курганов послал Третьякова с пятью автоматчиками в деревню узнать, давно ли покинули ее немцы. Сам он с ротой, минув сады, направился к месту будущей переправы.

Узкий, как серп, месяц слегка зеленил все вокруг. Каждый пришедший к Днепру пытался увидеть сквозь мрак противоположный берег. Но берег далек и черною полосой почти сливался с небом. Однако, вглядевшись придирчиво, глазами сапера, привыкшего к темноте, можно было по черным пятнам садов представить себе границы деревни на том берегу. Поразительная тишина была и там.

Курганов приблизился к самой воде, встал на колени, как будто затем, чтоб ответить низкий поклон Днепру, склонился и двумя глотками смыл жар во рту. Подходили солдаты, пили и умывали лица, пробовали воду на ощупь.

А Днепр молчаливо, недружелюбно, словно тая обиды за прошлое, медленно нес

холодные воды на юг. Вдоль его берега тянулся глубокий ров, никому не понадобившийся, никого не остановивший, когда немцы шли на восток. Теперь они отступили на правый берег, а Днепр, могучий, широкий, должно быть, очень красивый, невольно встал на пути своих же хозяев. Может, поэтому он был недоволен собою и людьми.

Вскоре пришел Третьяков. Оказалось, что немцы через деревню не отступали, все их колонны прошли другими дорогами к Днепропетровску и Запорожью. Есть ли немцы в деревне на той стороне, жителям неизвестно.

— Двух лбов таких встретил, что самому стало страшно! — вставил Хаво.

— Кого, кого? — не понял Курганов.

— Мужики сидят дома. Ряхи — во! Кирпича просят! На них пахать без трактора можно. А они за юбки бабьи держатся. Еще целоваться, сволочи, лезут. Говорят, натерпелись под немцем...

— Ну, это ты брось, — оборвал Курганов. — Без нас разберутся.

И все же от слов Григория стало вдруг совсем не по себе. Стало стыдно, обидно за себя, за людей.

— А я что? Я молчу! — ответил Григорий. — Только будь моя воля, товарищ старший лейтенант, прочесал бы сейчас деревню, собрал бы всех лбов, посадил в одну лодку, сунул в руки винтовки и сказал: плывите первыми, подлецы, умели отсиживаться, умеете себя оправдать в бою...

И, не дожидаясь возражений или согласия, Хаво большими неторопливыми шагами пошел в сторону рва к солдатам, где можно было по душам поговорить с Иваном Галковым.

Натужное гудение автомобильных моторов услышали многие еще издали.

— Серега, беги наверх! Останови машины! Сюда не пускай. Гудят хуже танков, черт побери! Я следом иду.

Когда он пришел, Сергей гневно отчитывал такого же молодого, как сам, лейтенанта.

— Ну что вы нам привезли?

— То, что выделили для вас! Укомплектовано полностью все...

Сообщение представителя инженерных армейских складов кого угодно могло бы повергнуть в уныние и обозлить.

— Неужели вы не нашли чего-нибудь лучшего, хотя бы несколько лодок из НЛП? Они все-таки не резиновые...

— Все увезли под Войсковое. Туда и два катера угнали. Но и эти лодки новые... Даже в эксплуатации не были.

— Эх ты, эксплуатация! Мыльные пузыри привез. Разгружать будешь здесь. К воде не пушу. Сейчас придут люди. Помогут. Аварийный починочный материал на все лодки?

— Я говорю, все в порядке. Прямо с завода получили недавно...

— Опять с завода...

Пехота прибыла строго в назначенный час. Большие резиновые лодки были уже подготовлены к переправе.

Вместе с пехотой прибыл представитель штаба дивизии — высокий красивый майор с грубоватым голосом. Он повел себя сразу же шумно, потащил за собой от лодки к лодке комбата и остальных офицеров. Осмотром лодок майор остался доволен. Лодки туго накачаны, оснащены как положено.

— Батальон и пультоту сразу погрузишь? — спросил майор.

— Погрузить — погружу, — ответил Курганов, — места хватит еще на полста человек. Я уже думаю, лучше поротно людей перебрасывать, волна за волной...

— Нет уж, мудрить ты мне брось! Твое дело везти, наше — командовать. В остальном — молодец! Вместе с тобою в лодке поеду.

Курганов хотел настоять на своем, но тут потянул в сторону Мещеряков.

— Солдат пропал, — заговорил он, даваясь и захлебываясь от волнения, — все обыскал...

Курганов сжал кулаки, обернулся к присмиревшему, всегда нагловатому, а теперь понурому Мещерякову.

— Кто такой?

— Засыпкин.

— Найти!

— Уже полчаса как ищем, — он смахнул ладонью со лба испарину.

— Значит, дезертировал?!

— Не знаю, наверно, удрал...

— Эх, Мещеряков, Мещеряков!.. Шкуру с тебя бы снять! Доложи немедленно Яковлеву. Он останется на берегу за меня. Пусть примет меры.

Хотелось покрыть крепким матом Мещерякова, заставить из-под земли добыть Засыпкина, но было поздно.

Кроме гребцов, в лодках разместилось по двадцать-двадцать пять пехотинцев. Из всех пожеланий и требований Курганова майор принял только одно — приказал шинели свернуть всем в скатки. Он первым спешил форсировать Днепр. Лодки отплыли кучно, словно зажатые в обруч. Надя, отпросившаяся у комбата в роту Курганова, и Сергей, не скрывая друг от друга своих опасений, молча следили за происходящим.

Когда тихоходный плавучий десант был на середине Днепра, синее небо востока приняло окончательно голубой тон. Рассвет подгонял людей. Дружней заработали веслами. Теперь на посветлевшей поверхности Днепра Надя могла без особого труда отличить лодку от лодки. С каждой минутой десанту все меньше оставалось до правого берега... И вдруг в небо взвилась ракета, лопнув, разлетелась на огненные брызги. И сразу десятки таких ракет. Они ослепили, плеснули по водам Днепра зеленоватым дрожащим огнем, осветили холмы, бледные хаты, запрятавшиеся в оголенный хвост садов.

По лодке немцы хлестнули из двух, из пяти, из семи пулеметов... Взвизгнула, ахнула мина, за нею другая... Грохнул снаряд...

Вспенился Днепр, забурлил, задрожал вокруг лодок. Стоны и крики, ругань и мат, грохот и вой — все смешалось в одно.

— Назад! — заревел майор на Григория. — Разворачивай назад!

Но прежде чем Хаво или Курганов успели что-либо предпринять, решить, лодка под ними сморщилась и пошла ко дну.

— Тону-у-у...

— Помогите-е-е...

— Тону-у-у... — несло отовсюду.

В самой гуще барахтающихся людей один за другим взметнулись четыре султана огня и воды.

Курганов ушел под воду. Вынырнул. Но кто-то большой и сильный схватил его сзади за гимнастерку и потянул за собою на дно. Одним инстинктивным рывком Курганову удалось оторваться и снова всплыть на поверхность. Жадно, по-рыбы вобрав в себя воздух, метрах в пяти он услышал голос Григория, зовущий его.

— Я здесь, Гри-и-и...

Курганов вновь захлебнулся. На этот раз его схватили за волосы, ударили коленом в грудь, погрузили под себя. В нос, в уши и в рот сотнями игл хлестнула вода, в голове завывло сиреной... Но тот, кто топил, вдруг сразу ослаб, разжал пальцы... Это позволило вынырнуть.

— Держись! — взревел Хава над самым ухом. — Держись!

Курганов почувствовал, что силы оставляют его. Левой рукой грести он не мог. Боль в плече стянула руку, а сапоги, словно гири, тянули вниз.

— Держись! — услышал он снова, но сильной волной захлестнуло его...

Как только немцы открыли огонь по десанту, Сергей бросился к лодкам, оставшимся в его резерве. Это были две малонадувные армейские лодки и две деревянные плоскодонки, пригнанные Третьяковым и Галковым из деревни.

Кажется, впервые за время войны немцы, потопив десант, не стали добивать тех, кто был не добит и как-то пытался добраться до берега. Больше того, они не открыли огонь по лодкам Галкова, Миронова, Третьякова, Яковлева, поспешившим спасти утопающих. Они словно хотели сказать: всыпали — хватит, мы джентльмены, но если сунетесь вновь, не то получите. С Днепра все равно не уйдем, а там как хотите!

— Растуды вашу мать! — гремел Галков в адрес гитлеровцев. — Стреляйте сколько угодно, плевать мы на вас хотели. Подождите, устроим и вам сабантуй! В землю вколотим!

Григорию плыть с Кургановым становилось трудней и трудней. Но вскоре вернулись силы и к самому Курганову. Правой рукой он начал грести... Под левую его поддерживал Григорий. Их сильно сносило течением, и когда наконец они добрались до берега, то оказались ниже деревни на добрых полкилометра. Выбравшись из воды, они грохнулись на песок и с минуту лежали, не шевелясь. Поднял их озноб. Зуб на зуб не попадал. Кровоточила рана Курганова, не давала пошевелить рукой. Разорвав гимнастерку на плече командира, Хаво вцепился зубами в острый торчащий осколок и с силой рванул на себя. Вместе с осколком он выплюнул сломанный зуб...

Вот, кажется, все, что случилось на Днестре под Майоркой. Но если точнее — то не все! Левченко с Мещеряковым выплыли сами. Двенадцать человек удалось подобрать в лодку. Майора вытащил из воды Галков.

Уже рассвело, когда оставшиеся в живых собрались во рву. Молча отжимали белье, гимнастерки и брюки. Грелись, закутавшись в шинели, курили глубокими за тяжками.

— Что будем делать, майор? — спросил Курганов.

— Ждать...

— Чего ждать?

— Приказа...

Какого приказа, он не расслышал. С юга отчетливей донеслась канонада, и все повернули головы в сторону юга. Там, где-то под Войсковым, гудели сразу сотни орудий. И Курганов почувствовал сердцем — там удалась переправа, хоть и Днестр намного шире. Там немцев застигли врасплох. Они подтягивали резервы сюда и прозевали все на свете там.

Неожиданно из-за Днепра по гребню холма стала бить гаубичная батарея противника.

Курганов, Яковлев и еще несколько человек, поднявшись по откосу на бровку рва, посмотрели в сторону, где рвались немецкие снаряды. По скату холма к ним бежал человек. Почти каждый узнал Засыпкина. Очевидно, только теперь Засыпкин вспомнил про ров, в котором мог бы укрыться.

— Глазам не верю, — сказал Курганов. — Дай-ка, Хаво, бинокль!

Новый снаряд рванул совсем близко от Засыпкина, и Курганову показалось, что голова бегущего отделилась от туловища. Туловище еще пробежало несколько шагов и с размаху грохнулось о землю.

Наблюдавшие эту картину молча переглянулись.

— Значит, нашелся Засыпкин, — сказал Сергей.

— Дезертир! — подтвердил Курганов. — Удрать в тыл побоялся, задержат. Отсиживался в какой-то норе, а фрицы и приняли за наблюдателя, вот и накрыли. Собаке собачья смерть!..

Днепр с гордою мыслью о том, что дает жизнь морю, нес величаво воды на юг. От минувших событий в районе Майорки не осталось следа. Солнце было уже над холмом, когда старый ворон покинул ночлег. Дав размашистый круг над рощей, он полетел в ту сторону, откуда перед рассветом доносились разрывы и залпы. Но желанного бранного поля со множеством трупов он не увидел. Днепр обокрал ворона. Ворон злобно покаркал что-то Днепру, но тут же с большой высоты зорким глазом увидел на скате холма за деревней распластанный труп. Почувствовав неодолимый голод, позабыв о всякой предосторожности, ворон быстро снизился и уселся метрах в пятнадцати от трупа. Оглядевшись вокруг, он пропрыгал к трупу не больше двух метров, опять огляделся и снова приблизился на два метра...

Через час, насытившись вволю, ворон чутко дремал на безмолвной груди мертвеца, готовый в любую минуту всем и всему прокричать: это мое!

3

Паршивое место плацдарм, несчастный клочок земли, павший камнем преткновения. Этот клочок терзают снарядами, рвут бомбами, трамбуют минами. Нет на плацдарме пяди такой, где б не ступала нога солдата, где б не витала над жизнью смерть.

Людям плацдарма трижды трудней на войне. Они скованы, собраны в фокус убийственного огня... Они чаще сидят без воды и пищи, без патронов и снарядов, без табака и бинтов. Им маневрировать негде, отступать тоже некуда. На плацдарме больше чем где-нибудь стирают грани между войсками и службами. Там санитар и связист, сапер и артиллерист, бронебойщик и повар, химик и пехотинец готовы в любую минуту идти в контратаку.

В общем, еще и еще раз плацдарм паршивое место, паршивое не только потому, что драться на нем очень трудно, а потому, что и связь с ним дрянная и люди гибнут не столько от смертных ран, сколько от потери крови. Раненых и убитых в бою, как правило, три к одному. А на плацдарме смертность за счет раненых вдвое выше.

После того как пробудешь недельки три на плацдарме и возвратишься в обычную фронтовую обстановку, невольно покажется, что в рай угодил...

— Вот и пойми, где ад, а где рай на земле! — поучал Григорий спарщика-часового, одного из тех двух новобранцев, о которых когда-то говорил Курганову: «Морды — во! Кирпича просят...»

— Трохи страшно в этом овраге, кругом норы да блиндажи, и люди все под землей. Близко до немца. Глянь, пули поверху так и летят. Придумали ж люди на себя такие пули — летят и светятся. Угодит в мясо — изжарит.

Действительно, ночью было особенно неприятно сидеть в овраге. Он чем-то напоминал глубокий провал в земле. До неба над ним казалось вдвое дальше. Еще казалось, что однажды сомкнутся стены оврага, не выдержав тряски и грохота, и тогда похоронят все под собой. Закроют над головою небо с овчинку, звезды-росинки.

— Ничего, — успокаивал Григорий, — скоро турнем фрица отсюда, тогда успевай только за ними. Драпают, гады, не по-нашему. На машины — и попер. Зато весной и осенью после дождей хорошо их гонять... Ну а насчет земляков своих не горюй... Хуже могло случиться. Тебя как зовут-то?

— Николай Бабенкой... Николай...

Неделю назад больше ста новобранцев получил батальон, и почти все они угодили в роту Курганова. Батальон теснился в глубоком овраге. Выполняя свои непосредственные обязанности, он нес и охрану оперативной группы штадива на случай прорыва немцев. Из оврага саперы уходили к переднему краю на задание, в овраг воз-

вращались за новым заданием. Здесь — в «птичьих норах» — они умудрялись часок-другой переспать, погреть желудки горячей пищей, принесенной с берега в термосах.

Хаво не зря успокаивал Бабенку. С первых шагов землякам молодого солдата не повезло. Не успели они впотьмах присмотреться к оврагу, как немцы открыли огонь из тяжелых орудий, беря под обстрел то один, то другой квадрат плацдарма. Всем было приказано укрыться в ячейках и землянках, и все попрятались в норы, как мыши. В щелях и землянках людям стало тесно, как сельдям в бочках. С одной стороны возле Нади оказался Курганов, с другой — Хаво, и тут же Бабенко — здоровый детина, дрожавший, как лист осины на зябком ветру.

Но в соседней землянке, где были одни новобранцы, чьи-то нервы не выдержали. Восемь солдат рванулись вон из укрытия. Они бросились вниз по оврагу — к Днепру. Тяжелый снаряд, угодивший в откос оврага, обрушил стену земли. Когда откопали сбежавших, шесть человек уже задохнулись. Только двух смогла возвратить Надя к жизни. Смерть товарищей подействовала на новобранцев особенно удручающе. С того дня Курганов приказал даже в наряд посылать их с бывальыми солдатами. Посылать до тех пор, пока они не привыкнут к запаху пороха, сумеют побороть в себе страх, брезгливость к ранам и трупам.

— Вот так, — поучал Григорий Николу, — трусам всегда везде плохо. Это уж точно. Мне можешь верить.

Через головы полетели снаряды на левый берег, очевидно туда, откуда били всегда наши тяжелые дальнбойки. Но Хаво не обратил внимания.

— Ты хохол или русский?

— Батько — хохол, мать кацапкой была.

— И сколько тебе, дубинушка, лет?

— Чего сколько?! Двадцать два.

— Ого! И в армии был?

— Был неделю...

— Больно здоровый ты, дядя, не справлюсь, пожалуй. А то бы снял с тебя портки, да и всыпал крапивой по полным местам.

— За что всыпал?

— Чтоб с фронта не бегал.

— Я не один.

— Один не один, а сбежал. Что на Фому кивать, коли у самого рожа крива.

— Все так делали.

— На всех не брещи. Все бы сбежали — воевать некому было бы. Почему в партизаны-то не подался?

— У нас лесов нету.

— Лес волку нужен, а партизану — Родина.

— Тебя бы под немца, ты бы узнал...

— Может, и знаю. Видел я немцев... Вот так, как с тобой, разговаривал, а под ними не буду!

— Ну чего ты меня пытаешь? Чего? — взмолился Бабенко. — Я еще навоююсь...

Так вели они разговор, понимая, что Хаво мог бы смачно, язвительно матюгнуть Николу, а Никола тем же ответить Григорию. Но ни тот, ни другой не делали этого. Что было, то прошло, а за то, что будет, оба они в ответе. Может, и Хаво два года назад многое понимал иначе. Война другому его научила. Научила чему-то таких, как и Никола. А Григорий должен научить его с врагом драться.

— Слушай, Хаво, а эта врачиха у вас давно? Кажется, наша, хохлушка. Лезет везде, не боится. Как ее, Лозовенко, что ли?

Григорий почувствовал, как все в нем запротестовало:

— Ты что, про доктора нашего так?!

— А про кого же еще?

— Не врачиха она и не хохлушка. Понял или нет! Это я для тебя кацап, а ты для меня хохол... и то с позволения твоего так называю.

— Да я это так, — замялся Бабенко, — шуткую...

— Шуткуешь? Нашелся шутник! Таким, как она, должен кланяться в ноги... С тобою, сопливым, спит рядом в землянке и ест всегда вместе. Храпишь ты, как трактор, — она тебя слушай. Портянки вонючие разматаешь — она их нюхай... Ты, балда, и отвернуться, когда нужно, не догадаешься... Вот она жизнь для нее какая. И говоришь о ней, как в душу плюешь. У нас так не заведено. Культуры солдатской нет у тебя. Для нашего брата доктор — первый человек в батальоне. Запомни: в армии нет врачей, фельдшерниц. Есть сестрица, есть доктор, а если язык не поворачивается, тогда говори как положено — товарищ военврач...

Спустя неделю, когда нужно было проделать ночью проходы в немецких проволочных заграждениях, Хаво в помощники взял Бабенку. Воспользовавшись минутным затишьем, они поползли рядом, в руках автоматы, за ремнями на спинах ножницы. Ползти пришлось на участке, которой не раз переходил из рук в руки, хорошо освещался ракетами, был избурген воронками, ячейками, обвалившимися траншеями. Они уже резали проволоку, когда немцы их заметили и открыли бешеный огонь. Хаво скатился в воронку. Бабенко вскочил, побежал назад. Пули визжали и рикошетили, свистели у ног, а может, над головой. Заметив при свете ракеты окопчик, Бабенко грохнулся камнем в него. Но не прошло и пяти секунд, выскочил с руганью из укрытия, перемахнул расстояние до Григория, шлепнулся рядом.

— Тебя что, скипидаром намазали, шантрапа! — проворчал озлобленно Хаво.

Бабенко плевался, тер руки землей и снова плевался.

— Покойник, склизкий уже... противно...

Когда возвратились в овраг, Хаво хлопнул товарища по плечу, рассмеялся:

— Молодец, Никола, солдат из тебя получится! Был у нас в роте Засыпкин, так тот поцеловал бы лучше покойника в ж., чем из окопа вылез...

Бабенку чуть не стошнило.

— Ничего, ничего. Скорее привыкнешь. Другой раз попьешь из канавы, пройдешь шагов десять, а там дохлая кляча лежит... От этого еще никто не помирал. В книгах, может, такого не пишут, неприлично вроде. А на войне как на войне.

Бабенку вновь замутило, а Хаво уже без насмешки, подражая Третьякову, серьезно, неторопливо договорил:

— Война трусов не терпит, брезгливых не любит, горячих быстро остудит. Сегодня крещение ты, брат, прошел — страх одолел. А то, что до этого под бомбежкой насиделся, — это не в счет. Просидеть в блиндаже можно год и нехристом остаться. Молодец, Никола, хочешь — друзьями будем!

И, действительно, с той поры Бабенко уже боялся потерять в глазах Хаво нажитой авторитет. Это не значит, что он не втягивал шею, когда рвался близко снаряд или падала бомба, но и выдержка его уже много стоила.

— Выйдет толк из вас, выйдет! — говорил Хаво Бабенко и его землякам. — Вот только жрать вы горазды, хлопцы. Ладно, и к этому скоро привыкнете... У нас соответственно требованию организма дается. Лишний жирок на пупке не завяжется...

Так незаметно вжилось пополнение в роту. А семнадцатого октября, когда была прорвана оборона немцев и занято несколько деревень, Бабенко с подчеркнутой лихостью, подражая Григорию, предстал перед Кургановым.

— Разрешите, товарищ гвардии старший лейтенант, обратиться! Я слышал, шофер на трофейную машину нужен. Дозвольте, доставлю.

Курганов давно мечтал иметь в роте вместе с повозкой грузовую машину. Теперь подвернулся брошенный немцами «оппель-блиц». Сам Курганов баранку крутить

давно научился, да только быть командиром роты и одновременно шофером никак не сподручно.

— Доставишь шофера?! Откуда?

— Дозвольте! Найду! — заверил Бабенко.

Курганов решил, что солдат найдет в батальоне шофера, о котором раньше не было известно. Но оказалось, вовсе не так.

Спустя полчаса в одной из хат заголосила толстая, неопрятная на вид женщина, схватила за руку шупленького мужа Панаса.

— И куда вы его берете? Що вин вам сделал такого. Да скажи ты хоть слово, Панас! Панас молчал. За него говорил Никола Бабенко.

— Будет тебе надрываться. Кто воевать-то с германом станет? Хватит, погрелся возле тебя... — и уже к Панасу, не смеющему возразить: — Бери картуз и пошли. Шоферов армии треба. Где еще есть шофера, показывай?.. А ты не вой, человек в армию идет, радуйся, дура!

Курганов сразу даже не понял, кого и откуда привел к нему Бабенко. Он думал увидеть солдата, а увидел трех человек в обычном гражданском наряде.

— Вы шоферы? — спросил он их.

— Шофера! — ответил за всех один.

— Идите пока на крыльцо, там подождите.

И когда они вышли, Курганов, едва скрывая ухмылку, спросил растерявшегося Бабенку:

— Зачем ты привел их, что с ними делать я буду?

Теперь солдат удивился.

— А как же их упустить?! Их в армию все равно заберут. Тогда они нам не достанутся. Дозвольте, я к старшине их сведу, сразу оденем, и баста. Пусть барахлишко домой снесут, попрощаются с женками...

«Он прав, призовут, — подумал Курганов, — была не была, заберу к себе в роту! А машины еще раздобуду!»

Прошли две недели. В один из погожих дней роту на марше нагнал комдив. На шустреньком «виллисе» с ним был и начальник политотдела Сокольников. Рота была на привале. Полковник велел отдыхать солдатам, Курганова отозвал в сторонку:

— Так ты партизанить, значит, решил? — прищурился, спросил он строго Курганова.

— Не понимаю, товарищ гвардии полковник.

— Не понимаешь?! — нахмурился и Сокольников.

— Никак нет, товарищ гвардии подполковник!

И тут один за другим, перекрестным порядком, как на допросе, посыпались на Курганова вопросы комдива и начальника политотдела:

— Кто позволил тебе людей в армию мобилизовывать?

— Разве не ясно, что это дело военкоматов?

— Может, тебе и машины по штату положены?

— Ты говоришь, тремя автомашинами уже обзавелся? Это где же, в Кастромке, что ли? А трактор не заимел?

— Один заимел, — упавшим голосом ответил Курганов. — Тысяча мин на прицеп сразу входит... Два километра по фронту от танков можно закрыть...

И чем больше Курганов потел, тем заметней теплилась смешинка где-то в глазах комдива.

— Так вот что, Курганов, выговор я тебе объявляю в приказе по дивизии. Шоферов, тракториста в кадры отправишь. Две машины сдать в автобат. Трактор и дизель оставлю вам в батальоне. Все равно лошадей половину у вас перебило, тракториста и шофера прикажу прислать новых. Ну а если еще раз подобное выкинешь — судить тебя будем! Понятно?!

— Понятно, товарищ гвардии полковник!

Сокольников задержался возле Курганова на минуту.

— Как же ты так, Курганов! Запомни, ты не советская власть. И потом, кого ты берешь? Может, старост, а может, и полицаев? Пусть народ сперва сам разберется, что к чему. А тебе кого дали — с тем и воюй...

Мишина ушла. Курганов подал команду строиться. На правом фланге стоял Бабенко и невинными голубыми глазами пожирал командира роты, ожидая команду «равняйся!». Курганов горько ему улыбнулся. Бабенко, польщенный вниманием, ответил широкой улыбкой. Он понимал — в строю большого допускать нельзя. Через два дня в батальон из штаба дивизии принесли приказ за подписью полковника Шугая. Курганову объявлялся выговор. Весь офицерский состав дивизии строго предупреждался о недопущении подобных поступков.

А «бюссинг» трофейный и трактор не раз выручали в беде.

4

Шальная пуля прошла инженеру дивизии мякоть ладони между большим и указательным пальцем. Рука опухла, болела, но это было не первое пулевое ранение за тридцать лет службы в армии.

— Вот тут, вот тут еще бинт наложите, — подсказывал он.

Надя не пожалела бинта, и это растрогало инженера.

— А я ведь грешил на вас и на Курганова, — признался он. — Не сердитесь?

— Ну что вы! Я не сержусь! — ответила Надя.

— Знаете сами, люди вы молодые. Всякие увлечения сейчас не безвредны. Думая об одном, можно совсем позабыть о другом! Война! Понимать надо, война! До личных ли нам теперь переживаний. Конечно, настоящая любовь — дело святое...

Надя слушала инженера с пятого на десятое. Ей лучше знать — настоящее ее чувство или ненастоящее. Когда Курганов пытался заговорить с ней о прошлой разговоре, она посмотрела ему в глаза, как смотрят тому, с кем предстоит пройти сквозь смерть, и только сказала одно:

— Молчи... Мне хорошо с тобой, и молчи!

— Да, да, — продолжал инженер, — здесь вот потуже, пожалуйста. Любовь — это дело святое.

— Простите меня, — перебила Надя, — у вас есть жена и взрослые дети?

— Разумеется, есть! Моей дочери двадцать два года.

— И вы думаете о ней только хорошо, не правда ли?

— Только и только так!

— Тогда очень прошу: думайте и обо мне так же хорошо, как о своей дочери.

— Извольте, пожалуйста. Я могу...

— Вот и спасибо!

— Вам тоже спасибо. Заражения, надеюсь, не будет? Завтра вам покажусь. Покажусь обязательно, а сейчас, извините, спешу. Свидание у меня с товарищем Галковым. Очень толковый солдат, очень. Новый взрыватель для мин изобрел.

Встретив Сергея Яковлева, инженер не забыл напомнить и ему о Галкове:

— Скоро будет армейская конференция изобретателей и рационализаторов, товарища Галкова пошлем обязательно, а вот вы — вы все стишки пописываете?!

— Пишу, каждый день пишу, товарищ инженер-майор, не всем же изобретать.

— А по какой формуле рассчитывается наружный заряд, если нам надо перебить железобетонную балку, имеющую мощную гибкую арматуру? Ага, забыли?

— По формуле цэ равняется двум эф, умноженное на двадцать пять.

— Тогда ничего не скажу, ничего!

— Куклин вам не докладывал? — спросил Сергей с едва заметной улыбкой.

— Нет, не докладывал, а что?

— Что-то тоже изобретает, но никому говорить не хочет. Сегодня ночью испытывать собирается свое изобретение.

— Спасибо, спасибо! Поинтересуюсь обязательно. Чем больше пошлем людей на конференцию — тем лучше.

— По моему, на это он и рассчитывает...

Вместе с Галковым инженер решил сходить на передний край и посмотреть на месте, чем занят Куклин.

А Куклин меж тем готовил взрывчатку, колья, ломы.

С вечера метрах в тридцати от проволочных заграждений гитлеровцев было установлено десять колов. Вдоль каждого кола привязано по пятнадцать толовых шашек, к шашкам приставлен лом, обращенный в сторону вражеских траншей. Расчет старшины сводился к тому, что шашки, взорвавшись, с огромной силой метнут лом и в сотую долю секунды порвут проволочные заграждения немцев. Это было б, конечно, здорово. Не надо лазить под пули врага, чтобы делать проходы, а проволочные заграждения больше не были бы помехой на пути атакующих войск.

Почти всю ночь проползал по снегу Рябкин, протягивал шнуры, согревал руки дыханием, поругивал старшину, который больше сидел в жарко натопленном блиндаже пехотинцев, чем помогал ему.

Галков пришел на полчаса раньше дивизионного инженера.

— Будьте поосторожней, — предупредил он Кукулина, — там впереди наши минные поля. Я сам устанавливал.

Рябкин показал взрыватель с капсулом-детонатором, который обнаружил в свежей снарядной воронке. Бесспорно, кто-то уже побывал на минном поле. Если немцы, тогда в любую минуту жди наступления или разведки боем. Все это встревожило Галкова. Разыскав старшину в блиндаже, он высказал свои подозрения.

— Ты шутник, — рассмеялся Куклин, — фрицам сейчас не до наступления. Сам знаешь — на оборону они перешли. Потерял взрыватель и сваливаешь на дядю...

Черноусый грузин-пехотинец, щуря насмешливые глаза, не замедлил вмешаться:

— Конечно, сам потерял. Зачем говоришь на немца? Немца мы и в глаза не видим. Не надо плохо думать. И мины свои зря ставил на самый бугор. Танк не дурак, зря на пушка не пойдет...

— Ты мне брось агитировать! — обозлился Галков. Натопите в блиндажах, как в бане, и дрыхните напролет всю ночь, хоть за ноги вас самих вытаскивай. Откуда только дрова берете...

— Ай, ай, зря говоришь...

— Ладно, Галков, не шуми, — вмешался старшина, уже светает, придет сейчас дивинж, будет испытывать наши метатели...

Одновременный взрыв шестидесяти килограммов тола разнесся на несколько километров. Казалось, что вспыхнул и треснул дьявольский шар огня. После взрыва с минуту царила гробовая тишина, затем кое-где застрочили пулеметы и автоматы. Но так как ни наши, ни немцы больше ничем не проявили себя, то и пулеметы вскоре стихли.

Галков долго вглядывался в сторону противника и наконец протянул свой бинокль подслеповатому инженер-майору. Инженер уже дважды успел протереть очки, но ничего пока не увидел.

— Плакали наши ломики!.. — сказал безнадежно Галков.

Стало настолько светло, что и инженер дивизии наконец рассмотрел неповрежденный проволочный забор.

Осознав случившееся, Куклин утратил дар речи. Он то краснел, то бледнел.

— Зимой лом на вес золота, а тут десяток черту на кулички запустили, — не унимался Галков. — Говорил, ничего не получится, — не поверили.

Галков зашел в блиндаж за автоматом и тут же вылетел из него как ошпаренный.

— Товарищ дивинж, пойдете со мной, пойдете!

Оказывается, три часа Куклин блаженно дремал у пехотинцев, а те в это время топили железную печку взрывчаткой мин, которые неделю назад устанавливал сам Галков. Мины они натаскали с поля еще прошлой ночью. Пехотинцы были довольны — топлива на два дня. Нет, они не снимали мины подряд, они брали их выборочно: те, с которых сдул ветер слой снега, которые были побиты осколками, пулями... Тол горел не хуже каменного угля...

Уже пришли в расположение батальона, а Галков все не мог решить: огорчаться ему или смеяться. Пехота стала отапливаться противотанковыми минами! Вот уж чего не могло быть под Юхновым или под Чернышевской. Как расценит все это большое начальство? Ясно, кое кому нагорит и порядком... Однако было во всем этом и нечто другое — бойцы перестали бояться «пантер» и «тигров», больше надеялись на себя, на поддержку орудий. Мысли об обороне отходили на задний план.



ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ



Я не участвую в войне —
она участвует во мне

Первая кровь

А первую кровь мы видели так.

Снегом нас обдавая,
лёгкие танки берут разбег,
выскочив на большак.
Дымное зарево впереди. Скоро передовая.

ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий Давыдович (22 января 1922 г., Козелец, Черниговская область, Украинская ССР — 25 января 1996 г., Москва) — поэт и переводчик, мастер лирического и пародийного жанра. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 1994 г. Вскоре после рождения Юрия семья переехала в Киев, а затем в Сталино (ныне Донецк). Окончив школу в 1938 г. в Сталино, Юрий Левитанский едет в Москву, где в 1939 г. поступает в Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ). С началом Отечественной войны поэт со второго курса института добровольцем уходит на фронт в звании рядового, становится лейтенантом, затем военным корреспондентом, начав печататься в 1943 г. во фронтовых газетах. После капитуляции Германии Левитанский участвовал в боевых действиях в Маньчжурии. За время воинской службы был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За победу над Японией», двумя медалями Монголии. Демобилизовался из армии в 1947 г. Первый сборник стихов «Солдатская дорога» вышел в 1948 г. в Иркутске. Затем появились сборники «Встреча с Москвой» (1949), «Самое дорогое» (1951), «Секретная фамилия» (1954) и др. В 1955–1957 гг. Левитанский учится на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А.М. Горького. С 1957 г. — член Союза писателей. В 1963 г. публикует сборник стихов «Земное небо», сделавший автора известным. Левитанский переезжает в Москву. В 1970 г. у Левитанского вышел сборник стихотворений «Кинематограф»; в 1975 г. — «Воспоминания о Красном снеге»; в 1980 г. — «Два времени»; «Сон о дороге»; в 1991 г. — «Белые стихи». Юрий Левитанский скончался 25 января 1996 г. в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Растолку картофель отваренный — и обед готов.	всё им чудится — бьют орудия, трубят трубачи.
Скудно карточки отоварены хлебом тех годов.	Но снежинок ночных кружение, законный свет —
Но шинелка на мне починена, нигде ни пятна.	словно полное отрешение от прошедших лет.
Ребятишки глядят почтительно на мои ордена.	Ходят ходики полусонные, и стоят у стены
И пока я гремлю, орудия кочергой в печи,	сапоги мои, привезённые из чужой страны.

Моё поколение

И убивали, и ранили
пули, что были в нас посланы.
Были мы в юности ранними,
стали от этого поздними.
Вот и живу теперь — поздний.
Лист раскрывается — поздний.
Свет разгорается — поздний.
Снег осыпается — поздний.
Снег меня будит ночами.
Войны мне снятся ночами.
Как я их скину со счёта?
Две у меня за плечами.
Были ранения ранние.
Было призвание раннее.
Трудно давалось прозрение.
Поздно приходит признание.
Я всё нежней и осознанней
это люблю поколение.
Жёсткое это каление.
Светлое это горение,
Сколько по свету кружили!
Вплоть до победы — служили.
После победы — служили.
Лучших стихов не сложили.
Вот и живу теперь — поздний.
Лист раскрывается — поздний.
Свет разгорается — поздний.
Снег осыпается — поздний.
Лист мой по ветру не вьётся —
крепкий, уже не сорвётся.
Свет мой спокойно струится —
ветра уже не боится.
Снег мой растёт, нарастает —
поздний, уже не растает.

* * *

Ну что с того, что я там был.
Я был давно. Я всё забыл.
Не помню дней. Не помню дат.
Ни тех форсированных рек.

(Я неопознанный солдат.
Я рядовой, я имярек.
Я меткой пули недалёт.
Я лёд кровавый в январе.
Я прочно впаян в этот лёд.
Я в нём, как мушка в янтаре.)

Ну что с того, что я там был.
Я всё избыл. Я всё забыл.
Не помню дат. Не помню дней.
Названий вспомнить не могу.

(Я топот загнанных коней.
Я хриплый окрик на бегу.
Я миг непрожитого дня.
Я бой на дальнем рубеже.
Я пламя Вечного огня
и пламя гильзы в блиндаже.)

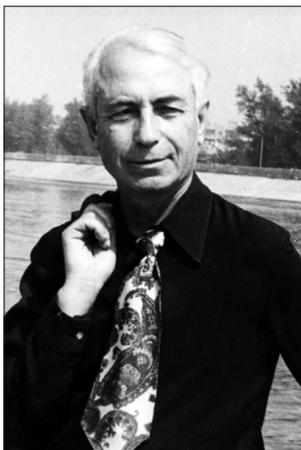
Но что с того, что я там был,
В том грозном быть или не быть.
Я это всё почти забыл.
Я это всё хочу забыть.
Я не участвую в войне —
она участвует во мне.
И отблеск Вечного огня
дрожит на скулах у меня.

Уже меня не исключить
из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
от той зимы, от тех снегов.
И с той землёй, и с той зимой
уже меня не разлучить
до тех снегов, где вам уже
моих следов не различить.

Но что с того, что я там был!..



ВЛАДИМИР КОЗЛОВСКИЙ



Верность

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

* * *

Майко лежал в густой, умытой утренней росой траве и, мечтательно глядя в небо, все слушал и слушал, как состязались друг с другом в лесу соловьи. Заливистые, ласкающие слух трели уводили мысли летчика в тихие придунайские дубравы, на цветастые пышные луга, в пахучие степи, туда, где когда-то в детстве возила его кибитка отца.

Мысли Майко отвлек шум чьих-то шагов. Он поднялся на локти и устремил загоревшийся взор на тропинку. По ней к самолетной стоянке шла невысокая тоненькая, совсем как подросток, девушка. Лучи солнца запутались в ее золотистых волосах и играли в них тысячами искорок. На девушке был светло-серый строгого покроя костюм и красная с выпущенным на жакет воротником кофточка. Наряд девушки — яркий контраст с синей и зеленой одеждой военных летчиков.

«Из какого зоопарка к нам птишка такая?» — заинтересовался Майко.

Между тем девушка подошла к лежащим в небрежных позах летчикам и нахмурила тонкие брови.

— Мне нужен командир корабля товарищ Майко.

КОЗЛОВСКИЙ Владимир Николаевич, прозаик, публицист (1917, г. Козлов (ныне Мичуринск) — 1984, Иркутск). Автор книг: «Верность»: роман (Иркутск, 1957); То же. 3-е изд., доп. и испр. (Иркутск, 1964); «Молодость сердца» (Иркутск, 1960); «Дорогой смелых»: очерки (Иркутск, 1961); «Братья по крови»: роман (Иркутск, 1972); «Ищу свою звезду»: роман, фронт. новеллы (Иркутск, 1983). Член Союза писателей СССР.

— К вашим услугам, милая девушка! — вскочил Цыганок и встал перед ней, будто перед командиром полка, выпятив грудь и опустив по швам руки. В черных озорных глазах его засветились задорные огоньки. Всегда смелый в обращении с женщинами, Цыганок откровенным, пожалуй, даже нескромным взглядом окинул незнакомую девушку.

«Хороша», — мысленно оценил он.

— Вам записка от Зыкова, — подавая свернутую в трубочку бумажку, проговорила девушка.

Цыганок стал быстро читать, а Наташа внимательно наблюдала за его лицом: сначала веселое, оно вдруг приняло отпечаток недовольства и недоумения. Закончив чтение, Майко криво улыбнулся.

Девушка понравилась ему с первого взгляда. С такой вот свеженькой, как зорька, хорошо бы сейчас попугать соловьев, такую вот легонькую и нежную приятно поносить на руках, какое удовольствие сидеть с такою в тени кустов и, положив голову на ее колени, смотреть в большие, искрящиеся лукавством глаза. С такой лестно перед друзьями появиться в клубе, можно, пожалуй, и полюбить...

Но лететь с этой хрупкой, как стебелек, девушкой на боевое задание, где каждую минуту подстерегает смерть, просто нелепо. Она же потеряет рассудок, сойдет с ума при виде первого немецкого истребителя. Ему, мужчине, воевать, конечно, положено, да нет, не только положено — это его долг, он может, он умеет драться, но она? Просто смешно. Ради чего, ради какого каприза рискует? Уж не ради ли того, чтобы написать заметку в газете, она ведь газетный работник.

— Взять вас с собой на задание, милая девушка, я не могу.

— Почему? — удивленно спросила Наташа.

— Примета плохая. На борту женщина — значит, быть в самолете беде.

— Вот как? Скажите, а вы в загробную жизнь не верите?

Цыганок с удовольствием наблюдал за девушкой. Строго сжатые маленькие губы, беспокойные змейки-брови, сузившиеся насмешкой глаза. «Прелесть!»

— О загробной пока что не думал, милая девушка, надо еще здесь свою отлетать.

— А я так решила, что вы и Богу молитесь.

Майко засмеялся. Ровные белые с синим отливом зубы его блеснули на солнце.

— Как вас зовут, девушка?

Верхняя губка Наташи подпрыгнула вверх.

— Думаю, что знакомиться нам ни к чему, — сухо отрезала она и строгим официальным тоном спросила: — Итак, товарищ Майко, значит, вы отказываетесь выполнить приказание вашего командира?

— Да что вы? Напротив, — опять засмеялся Рошат, — с такой премилой девушкой я готов лететь хоть на рога к дьяволу.

На лице Наташи застыло удивление. Резкая перемена в решении летчика невольно насторожила ее: «Шутит, что ли?» О, если бы он знал, каких огромных трудов стоило ей уговорить своего редактора и командира полка. Не будь Зыков товарищем ее умершего отца, разве смогла бы она добиться его разрешения на вылет!

— Вы что же, потом в газете разборчик полета устроите?

— Может быть.

— И про меня хоть парочку слов будет?

— Возможно. Фельетон о летунах и иконах.

— Я в этих делах, как баран в Библии. И все же газетки нет, нет, да иногда и почитываю. По душам вам сознаюсь, халтуру пишут про нас ваши писаки.

— Очевидно, заслуживаете.

— Куда там. Если бы. А то один вам наврет за всю эскадрилью, нахвалится, вы его мигом в герои, а другой, скажем, скромный, трепать не любит, зато в бою тигром дерется. О нем в газете ни слова.

— Не вы ли в разряде скромников?

— А что? На чистую, так и я тоже.

Наташа припомнила последние газетные материалы о летчиках. Они и в самом деле показались ей трафаретными, скучными. А все потому, что писались со слов других. «Сами-то мы настоящих дел авиаторов и не видели», — упрекнула она себя и невольно вспомнила о Павле Чичкове, о его смелом полете на горящей машине. Не будь тогда Наташи на аэродроме, разве смогла бы она написать об этом храбром летчике правдивый и волнующий очерк? Нет же, конечно. «Чтобы написать правдиво, с трепетом сердца, — подумала Наташа, — надо непременно видеть то, о чем пишешь. Слепой от рода — никогда не станет писателем».

Наташа просила, чтобы ее направили в экипаж Чичкова. Она чувствовала, что Павлик не смог бы ей отказать. И вообще... С той последней встречи, когда он играл ей на скрипке, Наташе почему-то постоянно хотелось увидеть этого сильного, добродушного парня с чистыми родниково-синими глазами. Недаром же она зачастила в подразделение Зыкова. В экипаж к Павлику Наташе попасть не удалось. Он улетел ночью в разведку. Зыков посоветовал ей лететь с Майко.

— Этот Цыганок, — говорил полковник, — чертовски талантливый летчик. Правда, порою он мне напоминает необъезженного скакуна. Нет-нет, да и взбрыкнет, выбросит какой-нибудь номерок. А в общем ему везет, с ним вам будет не страшно, с изюминкой парень.

Теперь, глядя на невысокого, но ладно скроенного веселого молодого летчика-цыгана, Наташа и в самом деле быстро освоилась с обстановкой, почувствовала себя как в кругу товарищей по работе.

— Значит, мне можно идти переодеваться? — спросила Наташа.

— Погодите. Одно условие, — остановил ее Цыганок.

— Какое еще?

— Мои приказы выполнять безоговорочно.

— Попробую.

— Приказываю познакомиться. Экипаж... Прошу.

Боевой экипаж дальнего бомбардировщика состоял из трех человек: пилота Майко, штурмана Власова, строгого на вид голубоглазого мужчины, и стрелка-радиста Грабовского, рано облысевшего плотного парня с плохо пробритым и потому будто бы грязным лицом. В одной кабине с Грабовским и предстояло лететь Наташе, больше в боевом самолете свободного места не оказалось.

— Когда мы перебазирuemся, со мною в кабине летает техник, — пояснил Грабовский. — Теперь же, когда вы заняли его место, будете выполнять и его обязанности.

— И очень сложные?

— Нет, почему же? Хотите познакомлю?

— Конечно.

Польщенный вниманием девушки, Грабовский подробно рассказал о том, как надо аварийно выпускать шасси, как открывать и закрывать люк, пользоваться сигнализацией. Стрелок-радист так увлекся ролью педагога, что незаметно для себя стал объяснять девушке не только обязанности механика, но и свои собственные. Он показал, как включается рация, познакомил с пулеметом.

— А выстрелить из него позволите? — загорелась любопытством Наташа.

Грабовский важно нахмурил куцые рыжеватые брови.

— Что же, это, пожалуй, можно. Вот когда станем улетать, можете опробовать пулемет.

До призыва в армию Грабовский работал учителем, и это было заметно по его внушительному тону, привычке говорить растянуто, повторяя главное. И хотя он употребил в своей лекции все прошлое профессиональное искусство, из курса воздушной

стрельбы Наташа почти ничего не усвоила, разве так, очень и очень не многое: раздел о стрельбе прямою наводкою. Он мало чем отличался от обычной стрельбы в тире.

Давным-давно затихли соловьиные трели, скрылось за зубчатой стеной леса солнце, а летчики все томились около своих машин, ожидая приказа о вылете. С минуты на минуту каждый из них ждал, что вот-вот послышится сухой треск выстрела и над аэродромом яркой дугою прочертит небо ракета. Но вместо нее от стоянки к стоянке полетела команда.

— Отбой! Вылет отставлен!

Рошат сбросил с себя комбинезон и криво улыбнулся Наташе.

— Итак, милая девушка, на сегодня навоевались. Можете идти разоблачаться, — и тихо, чтобы не услышала Наташа, сказал штурману: — У нашего начальства пока чирей на мягком месте не сядет, не зачухаются.

Вылет состоялся на второй день — самый памятный день в жизни Наташи Светлановой.

...Необыкновенно чистым и высоким казалось в это утро небо. Прозрачная синева сквозила на землю, на гладкое, как стекло, поле аэродрома, на выстроенные в боевом порядке самолеты, на свежие загорелые лица летчиков.

Наташа совсем как летчик. Одета в легкий синий комбинезон, в мягком кожаном шлеме и крагах, она стояла в кабине и сквозь прозрачный плексиглас башни смотрела, как торопливо бежали от винта по траве шелковистые волны.

Она еще не представляла всех ужасов войны, не видела настоящих страданий. А если и рисовала их в своем воображении, так и то лишь по кино или по книгам. Боялась ли она предстоящего вылета?

Бывает так, что пассажирский самолет застает штормовая погода. В стекло пилотской кабины сплошной белой массой лепится снег, впереди ни на метр видимости. Кромки крыльев покрываются тонкою пленкой льда, он нарастает, крошится. Отяжелевшая машина дрожит, проваливается, рывками оседает к земле. Моторы режут во весь голос, штурвал до отказа «взят на себя», а машину тянет и тянет к земле. Внизу горы. Их не видно. Но летчики знают — еще шесть, семь минут такого полета, и можно прощаться с жизнью.

А за тонкой стенкой в соседней кабине пассажиры спокойно играют в карты, смеются, шутят, поют веселые песни. Что же они, смельчаки? Да скажи им сейчас о том, что грозит самолету, они, пожалуй, попадают в обморок.

Не понимала предстоящей опасности и Наташа.

«Боюсь или не боюсь?» — спрашивала она себя и с опаскою смотрела вверх. Но небо, такое манящее, тихое и уютное, никак не навевало недобрых мыслей. В его прохладной прозрачной сини хотелось купаться, как в тихой речной заводи.

Резкий гул моторов нарастал с каждой минутой, машина дрожала под сильными толчками винта и казалась теперь такой же легкой и беспомощной, как маленький челн в разбушевавшейся стихии моря. В наушниках послышался хриплый дребезжащий звук и вслед за ним ворвался голос Майко:

— Как у тебя, Грабовский?

Голос Цыганка, всегда такой задорный и веселый, через ларингофоны прозвучал как-то необычно грубо.

— У меня все в порядке, товарищ командир.

— Как самочувствие девушки?

Наташа вмешалась в разговор.

— Лучше, чем у самого командира.

— Ерунда. С такой соседкой я как в раю.

— Судя по вашему голосу, этого не заметно.

В наушниках послышался дружный смех. Очевидно, вместе с Майко смеялся и штурман.

— Ах, голос! Голос искажает радио. Виноват радист, плохо настроил...

— Да, да, это, конечно, возможно, — спохватился Грабовский и с необыкновенной поспешностью стал крутить ручки управления внутреннего переговорного устройства.

— Приготовьтесь, идем на взлет! — крикнул Майко.

Самолет качнулся и плавно покотился по аэродрому.

Наташа видела, как он доручил до старта, где буквой Т были выложены большие белые полотна, затем резко повернулся и остановился весь в нервном ознобе. Стоящий впереди человек взмахнул флажком, рукой показал вперед. Наташе вспомнился университетский стадион, напряженно застывшие на старте фигурки бегунов и точь-в-точь такой же взмах руки стартера.

Самолет стремительно рванулся с места и с бешеной быстротой понесся по бетонированным плитам площадки. Зеленое поле аэродрома, длинная цепочка самолетов, темный силуэт порта, люди — все замелькало в глазах, сливаясь в сплошную серо-зеленую массу. Рука пилота бросила машину ввысь, и все, что только сейчас было перед глазами, легким облаком уплыло и растворилось в пространстве.

Еще через минуту взлетел последний самолет и замкнул выстроившуюся в клин эскадрилью. Эскадрилья, набирая высоту, легла на курс. Она шла тесным замкнутым треугольником: чем слитнее строй, тем безопасней в бою.

Наташа смотрела вокруг. Совсем рядом, в башне соседнего самолета, стоял высокий с добродушным лицом парень. Он щурился на солнце и часто глядел на Наташу. Кто знает, откуда и как попал в самолет этот летчик, что он думал сейчас о ней, о Наташе, но для нее он уже близок и дорог, как и другие такие же парни в турелях, ее боевые друзья.

Что у них творится в душе, Наташа не знала, но с виду они, казалось, вовсе не унывали, эти славные ребята в синих комбинезонах. Лица их спокойны, если даже не веселы. И чего это Геннадий Степанович советовал ей прихватить валерьянку? Шутник.

Но вот добродушный сосед вдруг беспокойно закрутился в турели и ожесточенно задергал вверх и вниз стволом пулемета. Это сигнал тревоги. По лицу Грабовского разлилась бледность, он испуганно огляделся вокруг. На соседних самолетах засуетились стрелки. Наташе показалось, что в их лицах мелькнула растерянность. «Б-р-р. Страшно. Что-то случилось?»

— Грабовский! — крикнул штурман Власов. — Истребителей видишь?

— Да, вижу.

— Не вздумай стрелять. Свои...

— Нет, это не свои, это немцы!

— Разве? — голос штурмана оборвался.

Наташа вопросительно взглянула в лицо Грабовского.

— Что, что? Немцы?

Грабовский показал вверх.

Там, в легкой прозрачной дымке, хищно кружилась стая истребителей. Крестообразные, с вытянутыми вперед носами, окрашенные, словно горные ящерицы, черными и желтыми полосами, они как-то загрохотали, пятнили чистоту голубой дали.

Девушка сосчитала фашистскую стаю.

— Восемнадцать. А нас только девять.

Грабовский вздрогнул и ухватился за пулемет. На немецких самолетах один за другим вспыхнули и погасли зловещие красные огоньки.

— Из пушек бьют, сволочи, — пояснил Грабовский.

По всему было видно, что стрелок растерялся: он то хватался за рукоятку пулемета, то расстегивал кобуру пистолета, то непонятно зачем сбрасывал и снова надевал краги. Необыкновенно бледное лицо Грабовского исказилось, стало неприятным, небольшие серые глаза забегали, как у затравленного зверька.

Над головою Наташи лопнувшим стручком треснул плексиглас, светлые брызги упали в кабину.

— Ой! — вскрикнула Наташа.

И башне чуть правее плеча Грабовского появилась небольшая, с грецкий орех, дырочка. В нее неистово ворвался и засвистел ветер. Увидев пробитую снарядом брешь, Грабовский съежился, руки у него затряслись. «Чуть не в меня», — промелькнуло в голове Наташи, и она выкрикнула с упреком:

— Что же вы... трясетесь... Стреляйте же, да скорее, скорее!

— Бесполезно, — хрипло выдавил из себя Грабовский. — Слишком большая дистанция.

— Говорят вам... Они же стреляют. Видите, опять...

Наташа пригнулась, зажмурилась. Опережая ее движение, рядом пролетел со свистом снаряд: пробив борта фюзеляжа, он осыпал пол мелкими, словно капли свинца, осколками.

— И зачем вас понесла нелегкая, — с сердцем укорил Наташу Грабовский. — Видите, какая начинается бойня, убьют невзначай...

— Вы обо мне забудьте! — сердито крикнула Наташа. — Меня нет, слышите? Стреляйте же!

В наушниках прохрипел чуть взволнованный голос Майко:

— Расстраиваемся пеленгом, идем бомбить танки. Держись, Грабовский, это тебе не в шашки играть!

Голос командира ободрил растерявшегося стрелка. Подобие улыбки скользнуло по его лицу.

— Понятно, товарищ командир!

Едва поломался замкнутый строй советских бомбардировщиков, как немецкие истребители, словно по заранее условленному сигналу, бросились в атаку. У Наташи стучали зубы, руки ломали на части тоненький карандаш, и все-таки она не пряталась, не жалась к борту. Прятаться за стенкой кабины, где нет ни кусочка брони, прижаться и ждать, когда так же, как плексиглас, продырявит тело горячий металл, нет сил, уж лучше смотреть, видеть, откуда несетя смерть.

Самолет Майко снизился. Отчаянный летчик, отделившись от строя, пошел бомбить головные танки.

Бомбы короткой цепочкой оторвались от самолета и, неуклюже перевернувшись в воздухе, упали вниз, в голову колонны. Там, на земле, в дымном смраде огня и гари, стальные гиганты, словно матерые медведи, поднимались на дыбы, волчком кружились на месте, опрокидывались навзничь. Танковая колонна, будто змея с раздробленной головой, уже не ползла дальше. Она судорожно извивалась, обжигалась пламенем бушевавшего вокруг пожарища. Земля пылала, как подожженное озеро нефти, высоко вздымая яркие языки пламени.

Один за другим со спокойной размеренностью через четкие интервалы сбрасывали свой смертоносный груз советские самолеты. Казалось, завязавшийся в воздухе жестокий бой с истребителями их не касался. А между тем он все разгорался, и в небе становилось еще страшнее, чем на земле. Там, на земле, люди могли укрыться от смерти в кюветах, в сточных трубах, в вырытых бомбами глубоких воронках.

В воздухе укрыться негде, бежать некуда. Будь небо в облаках, можно было бы нырнуть в их спасительную белую тьму, а там поминай как звали — по радиокompасу выйти к своим. Но день был хрустально чист, и только на большой высоте газовой кисеею висела синеватая дымка. В ней не укрыться: освещенная полднем солнцем, она прозрачна, как зыбь испарений.

Отбомбившись, эскадрилья снова сомкнулась строем. Боясь помешать Грабовскому, Наташа сидела в стороне от турели, сжавшись в дрожащий комочек, смотрела в

окошечко. Ей хорошо было видно, как немецкие асы напали на соседний самолет. Шесть стервятников непрерывно зажимали его в клещи, атаковали попарно. Они обрушивали на него всю мощь своего огня, стреляя одновременно из пулеметов и пушек. Высокий стрелок с добродушным лицом, прежде улыбавшийся Наташе, стал неузнаваем. Темные брови его высоко вздернулись, ровные зубы оскалились. Без шлема, взлохмаченный, с налитыми кровью глазами и перекошенным ртом, он был страшен. Теперь ему не до Наташи. В этом неуклюжем на вид человеке вдруг появились поразительная ловкость и быстрота. Он легко, как игрушку, крутил башню турели, крепко прижимал к груди пулемет и стрелял короткими меткими очередями. Трассирующие пули, хорошо заметные в синеватой дымке, огненными брызгами засыпали самолеты врага.

«Мессершмитты», словно ошпаренные, шарахались в стороны, но не горели, не падали вниз, как этого с нетерпением ждала Наташа.

«У них бронирован нос, — вспомнила девушка рассказы летчиков, стрелять их в лоб все равно, что бить сырыми яйцами в стену».

Наташа почему-то очень боялась за соседа, кажется, больше, чем за себя. Чтобы не видеть его искаженное досадой лицо, она уже собиралась отползти от окошечка, но вдруг, вскочив в турель, дернула за рукав Грабовского.

— Смотрите, смотрите, горит!..

Объятый пламенем и дымом фашистский самолет, коптя чистую голубень неба, под острым углом падал к земле.

Наташе хотелось крикнуть соседу что-то одобряющее, ласковое, но неожиданно он качнулся и, хватаясь за стенки, сполз в фюзеляж. Израненная, осиротевшая башня осталась без хозяина. Самолет лишился защиты. Казалось, момент-другой — и враги расстреляют его в упор. Когда два фашиста, нацелившись на беззащитный самолет, пошли в атаку, Наташа, сморщившись, закрыла лицо руками.

Наверное, те, что сидели за штурвалами истребителей, улыбались победе. Но едва один из них подошел на пушечный выстрел, как в турели снова появился ее хозяин.

Качаясь, он взялся за рукоятку пулемета. Стрелок решил умереть стоя. На голове его болталась пропитанная кровью тряпка, мутные глаза закрывались, большое ослабевшее тело вяло опиралось на пулемет...

Бой не утихал ни на минуту. Даже сквозь рокот моторов слышались резкая дробь пулеметов, отрывистые глуховатые выстрелы пушек.

Грабовский стрелял длинными очередями, забывая о запасе патронов. Лицо его взмокло от пота, руки в ознобе. Два «мессершмитта» непрерывно атаковывали его. Он целился в одного. Веко прищуренного левого глаза трепетало обожженным крылом бабочки. Выпуская в первого атакующего очередь, Грабовский быстро разворачивал турель, стараясь выстрелить во второго. Но тот, второй, опережал его. После его выстрелов все новые и новые дырочки решетки фюзеляж самолета. Грабовский уже стрелял наугад. Шальные пули летели то выше, то ниже зловещей мишени.

Упал стрелок на соседнем самолете, и машину сразу охватило яркое многоцветное пламя. Далеко внизу от огненного комочка горячей машины отделились две темные точки — выпрыгнули два парашютиста. Два белых вымпела струйкою метнулись в воздухе.

Полосатый с черными крестами немецкий самолет ворвался в строй советских бомбардировщиков, дружный огонь стрелков опрокинул его вниз, сразу же превратил в черную с дымящимся хвостом комету.

Тактика врага стала понятна даже Наташе. Немецкие летчики не шли в открытый и равный бой. Они действовали исподтишка. Стараясь отколотить от строя крайний самолет, набрасывались на него всей сворой. Только несколько наиболее вертких истребителей, симулируя атаки на эскадрилью, отвлекали на себя огонь.

Теперь, когда сбили соседа, крайним самолетом — первой и главной целью добычи — стал тот, в котором летела Наташа. На него бросалось не два, а шесть воздушных пиратов. Грабовский терялся все больше и больше. Наташа смотрела на стрелка снизу. Она видела его вздрагивающие губы, капли пота на щетинистом рыжем подбородке. Грабовский крутил турель, прижимал пулемет, целился, не стреляя, снова крутил и снова целился.

Но что это с ним? Лицо исказилось смешливой гримасой, короткие волосатые пальцы, судорожно дрожа, попытались и не смогли схватиться за башню, вялое тело кулем осело к ногам Наташи.

— Что с вами? — испуганно закричала Наташа.

— Голова... — со стоном выдавил стрелок, закрывая глаза. Из-под шлема тяжелыми каплями стекала кровь. Наташа подползла к бортовой аптечке. Волнуясь, неумело сняла с Грабовского шлем, морщась, как будто больно было ей, а не Грабовскому, поспешно забинтовала рассеченную осколком лысую голову.

Ипачканная в крови, с выбившейся из-под шлема золотую прядкой волос, она теперь совсем не походила на ту аккуратную, всегда красиво и изящно одетую журналистку, какой привыкли видеть ее в редакции.

Что-то громко треснуло в кабине, и исковерканная рация беспомощно повисла на вытянутой пружинке. Грабовский, с трудом приподняв голову, указал на пулемет. Стрелок попытался что-то сказать, но силы изменили ему. По движению ослабевших дрожащих губ Наташа поняла только:

— Убьют, убьют, убьют.

Дальше все произошло как во сне. Едва Наташа поднялась на ноги, она увидела, как, заслоняя горизонт, прямо на нее шел самолет врага. Он был так близко, что Наташе показалось, будто она увидела силуэт сидящего за штурвалом немца. Отдавала ли она себе отчет, сознавала ли, что делает?.. Одна только мысль промелькнула молнией в этот момент в замутненном мозгу Наташи: «Пулемет!» И она схватилась за его рукоятки, изо всей силы прижала к груди. Высоко вскинув ствол, в упор навела его на растерявшегося от неожиданности немца и нажала на спусковой крючок. Длинная, захлебывающаяся, почти слитая в единый звук пулеметная очередь на мгновение оглушила Наташу.

Но что это?

Самолет с мрачными черными крестами на крыльях судорожными толчками вяло вскарабкался вверх, потом сразу оборвался, свалился вниз, обдавая гарью кабину Наташи. В глазах девушки — страх, затем изумление, кажется, радость...

Кто там сидел за штурвалом? Молодого или старого сразила нежданная пуля, похоронила вдали от родного дома? Бесславную смерть получил ты, пришелец чужого неба, от слабой девичьей руки.

Наташа увидела, как слева и справа неслись навстречу две черные быстро растущие точки. У нее похолодели руки, кажется, шевельнулись под шлемом волосы. «Опять, опять! — зашептали сухие губы. — Когда же это кончится?»

Одну из стремительных точек Наташа поймала в кольцо прицела. «Ну, ближе, ближе, подходи... Еще, еще!» Палец нажал на крючок спуска, но Наташа не услышала звука выстрелов. Что-то горячее, колкое прожгло ей бедро, и она свалилась на пол.

«Кажется, я ранена... Почему же нет боли?» Схватившись за ногу, Наташа почувствовала липкую кровь. Вспомнив о пулемете, она попыталась встать. Усилия оказались напрасными. Тело словно налилось свинцом, стало непомерно тяжелым и непослушным.

Трижды пыталась Наташа подняться и трижды опускалась, не в силах дотянуться до пулемета.

— Убьют, убьют... — не осмысливая слов, твердила Наташа и вдруг почувствова-

ла, как бесконечно дорога жизнь. Она отбросила сиденье и, хватаясь за скобы пулеметных ящиков, с усилием подтянувшись на руках, опустила на него ослабевшее тело.

Кружилась голова. Черные фашистские кресты плыли в глазах, опрокидывался и мутнел лазоревый купол. Солнце щедро рассыпало лучи, и там, внизу, купаясь в пышных зеленых садах, цвела родная земля. «Как хорошо!»

Из раны тонкой упругой стружкой лилась кровь. «Пусть льется, крови у человека много».

Близко, близко зарябили черные кресты «мессершмитта». Наташа припала горячим лицом к пулемету, с трудом нажала гашетку. Резкий звук выстрелов рубанул по ушам. Она медленно отвела ствол пулемета в сторону и снова нажала на крючок. Так, не видя, куда и зачем, выпускала она патроны — последний запас пулеметной ленты. Звук стрельбы успокаивал ее, в нем она чувствовала биение своего сердца, теплоту жизни.

Мутно, мутно в голове, и глаза застланы такой же серой, непроглядной мутью. По телу холодной, дрожью бродит озноб. Горячо только в боку, горячая кровь обжигает его. «Надо перевязать рану».

Но вот опять кресты, глухой треск — и снова колкий металл прожиг ногу. Качнулся голубой купол, качнулась и опрокинулась вместе с ним и Наташа. Сознание покинуло ее.

Сколько прошло времени? Быть может, час, быть может, секунда?

Когда Наташа открыла глаза, она отчетливо увидела перед собою неловко подогнутую окровавленную голову Грабовского, раскрытую аптечку, болтающуюся на одной пружинке с оголенными внутренностями рацию.

— Жить, жить, жить! — отбивал пульс. Наташа снова попыталась вскарабкаться на сиденье, но оно высоко, словно вершина дерева, на него не взобраться. Нет сил. Что же теперь? Лежать и ждать, когда немец в упор расстреляет самолет и машина взорвется вместе с людьми?

Нет, нет. Она должна спастись, она не хочет, ни за что на свете не хочет погибнуть. Умирать рано. Жизнь так хороша.

Там дома ждет ее мама. «Мамочка. Сколько слез пролила ты сегодня?» Там в редакции ждут ее возвращения товарищи. «Дорогие. Как много интересного, настоящего смогу я рассказать вам теперь».

Там в авиационном городке ходит синеглазый летчик Павлик. «Хороший мой, прости. Я, кажется, написала тогда о тебе плохой, фальшивый очерк. Подожди, я напишу теперь новый, этот тебе понравится. Только бы жить!»

Наташа подползла к люку, окровавленными, чужими, слабыми пальцами ухватилась за крышку. Будь что будет. Она вывалится в люк и дернет за кольцо парашюта. Ноги? Ну что же, пусть они не удержат, пусть она больно ударится о землю, но жить, жить все-таки будет.

Нет, нет. Покинуть самолет, бросить товарищей — это измена. Наташа никогда не простит себе такой мысли. Верность дороже жизни. Напрягая последние силы, она подвинулась к пулемету, заставила себя подняться, но все напрасно...

...Голубая воронка омута плавно кружит тело и тянет его все глубже, на дно. Прохладная вода освежает, сквозь ее толщу видны зеленые змейки водорослей, белый, как сахар, песок, ракушки. Наташе хочется что-то вспомнить, о чем-то успеть сказать, но в голове нет мыслей. Сладкая приятная дремота усыпляет ее...

Сильные толчки возвратили сознание. Наташа ощутила их всем своим телом: грубые, колкие, они причиняли невыносимую боль. Только сейчас, когда самолет уже рулил по земле, она почувствовала их так сильно, что готова была закричать, заплакать.

Наконец-то утих этот все еще пугающий рокот в ушах, притих, бессильно качнулся и замер воздушный корабль. Чьи-то легкие торопливые шаги, как сквозь сон, про-

шуршали рядом, звякнул замок, и в отверстие турельной башни просунулась курчавая голова Цыганка.

— Наташа? Грабовский? — с тревогой окликнул Майко. — Живы?

— У-ми-ра-ю... — едва пролепетала Наташа.

Цыганок проворно скользнул вниз, рукояткою пистолета отбил замок люка, бережно вытащил из кабины Наташу. Легко, как ребенка, он понес ее по аэродрому, ступая мягко и осторожно, боясь споткнуться и причинить девушке боль.

Он шел прямо, высоко запрокинув чубатую голову, и что-то злое и властное было в его блестящих глазах, тонком изломе суровых бровей, в стиснутых твердых губах. Навстречу ему, взметая пыль, уже мчалась машина с красным крестом, летела командирская эмка, со всех сторон к израненному, изрешеченному пулями самолету бежали люди. А Цыганок все шел и шел, не замечая никого, вздохмаченный и свирепый, и лицо у него было такое, будто он шел навстречу врагу, объятый страстным желанием рассчитаться за жизнь боевого товарища.

Глава XXII

Комиссар Дымов оглядел выстроившиеся на линейке тяжелые транспортные самолеты. Выкрашенные в зеленый цвет машины, распластав длинные крылья, словно срослись с землей. Глядя на них, не верилось, что эти многотонные громадины могут подняться в воздух.

Аркадий Григорьевич вошел в пассажирскую кабину, недовольно поморщился. Транспортный самолет невыгодно отличался от боевого. Боевой — блестящий, поджарый, юркий, каждый сантиметр в кабинах на строгом учете, все к месту, ничего лишнего. Транспортный — в три, а то и в четыре раза крупнее, будничным, толстым, неуклюжий, в кабинах просторно — хоть води хороводы.

«Да, кажется, меняем кукушку на ястреба, — подумал Дымов, — а что сделаешь? Приказ есть приказ, наше дело подчиниться».

Спиной к Дымову в пилотской кабине стояли летчики. Пожилой большелобый человек, летчик-инструктор гражданского воздушного флота, знакомил их с новой материальной частью. Аркадий Григорьевич услышал его слова:

— Это, товарищи, не машина, а ласточка, безотказная, умная. Но оборудование на ней, сами видите, сложное, с одного-двух вылетов не освоишь. Прошу обратить внимание на приборную доску. Начнем с автопилота...

Летчики слушали инструктора невнимательно, со снисходительной усмешкой. Они курили, переговаривались, открыто ворчали.

— Корова, летающий грузовик! — послышался наполненный злостью голос, и комиссар узнал Рошата Манко.

— Первый же немец как утку подстрелит! — поддержал Цыганка кто-то из летчиков.

— Из боевых летунов в бендюжников превращаемся, чем только думают... задом? — бурчал чей-то густой баритон.

— К дьяволу все начальство, — расплылся Майко, — не полечу я на этой корове! В другой полк убегу!

— Тише, ребята! Мешаете, — старался уговорить товарищей Павел Чичков.

Дымов постоял, послушал и незаметно вышел на улицу. Ему самому стало нестерпимо жаль боевые самолеты, которые по приказу командования пришлось передать другому полку. Он тоже привык к ним, сроднился. Боевую авиацию, как и все другие летчики, Дымов считал своей постоянной стихией...

«Мутят воду такие вот Цыганки, а за ними и остальные, как раки, от новой техники пятаются, — думал он, — и что с ними делать, поснимать с борта, выгнать? Геннадий Степанович, тот бы, конечно, палку сломал не задумываясь. А ведь я комиссар, мое оружие — слово».

Аркадий Григорьевич зашел в кабинет, не снимая фуражки, сел за стол. «Позвонить Зыкову? Посоветоваться?» Он уже взял было трубку, но, представив себе больного, обложенного грелками полковника, опустил руку.

День шел к закату, густые тени устилали дорожку. Дымов открыл дверь в расположение летчиков. Дневальный вскочил, вытянулся.

— Отставить! Вольно, — козырнул Дымов и без стука вошел в первую от входа комнату.

В комнате был один Цыганок. Он лежал на кровати в сапогах и фуражке и усердно дымил папиросой. На тумбочке, рядом с кроватью, валялись надломленная плитка шоколада, самопишущая ручка, старые петлицы, грязный подворотничок, мьльница. При входе Дымова Цыганок встал и испуганно осмотрелся. «Ну и видок в наших хорах! Сейчас Дымов задаст жару».

Но комиссар, будто ничего не заметив, небрежно швырнул на подоконник фуражку и сел на стул рядом с тумбочкой.

— Где остальные? — кивнул он на три смятые пустые кровати.

— В домино режутся. Прикажете позвать, товарищ батальонный комиссар?

— Не надо. Садись. Итак, Майко, — не поднимая головы, начал Дымов, — я решил удовлетворить твою просьбу, подписать рапорт о переводе тебя в другой полк.

— Рапорт? — брови Майко полезли вверх.

— Не нравится — уходи. Не муди воду, без тебя грязи достаточно.

«Предательство, — подумал Майко, — кто нафискалил?» — и растерянно забормотал:

— Я ничего, никаких рапортов не писал...

— Он у тебя в мыслях записан. Не хочешь летать? Недоволен новой машиной?

— А кто доволен, товарищ комиссар? Сарай есть сарай, к нему хоть десять моторов приделай. В мирное время, конечно, внимания стоит, апельсины, скажем, возить, почту...

— Ну, а если, к примеру, раненых с линии фронта?

— На это санитарная авиация есть.

— Хорошо. А если она не справляется? Представь себе, Майко, что вот сейчас там, где-то на линии фронта, истекают кровью наши советские люди и только ты один можешь их спасти. Неужели откажешь в помощи?

Рошат молчал. Разумеется, у него есть душа, он в любую минуту готов помочь товарищам. Дымов знает, на каких струнах лучше сыграть, это же его профессия.

— Ты слышал о партизанах, Майко?

— Кто же о них не слышал!

— Так вот, вчера нам сообщили, что в отряде Коржа — есть такой отряд в Колтинских лесах — страшный голод. Люди получают по двадцать пять граммов сухарей в сутки... Тебе приходилось так голодать, Майко?

Рошат утвердительно кивнул головой.

— Ты бы согласился помочь этим людям?

— Об этом не стоит и спрашивать.

— Правильно. Но пойми: чем быстрее ты освоишь новую технику, тем скорее окажешь им помощь.

— А чего мне ее осваивать! Меня еще до войны Костюшко на ней вывозил.

— Тем лучше, — оживился Дымов. — Проверим, дадим провозной и — на задание. А пока надо готовиться, понимаешь, неделя срока! День промедления — жизнь сотен людей.

— Есть готовиться!

— Или, может, в другую часть?

— Что вы! Это кто-то под меня мину подкладывает.

— Этот «кто-то» не кто иной, как командир экипажа Майко, — усмехнулся Дымов и затянулся папирсой. — Поведаю тебе еще одну тайну. После случая в Баклашинской мне пришлось за тебя поручиться перед командиром полка.

Рошат вспомнил свой бесшабашный полет с Костюшко, сломанный самолет, угрозу командира полка перевести в мотористы. «Выходит, комиссар меня выручил...»

— По обычаю нашего табора за доброе дело надо платить вдвойне. Я, товарищ комиссар, этот обычай помню.

— Вот и отлично. Буду с тобой откровенен. Я оказался в очень тяжелом положении, на моих глазах рушатся прекрасные боевые традиции эскадрилий. И мне нужна помощь.

— На меня можете положиться. Я весь ваш, товарищ комиссар.

— Спасибо. Постарайся вылететь побыстрее. Я уверен, что стронешь лед... За тобою пойдут и другие.

— Не сомневайтесь. Всех мертвецов раскачаю.

Как только комиссар вышел из комнаты, Цыганок побежал на аэродром к самолетам. Но каково же было, его удивление, когда в учебной машине он застал на пилотском сиденье уткнувшегося в книгу Павлика.

«В передовики лезет», — сердито подумал Цыганок и, сделав вид, что не заметил товарища, вышел из самолета.

* * *

На аэродроме готовились к вылету в партизанский отряд Федора Коржа. Командиры кораблей расселись под крылом машины, кто на стремянку, кто на подставки колес, кто на кислородный баллон.

— Как, товарищи, настроение? — спросил Дымов.

Кое-кто из летчиков покосился на ясное вечернее небо, и этим было все сказано — комиссар понял: лететь светлой ночью — все равно, что днем... Летчики рискуют каждую минуту быть сбитыми. Храбрее всех держался Майко:

— Настроение боевое, лучше желать нечего!

— Это хорошо. А у вас, Чичков?

— Ночь не нравится, — откровенно сознался Павел.

Дымов посмотрел на расцветающее первыми звездами небо.

— Да, сейчас еще наша предательница выползет, осветит лучше любого прожектора. Ночь против нас, условия неподходящие. Предупреждаю, товарищи, рисковать зря не следует. Каждая машина стоит государству недешево, жизнь экипажа ни за какие деньги не купишь. Договоримся так. Полетите цепочкой, с интервалом в десять минут один от другого. Следите за связью. Если за линией фронта небо такое же ясное, немедленно возвращайтесь. Возвращайтесь и радируйте идущим сзади товарищам. Попятно?

— Понятно, товарищ батальонный комиссар, — за всех ответил Майко. — РПТ* не потребуется.

— Но должен вам сказать по-товарищески, — продолжал Дымов, — в отряде Коржа бедствие. Люди пухнут от голода, отряд на грани гибели. Каждый сброшенный нами тюк — жизнь десятков людей. Я, полагаюсь на вас, на вашу совесть. Знаю, что среди вас нет ни трусов, ни симулянтов. Ты, Чичков, взлетаешь первым.

*РПТ — Прошу повторить (международный радиокод).

Майко сердито закусил губу. «Везде он все первый и первый. Подумаешь, пуп земли выискался».

Взвилась в холодное звездное небо сигнальная ракета, и самолет Чичкова стремительно рванулся на взлет. Рошат видел из своей кабины, как он, погасив огни, мгновенно, будто растаяв, скрылся в серых неприветливых сумерках.

«Да, Пашке везет, кругом везет. Он, кажется, опять носил ей цветы, иначе для кого же он ездил за ними в город. Конечно же, для нее, для Наташи. Телок телком, а тоже расхорохорился. Губа не дура. Только напрасно старается, зря под ногами путается. Узнаю, что пристает, — шею сверну. Я на все пойду. Женюсь, а Наташу не уступлю. Сказал, будет моя — кончено».

Мысль Цыганка прервала ворвавшаяся в наушники команда:

— Командир корабля Майко, выруливайте!

— Есть выруливать! — с готовностью выкрикнул Рошат и положил руки на штурвал.

С легким подсвистом, рассекая винтами воздух, машина плавно, без толчков покатила по аэродрому.

Напряженная минута перед взлетом. Напряжены мышцы, мысли. Командир, пилот, радист, бортмеханик — все смотрят вперед сосредоточенно и зорко, словно там, в сером мраке, вдруг каждый из них увидел опасную грозовую тучу.

— Ну, братцы, с Богом, — громко сказал Майко, — так у меня раньше батя сказывал, когда к новому месту табором трогался.

Машина в воздухе. Рошат лукаво подмигнул второму пилоту.

— Оторвались без зацепки. По всем правилам. Не придерешься.

Звезды и серая ночь плыли и плыли навстречу, и не было им ни конца ни края. Далеко внизу светлела извилистая полоска реки. Убегая от нее, поблескивали рельсы, на них одинокой цепочкой темнел поезд. Зоркие натренированные глаза штурмана Власова различали мельчайшие детали, без труда читали живую, уходящую в бесконечность карту земли.

...Земля. Сколько дорогого сердцу осталось на ней! Как ни хорошо в звездном океане воздуха, как ни пьянит эта бесконечная даль, но земля оставалась все той же вечно манящей, родной и зовущей.

Чем ближе подлетал самолет к линии фронта, тем молчаливее становились люди, тем напряженнее впивались вдаль их взгляды. Даже радист Димочка (Грабовский перешел в другой экипаж), этот никогда не унывающий веселый румяный юноша, которому всюду, где бы он ни появлялся, ласково улыбалась жизнь, весь как-то сжался и притих.

— Линия фронта! — нарушил молчание Власов.

Перед глазами залитая лунным светом даль, безоблачное, усеянное густой россыпью звезд небо. Димочка зябко передернул плечами, будто под чужим небом ему стало вдруг холодно. Рошат поманил его пальцем.

— Что сообщает Чичков?

— Я не имею с ним связи.

— Зашился?

— Кто?

— Не Чичков же, конечно, а ты.

— Да что вы! Ничего подобного. Я держу связь со всеми, кроме Чичкова. Его никто не слышит. Он уже полчаса идет без связи.

— Может, с ним что случилось? — заволновался Рошат.

— Может быть, — глубокомысленно заметил радист, — здесь ведь не дома.

— Позови штурмана.

Власов поспешно подошел к командиру. Опасности многих совместных полетов сроднили его с Цыганком, и штурман с командиром давно уже отказались от официальных отношений служебной обстановки.

— Ты меня звал? — наклонился к командиру Власов.

— Послушай, Саша, как же нам быть? Ночь-то какая, хоть иголки собирать.

— Надо выполнять приказание Дымова.

Рошат вздохнул.

— Неохота до смерти. А если Чичков не вернулся?

В самом деле, если Пашка обставил его, наплевал на луну и прорвался к партизанам?

Уже привыкший к роли укротителя необузданного характера Цыганка Власов настаивал:

— Давай-ка, Рошат, меняй курс на сто восемьдесят, авось завтра на наше счастье тучки нагонит.

Колебания Майко окончательно разбил радист Димочка. Он сумел уже связаться с землей и сообщить состояние погоды. Дымов приказал возвращаться. Одна за другой поступили на борг радиogramмы о возвращении всех самолетов, кроме самолета Чичкова.

— Плохо быть подчиненным, — закладывая крутой вираж, сокрушался Майко, — будь это не Дымов, а кто другой, даже сам Зыков, я бы этот приказ не расслышал... Но Дымова подводить нельзя, он за меня поручился.

...Между тем Павлик Чичков подходил к цели. За линией фронта его неожиданно обстреляли, и радист доложил, что рация вышла из строя, вероятно, ее повредил противник.

— Что сообщают задние? — спросил Павлик.

— Пока только известно, что Майко перешел линию фронта.

— Вот как! Хорошо! Мы тоже идем к цели. Постарайся наладить рацию, — Павлик повел машину бреющим полетом.

Послушная птица тенью скользила над землей, и даже когда вблизи от нее появлялись случайные люди, они не успевали поймать ее взглядом. Невидимая и шумная, она ураганом проносилась где-то над пикшами, оставляя позади изумленных неожиданностью людей.

На пути машины встречалось немало врагов. Услышав рокот советского самолета, они поспешно заряжали орудия, готовили автоматы, напрягали слух, старались определить направление летящего корабля. Но вдруг совсем неожиданно над головой, затемняя небо, мелькала тень, и резкий ветер колыхал вершины деревьев. Стрелять уже было поздно.

«Итак, Рошат — мой соперник, — думал Павлик. — Странно как получилось!» Павлик никогда не любил, мало того, даже не встречался ни с одной из девушек. Наташа вошла в его сердце без спора.

Наташа! Была она так далека, холодна, неизвестна, как та мигающая впереди звездочка. Почему вдруг вчера так тепло и так искренне распахнула она свою душу и рассказала ему все о себе, о своей жизни, о том, как росла, училась, работает. И еще о том, что тоже никогда не любила.

Кто же знает чужую душу? Чужая душа — потемки. Быть может, Наташа ласкова и откровенна с ним потому, что он друг любимого ею человека? Что ж, Цыганок — парень с широкой смелой натурой, он стоит ее любви.

Думы его прервал взволнованный голос Сокола:

— Павел, нас обнаружили. Сзади истребители противника...

Павлик рывком швырнул машину вниз и вплотную прижал к лесу. Наблюдая в астролок за врагом, Сокол и радист заметили, как бестолково засуетились по небу ночные хищники. Очевидно, кто-то командовал ими с земли, наводил на цель. Но прижатая к лесу машина растворилась на его фоне. Даже днем, окрашенная в защитный зеленый цвет, пролетая над лесом, она словно сливалась с ним, становилась совсем незаметной.

Идти же бреющим полетом в ночь да еще при скорости истребителя вряд ли рискнет кто из фашистских асов.

Потеряв цель, истребители заматались с включенными фарами. Широкие полосы света заплесали в темно-лиловой выси. Отчаявшись найти добычу, «мессершмитты» стали наугад стрелять из пулеметов. Светлые пунктирные нити заткали темное полотно неба.

Неожиданно в кабине самолета стало светло, как под солнцем. Луч вражеского прожектора нащупал цель.

— Кажется, теперь крышка, — сказал Сокол, почувствовав, как сразу ослабли его ноги.

Казалось, секунда-другая, и смертоносный металлический град ударит по безоружному самолету. Радист с отчаяньем смотрел в яркую и невидимую, как густая мгла, полосу света и взводил затвор пистолета. Он не отдавал себе отчета в том, что делал. Очевидно, молодому деревенскому парню не хотелось умирать от вражеской пули.

Из всего экипажа не растерялся только один командир. В эти минуты Павлику почему-то вспомнился буйный Кугач и тот бесшабашный храбрый поступок, когда он, как бык, напролом бросился переплывать бешеную, бурливую Сую. Тот чуть было не ставший для него роковым случай научил многому. И прежде всего научил правильно взвешивать свои силы в минуту опасности. «Немедленно сменить курс!» — мысленно скомандовал себе Павлик и, слегка вскинув вверх машину, развернул ее в сторону леса.

— Записывай показания компаса, — крикнул он Соколу, швырнув ему на колени карту.

В кабине снова стало темно. В первые секунды уже привыкшие к яркому свету глаза словно ослепли. Инстинктивно, чтобы не врезаться в землю, командир потянул на себя штурвал. Теперь воздушный корабль быстро уходил в сторону от освещенного вражескими самолетами куска неба. Сокол вытер рукавом обильно выступивший на висках пот.

— Вскользнули, — облегченно выдохнул он и внимательно всмотрелся в землю. — Держи курс 272 — через восемь минут будем у цели.

В темных зарослях леса одинокой искрой блеснул огонек. Минута — и впереди ярко запылали огни партизанских костров. Павлик набрал высоту, осмотрелся. Все верно. Пароль правильный. На огромной лесной поляне цепочкой с равными промежутками друг от друга горели пять ярких костров. Черные клубы дыма тянулись ввысь.

— Приготовиться к сбросу? — спросил Сокол.

— Не надо, — остановил его Павлик. — Идите все в хвост. Будем садиться.

Видя, что второй пилот не уходит, Павлик повысил голос:

— Ты что, не слышишь, Иван?

— Слушаюсь! — пробормотал пилот и аккуратно, чтобы не задеть командира, пролез между сиденьями.

Посадка на незнакомой площадке, в тылу противника, ночью, без специально выложенного ночного старта требует наивысшего мастерства. Здесь, как никогда, нужны точность, расчет, натренированность, смелость. Требуется риск.

Павлик рисковал потому, что хорошо знал: окруженный вражеским кольцом отряд партизан находится на грани гибели. Люди умирали с голоду, умирали от ран, от болезней. Конечно, если думать только о приказе командования, он обязан сбросить с парашютами груз, развернуться и улететь домой. Это сейчас, когда самолет у цели, самое простое и обычное для партизанского летчика дело. Ну а если он сядет, значит, сможет взять на борт два-три десятка раненых и через несколько часов посадить на Большой земле. Там их поставят на ноги...

— А ты чего, Витя, в хвост не идешь? — заметил Павлик Соколу.

— Ладно тебе! Какая разница?..

Среди бугристой поверхности черного леса пролегла серая полоса посадочной площадки. Павлик набрал высоту. Опасные минуты! Они стоят всего полета. Оторванный от леса самолет теперь доступен вражескому прожектору, зенитчикам, истребителям. Посадочная площадка казалась совсем маленькой, почти слилась с лесом. Костры ушли куда-то вглубь и были похожи теперь на тоненькие красные язычки.

— Площадки должно хватить, — не отрывая взгляда от костров, как бы сам себе сказал Павлик.

Но может случиться, что незнакомые с авиацией партизаны плохо ее выровняли. Малейшая впадина, пень, камень, и самолет мгновенно перевернется — похоронит всех летчиков. Хорошо, что нет ветра! Не снесет, не ударит об лес. Но раздумывать некогда.

— Садимся!

Только на короткий миг осветив поле огнями фар, Павлик запомнил обстановку и уже дальше садился вслепую.

Он посадил машину почти у самых костров и так мягко, что даже члены экипажа не услышали первого толчка о землю.

Когда самолет остановился, его окружили тени; да, это были не люди, а тени, длинные, качающиеся, тонкие, темные тени. При свете костров эти оборванные, худые, с изможденными лицами люди были похожи на мертвецов. Вид обитателей Малой земли испугал Павлика.

— Товарищи! Дорогие друзья! — сдерживая подступивший к горлу комок, закричал Павлик. — Мы привезли вам все, что могли... Берите!

Темная волна теней плеснула к открытой кабине, но чей-то властный, спокойный голос остановил ее.

— Стой! К порядку!

Павлик увидел, как, расталкивая партизан, к нему подходил их вожак. Он оказался высоким, сутуловатым, с короткой светлой бородкою. Лицо его, как и у остальных, было серым, суровым, с глубоко запавшими щеками, но взгляд сохранял спокойствие. Он молча подошел к Павлику, обнял его за шею и поцеловал в губы.

— Спасибо, орел! Будь я твоим командиром, я дал бы тебе самую высокую награду.

— Вы товарищ Корж? — растерянно спросил Павлик.

— Я самый.

Сокол выскочил из кабины, подошел ближе к партизанскому командиру.

— О вас уже сложили легенды, товарищ Корж.

— Наш народ любит легенды. Не знаю, что там говорят про меня, но я попрошу нашего поэта Дзюбу сложить о вас лучшую песню. Пусть поют ее мои партизаны.

На Малой земле экипаж Павлика пробыл всего полчаса. Задерживаться было нельзя, рассвет мог застать на чужом небе — риск неоправданный.

В самолет спешно грузили раненых.

— Сколько сможете взять? — спросил Павлика Корж.

— Самое большое двадцать четыре. Размер площадки ограничен, взлетать тяжело.

— Жаль! Маловато...

Павлик виновато пожал плечами.

— Понимаю. Но рисковать могу только собою, людьми — не имею права.

— Согласен. Что ж, и двадцать четыре спасенные жизни для нас много.

Павлик стоял у двери и сам руководил погрузкой. Правильно распределить в самолете груз, значит, легче взлетать, легче вести машину.

— Двадцать третий! — всматриваясь в забинтованное от ног до самых глаз тело партизана, считал он людей и невольно подумал: «Где это его так?»

— Двадцать четвертый! Хватит.

Двадцать четвертая была девушка, маленькая и легкая, как птичка. Встретившись с глазами Павлика, она улыбнулась ему открытой, какой-то волнующей улыбкой и не без кокетства проговорила:

— Какие вы хорошие... летчики!

А в дверь самолета, соскользнув с носилок, полз раненый. Что-то униженное было в его сухопарой, перевитой кровавыми бинтами фигуре, в просящих впалых глазах, в тонких грязных пальцах, судорожно цеплявшихся за ступеньки лестницы.

— Милосердие! Родненький! — просил измученный, слабый, дрожащий голос. — Дай жизнь! Пожалей!

По лицу Павлика бежали и бежали слезы. Он не вытирал их, не прятал. Сердце — не ледяшка, и у летчика порой не хватает силы сдержать его боль.

— Товарищ! Поймите, больше нельзя! Мы разобьемся, я не могу рисковать вашей жизнью!

Но раненый уже вполз в самолет, и вытолкнуть его не хватало мужества ни у Павлика, ни у стоявшего рядом Сокола.

— Братки, прихватите еще двух! — решительно проговорил партизан с перевязанной головой. Он поддерживал своего товарища, тот стоял на забинтованных ногах. Оба тяжело опирались на сучковатые палки. За спинами партизан автоматы.

— Не просил бы, — попытался улыбнуться партизан, — да нельзя нам долго в лесу вылеживаться. Охота быстрее подняться — гадов добить.

— Не взлетим, разобьемся, — несмело предупредил Сокол.

— Не верю! Такие-то хлопцы... Пошли, Синеглаз!

Сокол посторонился, пропуская в самолет раненых партизан, и, когда один из них качнулся, чуть не свалившись со стремянки, помог ему взобраться в кабину. Корж подоспел вовремя. Он подошел, когда на борту самолета уже был тридцать один раненый.

— Назад! — властно сказал он и мягко, но настойчиво отстранил людей от самолета. — Летчики подлетят завтра. Верно, товарищ... как тебя? Прости. В спешке и познакомиться не пришлось.

Павлик растерянно улыбнулся.

— Чичков. Павел Чичков.

— Возьми от меня на память, Павел Чичков, — протянул Корж тяжелые золотые часы.

— Что вы?.. Не надо... — отдернул как-то помимо воли протянувшуюся руку Павлик.

— Бери, не ворованные... Это мне мои же колхозники подарили... Бери, — Корж втолкнул часы в карман летчика.

— Теперь к делу: сколько надо людей снять?

Павлик оглядел освещенную кабину. На миг встретился с чьим-то взглядом, сразу же скользнувшим в сторону. На носилках приподнялась девушка.

— Ладно уж, ссадите меня... Тут потяжелее есть, а меня Носориха и в лесу выходит, — голос девушки казался решительным, но в глазах таилась та же горечь и боль, что и у других раненых.

— Снимать никого не надо, — распорядился Павлик. — Народ-то у вас легковесный, я не учел, но насилки придется выбрасывать, они за двух человек тянут. Уж как-нибудь на полу... Потерпите.

Надрывно, с дребезгом гудели моторы на взлете. Казалось, вот-вот они оторвутся и машина рассыплется в воздухе — так дрожал самолет. Но советские люди расчетливы. Они всегда шьют шубу с запасом. У машины также есть немалый запас мощности. Быть может, на этом запасе и взлетел на этот раз Павлик. Попутный ветер помог быстрее доскочить до линии фронта. А дальше уже был свой дом — свое ласковое тихое небо. Летчики включили огни, разговорились с повеселевшими ранеными.

— Далеко нас свезете? — спросил бородатый с приплюснутым носом старик партизан.

— Снимем на пригорском аэродроме, — объяснил бортрадист, — а там через час и в Москве будете...

— В Москве! — приподнялся старик. — Ух ты, аж дух захватило! Неужто в Москве? Вот это награда!

Об экипаже Чичкова беспокоился весь полк. Павлик понял это сразу, едва только приземлил машину.

Первые минуты было не до расспросов. Летчики превратились в санитаров, бережно выносили раненых, угощали их папиросами, шоколадом, галетами. Они суетились, мешали друг другу.

И вот в этой-то разноголосой, подвижной толпе Павлик увидел Цыганка. Он шел к нему, расталкивая товарищей, шел торопливо, каким-то особенно широким шагом, сжимая кулаки, как на драку. Поравнявшись с Павликом, он полным ненависти взглядом окинул его утомленное, но радостное лицо и процедил сквозь зубы:

— Выскочка! Карьерист!

Ничего не понимая, Павлик удивленно и растерянно посмотрел на друга.

— Ты что, спятил?

Рошат брезгливо сплюнул.

— За спиной товарищей к славе лезешь! Коммунист называется.

Глава XXVI

Легкое разочарование охватило Сокола, когда он возвратился в родную семью крылатых. Почти все его однокашники по полетам, друзья и знакомые перебазировались куда-то «на точку», поближе к фронту, и в полку теперь преобладали молодые, только что начавшие нюхать порох летчики.

Правда, все они выказывали Соколу должное уважение: почтительно козыряли при встречах, уступали место в столовой, и даже равные по званию называли только на «вы». Молодежь стеснялась в присутствии Виктора заводить громкие профессиональные споры, держалась в сторонке, своей компанией, с сочувствием поглядывала на все еще непослушную, пронизанную свинцом ногу «старого» штурмана.

Командир эскадрильи запретил Соколу ходить в строю, не назначал на дежурства.

— Набирайся силенок, лежи, отсыпайся, успеешь еще налетаться, — как равный равному говорил он Виктору.

Такая забота раздражала Виктора. За месяц он только дважды летал, и то, как сам выражался, в качестве барина. Работу штурмана выполнял быстрый, как волчок, молодой лейтенант, а Виктор только следил за ним, изредка поправлял и подсказывал. Да и сами полеты казались Соколу абсолютно бесцельными, не связанными с действиями боевого полка. Первый раз летали куда-то в Ижевск за запасными частями, второй — в Куйбышев за медикаментами. «Оттирают меня от настоящих полетов, списывают!» — злился Сокол и решил откровенно поговорить с Зыковым.

Сдерживая хромоту, он остановился у дверей кабинета полковника и вот-вот готовым сорваться на крик голосом раздраженно спросил:

— Разрешите?

Командир полка, окруженный группой летчиков, водил карандашом по карте, мял в пятерне рыжую бороду. Обернувшись к Соколу, он окинул его холодным, неприветливым взглядом.

— Не вовремя. Что хотели?

Сокол держал у козырька руку, громко дышал. Он хотел что-то сказать, открыл было рот, потом резко повернулся к двери.

— Стой, лейтенант, подожди! — властно крикнул Зыков и, шагнув к Виктору, подхватил под руку.

— А ведь я тебя сразу и не признал, старый вояка! — и, обратившись к толпившимся возле стола летчикам, радостно крикнул: — Вот мой спасательный круг, товарищи! И как вовремя вынырнул. Ну что, футболист? Нога поджила? Мяч-то пинаешь?

— Пробовал, товарищ полковник.

— Ну и как, получается?

— Два гола забил.

— Правильно. Такой курс и дальше держи. А ну, батенька мой, к столу, раскуси нам орешек один... Крепкий попался.

Зыков схватил карандаш и стал им быстро водить по карте.

— Здесь вот зенитная батарея, какой к черту — три. Три батареи! Тут истребители день и ночь патрулируют, дальше воздушное заграждение. А нам надо сюда, в этот лесок, разведчиков выбросить... Как думаешь: где проскочить безопаснее?

— Обойти надо. С тыла прорваться.

Зыков хлопнул по столу кулаком, гордо посмотрел на летчиков.

— А я что говорил! Что говорил, вас спрашиваю? — и, не дожидаясь ответа, положил ладонь на плечо Сокола. — Забирай, батенька, карту, ознакомься с заданием и быстро на боковую... Ночью летим, вместе летим. Надо дорожку проверить. Ясно?

— Спасибо, товарищ полковник!

Зыков выпятил полные губы, растерянно ухмыльнулся.

— Не понимаю. За что ж это, батенька?

— Хотел вам пожаловаться...

Зыков постучал трубкой о пепельницу.

— Нытья не люблю — нож острый...

— Да нет, товарищ полковник, теперь все в порядке. Жалоба отпадает...

— Правильно. Это в моем характере. Шагай!

Сокол круто повернулся на каблуках и, ступив на больную ногу, резко качнулся.

«Подвела, проклятушая!» — испуганно подумал он и обернулся. На счастье, полковник ничего не заметил.

«На первый раз повезло...» — поспешно закрывая дверь, улыбнулся Сокол.

...Снова однотонная звонкая песня моторов, дрожащий пол самолета и черная звездная ночь — дорога без конца и без края.

Снова зеленоватым светом поблескивают стрелки и цифры приборной доски, легкий запах бензина щекочет ноздри, а от напряженного взгляда слезятся глаза.

Примостившись на откидной скамейке между пилотами, Сокол всем телом подался вперед, словно приготовился прыгать с трамплина. В карту он почти не заглядывал. Местность, где пролетал самолет, была знакомой, знал ее не хуже, чем опытный лоцман форватер родной реки.

Как и большинство старых летчиков, в полете Зыков был молчалив, уткнув нос в бороду, он, казалось, заснул. Сокол как будто нечаянно задевал командира локтем, тогда Зыков недовольно бурчал:

— Тебе что, Сокол, иголку воткнули?

Пилот Алиев, отвернувшись к окну, фыркнул. Сам опытный командир корабля, он был недоволен поступком полковника. «Что за дурацкая прихоть? Зачем отказался от флагмана? Чем этот Сокол лучше?»

— Послушайте, лейтенант, — взглядывая на приборы, вкрадчиво обратился пилот к Соколу, — вам не кажется, что мы отклонились от курса?

— Да, отклонились, — спокойно ответил Сокол, — разве не видите, какое там за-

рево? Разведка дала устаревшие данные. В Саранске, вероятно, бои. Обойдем лучше стороной.

Наклонившись вперед, Зыков внимательно всмотрелся в плывущую черными островками землю.

— Правильно, Сокол, поджариться — дело нехитрое...

Самолет продолжает бороздить мглистое небо.

Но что так неожиданно взволновало Сокола? Почему не находят места его нервные руки, раскаленным металлом горит лицо? Почему взгляд его устремлен не на приборы и карту, а в боковое окно, за которым так же, как впереди и вокруг, царствует густая хмарь ночи? Что увидел там Сокол? Не силуэт ли противника? Нет. Иное видение рисует его встревоженная намять.

...Шелестящие на ветру тополя, побеленные домики, подернутый зеленой ряской пруд. Знакомый пейзаж. То ли слово — знакомый? Конечно, не то. Родной. Марьянино за полсотни километров правее трассы. Там Айна. «Тоска моя, жизнь».

Вздых вырывается из груди Виктора.

— Что с тобой, Сокол? — повернувшись к нему, спросил Зыков.

— Ничего, товарищ полковник.

— А мне показалось...

Гудят моторы тоскливо, тревожно. Холодно им под чужим и опасным небом или все это только кажется Соколу?

— Товарищ полковник, надо бы набрать высоту, — осторожно замечает Алиев. — Места здесь опасные, на сон неприятеля надежда плохая.

— Пустое... Высота в этом случае тоже не выручит...

Мигают яркие звезды в темном безрадостном небе. Сколько ни лети им навстречу, ни на шаг не придвинутся. А внизу, притаившись, плывет земля. Она словно вымерла: все застыло какими-то мрачными пятнами — ни света, ни движения. Кто это заскучал о свете? Ошибка. Яркая полоса ударила в лоб пилотской кабины, по металлу машины свинцовым дождем рассыпалась пулеметная очередь. Самолет заметался, рванулся ввысь, упал на крыло, шарахнулся влево и вправо.

— Горим, братцы, пожар! — услышал Сокол голос механика.

Едкий дым пополз по кабине, в нос ударил запах жженой резины. Вражеский прожектор потерял самолет. Зыков обманул фашистских наводчиков. Лучи прожектора остались далеко позади, а в кабине светло, можно прочесть даже самые мелкие цифры приборов. Сокол прыгнул с сиденья и, закрывая глаза, попятился. Навстречу ему с шипеньем и треском сыпались яркие искры.

— Что случилось? Где загорелось? — крикнул он, обращаясь к механику.

— Распределительная коробка, проводка...

Прикрывая глаза руками, Виктор нырнул в багажник, ухватил попавшийся под руки термос. Отвернув крышку, он плеснул воду в огонь, раз, другой, третий...

— Черт возьми: воды больше нет. Что делать?

— Всем в хвост, придется сажать, — скомандовал Зыков.

— Подождите, командир, минутку.

Рванув из багажника чью-то летную куртку, механик бросил ее на огонь. В кабине стало темнее. «Ага, помогло!»

Одну за другой механик и штурман швыряли в огонь куртки, чихая и кашляя, втаптывали ногами их в пламя. Уступая в силе людям, огонь неохотно сдавался. В открытую створку окна, словно в трубу, стянуло дым, летчики облегченно вздохнули. Механик надел на руки краги, сдернув с коробки горячую крышку, сунул туда обгорелую куртку.

Машина шла тем же курсом, шла дальше в глубь фашистских владений, и черные лохмы деревьев так близко шевелились внизу, что их, казалось, можно было трогать руками.

Вернувшись на свое место, Сокол взял в руки карту и тут же снова вскочил с сиденья.

— Дурак я, дурак! И ведь надо же мне так растеряться...

Он сорвал висевший за спиной огнетушитель и ринулся снова в кабину.

— Не надо. После драки кулаками не машут, — отстраняя Сокола, проговорил бортмеханик.

Зыков сокрушенно покачал головой.

— Но и остолопы собрались. Вернемся домой — весь экипаж на губу, во главе с самим командиром. Вот же ослы, вот паникеры! Я-то, я-то... Двадцать лет вместе с этим огнетушителем рядом сижу и, представьте, — даже не вспомнил.

Пожар возбудил летчиков. Каждый только сейчас понял, что какие-то минуты назад жизнь их качалась на краю гибели. Ведь стоило только огню подобраться к бензину — и самолет, как от мины, разнесло бы в клочья. Теперь все позади. Лишь воспоминания о прошедших минутах долго еще будут жить в мозгу каждого и волновать, как сегодня.

Цель близка. Разведчикам прыгать в районе Марьянино. Виктора тянет к ним, как магнитом. Эти незнакомые люди стали для него как друзья. Хочется им рассказать о юности, об Айне, о бесконечной тоске по ней. Но разведчикам теперь не до его излияний. Они поспешно проверяют парашютные лямки, рацию, вооружение. Высокий чернобородый «старшой» подтягивает к багажной двери тюки груза, просит Виктора сбросить их как можно точнее.

— В тыл-то идете впервые? — спросил его Виктор, кивая на дверь.

— Да, прыгать не приходилось.

— Ни пуха вам, ни пера, — волнуясь, сказал Виктор и, взглянув в черную бездну, зябко поежился.

— Страшно?

— Понять не могу, — откровенно сознался разведчик, — я ведь на родные места возвращаюсь: так тянет, что о страхе и думать некогда.

— Да я тоже бывал когда-то в вашем Марьянино.

— Давно?

— Перед войной.

Сокол уже хотел рассказать об Айне, но тут же подумал, что разведчик наверняка усмехнется: разведчику не до интимностей.

— А я от Марьянино — рукой подать — полтора десятка километров, — открывая замок багажной двери, сказал разведчик. Есть там колхоз, «Рассвет» называется. Председателем в нем когда-то работал.

В открытую дверь ураганом ворвался ветер, смял голоса, с яростью затеребил на людях одежду.

— Алло, товарищ старшой! Прыгать по третьему сигналу сирены! — крикнул в ухо чернобородого Сокол.

— Знаю.

Торопливо пожав руку разведчику, Сокол побежал в кабину пилотов.

Цель. Ни огонька, ни сигнала: длинная лесная просека ровной дорожкой сбегает к реке Гулкой. Сокол трижды жмет на кнопку сигнала и бежит помочь товарищам столкнуть с самолета груз. Ветер хлещет лицо до боли, пойманным в яме зверем мечется внутри фюзеляжа.

— Эх, ухнем!

Подхваченный ветром тюк, кувыркаясь, падает вниз.

— Еще разок! Ухнем!

Летит второй брезентовый сверток, третий, четвертый.

— Все! — закрывая двери, кричит Сокол. — Можно заворачивать к дому.

Усталой походкой он заходит в кабину и замирает в дверях: свет! До боли слепящий глаза, яркий как солнце, горячий свет молнией бьет в лицо.

— Товарищ полковник, товарищ...

Гулкий удар потряс самолет, горячий шквал ветра отшвырнул Сокола к двери, и он всем телом почувствовал, как затрясся под ним пол, словно в шторм пароходная палуба.

«Машина взорвалась, падаем», — мелькнула страшная мысль, и Сокол, вскочив на ноги, бросился к выходу. Ощупывая на себе парашют, он ухватился за ручку двери.

Земля щетинилась черными зубьями леса. Сдерживая крупную дрожь пальцев, Виктор надавил на ручку. Рука уже вцепилась в кольцо парашюта, секунда — и он прыгнет в черную бездну. Надрывный, словно предсмертный стон, голос заставляет его выпрямиться.

— По-мо-ги-те!

«Чей это голос? Полковника?»

Спотыкаясь и падая, Сокол несется в кабину.

— Полковник! Товарищ полковник!

Голова Зыкова свесилась с кресла, левая рука вяло скользит по штурвалу.

— Не могу... Кто-нибудь... Сокол... штурвал...

Виктор схватил за штурвал, резко потянул его на себя. Самолет взмыл в воздух.

— Командир! Командир, что же делать? Приказывайте! — кричал Сокол, но Зыков не двигался, не отвечал. Пилот, свалившись с сиденья, уткнулся в пол головой. Куда летит самолет с неподвижными телами пилотов? Взглянув на компас, Сокол чуть было не выронил штурвал от испуга. Самолет шел на запад, в глубь стана врагов. В душной кабине стало холодно, от напряжения больно стучало в висках. Услышав за спиной частое хриплое дыхание, Сокол взглянул назад.

— Механику раздробило ногу! — наклонившись, кричал радист.

— Вытащи командира, иначе мне с самолетом не справиться!

— Командира? Что с ним?

— Быстрее...

Радисту, лучшему штангисту полка, пришлось немало повозиться, прежде чем, не зацепляя штурвала, он вынес из кресла громоздкое тело Зыкова.

— Теперь берись за пилота! — не отрывая взгляда от черного неба, сказал ему Сокол. — Постарайся перевязать и быстро ко мне, слышишь?

— Не приходилось мне перевязывать... Право не знаю... А вдруг что не так?

— Чего, в самом деле! Нашел, когда рассуждать!

Не приходилось. О чем говорит! А разве Соколу приходилось ночью вести воздушный корабль? Спасибо. Тысячу раз надо сказать спасибо Павлу Чичкову. Это он доверял свой штурвал Соколу, учил его держать самолет в воздухе. Прежде такое занятие казалось мальчишеством.

Павлик стоял в проходе, Сокол сидел на кресле пилота, а пилот вместо него за картой. В неумелых руках самолет, как телега на кочковатой узкой дороге: то, падая, скользил на крыло, то, словно птица, клевал носом, то упрямо, назойливо лез вверх. Твердая рука Павлика время от времени выправляла машину. Глаза Сокола не успевали охватить показания приборов, следить за курсом, за высотой, за уровнем. От напряжения сразу же уставали ноги, потели ладони, слезились глаза. Странная вещь! Такая громадина — несколько тонн металла, горячего, груза — и послушна каждому пальцу.

Не знал Сокол, для чего учил его Павлик летать. Может, неумелость Сокола всего лишь веселила командира. Может, устав от работы, Павлик просто хотел отдохнуть. Может, хотел убедить товарища в сложности своей профессии. А может, и это вернее всего, для того, чтобы очутившись, как сейчас, один с самолетом, Сокол смог спасти и его, и себя, и товарищей.

«Какой же ты дальноразведчик, Павлуша!»

Однако пора рискнуть, разворачиваться. По менее опасному изломанному маршруту Соколу ни за что не пройти. Не хватит ни горючего, ни пилотского навыка. Хотя бы пройти напрямую. Высота уже выше трех тысяч, темные облачка — попугайчики добрые.

Сокол поворачивает штурвал, смотрит за уровнем. Маленький, отделанный фосфором самолетик в приборе косится набок, картушка компаса крутится, меняя цифру за цифрой.

«Стоп! Хватит, надо выравнивать».

Теперь самолет идет на восток, домой. К себе, на Большую землю!

Облака все густеют, клубятся, мрачными глыбами наползают на стекла, швыряют самолет, точно щепку. Виктор берет на себя штурвал, забирается выше. Курс лежит на восток. В родное небо самолет пролетит. А вот как найдет он Пригорск, как сядет на землю?

При мысли о посадке у Сокола холодеют руки, кувырок летят мысли. Чего, чего, а посадку — это самое сложное в авиации дело — пилоты не доверяют даже самым близким друзьям.

— Алиев скончался. Командир и механик лежат без сознания, — услышал Сокол голос радиста.

Сокол сдернул шлем. Что-то защекоотало в горле, запрыгали перед глазами стрелки приборов.

— Береги их. Не отходи ни на минуту...

— Все сделаю. Все, что в моих силах.

— Да, подожди, что я хотел сказать... Подожди. Радиоконпас. Его надо настроить.

— Постараюсь.

Радист ушел, и Сокола снова охватило тоскливое одиночество. Он переключил часы бензобака, попробовал включить автопилот. Затея не дала результатов. То ли прибор не слушался рук Сокола, то ли снаряд «мессершмитта» вывел его из строя. Деревенели ноги, болели от напряженного взгляда глаза, тело наливалось усталостью, а Виктор все вел и вел самолет, вслушиваясь в ровный, убаюкивающий гул мотора.

«По времени должен уже перемахнуть через границу», — подумал он и стал тихонько толкать от себя штурвал.

Шла за минутой минута, и не хотелось думать о том, что самое страшное еще впереди, там, на знакомом клочке земли, где придется посадить машину.

«Кого, кого, а уж радиста спасу, заставлю выпрыгнуть с парашютом», — решил Сокол. Можно было бы выпрыгнуть и самому, если бы... Позор! Пытаясь спасти свою шкуру, он чуть было не ушел с боевого поста, чтобы тогда случилось с товарищами? Да ведь он же не думал про это!

Когда было думать? Впрочем, сейчас не до того. Прежде всего надо спасти, во что бы то ни стало спасти машину, благополучно доставить на землю товарищей.

— Лейтенант, полковник очнулся!

— Правда? Передай ему, что если мне удастся привести самолет в Пригорск, то все равно с посадкой не справиться. Наверняка грохну о землю.

Зыков шевельнул головой и снова опрокинул ее на пол. Жгучая боль пронзила грудь, словно одновременно в нее впились десятки горячих пуль. Полковнику казалось, что тело его засосала тягучая, как тесто, трясина. Липкая и густая, она давила, сковывала движения. На поверхности трясинки — одна голова. Где-то рядом кружит невидимый жук и гудит, гудит, гудит... От этого гула дрожит воздух, шевелятся барабанные перепонки. «Что за чушь? Как я оказался в трясине?»

— По-мо-ги-те!

— Товарищ полковник, я здесь, — наклонившись к нему, растерянно забормотал радист.

— Где мы? Постой, постой, понимаю. Кто ведет самолет?

— Штурман.

— Кого дурачишь? Так я тебе и поверил... Алиев?

— Алиев убит...

Полковник уперся руками в пол, застонал. Превозмогая колючую боль, он кое-как сел.

— Помоги...

Радист поспешно ухватил командира под мышки, с трудом поставил на ноги.

— Веди.

— Куда вы? Зачем?

— Веди, говорю... Тащи на сиденье.

Радист втащил командира в кабину, опустил на кресло пилота.

— Тише ты! О-о-о! — голова Зыкова безжизненно упала на спинку кресла. Черная трясина захлестнула глаза и уши.

— Что с ним? — спросил Сокол.

— Осколком в плечо.

— Перевязал?

— Кое-как.

— Приводная работает?

— Сейчас.

В радиоконпасе блеснула фосфором стрелка и лениво поплыла в сторону. С груди Сокола словно кто-то сорвал давивший обруч, дышать стало легче. Виктор развернул машину, установив капризную стрелку в центр прибора. Теперь только не давай ей отклониться.

Самолет идет на Пригорск. Радостно и тревожно стучит сердце. Дома и смерть краше, чем на чужбине. Но зачем думать о смерти? За жизнь еще можно бороться!

«Павлик, Павлик, недоучил... Хотя бы одну посадку...» Сокол взглянул на часы. «Ура! Летим над своей землей!»

— Радист! Включай освещение!

Свет заставил Виктора крепко закрыть глаза. А когда он открыл их, его передернуло. Осколки стекла и дюраля усыпали пол, зацепились за приборную доску, поблескивали на рукаве гимнастерки. И всюду: на штурвале, на подлокотниках кресел, на коврик, возле сидений — темнела крупными пятнами кровь. На миг Сокол почувствовал даже ее запах: горьковато-соленый, приторный, чем-то напоминающий запах осеннего моря. Зыков приоткрыл глаза, повернул сморщенное от боли лицо к Соколу.

— Где мы?

— Подлетаем к Пригорску.

Полковник потянул руки к штурвалу и, вскрикнув, откинулся на спинку. С минуту он тяжело дышал, ворочая скулами.

— Не могу я, батенька. Как же садиться?

Только бы он опять не потерял сознание.

— Полковник, очень прошу вас, не шевелитесь? Вы только приказывайте, говорите, что делать.

Стрелка на радиоконпасе судорожно дернулась, поплыла в сторону. Значит, Пригорск за облаками, внизу под самолетом.

Сокол уверенно нажал на штурвал, дымные хлопья облаков закрыли звездное небо, самолет, словно проваливаясь, нырнул в пучину. Стрелка прибора, описав круг, поползла дальше. «1200–1000–800–700–450», — мысленно фиксировал Сокол.

Густая хмарь облаков неожиданно разорвалась, внизу сумрачно поплыла земля. За мутными островками березняка вспыхнули огоньки ночного старта. Виктор провел самолет над светящейся буквой «Т», пошел по стандартному кругу. Полковник, слегка наклонившись вперед, молча следил за его движениями.

— Радист, — негромко позвал Зыков.

— Я здесь, товарищ полковник.

— Давай-ка, батенька, выбросим шасси. Видишь вон ту рукоятку?

— Вижу.

— Тяни ее на себя. Да не так! Влево толкни. Правильно. Ну теперь дергай. Сильнее! На приборной доске вспыхнуло два зеленых глазка.

— В порядке! Командную-то настроил?

— Не могу, товарищ полковник, рация вышла из строя.

Развернув машину в третий раз, Сокол с тревогой поглядывал на полковника.

— Спокойно, спокойно, батенька, — бурчал Зыков, а у самого на лбу туго натянулись крупные жилы и лицо покрылось испариной.

— Спокойно, Сокол! Спокойно! Тихо... Снижайся. Хватит. Разворот! Много, куда ты! Эх, бестолочь! Чуть было не зарыл нос в землю. Убирай обороты! Да что ты, с ума сошел? Куда же ты газ прибавляешь? К черту теперь, промажем. Газ давай, жми, жми до отказа, на второй круг уходи!

Моторы взревели с оглушительной яростью, самолет, проскользнув над серой бетонной полоской, неуклюжим скачком взмыл в воздух.

— Спокойно, Сокол! Это тебе не футбол. Попробуем заново.

Сокол чувствует, как трясутся колени. От усталости иголками колет в висках, а ноги словно разбило параличом: они онемели, потеряли чувствительность. Он слышит, как молотком стучит в груди сердце, а в левом боку, будто от непосильной гонки на лыжах, больно щемит.

Четвертый разворот, на этот раз без единого замечания полковника. Вцепившись в штурвал, Сокол целится носом машины на светящийся стартовый знак, а машина, что слепой котенок, тычется то вправо, то влево.

— Сбавляй обороты! Радист! Щитки выпускай! Выравнивай! Выравнивай, говорю. Да что же ты, батенька...

Полковник, закусывая от боли губу, хватается за штурвал, корявыми скачками «притирает» машину к земле и, теряя сознание, падает. Не управляемый пилотом корабль, неуклюже виляя хвостом, прокатился по аэродрому и остановился рядом с шуршащими зеленой листвой березками.

Стиснув виски ладонями, Сокол сидел неподвижно. Расслабленное тело как будто кто-то ожег, уши ломило, словно во время пикирования. Он не слышал, как чьи-то руки осторожно подняли его с сиденья и вынесли из машины. Свежий предутренний воздух хмельной волной ударил в голову, расслабленное, больное от усталости тело приобрело возможность двигаться.

— Постойте, ведь я же здоров! Куда вы меня несете?

Крепкие руки швырнули Сокола в воздух, мягко подхватили в объятия и снова подкинули. Командир эскадрильи Кашуба по-медвежьки облапил Виктора и трижды смачно поцеловал его в губы.

— Ух, и какой же ты молодчина!

— Нет, капитан, — понуро заметил Сокол, — ведь я чуть было...

— Э, дорогой, чуть не считается. Ты же ребят всех от гибели спас, нашего командира, полковника. Весь полк тебе благодарен, до самой земли поклонился. Эх, голова! Дай-ка я еще тебя разок расцелую!

— Что с полковником? — безвольно подчиняясь Кошубе, с тревогой спросил Сокол.

— Командир и механик в порядке... Алиева жаль...

— Не надо... — попросил Сокол.

— Ладно, потом... Пойдем-ка, мой милый, ужинать. Повара для вас постарались, такого настряпали — язык свой проглотишь!

Поддерживая Сокола, капитан осторожно вел его по аллейке парка, и сквозь молодую зелень листвы Виктор видел, как, встречая наступающий день, матово бледнело темное небо.

ПОЭЗИЯ



КОНСТАНТИН СЕДЫХ



Не уйдут фашисты от расплаты...

* * *

В вагонах русская гармошка,
Родной сибирский говорок.
Плывёт в тумане за окошком
Звезды зелёный огонёк.

Его заносит облаками,
Скрывает лесом каждый час,

А он всё гонится за нами,
Всё не насмотрится на нас.

Наш путь далёк — на поле боя...
Не будет звёзд родных полей,
Но будет с нами там святое
Благословенье матерей.

СЕДЫХ Константин Фёдорович (6 января 1908 — 21 ноября 1979) — писатель, автор романов *«Даурия»*, *«Отчий край»*, *«Утреннее солнце»*. Почётный гражданин г. Иркутска. Родился в пос. Поперечный Зарентуй Нерченско-Заводского района Читинской области в казачьей семье. С детства жадно впитывал в себя сказки и песни Забайкалья, слушал рассказы старших о тюрьмах, острогах Зарентуя, Кади, Нерчинска. Учась в Зарентуйской школе, начал писать корреспонденции в газеты. Они были замечены, юнога селькора пригласили в Читу, где он начал обучение в педагогическом техникуме. В это время публиковался в местных газетах. По окончании учёбы становится профессиональным журналистом. Свои первые стихи будущий писатель опубликовал в 1924 г. Они были посвящены страшному прошлому родного Забайкалья, каторге, гражданской войне. В течение многих лет он собирал и изучал материалы по истории, этнографии, экономике родного края. Результатом этой работы стал роман *«Даурия»*, первые главы которого были опубликованы в альманахе *«Новая Сибирь»* в 1939 г. Полностью роман увидел свет в Читинском книжном издательстве в 1948-м. Работа над романом *«Даурия»* продолжалась пятнадцать лет. *«Даурия»* выдержала свыше 100 изданий. Переведена на английский, белорусский, китайский, украинский, французский и другие языки, выходила за рубежом — в социалистических странах, в Англии, Канаде, США, Франции, Югославии. По мотивам романа в Читинском драматическом театре был поставлен спектакль *«Даурия»*, а впоследствии — снят кинофильм. Продолжением *«Даурии»* стал роман *«Отчий край»*, напечатанный в журнале *«Свет над Байкалом»* (Улан-Удэ) в 1957 г., а через год изданный в Иркутске. Во время Великой Отечественной войны писатель был военным корреспондентом армейских газет *«На боевом посту»* (Чита), *«Героическая красноармейская»* (Улан-Удэ). Им опубликованы многие очерки, лирические и сатирические стихотворения. Лауреат Государственной премии Российской Федерации.

Парень из Иркутска

Под ивняком из мёрзлого болота
Дым ядовитый медленно ползёт.
У амбразуры вражеского дзота,
Закрыв собой немецкий пулемёт,
Лежит, как глыба серого гранита,
В упор прошитый строчкой огневой
Иркутский парень Пронька Подкорытов
С залитой кровью русой головой.
Стоят бойцы над Пронькой скорбным кругом,
И каждый молча думает о нём:
Вчера он был простым и скромным другом,
Сегодня стал великим земляком.
Не по приказу кинулся он к дзоту,
А по велению совести своей,
Как подобает в жизни патриоту,
Он отдал жизнь, но спас своих друзей.
Скрестивши на груди его ладони,
Шинелью окровавленной накрыв,
В могиле братской Проньку похоронят,
Но богатырский подвиг будет жив.
В святом бою с военщиной немецкой
Земляк наш пал в пороховом дыму.
В Иркутске жил он на Второй Советской,
И там поставят памятник ему.

Возвращение фронтовика

Чугунным мостом над кипучей рекой
Шагает с вокзала сержант молодой.

Омытые ливнями буйной весны
Иркутские дали чудесно видны.

В лазурных туманах лежат острова,
Кипит по садам молодая листва.

И вплоть до байкальских серебряных гор
Широко распахнут весёлый простор.

Вдыхая всей грудью садов аромат,
В знакомую улицу входит солдат.

Вся грудь у него в орденах боевых —
В нашивках и алых, и золотых.

Приятно по улице парню шагать,
Людей поглядеть и себя показать.

Дивясь его стати, его орденам,
Бегут ребятишки за ним по пятам.

И слышит он их разговор за спиной:
«Вот это, должно быть, герой так герой...»

Волнуясь, вдыхая садов аромат,
В знакомую улицу входит солдат.

Клятва

Цветёт у дороги ромашка.
Лежит мальчуган под сосной.
Его голубая рубашка
Обрызгана алой росой.

Раскинуты смуглые руки,
Глядят и не видят глаза,
В них горьким свидетельством муки
Последняя стынет слеза.

К сосне завернув мимоходом,
Целует парнишку в висок

Идущий на запад походом
Бывалый сибирский стрелок.

Целует и молча стирает
С лица запылённого пот,
А сердце в груди закипает,
От гнева вздохнуть не даёт.

Уходит по дымной равнине,
Забывши усталость, солдат.
И только в разбитом Берлине
Остынет его автомат.

Воинская честь

*Памяти сапёра-сибиряка
П. Лазарева*

В том краю, где ясные озёра
От снарядов плещут и кипят,
Окружил курчавого сапёра
Вражеских разведчиков отряд.

Не успел он выхватить гранаты,
Распрямить мозолистой руки,
Как в упор взглянули автоматы
И упёрлись в грудь ему штыки.

Не просил он у врагов пощады.
И, когда сумели одолеть,
Почернел от злости и досады,
Что не мог, как надо, умереть.

Закрывалось небо облаками,
И со дна озёр вставала муть.
Шёл он в плен крутыми берегами
И не смел на белый свет взглянуть.

В тальнике туманной котловины
Перешеек узкий меж озёр.

И на нём зарыты густо мины,
Сам их здесь закладывал сапёр.

По воронке давней от гранаты
Он узнал опасный поворот.
Не уйдут фашисты от расплаты,
Если он с тропинки не свернёт.

Не свернул и не убавил шага.
Шёл на гибель верную, на месть,
Как велела русская отвага,
Как велела воинская честь.

Пять шагов — и вздрогнули озёра,
Пять шагов — и, грозно озарив
Пламенем и славою сапёра,
На века раздался этот взрыв.

Навсегда запомним мы с любовью
Тех людей, что родине верны,
Имена свои вписали кровью
В огненную летопись войны.

У могилы сибиряков

О них ещё думают как о живых
Печальные матери в дальней Сибири,
Но спят они крепко средь сосен густых
В суглинке тяжёлом у Свири.

Трещит и дробится у Свири шуга,
За тучами прячется месяц унылый,
И воев всю ночь до рассвета пурга
Над тесной солдатской могилой.

Чуть мрак посветлеет — на жёлтой доске
Видны фотокарточки в чёрной каёмке.
Искрятся и гаснут в зелёном венке
Летучие звёзды позёмки.

Всевластное время венков оборвёт,
Размоет могилу водою холодной,
Но слава о них до Сибири дойдёт
И гордостью станет народной.

Жена солдата

Цветёт герань на подоконниках,
Струится в окна жёлтый свет.
В углу, на столике, гармоника
И мужа-воина портрет.

Приходит с поля чернобровая
Домой солдатская жена,
И жжёт ей грудь тоска суровая,
Глухая давит тишина.

Присядет к столику усталая,
Щекой к гармонике припадёт, —
И ей в ответ, как будто жалуясь,
Гармонь тихонечко вздохнёт.

Не раз, не два слезами вымоет
Певунью звонкую она,
Но не устанет ждать любимого,
Трудясь и мучаясь, жена.

К такой вернётся муж с отрадою
И примет с трепетом в крови
За всё, что выстрадал, наградою
Весь жар святой её любви.



ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ



В сорок втором

РАССКАЗ

О том, что мне повезло, я узнал в санбате.

— Ты — счастливчик, — сказал хирург и показал осколок. — Чуть левее — и похоронная. Возьмешь на память?

Я помотал головой — осколок, сделавший меня счастливым, шмякнулся в таз.

Кончив с одной рукой, хирург запустил скальпель в правое плечо — туда ударила разрывная пуля...

Длинный состав, изрешеченный бомбежками и обстрелами, уносил нас от грохота передовой. Брезентовые койки, поднятые над нарами на разношенных стальных пружинах, хлестались о доски. На остановках разносили сухари и чай. В дверных проемах возникали костяки сгоревших станционных зданий, — кирпичные трубы нацелены в небо, как зенитки.

Потом нас пересадили в оборудованные пассажирские вагоны — санитарный эшелон. Здесь уже не было бешеной тряски, от которой перебалтывались внутренности. Утром приходил врач; три раза в день давали горячую еду.

СЕРГЕЕВ Дмитрий Гаврилович, прозаик (1922, Иркутск — 2000, Иркутск). Автор многих книг, в том числе: «Загадка большой тропы»: приключ. повесть (Иркутск, 1959); «Доломитовое ущелье»: фантастика и приключения: рассказы (Иркутск, 1965); «Осенние забереги»: рассказы (М., 1967); «Завещание каменного века»: повесть и рассказы (Иркутск, 1972); «В разгаре сезона»: роман (М., 1974); «В сорок втором»: повесть и рассказы (М., 1975); «Позади фронта: повесть» (Иркутск, 1978); «Прерванная игра»: фантаст. повесть (Иркутск, 1983); «Конный двор»: роман (М., 1984); «За стенами острога»: повесть (Иркутск, 1986); «Старые особняки»: повести (М., 1989); «Посреди зимы»: роман (Иркутск, 1992); «Запасной полк»: роман (Иркутск, 1995); «Залито асфальтом»: повесть, роман, рассказы (Иркутск, 2002) и др. Почетный гражданин г. Иркутска. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

Ночью повсюду затемнение. Незнакомые станции проплывали в мутных потемках, как развалины древних городов, неясно проглядывались висящие над путями виадукки.

И вот наконец последняя остановка — эвакогоспиталь. Он в бывшей школе, в двухэтажном деревянном корпусе. В классах вместо парт — железные койки, поставленные тесно, вплоты. С двери операционной не снята еще старая табличка «Учительская». Два стола во всю длину накрыты больничными клеенками.

Засохшие бинты сдирают с меня, как кожу. На другом столе заканчивают операцию. Раненый лежит на спине, заостренный нос поднят вверх, на лбу блестят градинки пота. Парень скосил глаза в мою сторону, делает попытку улыбнуться. Его вид успокаивает меня: раз после всего этого можно еще улыбаться — значит, не так страшно.

Из стерильника на электрической плитке сестра пинцетом вылавливает шприц. Женские лица в марлевых масках склоняются надо мной.

Скальпель вонзается в спину, онемевшую после уколов. Волна боли приходит изнутри — я едва пересиливаю крик. Пот течет по лбу, сестра вытирает его ватными тампонами. Скальпель проникает глубже, и я отчетливо слышу, как левая нога отделяется от тела.

— Доктор! Зачем отрезали ногу? — кричу я. Женщина, склонившаяся надо мной, беззвучно смеется. Я догадываюсь: нога цела — мне только кажется, будто ее отрезали. Потом меня опять пеленают бинтами, а на соседний стол кладут новенького. Он морщится и боязливо смотрит на меня. Я изо всех сил улыбаюсь ему.

В палате восемнадцать коек. Мне досталось место у стены. Лежать я могу только ничком, в одном положении. Под правую руку приспособили стул с подушкой. Рука в пудовых намотках бинтов наполнена болью.

Мне видно дверной косяк и полукруг голландской печи, выступающий из стены. По черной масляной краске гвоздем нацарапаны матерные слова. Их пытались закрасить. Под ними тригонометрические функции. Я еще помню их — меня взяли в армию из десятого класса, а теперь уже не забуду никогда: целый месяц только они и были перед глазами.

Заживающие раны зудят и смердят. Тошный сладковатый запах наполняет госпитальную тесноту. Но к нему быстро привыкаешь, а вместе с гноем из ран уходит боль: колодину-руку в бинтах можно передвигать, она уже не мучит непрерывно.

В иные дни у нас по-настоящему весело. Если не считать дыр от осколков и пулевых пробоин, все мы совершенно здоровы.

«Женихи! Ломовые жеребцы! Лоботрясы!» — зовет нас хирург. Он употребляет и другие слова, похлеще, но ему прощается все. Его большие глаза, заслоненные стеклами очков, совсем не злы.

В изножье моей кровати — койка капитана Зуйцева. Нас разделяет тумбочка. В ней Зуйцев держит свои вещи: бритву, ремень с португепями, кобуру от пистолета... Мне хранить нечего, все мое имущество на мне, да и оно казенное.

Капитан Зуйцев — из числа выздоравливающих. В дни, свободные от перевязок, ему даже разрешают уходить в город. В палату он возвращается за полчаса до отбоя, на тумбочке его ждет остывший ужин, накрытый тарелкой. Капитан берет пайку хлеба, остальное предлагает кому-нибудь. Охотники находятся: госпитальная норма не очень велика.

— Сыт, братцы, во как, — говорит Зуйцев и начинает раздеваться. Мне не видно его, слышно только, как скрипит кровать.

— Надо же, нашлась дура: кормит и поит, — это из дальнего угла подает голос пожилой лейтенант с простреленным бедром.

— Есть, стало быть, за что кормить, — подначивает Зуйцев. — Тебя вот ни одна баба не станет кормить. Какой от тебя прок? Заморыш. А я мужчина в самую пору, только и делов — рука на подвязке. Так это не помеха...

— Повязку мог бы давно бросить — симулируешь.

— Ну, ты, саперная лопата, много понимаешь! Тебе бы мою пробоину, там бы и остался...

Костыли мне подобрали по росту, и я начал понемногу ходить. Мир увеличился до размеров школьного здания. В коридорах тоже стояли койки. На них почему-то сплошь лежали раненые в руку. Белые гипсы, словно неудачные макеты рук, торчали над кроватями во все стороны.

В нижнем зале был небольшой бильярд. С самого утра на нем щелкали металлическими шарами, но владеть кием мне еще не под силу. Зато здесь я познакомился с шахматистом Коломейцевым из седьмой палаты на нижнем этаже. Несмотря на разницу в двадцать с лишним лет, мы подружились.

Встречались мы с ним еще до завтрака. Утром возле школьной ограды — настоящий рынок, полно торгующих женщин и ребятишек, а у нас с Коломейцевым одинаковые вкусы: из дневной нормы мы выкраивали по пайке хлеба и обменивали на молоко.

Коломейцев в линялом байковом халате, надетом на один рукав — правой руки у него нет по локоть, — раньше всех выходил на крыльцо. Матерчатые тапочки на босу ногу, из-под халата видны кальсоны, штопором закрученные вокруг ног. Госпитальная форма солдат — халат и нижнее белье; только офицерам выдавали защитные хлопчатобумажные костюмы.

Потом появлялся я.

— Привет выздоравливающему! — Коломейцев улыбался мне и салютовал здоровой рукой.

Вместе мы шли к забору. В пазы между планками штакетника ребятишки просовывали руки с бутылками. Торговля велась деловито и скоро: в любую минуту мог появиться начальник госпиталя и разогнать базар.

До войны Коломейцев преподавал математику в средней школе. Сейчас он тренировал левую руку. Он и мне советовал заниматься вместе с ним: учиться писать и есть левой рукой. Я считал, что мне это ни к чему; домой я отправил телеграмму: «Жив, здоров, переменял адрес», — а есть левой рукой начал без всякого обучения.

Мы заканчивали матч из десяти партий. Мне нужно было выиграть: тогда счет стал бы не совсем позорным для меня.

— Здравствуй, лейтенант, — услышал я. — Ходишь? А как же твоя отрезанная нога?

Надя, дежурная сестра по первому этажу, стояла рядом. Раненые в палате навострили уши: все уверены — сестра вспомнила забавный случай. Я разозлился: кому хочется, чтобы над тобой смеялись? Надя виновато улыбнулась.

— Не гогочите. Сами-то герои от перевязки до перевязки. Он, если хотите знать, на операции даже не закричал ни разу. Не то что некоторые.

Она переступила через мои костыли. Я молча проводил ее глазами — мне было приятно, что она похвалила меня.

Два-три раза в неделю бывает кино, и от госпиталя до клуба — рукой подать. Правда, уходить со двора можно только по разрешению, но правило это — чистейшая проформа: кроме ворот, где стоят часовые, на задах госпиталя в полуразвалившейся ограде — около десятка старых ребячьих лазов. Госпитальное начальство на отлучки раненых смотрит сквозь пальцы: лишь бы к отбою возвращались.

Клуб в бывшей церкви. Колокола и крест сняты с нее лет десять назад, но церковь поставлена на высоком месте, она и без верхней маковки, без креста господствует над городишком. Вокруг нее, на пыльном пустыре, сгрудились все главные здания: милиция, нарсуд, два магазина, ларьки и парикмахерская. Дошчатые тротуары настелены рядом с домами. Перед магазинами коновязь и деревянные лотки на вбитых в землю кольях. Вдовушки и солдаты торгуют здесь малиной.

Больше половины зрителей — раненые. Сплошь одни халаты, под которыми за-

стиранные кальсоны, пожелтевшие от частых пропариваний в вошебойках. На билетах места не указаны — кто где займет.

На этот раз я пришел рано и захватил середину скамьи для себя и для Коломейцева, если он надумает пойти, — по вечерам его сильно мучила культя. Я оставил ему с полстакана малины. Бумажный пакет из листа ученической тетради размок, ягодка угрожала растечься по моему карману сладким сиропом.

Народу набилось полно, вот-вот должны были начать сеанс. Коломейцев все не приходил, и я хотел уже убрать со скамьи костыли, когда в проходе у стены увидел Надю.

— Надя! — крикнул я. Она долго не могла понять, кто зовет ее, заметила меня, только когда я поднял костыль. Села на краешек скамьи: боялась задеть мое плечо. Когда погас свет, прошептала:

— Ты не сердись на меня? Я тогда не хотела тебя обидеть — так сорвалось. Когда тебя оперировали, я дежурила в операционной.

Значит, она и есть та самая сестра в марлевой повязке, которая тампоном вытирала с меня пот и пинцетом выуживала из стерильника шприцы.

— У тебя была трудная операция. Мы так боялись за тебя. Ты хорошо держался.

— Я не сержусь, — ответил я вполголоса. Опять мне стало приятно, что я вел себя мужественно, хотя это неправда: я не забыл, как меня трясло от одного вида скальпеля. Я вспомнил про ягоды и отдал пакет Наде.

— Что это?

— Была малина. Ешь, не бойся — хорошая ягода.

— Похоже на варенье, — рассмеялась она. — Но все равно вкусно. Спасибо. На скамейку втиснулись еще двое. Нас совсем прижали друг к другу, и я положил руку на теплое Надино плечо, но она сразу убрала ее.

На улице еще не стемнело, когда кончился сеанс.

— Я провожу тебя, — сказал я.

Улочка, по которой мы шли, была пустынна и тиха. Козы и телята лежали под заборами, мусолили жвачку и смотрели на нас. Сквозь щели тротуара пробивалась трава, грядками обозначая границы плах. Над кладбищенской рощей висела туча розовой пыли: с пастбища гнали стадо.

Из-за костылей нам было тесно на тротуаре. Надя шла чуть впереди и предупреждала, где ненадежные доски. Я молча сердился на нее. Получалось, будто не я провожал ее, а она меня. Мы шли как раз мимо госпитального забора.

— Вот ты и дома, — сказала Надя, останавливаясь. Это уже был явный подвох с ее стороны: она нарочно привела меня к госпиталю.

— Где ты живешь?

— Я дойду одна. Тебе тяжело будет — это далеко.

— Где ты живешь? — повторил я со злостью.

— Там, — показала она в сторону заката, — за врагом.

— Пойдем! — я вонзил костыли в дорожную пыль. Моя злость постепенно проходила. Скоро Надя остановилась.

— Иди назад, не упрячься. Ты опоздаешь к отбою. Там дальше овраг, он глубокий, — убеждала она меня. — Тебе трудно будет.

— Не твое дело.

Она не обиделась.

— Пойми: ты же первый раз вышел и сразу так много пройти — этого никто не сможет. Ты проводишь меня в другой раз...

— Зачем ты пошла со мной? Зачем привела меня к госпиталю? Думаешь, я без тебя дороги не нашел бы?

Я признавал, что говорю глупо, пытаюсь грубостью заглушить противную жалость к самому себе, и, пересилив себя, замолчал.

— Я думала, так будет лучше. Ну, я очень, очень прошу тебя, вернись...

Я остался посредине дороги на растопыренных костылях. Надя была уже далеко. Она уходила в полукруг багрового солнца, ее защитная гимнастерка и юбка казались черными. Когда ее не стало видно, я пошел назад.

Вскоре я бросил костыли и стал учиться ходить с тросточкой. Весь день ковылял вокруг школы по тропинке. Раненые наблюдали за моим усердием из окон и подбадривали незлобными насмешками. Мои старания пошли на пользу: через два дня я ковылял по двору уже без особого напряжения.

В Надино дежурство я не спускался вниз: мне казалось, что я зол на нее и не хочу ее видеть. Что это не так, я понял, когда встретился с ней. Мы увиделись возле школьного забора. Надя торопилась домой.

— Ты на меня не сердись больше? — спросила она.

— Нет, — сказал я, и это было правдой. — Я провожу тебя немного, я теперь хожу без костылей. Мы вышли на улицу. Вдалеке у колодца две женщины черпали воду — больше ни души. Ходьба так занимала меня, что наше молчание казалось мне естественным. Мы остановились за квартал перед оврагом.

— Ты не ходи дальше, хорошо? — попросила она. На этот раз я не обиделся, я сам понимал: овраг мне еще не осилить. Надя побежала посредине улицы мимо колодца под деревянным навесом и скрылась в овраге, словно нырнула в воду. В том месте, где она прошла, медленно оседало легкое облачко пыли. Потом она показалась на другой стороне. Ветхая деревянная лесенка несколькими маршами лепилась по крутизне. Надя бежала по тропе рядом с лестницей, наверху остановилась и помахала рукой. Я поднял свою палку и тоже помахал ей.

Обрывком суконки Зуйцев надраивал носки сапог. Он сумел уговорить сестру-хозяйку, и ему разрешили держать в тумбочке его офицерское обмундирование. Как-никак, в нашей палате он самый старший по званию.

— А, лейтенант, — приветствовал он меня. — Одыбал? Смотрю, за девочками бегаешь — вторая стадия выздоровления. Только зря ты к ней лепишься — можно лучше найти: без хлопот.

— По-моему, это не ваше дело, капитан, — сказал я и лег на койку.

— Брось пыжиться. Добра тебе хочу. Скажи только слово, с такой вдовушкойведу — корова и огород! Будешь как кот мурлыкать от удовольствия. И баба во! — он выставил большой палец.

Я смотрел, как он взбивал одеяло, запихивая под него свои пожитки. Вышло похоже, будто на кровати спит человек, накрывшись с головою. Дежурным врачом сегодня была Лидия Андреевна, женщина мягкосердечная, — она никогда не записывала опоздавших к отбою. В ее дежурство Зуйцев возвращался утром, перед подъемом, потом спал весь день.

Покончив с постелью, он приспособил на шею черную повязку, уложил в нее руку. По-честному, его давно было пора выгнать из госпиталя: рука у него совсем здорова. Не знаю, как удавалось ему обманывать комиссию, но нас, кто лежал с ним в одной палате, провести было труднее, мы видели, как он орудует больной рукой, когда забывается.

— Ну, так как? — капитан остановился передо мной во всем великолепии офицерской формы, при портупее и пустой кобуре. — Познакомить? А на эту свою шпингалетку плюнь — девчонка: ни умишка, ни этого самого... — Плавным взмахом здоровой руки он изобразил «это самое».

— Капитан Зуйцев, ваше счастье, что вы калека, — сказал я театральным тоном, — иначе я сломал бы казенную трость об вашу форменную голову. — Я отвернулся от него к стене.

— Пацан несчастный, попадешь ко мне в батальон — покажу калеку.

Надю я видел каждый день. В дни, свободные от дежурства, сестер и нянь отвозили на подсобное хозяйство окучивать картошку или в лес собирать грибы для госпи-

тальной кухни. Другие сестры отпрашивались, находили разные причины, — Надя не отказывалась.

— Дома только я да сестренка — в седьмом классе учится. У других семья, дети... Мне неудобно отказываться, — говорила она мне.

Вечером их на машине подвозили к госпиталю, и я шел провожать ее до оврага. Скоро мы знали друг о друге почти все. Наши воспоминания были удивительно похожими, как будто мы учились в одной школе.

Расставались на краю оврага. Я смотрел, как она стремительно неслась вниз, едва успевая переставлять ноги, и с разгону вбегала почти до половины тропы на том берегу. Я поднимал свою палку кверху, она махала рукой. Мне было видно, как она шла до колодца, ближнего на той стороне. Вечерами возле него всегда женщины и ребяташки: мужчин, кроме раненых, в городе совсем не встретишь. Слышно, как звенят ведра, грохочет разматываемая цепь. Коромысла над плечами женщин в закатном свете издали похожи на винтовки.

И вот я впервые перешел через овраг. Здесь так же пустынно и тихо, как на госпитальной стороне. Возле колодца женщины ждут своей очереди.

— Там мы живем, — Надя показала на двухэтажный деревянный дом с желтыми ставнями и карнизами.

Мы укрылись за изгородью. Пахло польностью и огородами — так всегда пахнет на окраине. Нам тревожно от нашей близости, оттого, что нас никто не видит.

— У тебя пуговица расстегнулась, — сказал я, наклоняясь к ней.

Моя ладонь коснулась вздрогнувшей груди. Надя испуганно оттолкнула руку и застегнула воротник. Потом рассмеялась:

— Извините, товарищ лейтенант!.. Ты, наверное, придира был невозможный. Гонял своих бойцов?

Я знал, что она не думает этого, и не спорил.

— Нужно застегивать гимнастерку, — повторил я строго и совсем близко наклонился к ее лицу. Наши щеки почти касались.

— Не надо, Вася, — неуверенно попросила она.

— Вот где она! — раздался позади нас злобный девчоночий голос. — Целуются!

От испуга и неожиданности мы отшатнулись друг от друга. Надя оправила гимнастерку. Тринадцатилетняя бестия в белой кофточке с пионерским галстуком сверлила старшую сестру презрительно сощуренными глазами.

— Выследила? — спросила Надя.

— Этого еще не хватало — выслеживать. Она же меня стыдит. Сама целуется со всяким...

Меня эта злюка не хотела замечать.

— Ты еще не выросла запрещать сестре целоваться, — подал я голос в защиту Нади. Девочка набросилась на меня:

— Так у нее жених. Она невеста... Коля Сидоров... Они вместе учились. Он на фронте! — выкрикивала она, чуть не плача. Каждым словом она будто стегала меня по лицу. — Как вам не стыдно?

— Нинка, замолчи! — цыкнула на нее Надя. — Это не твое дело. Не кричи. На меня сколько хочешь, а на него не смей!

Нина демонстративно повернулась и ушла, не оглядываясь.

Темень наполнила овраг почти до краев, видны были только верхние марши лестницы. За Надиной спиной слабо светилось еще не остуженное после заката небо.

— Вася, — Надин голос показался мне незнакомым, — Нина правду сказала. Мы не должны встречаться. Не провожай меня больше. Слышишь? Это я виновата: нужно было сразу сказать.

Я не знал, что ей ответить.

Бесцветное, не черное и не синее небо висело над крышами. Я ненавидел это небо, ненавидел запах полыни, горький до тошноты.

Перила у лестницы скособочились, опираться на них было опасно, прогнившие ступеньки трещали и гнулись. Рядом с лестницей, посреди травы, бледной полоской виднелась дорожка. Я шагнул на нее, но в темноте неверно определил высоту: мне показалось — рядом, а было около метра, и хотя я подогнул ногу, удар, мгновенный, как пуля, опрокинул меня. Стиснув в руке тросточку, я кувырком покатился в овраг.

Долго приходил в себя. Было так больно, что я боялся шевельнуться. Бинты ослабли, по правому локтю из-под них сочилась кровь...

Выползая из оврага, я истратил последние силы. Бесконечно долго, медленно брел посередине улицы, много раз ложился отдыхать в мягкую, нагретую за день пыль.

Я лежал, уткнувшись лицом в землю, и вдруг рядом с собой услышал жалобный, надрывный вой. Я поднял голову: передо мной маячил черный силуэт дворняги с задранной мордой. Подсвеченная луной, шерсть на боку собаки отливала ледяным блеском. Я пошевелился. Пес перестал выть, обрадованно и жалобно взвизгнул, лизнул меня в щеку. Он мешал мне подняться, скулил и прыгал вокруг.

Когда я снова ложился на землю, пес начинал выть, я вставал — и восторженный добрый лай возвращал мне желание идти дальше. На утреннем обходе я сочинил небылицу, будто оступился на тротуаре в двадцати метрах за госпитальной оградой. Хирург сделал вид, что поверил. Надя с порога поздоровалась со всеми. Просторный халат, накинутый на плечи, стал сползать, она изловила его на лету и запахла полы.

— Что случилось? — спросила Надя, останавливаясь у моей койки. — Мне сказали — ты разбился?

Я подвинулся к стенке, чтобы она могла сесть на край.

— Ничего страшного. Просто у вас в овраге ненадежная лестница.

— Ты спускался по ступенькам? Но я же предупреждала: по ним лет пять никто не ходит, — Надя откинула одеяло, проверила мои бинты. — Я зайду вечером. Ты ни о чем не думай. Потом я тебе все объясню. Сейчас я должна ехать, меня ждут.

Она собралась идти, но я задержал ее, в карман халата сунул половину утренней пайки хлеба.

— Это еще зачем?

— Увидишь возле крыльца черного пса — такой симпатичный дворняга, — отдай ему. Надя удивленно посмотрела на меня.

— Ладно, — сказала она. На этот раз я лежал недолго, скоро мне разрешили ходить... Когда пересекали овраг, я показал, где кувыркнулся в тот вечер. Теперь мне было смешно вспоминать этот случай, но Надя не смеялась.

Мы не пошли по улице, где куры и утки щипали пыльную траву, где скрежетала колодезная цепь и женщины, вскинув пустые коромысла на плечи, судачили между собой.

Узкая тропка лепилась по краю оврага. Ее протоптали козы и босоногие ребятишки. Зады огородов сползали в обрыв. Дорожка, по которой мы шли, уткнулась в плетень.

Здесь мы сели. Нам было видно устье оврага и реку — она лежала в долине совсем недвижная, словно никуда не текла. Откуда-то приносило дым и запах печеной картошки.

Мы совсем одни, только темная стена крапивных зарослей подступает сзади. Здесь нас никто не может увидеть.

Когда мы вернулись на улицу, уже совсем стемнело. Стояла такая тишь, что пыль, поднятая еще днем, не осела. Взрослых у колодца не было, под навесом сидели трое мальчишек. Огоньки папирос освещали их лица.

— Дежурят, — сказала Надя.

В городе введен порядок: сторожить общественные колодцы на случай диверсии. Дежурство распределено по дворам, охранять приходилось мальчишкам. Закутав-

шись в материнские ватники и шубенки, они спали под навесом до рассвета. Должно быть, их храп отпугивал диверсантов: случаев отравления воды не было.

На всей улице, кроме ребячьих папирос, ни огонька — затемнение. Мы сели на ступеньки крыльца, согревая друг друга теплом плеч.

— Перед самой войной у него умер отец. Он остался один, — рассказывала Надя. — Когда началась война, он первым из ребят ушел в армию — добровольцем. Его провожали всем классом... А потом я получила письмо: он признался, что любит. Мне было страшно за него: он один, у него совсем нет родных. Может быть, я не обманывала: мне казалось, что в самом деле люблю его. Мы с детства росли в одном дворе. Меня все считают невестой, и я сама так думала. А сейчас я ничего не понимаю. Я совсем не знаю, как быть дальше...

Мы оба не знали, что нам делать. То, что мы любили друг друга, для кого-то выходило изменой...

— Я напишу ему правду, — почти неслышно произнесла Надя. — Я должна написать.

Если бы на фронте кто-то из знакомых получил такое письмо, я знал бы, какими словами назвать ту девчонку. Мне бы и в голову не пришло, что она может быть совсем другой, эта дрянь, изменившая фронтовику. И уж совсем дикой была бы мне мысль, что и сам я стану негодяем, обманщиком... Мне было страшно думать о тех жестоких словах, какими назовут Надю друзья Николая.

За кладбищенской рощей натужно выл разбитый грузовик — машина шла со станции. Шофер не соблюдал правил, ехал с включенными фарами. Их свет полоснул по окраинным домам, машина остановилась, кто-то высадился из кабины. Громыхнув разношенным кузовом, грузовик свернул в боковую улочку.

В нашу сторону шел человек. Его шаги заглушала пыль. И все же мы сразу узнали характерный стук костылей. Кто-то вернулся домой на побывку после госпиталя, а может, отпущен по чистой — калека. Он мог приехать вечерним поездом из Горького.

Шаги приблизились, и мы отстранились друг от друга. Впившись глазами в темноту, мы слушали — ожидание становилось нестерпимым. Костыли вразнобой ударили по земле. Солдат шагал так быстро, как редко ходит и здоровый. Полы шинели подоткнуты за ремень, на спине — тощая котомка.

Он шагал мимо, не заметив нас.

— Бурлаков, дядя Федя, — шепотом выдохнула Надя и, обессиленная, прилегла на мое плечо.

— Тебе пора идти, — напомнила она немного спустя.

— Я хочу пить. Может, принесешь из дому?

— Напьемся лучше из колодца.

Ребята давно разошлись, остался один. Уткнув лицо в колени, он спал поверх колодезной крышки, чуть на краю, чтобы не холодило снизу. Я потормошил его, но он не проснулся, только втянул голову в ватник. Я поднял его и перенес на скамью рядом с колодцем.

Ведро падало, и цепь гремела, задевая о сруб. С глубины послышался всплеск. Мы вдвоем крутили вороток. Мальчишка не просыпался. Напившись, я перенес его назад, чтобы, сонный, он не свалился со скамьи.

— Надежный сторож, — сказал я. — Удивительно, как вас до сих пор не отравили? Надя засмеялась.

— Так я же слышу, дядя, когда свои, — пробормотал мальчишка и подтянул телогрейку на уши.

Я опоздал на час, в нашей палате все давно спали. Один капитан Зуйцев сидел на койке раздетый, шуршал бумагой и что-то жевал. Вообще на него это не походило: он всегда возвращался сытый. Он так увлекся, что не слышал, как я прокрался на свое место. Оглянулся только на скрип. Мне почудилось — испугался.

— Рыбки соленой захотелось, — сказал он тихо. — Баба достала горбушу. Хочешь попробовать?

Я отказался. Он завернул кости в газету. Похоже, он целиком съел рыбину — столько было отбросов. Сунул сверток под рубаху и ушел из палаты. Я уже дремал, когда он вернулся и наклонился над моей койкой.

— Чего тебе?

— В тумбочке еще одна рыбина, — прошептал он, — спросят чья — скажи твоя. Ладно?

— Ладно, — я не понимал, чего он боится.

— Захочешь сам — бери сколько нужно. Баба еще достанет.

Я не ответил, накрылся одеялом с головой. Надя заступала на дежурство утром. Я стойко дождался конца врачебного обхода и только тогда спустился вниз. Мы столкнулись с Надей у входа в седьмую палату. Она прошла мимо, словно не узнала меня. Только я подкараулил ее в пустом коридоре.

— Надя! — я поймал ее за руку, но она резко вывернулась.

— Оставь меня! — на лице, измученном бессонницей, враждебно сверкнули заплаканные глаза.

Что случилось, мне рассказал потом Коломейцев, в их палате все уже знали об этом. Оказывается, вчера вечером Наде пришла похоронная — убили ее жениха. У него нет родных, единственный адрес, какой знали в части, — Надин.

Прибыла новая партия раненых. В коридорах совсем не осталось свободного места, даже на лестничную площадку втиснули две койки. На обеих лежали раненные в руку. Их гипсы загоразживали проход.

Во время утреннего обхода главный хирург спросил:

— Как самочувствие?

— Хорошее.

— Запишите, — сказал он сестре, — лейтенанта Овсянникова на комиссию. У него третья стадия выздоровления — опаздывает к отбою.

Белые халаты врачей прошли мимо, задержались у койки Зуйцева. Капитан лежал, отвернувшись лицом к стене.

— Тоже на комиссию, — тихо сказал хирург сестре и наклонился над кроватью. — Как дела, капитан?

— Плохо дела, — с усилием выдавил Зуйцев. Притвориться так было невозможно, это поняли все.

— Что случилось? — встревожился Аркадий Дмитриевич.

— Не знаю, — простонал Зуйцев, переваливаясь на спину. За ночь он осунулся и постарел, губы высохли, потрескались. Хирург нащупал пульс. Капитан шумно, с натугой дышал открытым ртом и, еле сдерживаясь, негромко стонал.

Из палаты его унесли на носилках. Пока его не было, няня сменила простыни и наволочку. Лидия Андреевна зашла в палату, предупредила сестру:

— Капитану Зуйцеву назначена диета — бессолевая. При его почках соль — яд.

Через час меня позвали на комиссию. За длинным столом сидели врачи, в стороне от остальных, на стуле возле стены, — комиссар. От множества халатов и белых занавесок на окнах в комнате было особенно светло. Лица врачей стали незнакомыми, важность момента изменила их, да и сам я казался себе другим.

— Разденьтесь.

Я торопливо скинул одежду, остался в бинтах на правом плече и марлевой налейке на спине.

— Пройдите до двери и обратно.

— Присядьте.

— Согните руку.

Все команды я выполнял точно и быстро, как на учебном плацу. Я уже не чувство-

вал себя Овсянниковым Васей, как еще недавно, — я снова был лейтенантом Овсянниковым. Глаза врачей с профессиональным вниманием скользили по мне, их интересовало одно: годен ли я к службе.

— Снимите бинты, — это уже не мне — сестрам.

Рана на плече затянулась не до конца, она немного гноилась. Я сидел на стуле, врачи обступили меня, через их спины заглядывал комиссар. Хирург чуткими пальцами привычно мял тело вокруг раны.

— Жалобы есть?

— Нет.

Сестра чистым бинтом обматывала рану. Хирург, глядя в окно, диктовал, Лидия Андреевна едва успевала писать за ним. Кончив с историей болезни, Аркадий Дмитриевич, тяжело шагая, подошел ко мне. Усталые глаза его за круглыми очками словно потонули в тумане. Он положил руку на мое плечо.

— Мы выписываем вас, лейтенант. Поедете в распоряжение Московского военного округа. Дня через три-четыре зайдете на медпункт — они при каждом вокзале. Там сделают перевязку и назначат срок следующей.

Он убрал руку с плеча, переступил с ноги на ногу.

— Если у вас имеются просьбы к комиссии или жалобы, говорите. Говорите, не стесняйтесь.

Просить мне не о чем, жалоб у меня не было.

— Завтра к нам поступит еще партия раненых, — тихо сказал Аркадий Дмитриевич.

— У меня нет жалоб — я здоров, — сказал я твердо. Он снова положил руку на мое плечо и стиснул пальцы.

— Ну, не поминай лихом, Овсянников. Да смотри, второй раз не попадайся к нам — такой уж мы народ зловредный: режем, кроим вашего брата почем зря.

Пока я одевался, он вспомнил несколько анекдотов. Видимо, это не входило в программу комиссии — никто не смеялся, один я насильственно улыбался его острогам. Мне было жалко его, у него было такое лицо, как будто это он виноват, что мне придется ехать на фронт. Я собрался уходить, но меня задержал еще комиссар госпиталя.

— Поздравляю вас, лейтенант Овсянников, с выздоровлением и возвращением в строй! — он пожал мне руку. Я смотрел вниз, на его ноги в хромовых сапогах. — К сожалению, нашивку пока не можем вручить вам: в госпиталь они еще не поступили. Но по справке о ранении нашивку выдадут в любой части. Вам положена золотистая — у вас тяжелое ранение. Поздравляю вас, лейтенант!

Я сказал:

— Спасибо.

Комиссар имел в виду недавний указ, по которому раненым на фронте полагались знаки отличия: легкое ранение — красная нашивка, тяжелое — золотистая. После меня на комиссию вызвали Коломейцева. Он тоже имел право на золотистую нашивку.

Я возвращался в палату с неожиданным чувством горести. Я даже не подозревал, что так привык к госпиталю, и теперь страшно было сознавать себя здесь посторонним человеком. Новые партии раненых обживали госпиталь. Между их койками я пробирался с двойной осторожностью — я уже был здоровым.

Выданное обмундирование пахло прачечной и от этого запаха казалось еще более чужим. Я отвык от гимнастерки, от ремня, от сапог и ощущал себя совсем другим человеком, чем накануне. Я был уже не волен распоряжаться собою: на руках у меня командировочное удостоверение, в котором указан точный срок, когда я должен уехать из госпиталя и когда явиться в штаб МВО. Сегодня вечером вместе с другими меня на госпитальной машине отвезут к поезду. Надю я больше не увижу. Наверное, она ненавидит меня теперь: если бы мы не встречались с нею, она бы не чувствовала себя виноватой. Я догадался, что ее мучает именно это.

Нет, как бы она ни относилась ко мне, а уехать, не повидав ее, я не могу. Пусть будет что будет — я не поеду на станцию к вечернему поезду, я приду к ее окнам и буду сидеть всю ночь с мальчишками возле колодца, чтобы утром встретить ее у ворот. В госпитале выдали сухой паек — сухари, сало-шпик, немного сахара и пачку моршанской махорки. Нам не будет скучно, мы будем грызть сухари и курить самокрутки.

Я подходил к оврагу, когда позади услышал мягкие и быстрые шаги. Надя догоняла меня. Пыль слабо клубилась под ее подошвами.

— Вася! Я была в госпитале, искала тебя. На твою койку положили новенького. Ты был на комиссии? Тебя выписали? — она изумленно смотрела на мою линиящую форму без знаков различия.

— Я получил направление в МВО.

— Тебе не дали отпуск?

— Я здоров, — я показал ей справку о ранении. Там было написано: «Годеи к строевой».

— Как годеи? У тебя же рука!

— Я здоров, — повторил я.

— Ну какой ты вояка? Ты посмотри на себя: какой ты вояка? Тебе обязательно должны были дать отпуск. Ты, наверное, не просил, промолчал? Ну почему ты такой?

— Я не знал, что нужно просить, я думал, кому положено, так дадут. Не дали — значит, здоров.

— Ну какой ты вояка? — ей, видимо, понравилась эта фраза.

Я дважды присел и выпрямился, несколько раз согнул и распрямил руку. Надя серьезно смотрела на меня, на глазах ее показались слезы.

— Господи, какой ты глупый! Если бы ты попросился в отпуск, тебе бы обязательно дали... А ты ходил там и приседал — герой! Вояка! Неужели тебе не хочется побыть дома?

— Если бы дали отпуск, я бы не поехал домой, разве потом, дня на три, — я бы остался у тебя. Ты бы разрешила?

— Глупый. Ну почему ты такой глупый? — спросила она, и опять слезы повисли у нее на ресницах.

— Я не поеду сегодня, — сказал я, глядя под ноги. — Уеду завтра одиннадцатичасовым. Если ты непустишь меня, я все равно никуда не уйду от твоих окон — просижу ночь у колодца. Я не могу без тебя, — прошептал я отчаянно. — Ты не прогонишь?

Надины пальцы коснулись моих волос. Я поднял голову — Надя молча смотрела на меня, ее пальцы тихо провели по моей щеке, соскользнули на шею. Я стиснул Надю и стал целовать ее вздрагивающие губы. Гибким и сильным движением она высвободилась из моих рук.

— Ну, подожди, подожди немного, — тихо смеясь, сказала она, и лицо у нее вдруг стало озабоченным. — А ты подумал, что будет, если опоздаешь к сроку? Что тебе будет, если опоздаешь?!

— Ничего не будет. Ни о чем не хочу думать! — выкрикнул я.

Надя сосредоточенно смотрела мимо меня, должно быть, считала в уме, сколько времени нужно ехать до Москвы.

— Успеешь! — обрадовалась она. — Даже если одиннадцатичасовой опоздает на три-четыре часа, он все равно ночью придет в Горький. А из Горького на Москву поезд уходит утром.

Мы побежали в госпиталь за моими вещами.

Я зашел в палату проститься с ребятами. На моем месте лежал новенький. Правая рука его, вмятая в подушку, лежала на стуле. Видно, эта койка предназначалась для раненных в правое плечо. Он смотрел на черное брюхо голландки и прислушивался к тому, что делается в палате позади него. На крыльце стоял тощий и долговязый солдат

в ботинках, черные обмотки неловко накручены на худые икры. Он повернулся другим боком, и я увидел пустой рукав, заткнутый под ремень. В бесцветной от ветхости и стирок гимнастерке Коломейцев выглядел нелепо и жалко. Мы обнялись.

— Может быть, тебя еще в запасной полк пошлют, — сказал он. Это прозвучало так, будто он хотел сказать: «Может, тебя и не убьют». Надя отняла у меня вещмешок, надела на себя. Я не стал спорить: в нем почти ничего не было — пара белья да сухой паек на два дня.

Из оврага мы поднимались по тропе, прижавшись друг к другу. Мы и по улице до самого дома шли так, забыв, что нас могут видеть.

— У-у, бесстыжие! — бросила вслед нам женщина у колодца и яростно загремела ведрами. Нас ожидала еще встреча с Ниной.

Мое «здравствуй, Нина» осталось без ответа. Девочка собрала тетрадки, учебники, взяла чернильницу и ушла в кухню, кинув на меня ненавистный взгляд.

Надя хотела пойти за ней, но я удержал ее.

— Не ссорьтесь, — сказал я. — Мы потом еще подружимся.

Я и сам толком не представлял, когда это «потом» будет.

...Я открыл глаза. Было уже совсем светло. В комнате пахло вареной картошкой. Надя сидела на стуле рядом с кроватью, пришивала матерчатые кубики на мою гимнастерку.

Такой, как сейчас, я не видел ее ни разу, даже не представлял. Это было счастье — смотреть, как Надя продергивает нитку в ушко иголки, критически оглядывает свою работу, проверяя, точно ли на свое место угадали кубики на петлицах. И в то же время я отчетливо помнил, что я должен уехать, хотя уехать от нее и вовсе было невыносимо. Уж лучше, наверное, было бы не встречаться...

— Нет! — неожиданно произнес я вслух и обнял Надю за плечи.

— Осторожней — наколешься об иголку, — испугалась она и отложила шитье. — Хорошо, что проснулся, мне жалко было будить. О чем это ты сказал — нет?

— Это я так, про себя. Я не знаю, что было бы со мной, если бы мы не встретились...

— Но ведь мы встретились, — сказала Надя. — Если бы я не застала тебя, я поехала бы на станцию. Я и дальше поехала бы за тобой, если бы меня только отпустили из госпиталя. Вчера я ходила к начальнику, отпрашивалась, — призналась она.

...Потом мы молча посидели на стульях. Я взял свою котомку и шинель. Надя захватила дождевик — с утра небо обложили тучи. Нина стояла в дверях и осуждающе глядела на нас.

— До свиданья, Нина, — сказал я и протянул руку. Девочка отвернулась. Я вышел в кухню.

— Подожди, — расстроено прошептала Надя. Мне было слышно, как они разговаривали.

— Малявка несчастная, почему ты не подала руки? За что ты ненавидишь его? Что он тебе сделал?

— Ты любила Колю... Теперь он погиб, — всхлинула Нина. — Я не могу видеть этого...

Я услышал звук пощечины. Я хотел войти к ним, остановить Надю, но больше ничего не было слышно. Потом заплакала Надя. В приоткрытую дверь мне было видно: они сидят на кровати обнявшись, младшая сестра гладит Надю по голове.

— Ну, мне совсем не больно. Нисколечко не больно. Хочешь, и я ударю тебя по щеке? Только не плачь...

— Ты понимаешь: я люблю его, люблю! — сказала Надя. — Ты маленькая, тебе не понять.

— Не такая уж маленькая! Но ведь ты любила Колю...

— Ну, скажи, что мне теперь делать? Может, выброситься из окна? — Надя спросила так, что я поверил: если сестра скажет: «Бросайся!» — она выпрыгнет. — Разве он виноват, что Николая убили? Он тоже едет на фронт — там каждого могут убить...

Возможность моей смерти окончательно примирила со мной Нину. Она вышла из комнаты и подала мне руку.

— До свиданья. Я ничего не желаю вам плохого.

До станции восемь километров. Мы прошли больше половины, когда нас догнала полупортка. Мы стояли в кузове обнявшись и держались за кабину. Шофер подвез нас к вокзальчику. В прокуренном зале ожидания было душно, на деревянных скамьях сидели офицеры и солдаты, побросав рядом с собой вещевые мешки. Из расписания я узнал, что будет дополнительный поезд в пять часов вечера.

Мы вышли из станции, сели на лавочке возле палисадника. Мы молчали, прислушиваясь к гудению рельсов. Одиннадцатичасовой пришел по расписанию, наполнив привокзальное пространство стальным грохотом.

— Идем, Вася! Смотри, сколько народу. Еще как сумеешь сесть.

Ноги у меня стали тяжелыми.

— Я не поеду, — сказал я. — Ты видела расписание: в пять вечера будет дополнительный поезд.

— Вася, ну я очень, очень прошу тебя. Если ты опоздаешь, тебя будут судить.

— Я не опоздаю: пятичасовой в Горький как раз придет утром.

— А если он задержится? Теперь это часто бывает.

— Тогда я пойду к коменданту вокзала и в командировке сделаю отметку, что опоздал поезд. Меня ведь не станут судить за то, что опоздал поезд?

Надя опустила на скамью рядом со мной. Она дрожала. Скорей бы уж уходил этот поезд!

Раздался лязг буферов, повторенный всеми вагонами, застучали колеса. Прогрохотал последний вагон, и сзади нас стало пусто.

— Вот и все, — сказал я. — Теперь у нас есть время. Эти украденные шесть часов казались подаренной вечностью. Нужно только стараться не думать, что в пять часов все-таки придется уезжать. На крохотном базарчике возле станции торговка собирала в корзину нераспроданные картофельные лепешки. У меня были деньги, и мы купили у нее весь остаток — шесть лепешек. Потом мы ушли на станцию и побрели по тропинке к пустой, просквозенной сентябрьским ветром роще.

Дождь все не начинался, тучи только грозилась ненастьем — сплошные, серые, они низко ползли над землей. На лугу, за линией, бабы и ребяташки торопились, домetyвали стог. Ветер срывал с поднятых вил охапки сена. Слышно было, как мальчишки-копновозы понукали коней.

Я бросил шинель под дерево, мы сели рядом и накрылись плащом от ветра.

Лепешки намокли и развалились, когда мы наконец вспомнили о них. На запах приползла рыжая деревенская собака, села в нескольких шагах и, обливаясь, провожала глазами каждый кусок. Я бросил ей сухарь и половину лепешки, она проглотила ее сразу. Сухарь долго слюнявила на зубах: он был тверже булыжника.

Пришло время возвращаться на станцию. В зале ожидания опять набралось полно солдат, офицеров и провожающих. Мы заранее договорились, как я буду садиться в вагон. Надя поможет мне, будет подталкивать сзади. Вещмешок останется пока у нее, и только когда я поднимусь в тамбур, она подаст его мне.

— Ты не стесняйся: говори, что из госпиталя. Хочешь, я руку подвяжу — бинт у меня в кармане.

Я отказался. Вряд ли повязка давала мне преимущество: в зале ожидания половина с подвязанными руками.

Мы немного поссорились и тут же помирились: у нас не было времени ссориться по-настоящему.

Тихий стон рельсов задолго известил о подходе поезда. Черная машина, дыша отработанным паром, выползла из-под виадука.

Когда поезд остановился, мы торопливо, озабоченно поцеловались. Мы словно отдалялись друг от друга: меня охватила тревога — как я сумею устроиться в набитом вагоне, придется, видимо, ехать стоя, а Надя разглядывала что-то на моем лице. Слезы стояли в ее глазах, но плакать тоже было некогда.

Я бросился к ближнему вагону. Надя ладошками толкала меня в спину. Я ухватился за поручень и чуть не закричал, не выпустил его от резкой боли в плече. В тамбур меня вдавили силой. Я поймал свою котомку, брошенную мне снизу, и увидел несколько пар женских рук, поднятых над головами. Я не знал, которые из них Надины.

Вагон дернуло — и поезд тронулся. Я рванулся к выходу. Женщины бежали рядом с подножкой и все разом кричали. Мне почудился Надин голос и мое имя. Но я слышал его и потом, когда станция осталась позади, а в квадрате окна возникла мутная, пасмурная даль плывущих мимо перелесков и пажитей.

Кто-то тронул меня за плечо. Усатое молодое лицо свесилось со средней полки.

— Далеко едешь, лейтенант? Занимай место. Мне сходить — в отпуск после госпиталя на неделю отпустили. Ты, видать, тоже из госпиталя?

Я залез на полку, бросил под голову вещмешок. Мне хотелось завывать. И чем дальше уходил поезд, тем горше ругал я себя, что не нашел ничего сказать Наде в последнюю минуту, даже поцеловал наспех. Увижу ли я ее когда-нибудь?

Я лежал и смотрел в окно. Давно уже наступила ночь, за окном мелькали синие огни какой-то станции. Вокруг меня храпели солдаты и офицеры, я знал, что мне не заснуть. Нестерпимо зудело плечо, но и оно не отвлекало от тоскливых мыслей.

Напротив у окна солдат курил папиросу, между затяжками клевал носом. Я разбудил его.

— Ложись на мое место, а я посижу, — сказал я. Он молча полез на полку.

ПОЭЗИЯ



МАРК СЕРГЕЕВ



Они стояли посреди войны

Фронтовые поэты

Фронтовые поэты.
В землянках, в блиндажах и каптёрках,
в заскорузлых шинелях,
в линялых своих гимнастёрках,
при случайной свече,
при коптилке из гильзы снарядной,
после боя, работы,
после дня в карауле, в наряде
как вам силы хватало
писать на краю, на пределе
всё, что вы заносили в блокноты свои
самодельные?

СЕРГЕЕВ Марк Давидович (Гантваргер; 11 мая 1926 г., Енакиево Донецкой области УССР — 9 июня 1997 г., Иркутск) — поэт, драматург, детский писатель, общественный деятель. Автор многих книг для детей и взрослых. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР (1958). Главный редактор альманаха «Ангара» (1964–1967). Член Союза российских писателей. Заслуженный работник культуры РСФСР (1971). Почётный гражданин Иркутска (1986). Кавалер орденов «Знак Почёта» и Дружбы народов. Автор многих поэтических сборников для детей и взрослых. Декабрист-вед. Многолетний руководитель Иркутской писательской организации.

Фронтовые поэты.
С напором свинцового шквала
ваши жизни судьба,
ваши жизни война рифмовала.
И едва затихало сраженье —
атаке не вечно же длиться, —
как оно оживало
на ваших бессмертных страницах.

Но бессмертные строки
от смерти, увы, не спасали,
фронтовые поэты
бои на талант не списали,
но из братских могил
воскресало их слово живое,
батальоны к победе,
к бессмертью
ведя за собою.

Это я испытал,
точно знаю, как это бывает:
раскалённый металл
наши цепи огнём накрывает,
надо встать и бежать,
кровь и грязь пропитала обмотки,
победил, уцелел —
огнестрельные дыры в пилотке...

Фронтовые поэты.
Встречаю теперь вас нечасто:
вы, как прежде, — в строю,
ни рисовки,
ни позы, ни чванства...
Ваши строки живут: молодые, горячие,
цельные.
Вы храните — до срока —
блокноты свои самодельные.

Баллада о тополях

В тени их скрыта школьная ограда.
Они следят с улыбкой за тобой,
горнист из пионерского отряда,
так мастерски владеющий трубой.
Нас кронами укрыв, как шалашами,
они шумят под вешнюю грозой...
Послушай: я их помню малышами —
обыкновенной тоненькой лозой.

Послушай: в небе стыл рассвет белесый,
проткнула землю первая трава,
за ручки, важно, приведя из леса,
их посадили мы — десятый «А».
И ночью, после бала выпускного,
мы поклялись сюда опять прийти.
И вот мы к тополям вернулись снова —
но впятером из двадцати шести.
Горнист из пионерского отряда,
послушай: клятв никто не нарушал.
Ты родился, должно быть, в сорок пятом
и, значит, сорок первого не знал.
А в том году схлестнулись с силой сила,
стояла насмерть Русская земля.
За тыщи вёрст разбросаны могилы
тех, кто сажали эти тополя.
Но, будто бы друзья мои — солдаты,
стоят деревья в сомкнутом строю,
и в каждом я, как в юности когда-то,
своих друзей приметы узнаю.
И кажется, скажи сейчас хоть слово
перед шеренгой тополей живой —
и вдруг шагнёт вперёд правофланговый
и в трауре поникнет головой.
Как требуют параграфы устава,
начни по списку называть солдат:
— Клим Щербаков! —
И тополь — пятый справа —
ответит:
— Пал в боях за Ленинград.
— Степан Черных! —
И выйдет тополь третий.
— Матвей Кузьмин! —
Шагнёт двадцать второй.
Нас было двадцать шесть
на белом свете — мы впятером
с войны вернулись в строй.
Но остальные не уходят.
Рядом они стоят,
бессмертны, как земля.
Горнист из пионерского отряда,
взгляни: шумят под ветром тополя.
И если в час беды о нас ты вспомнишь,
твой горн тревожно протрубит подъём,
то мы придём, горнист,
к тебе на помощь,
живые или мёртвые — придём.

Люди и города

А города людей — переживают.
Уже сошли мы безвозвратно в тень,
а всё ещё дома переживают.
Всё ищут нас локаторами стен.
В пролётах лестниц след наш не пылится.
Нас помнят телефоны, голоса,
и стёкла отражают наши лица,
и вещи помнят наши голоса.
Потом — туман напополам с тоскою.
Потом — забвенья тусклая вода...

... Не дай господь увидеть вам такое:
как мы переживали города.
Они, как люди, в горестях старели,
они стояли посреди войны.
Их волосы зелёные горели,
и были их глаза ослеплены.
И падали они. Во тьме лежали.
Но чуть враги — в атаку, на прорыв, —
и камни нас родные окружали,
и умирали, нас собой прикрыв.

На протезном заводе

Ветераны войны
сидят на протезном заводе.
Говорят о делах,
о не в меру дождливой погоде,
на ненастье ворчат —
впрочем, так,
 добродушно,
 без злости:
ноют старые раны,
 мозжат
повреждённые кости.
Мастера к ним выходят,
как будто бы некие боги,
и выносят им руки,
выносят им новые ноги.
На скрипучих ремнях закрепляют —

Где боль потупее.
(Как скрипят на парнях
на пороге войны портупей!)
Ветераны идут,
 опираясь на палки,
не морщась от боли.
На култышках — мозоли.
От стольких протезов мозоли!
Мастер смотрит им вслед
и собой недоволен он вроде —
не подходят протезы,
протезы к сердцам не подходят!
Не подходят к их мыслям,
к делам их большим и достойным.
Ветераны идут.
 Будьте прокляты, войны!

Возвращение на войну

Ветер пылью шумит по кустам,
леденеют сожжённые сёла...
И разносится: «Все по местам!» —
капитанское хриплое соло.

И, едва затихают слова, —
в направленье командного жеста,
отделенья летят в кузова
и машины срываются с места.

Догорел самокруткой привал,
лейтенанты сидят по кабинам:
в закипающий бой, как в провал,
резервистов бросают машины.

Все в воронках окопов края,
а над ними волна разрывная,
и безмолвное: «Делай, как я!» —
нам ползти до переднего края.

... Сколько лет в этом давнем бою,
сибиряк, паренёк бесшабашный,
я лежу у войны на краю
перед первой своей рукопашной.

Все товарищи живы пока,
у ребят — ни сомнений, ни грусти...
Через миг батальоны полка
голос Родины бросит на бруствер.

Я лежу в ожиданье броска,
подбородком в песок упираясь,
и плывут от реки облака,
то густея, а то растворяясь.

Каска прячет меня до бровей,
ал закат, точно рана сквозная.
И ползёт возле глаз муравей,
ни бессмертья, ни смерти не зная.

Возвращение с войны

Эшелоны гремят обратные,
посреди зимы,
и китайские аккуратные
отстают дымы.
По теплушкам снуёт метелица.
Караулим груз.
И ещё в наши жизни целится
по ночам хунхуз,
и ещё, куржаком оправленный,
от тревог устав,
через пули и спирт отравленный
наш гремит состав.
...Глинобитная улица узкая,
чей-то грустный взгляд.
Но всё ближе граница русская,
и сердца горят.
И уже нам ночами снится:
над волной ракии,
распластавши крыла, как птица,
эшелон летит.
Смотрят матери удивлённо,
детвора бежит:

журавлиная стая вагонов
в небесах кружит.
И садятся напропалую,
развернув крыло,
кто на площадь на городскую,
кто в своё село.
Мы выпрыгиваем на травы,
ордена звенят,
ах, какие, о боже правый,
очи у девчат!
Как целуют они нас сладко
у речных ракии...
Голова на шинельной скатке,
эшелон гремит.
Зори — мимо,
пространства — мимо,
в ледяной красе,
и колёса неутомимо
всё отстукивают с нажимом:
«Живы, мальчики...
живы, живы...
Да не все... не все...»

Победа! 70 лет



ГАЛИНА БОЛДАКОВА



Вспоминают ровесники победы

Я, дитя Великой Отечественной войны, родилась второго февраля 1945 года, в тот год, когда свершилась наша ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. Таким образом, мы с Победой ровесники, в 2015 г. нам с Победой исполнится по 70 лет! Я мало что помню из своего нищего послевоенного детства, но кое-что хочу вам рассказать в память о моих усопших родителях, которые прожили трудную, достойную жизнь. Память моя заштриховала самые тяжелые, трагические для детства воспоминания, но, что всплыло, этим и хочу поделиться, ибо мы, пожилые люди, живые свидетели послевоенных лет, подходим к естественному концу жизни, и никто кроме нас не расскажет правду о пережитом. Не спорю, кому-то было еще труднее, но я пишу о себе и о своей семье.

Осознанно начала ощущать себя где-то лет с 4–5. Помню, одни ходили с братом в детский сад далеко от дома. По дороге было мало машин, но много лошадей с телегами и таратайками, в которых возили навоз и сено. Мы с братом устали и потихоньку залезли в эту таратайку. Конюх нас не видел и поехал. Таратайка перевернулась и нас накрыла с головой. Мы сильно испугались и начали кричать, люди бежали за конюхом и кричали: «Остановись, там дети!» Конюх поднял таратайку, надавал по шее и отпустил, не дал погибнуть...

Когда умер Сталин, мне было восемь лет. Отчетливо помню, как все вокруг рыдали, и я вместе со всеми, толком ничего не понимая... Как взрослые, так и я, ребенок. Это было великое национальное горе: Сталин был культом не только в государстве, но и в каждой семье. Мой отец, Терентий Григорьевич Сарапулов, принимал участие в Великой Отечественной войне, кажется, немного, всего девять месяцев, за это время он мог быть убит. Но под Сталинградом получил тяжелое ранение бедра с повреждением кости. Я храню в конверте его военные документы, которые не только наша семейная реликвия, но и музейная ценность. Отец не любил и не мог, не хотел говорить о войне, равно как и смотреть фильмы про войну, которая не отпускала его всю жизнь, до самой кончины в 1992 г. Мама, Ксения Федоровна Сарапулова, работала вместе с ним на режимном объекте: военный

склад № 348, где давали клятву (присягу). Проводила папу на фронт, ждала, а когда он вернулся на костылях, вышла за него замуж. Жили по-разному: нервно, трудно, ссорились, мирились и т. д. В семье — никакой лирики, нежности, все проглотила ВОЙНА! Не помню, чтобы нас с братом целовали в щёчку, обнимали, ласкали... Мать была жёсткой, строгой, силы и эмоции расходовались на выживание: что поесть, что носить, где достать, а ещё надо было и работать, цветущие домохозяйки с маникюром тогда были не в моде. Капусту солили бочками, всю зиму стояла в сенах, картошку заготавливали кулями... Мясо, стряпня и конфеты — по праздникам с гостями, сахар иногда... уж как мы этот сахар ни растягивали и в накладку, и в прикуску, держали во рту, пока сам не растает, смаковали наши маленькие детские радости послевоенной жизни! Бедные гости, что там им доставалось, когда малолетние хозяева добивались до этого «вкусного» стола!

Обмануть бедность помогало и выручало умение всё делать руками: шить, перешивать, вязать, перевязывать и т. д. Готовое платье покупали редко, на вырост. Потом выпускали запас в талию, подоле и т. д. Долго выбирали, чтобы не марко, носко, чтобы долго носилось до первых дырок, а потом в ход шли заплатки, а на заплатки ещё заплатки, особенно на нижнем белье. Про штопку чулок уже не говорю. Пяточка натягивалась на электрическую лампочку, и долгие зимние вечера проводили за этим полезным занятием. Но особое место в послевоенной жизни — перелицовка гардероба. Новое пальто из драпа носилось 5–7 лет. Затем все распарывалось и снова сшивалось, но уже изношенные и потертые места пальто пропадали, прятались под подклад, а левая сторона становилась правой стороной, т. е. попадала наверх, и получалось «новое» пальто, которое тоже носилось годами. А дальше смотрели, нельзя ли из этого всего сделать ещё курточку. И по сей день мой призыв родственникам и знакомым: ничего не выбрасываем, вещам — вторую жизнь! На всем, что не связано с питанием и здоровьем, можно экономить! Когда шли в кино, то у дверей театра меняли «рабочую» обувь на «праздничную» на каблуках.

Жили на бывшем конном дворе. Вода на водокачке, туалет на весь двор (20 семей), помойка в центре двора. Если весной управление не вычистит вовремя, а оно и раньше работало так же, как сейчас, то «аромат» от растаявших отходов жизнедеятельности человека, точнее всех проживающих во дворе, забивал ноздри.

Жили на окраине, в криминальном районе. После войны бандитизм в Иркутске процветал, не уступая Одессе-маме. В наш район входили улицы с 1-й Советской по 8-ю Советскую; с 1-й по 4-ю держали карманники, т. е. «щипачи», а с 4-й по 8-ю Советскую — «медвежатники», элиты воровского мира. Делили между собой улицу, где жила наша семья: 4-я Советская, 35. Амбиции у тех и у других цеплялись за звезды на небе... Драки, перестрелки, поножовщина — реалии тогдашней жизни в Сибири вообще и в Иркутске в частности.

Как-то раз пошла я за водой на водокачку. Воду носили на коромысле с двумя ведрами. Выхожу на улицу, смотрю: бандюганы стоят группами. Понятно, что готовы выйти на тропу войны. Я хотела успеть проскочить, но не судьба... Коромысло полетело драться в одну сторону, ведра металлические — в другую, а мама помощница пятнадцати лет — в третью. Тогда у представителей криминального мира была своя щегольская мода: костюм белый, брюки расширены книзу, белое кашне, штiblеты (корочки) белые «со скрыпом», кепи белое (допускалось, впрочем и без него). Результат побоища оказался довольно грустным: у забора остался сидеть молодой человек с красным пятном на белом костюме в области груди, я же пришла домой с изломанным коромыслом, которым мама меня «отвозила» по спине, ведра вообще не годились для дальнейшей эксплуатации...

Жили мы в комнате и кухне с русской печкой, с фикусом в ведре и геранью на окне. Чтобы запастись мясом и есть его не только по праздникам, в один год мама отгородила в комнате угол и купила туда молочного поросенка в марте месяце. К маю перевезла его в стайку, которую тоже соорудила сама. Проживать с поросенком в одной комнате было не очень уютно, но всю зиму с удовольствием ели мясо, это, пожалуй, была самая сытая зима. Потом появились талоны на питание, и больше мы поросенка не покупали; родители по этому поводу единого мнения не имели: отец был против, а мать озвучила свои аргументы: «Жрать-то мы все горазды зимой, так мясо-то сначала вырастить надо, а уж потом...» и т. д. и т. п.

Да, бывало по-всякому, но отчетливо помню, что в трудную минуту, когда кто-то болел или лежал в больнице, бежали, спасали, поддерживали, бросались друг к другу на помощь. Русские своих не бросают... Помню, отец не мог спать трезвый, соскакивал ночью и кричал: «Петька, заряжай, пи... пи... пи... Васька, стреляй, пи... пи... пи...». Где же вы слышали, чтобы на войне кричали: «Петька, заряди пушку, пожалуйста» и т. д. В нашей семье, да и вообще во всем нашем околотке ненормативная лексика считалась абсолютной нормой бытового, повседневного разговорного языка. Никаких синонимов не признавалось, вещи назывались своими конкретными именами. Все жили на нервах, на грани срыва, памятью войны, когда каждый момент мог быть последним, «не ты, так тебя...». Стресс снимали, естественно, «родной речью» и фронтовыми 100 граммами.

Никто тогда не знал и не понимал, что такое посттравматический синдром войны, и мы с мамой в том числе. Не понимали, что в первые годы после Победы, когда душевные и физические раны ещё кровоточат, для фронтовиков возможность выпить — это спасение, чтобы не сойти с ума от памяти, которая не давала ни жить, ни спать... Приходил к нам фронтовик, друг отца, без ноги. Тот, бедолага, обижался, недоумевал, почему каждый год он на костылях должен идти на медкомиссию, сидеть часами в очереди и ежегодно подтверждать свою инвалидность, доказывая, что за прошедший год его ампутированная нога не выросла снова. А ведь от этого зависела пенсия фронтовиков. Пили водку, пели фронтовые песни — «Броня крепка и танки наши быстры», «Три танкиста» и т. д. А ночью, отец стоял по стойке «мирно» у портрета Сталина и пел «Вставай, страна огромная, вставай, на смертный бой». Мама с ним ругалась, нам с братом утром — в школу, ей надо было тоже выспаться, на работу к 8-00 утра в научно-исследовательский Противочумный институт, готовить в стеклянных ампулах сыворотку против чумы, холеры и т. д. Насколько ответственная эта работа и опасная, думаю, объяснить никому не надо.

Мамина зарплата и пенсия отца были мизерные. Выручала находчивость и умение выживать, порой в невозможных обстоятельствах. Мама умела всё: строгать, пилить, рубить дрова, подшивать валенки мне, брату, ставить на пятки себе и папе кожаные союзки и т. д. Это был наш домашний генерал в юбке. Доставалось нам от нее, никому не давала простаивать или засидеться без дела. Много не говорила, даст подзатыльник — и сразу всем все понятно. Всё в семье держалось на ней как, впрочем, и во многих семьях, где были мужья-инвалиды. Увечья войны — это не на время, это навсегда, с этим жить всю жизнь. Женщины и жены времен войны — это особая каста в плане надежности: физически выносливые, суровые, жесткие, об украшениях, драгоценностях и светских тонкостях говорить не приходилось. Война наложила свой отпечаток, многие раскрылись через поколение, на внуках... Где моя мама могла усвоить навыки женственности, если она вынуждена была вскапывать вручную штыковой лопатой 6 соток с 7 утра до 5 вечера! А осенью на своей женской спине таскала по 15-20 мешков с картошкой в подполье.

Сейчас смотрю на всех этих рафинированных, гламурных, утонченных «вери найс леди» из так называемого элитного (говорю с иронией и сарказмом) общества и с языка готов сорваться вопрос: «А вы бы, барышни, так смогли?!» Никогда в нашей семье не было главным материальное богатство, деньги, золото, бриллианты. И я признаю только богатство в голове и готова делиться им щедро. Главная ценность в жизни — остались живые, и горевали за тех знакомых и друзей, кто погиб, защищая Родину, и для кого это был не пафос и не пустой звук.

Никто специально не уделял нам с братом внимания по части воспитания: личный пример — лучше всякого учителя. Мы часто в семье слышали: учитесь, получайте образование, добивайтесь всего своим трудом, надейтесь на себя.

Мой отец начал говорить о войне, когда мой сын Виктор, которому он с трех лет заменил отца, уже стал подростком. Он рассказывал своему внуку и мне, как под Сталинградом они уходили в бой по 250–300 человек, а осталось их всего 15 бойцов. Они попали в окружение, всю ночь, зимой, истекали кровью в шалаше, пока наши не отбили их у немцев. Когда отца привезли в госпиталь в Казань (затем было еще много госпиталей) и положили на хирургический стол, то врач пинцетом отломил ему отмороженные пальцы

на раненой ноге. Матрац и солдатскую одежду пришлось выбросить, все было пропитано кровью и гнойными массами, брюки разрезали, когда снимали с раненой ноги. С большим трудом врачи сохранили ногу.



Справка о ранении Сарапулова Терентия Григорьевича

Он же был молодой — тридцати лет, надо было как-то дальше жить... Через какие нравственные и физические страдания пришлось пройти в госпиталях — один год девять месяцев, пока ни прибыл в Иркутск! Как им, молодым, трудно было смириться с их беспомощностью, когда юные медсестры видели их обнаженными, когда меняли простыни, подавали утку... Стыдно, неудобно и больно, в то время,

как хотелось, наоборот, ухаживать за этими девушками, дарить цветы... Через 6 лет дали ему 2-ю группу инвалидности, можно было заказать протезные ботинки, одна нога короче другой на 7 см, устроиться сторожем — инвалидов неохотно брали на работу.

Хочу сказать, что в первые послевоенные годы никто не уделял фронтовикам должного внимания. Все выживали как могли. Помню, недалеко от нашего дома была барахолка. Мы, ребята, бегали туда часто, особенно летом, и я видела, как многие инвалиды войны стояли около многочисленных пивных или пивнушек на костылях, с пустыми рукавами, заправленными за военную португую, деревяшках вместо ноги, безногие ездили на квадратной дощечке с колесиками по углам, называлась «тележка на подшипниках». Инвалидных колясок не видела. Пили пиво, водку, пели, материли фашистов, играли на гармошке, дрались, плакали... Ходячие приносили пиво безногим, которые находились не за столом, а около стола, на полу. Многие, без семьи, без поддержки собирали милостыню, т. е. буквально нищенствовали, были случаи самоубийства среди фронтовиков-инвалидов. Помню, на детской коляске мать возила молодого парня без рук, без ног. Его называли на барахолке «самовар». Так вот у него на шее висела банка, куда бросали деньги, а мать в это время продавала воду из алюминиевой кружки.

Провоевав 4–5 лет, солдаты вернулись домой героями, но не смогли вернуться в мирную жизнь. Обостренное чувство справедливости, неумение найти себя в послевоенной жизни, они растерялись и потерялись, оказались беспомощными, особенно те, у кого не было семьи, родственников — моральной точки опоры. Никто из представителей государства им в этом не помогал, о психологах не имели представления, никто не осознавал, что это не пьяные слезы фронтовиков, а слезы незаслуженной обиды! Много позже я поняла для себя, что простые, рядовые солдаты, израненные, изуродованные войной, не защищенные властями, гордые, имеющие чувство достоинства, они не хотели унижаться, куда-то идти и кого-то просить. Вернувшись с войны, они имели право получить все: славу, почёт и уважение, а не получили ничего, были брошены на произвол судьбы.

Почему-то не очень поощрялось надевать и носить ордена, были какие-то годы, когда не праздновалось 9 мая — День Победы в государстве! Все фронтовики и труженики тыла отмечали этот праздник каждый у себя дома тихо и незаметно! Сейчас, взрослым умом жутко вспоминать эти сцены и ситуации реальной послевоенной жизни. А тогда все происходящее казалось нормой, я думала, что так живут все. Что всем одинаково было трудно. Когда я в первый класс пошла в телогрейке (сшила мама) с собачьим воротником, тоже считала, что телогрейка — самая лучшая часть гардероба для первоклассницы. Это потом, много позже, я узнала, что, оказывается, у Любви Орловой есть шикарные шляпы, и мечтала о такой шляпе, а у жены маршала Буденного, последней, самой молодой, было три шубы из благородного меха, а генералы привозили своим детям, женам и любовницам вагонами дорожные трофеи из Германии и других, освобожденных рядовыми солдатами

стран. То, что вытворяют некоторые нынешние генералы, забыв о достоинстве и не имея чести, в это легко можно поверить!

А ежели этот процесс обогащения поощрялся командованием, то почему же «отцы»-генералы не поделились с оставшимися в живых солдатами, инвалидами войны! Внутри, как заноза, сидит чувство обиды за простых, рядовых фронтовиков, которым в награду вне очереди и в неограниченном количестве доставались только пули, ранения да костыли. А ведь это были самые скромные, бескорыстные, достойные, самые честные, самые преданные Родине, России люди!

Не могу обойти вниманием тему беженцев в Иркутске. Когда я провожу экскурсии по Иркутску с французами, мы всегда останавливаемся на самом святом месте: МЕМОРИАЛ, открытый в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Здесь интуристам раскрывается тема «Иркутск — все для фронта и всё для Победы» и «Иркутск — тыл фронта в Великой Отечественной войне». Гиды-переводчики рассказывают, как самоотверженно трудились полуголодные дети-подростки 13–16 лет на заводе тяжелого машиностроения им. Куйбышева, учились в школе ФЗО (фабрично-заводского обучения) и других местах, как тут же в цехах ночевали у своих станков на телогрейках, как отмораживали пальцы, вытачивая снаряды для фронта, как при этом выполняли и перевыполняли план для военной промышленности в разгар войны. Жители Иркутска, пусть немного, но все-таки знают об этой героической странице.

Но какую огромную роль сыграл Иркутск в годы войны, как тыл фронта для беженцев, знают совсем немногие... Как мне рассказывали старшие, очень много прибывало беженцев с оккупированных территорий к зиме 1941–1942 гг. В Сибири беженцев принимали добровольно, абсолютно бескорыстно. По радио (у нас дома висела такая черная круглая тарелка из твердой бумаги с динамиком в центре) сообщалось время прибытия поезда с беженцами на железно-дорожный вокзал Иркутска. Там жители города собирались и, встретив поезд, разбирали по домам тех, кому можно выделить угол на год, два, три... в своей квартире, доме, дать постель, накормить, обстирать. Внутри комната разделялась занавесками, и бывало на двадцати квадратных метрах жили четыре семьи как раз по четырем углам... Многие, потеряв кров и родственников, оставались жить здесь навсегда, заводили семьи, детей, находили работу. Делили все пополам: хлеб, картошку, сало, чай, одежду... Беженцы — это тяжелое, страшное, незабываемое зрелище, особенно, когда видишь детей...

В душе взрослых людей, а тем более малышей, остались на всю жизнь рвущие сердце воспоминания. Они ехали по железной дороге несколько суток в вагонах, где не было даже посадочных мест. Скученность, голод, холод, бомбежки, страх, обовшивленные, изможденные, в рваных лохмотьях, тревожные настороженные детские глаза! Те, кто умирал, оставались тут же в вагоне до следующей станции, благо была зима! По дороге, при бомбежках, поезд останавливался, и все выскакивали из вагонов, искали укрытие и бежали прятаться. Расселив всех по квартирам, отмыв от вшей, сменив рваную одежду на бедную, но чистую, детей устраивали учиться в школу. Были дети, которые вместе со взрослыми перенесли контузию. Их в первую очередь надо было успокоить, полечить, обеспечить всем необходимым. В школе эти дети отличались от наших местных. Учились трудно, всего боялись, прислушивались, оглядывались. Когда слышали звук самолета или неожиданный хлопок, бросались под стол в классе, закрывали голову руками. Не могли успокоиться, долго оставались раздраженными. Детские психические травмы войны отдавали болью и заживали, зарубцовывались годами... Война не отпускала беженцев... Трудно, очень трудно им было восстановиться морально и психологически, найти свое место в жизни. У этих людей, прошедших нечеловеческие испытания, мерилom всего была война. Редко кто из беженцев доживал до старости, но всегда они с благодарностью и теплотой вспоминали сибиряков, бескорыстно их приютивших в самые тяжелые моменты эвакуационной жизни в период войны. Какое счастье, что Сибирь никогда не видела оккупации, не жила под немецкими захватчиками, не слышала бомбежек и не несла потери от них!

После смерти Сталина мне пришлось пережить еще много наших государственных

деятелей: Хрущева, Брежнева, Черненко, Андропова, Устинова, Горбачева, Ельцина. Все они руководили страной как могли, и оставались на посту до «последнего» патрона», но я не припомню, чтобы при них что-то заметно и ощутимо изменилось в лучшую сторону для участников и ветеранов войны. Все повернулись лицом к фронтовикам, ветеранам, и все кардинально изменилось при В.В. Путине и Д.А. Медведеве, мне есть с чем сравнивать. Только такой человек, как В.В. Путин, прожив свою сознательную жизнь в семье, где родной и близкий человек был инвалидом войны, только он знает, как живется долгие годы инвалидам в семье, что такое фантомные боли, посттравматическая, психологическая травма, какие сопутствующие заболевания порождает инвалидность и как много всего надо инвалиду в повседневной жизни: уход, лекарства и прочее. Только В.В. Путин искренне и по-настоящему встал на защиту интересов фронтовиков и оказал им реальную, практическую помощь. Много раз я слышала в свой адрес, что для меня авторитетов не существует. Нет, господа, сегодня для меня авторитет – это Владимир Владимирович Путин. А вся эта болтовня и трескотня вокруг него не дает желаемых результатов: слишком высоко сидит, далеко глядит. Все-таки интересный у нас народ. Не знают, как навести порядок в своем собственном доме и своей семье, но «знают» как руководить государством и пытаются научить этому Путина. Лично я ему благодарна за ветеранов и вообще очень уважаю его. Я сегодня нахожусь в таком возрасте, когда я сама могу делать комплименты мужчинам, не боясь быть неправильно понятой. Такого спортивного, элегантного, образованного, компетентного президента на моем веку никогда не было!

В семь лет я пошла учиться в первый класс в Иркутске. Школа была деревянная, двухэтажная, четырёхклассная. В классах и учительской топились печки, но все равно зимой было холодно. Первую мою учительницу звали Бронислава Яковлевна, она с первых дней поняла, что поведение у меня образцовым не будет, что отличницей я тоже не буду... И ох, как она оказалась права! Я же дитя улицы, дочь полей и огородов! Все эти школьные рамки, расписания по часам, обязательные предметы дико ущемляли мою свободу и очень портили мне настроение. В школу я ходила, чтобы смотреть на Брониславу Яковлевну, как на артистку из американского кино: прическа, гардероб, туфельки... Будут ли у меня когда-нибудь такие туфельки? И вот эта обожаемая мною учительница особенно натерпелась от меня на уроках чистописания.



Галя Болдакова возле своего дома

Как я уже сказала, материальная база у нас была скудная, бывало, что и недоедали. Хорошо помню вкус мурцовки. Сейчас это слово уже стало архаизмом и редко у кого сохранилось в лексиконе. Так вот это блюдо состояло из таких компонентов: вода + хлеб + лук + соль + растительное масло. Все это содержимое тщательно перемешивалось и — приятного вам аппетита! В школу мне давали из дома «усиленный паек». Это был бутерброд, который назывался «помазать, посыпать». От буханки хлеба отрезался ломоть, намазывался маргарином и сверху посыпался сахаром. Был еще «комковой» сахар, от которого маленькие куски откальвались щипцами. Затем этот ломоть хлеба разрезался на две части, которые складывались друг на друга. До перемены сохранять этот бутерброд было рискованно. Если, выскочив по звонку на перемену, не

успеешь крикнуть: «сорок один, ем один», то другие «деточки» уже кричат «сорок восемь, половину просим», что означало, что каждый должен и может подойти и откусить свою «порцию» от этого, теперь уже бывшего моего бутерброда. Контрольный урок чистописания был последним перед переменой, поэтому, когда я одной рукой работала в тетради, а второй лезла под парту, чтобы достать и откусить бутерброд, то ненавистный мне маргарин каждый раз волшебным образом оказывался на тетрадном листе, где я силилась изобразить чистописание. И после проверки РОНО любимая моя Бронислава Яковлевна

набрасывалась на меня в ярости, как тигрица... За этот бутерброд я, имея теперь уже сорок лет педагогического стажа, мысленно прошу у нее прощения.

Далее я перешла в школу восьмилетку № 14, где прибавилось гуманитарных наук, которые я очень любила. Память была цепкая, и все шло своим чередом, вполне благополучно, чего не скажешь о точных науках — особенно сидела у меня в печёнках математика. Этот предмет в школе вела учительница из Белоруссии, у которой произношение сочеталось с сильным национальным акцентом, и надо было время, чтобы к ней привыкнуть. Она меня хотела в седьмом классе оставить на второй год из-за теоремы Пифагора. Это теперь я знаю, что «Пифагоровы штаны во все стороны равны», а тогда не имела представления. Но я все-таки взяла себя за шкуру, втянула себя в эту математику и выучила с муками всё, что она от меня требовала. Не оставаться же в самом деле на второй год! Учительница была удивлена, не ожидала от меня такой прыти и даже похвалила: «Ну, вот Скарнулова (а моя фамилия Сарапулова), можешь, когда захочешь!» Мою, исконно русскую фамилию, во всех трех школах не извращал только ленивый! В школах, как правило, учеников не называли по именам, но отношение было таковым, что даже фамилию не считали за труд научиться произносить правильно....

В 26-й школе очень любила учительницу по истории. Модная, красивая, добрая, а значит, хорош и её предмет. Это всегда психологически взаимосвязано... И вот однажды, сама того не желая, я её огорчила на открытом уроке по истории Древнего мира.

На уроке сидела комиссия, а мы двое болтали на первой парте. Она нам сделала замечание, но не устно, а мимикой дала знать, чтобы не шумели. Но у неё получилась такая смешная маленькая мордочка, как у болонки, что меня с подружкой до конца этого урока разбирал неудержимый смех, и фактически мы сорвали открытый урок. Словом, не только мы натерпелись от некоторых учителей, но и учителям стоило немало нервов дотянуть нас, «чумачех» детей войны до одиннадцатого класса.

Частенько ловлю себя на мысли, что хотелось бы кому-то из бывших учителей (урководителей не беру во внимание) сказать добрые слова благодарности, но, увы... уж многих нет... В школе № 26 класс у нас был дружный, хороший, мы до сих пор встречаемся, общаемся, те, кто еще жив остался...

Помнится, как я в 9-м классе была дежурной, и надо было, чтобы все вышли из класса, чтобы проветрить его. Был у нас один новенький, он начал от меня бегать по классу, потом заскочил на окно, я разозлилась, разодралась с ним и так его турнула, что он вылетел в школьный двор вместе с окном. По этой причине и по причине моих уличных замашек: дралась, ругалась, «хромала» по поведению, меня часто вызывали на воспитательную беседу к директору школы. Ни его имени, ни лица я не помню, поскольку всегда стояла перед ним в позе «глазки в пол, реснички вниз». Он был фронтовик, высокого роста, носил галифе и офицерские, до блеска начищенные хромовые сапоги, которые и отпечатались в памяти у меня на всю оставшуюся жизнь. Он всегда на меня смотрел выразительно и долго, не обижал, но каждый раз говорил: «Смотри, Сакрапулова, еще одна твоя выходка, и я тебя исключу из школы». Но... судьба распорядилась иначе. Пока он собирался исключить меня из школы № 26, я смогла-таки удержаться в очереди за аттестатом зрелости, с которым и вышла на большую дорогу во взрослую жизнь. В этой школе с благодарностью вспоминаю А.Р. Рязанову, учительницу математики.

В 1964 г. я поступила кандидатом в Иркутский институт иностранных языков. Вот там-то большое и сердечное участие приняла в моей судьбе и становлении Александра Иннокентьевна Литвинцева, которая поверила в меня, подготовила с нуля к первой сессии по французскому языку, и после успешной сдачи экзаменов меня зачислили в число студентов. Сколько живу, столько говорю ей спасибо, моей первой, горячо любимой учительнице по французскому языку. В институте иностранных языков я развернулась с размахом: училась с жадностью, занималась в научном студенческом обществе по философии «Теория французского экзистенциализма», выступала с докладами на межвузовских конференциях, получала грамоты и призовые места в разных конкурсах. Очень нравилось мне заниматься на факультете общественных профессий, отделений актерского мастер-

ства и художественного слова. С удовольствием изучала иностранные языки и, закончив в 1969 г. институт, продолжаю до сих пор заниматься этим самостоятельно.

Справедливости ради надо сказать, что не всегда в годы моего детства мы жили только бедно и только грустно. Бывало и очень весело, особенно в семейные праздники. Собирались гости на детские дни рождения мои и брата, равно как на дни рождения взрослых домочадцев. Родня большая, гостей много. На столе всегда были рыба, квашеная капуста, винегрет, водка и бражка. Когда «официальная» часть заканчивалась, в бой вступал семейный ударный, шумовой «оркестр». Музыка вели мамыны родные сестры: тетя Маруся «играла» железными ложками по дну алюминиевой кастрюли, тетя Дуся колотила клюкой по перевернутому ведру, тётя Валя выбивала музыку вилками из стиральной доски, а моя мама разбавляла весь этот «ансамбль» частушками пикантного содержания и плясками. Когда «репертуар» оркестра заканчивался, в ход шли пластинки с патефоном и объявлялись «бальные танцы». Поскольку кавалеры были уже «неработоспособны», то дамы приглашали друг друга. К этому времени мы с братом, виновники торжества уже спали на двух телогрейках под большой металлической кроватью с панцирной сеткой. В 1964 г. мама получила двухкомнатную «хрущевку» на первом этаже — какое это было счастье! Начиналась другая жизнь...

С улыбкой вспоминаю тетю Лёлю, живую достопримечательность нашего двора. Безграмотная, живописная, экстравагантная в одежде и косметике, несмотря на то, что приехала из глухой деревни в 14 лет наниматься в город в няньки. Её речь напоминала монологи инопланетян, и надо было включать языковую догадку, чтобы понять, что хочет тетя Лёля. Вот, например, диалог тети Лёли в телеателье.

- Робяты, почините мне елевизор «Моисей».
- А что, у вас есть такая марка?
- Да есть, есть, это мой еливизор.
- Слушайте, это скорее всего телевизор «Енисей» ?
- Ой, верно, робяты, это и есть мой еливизор.

Однажды она пришла своему мужу на кальсоны пуговицы от бушлата. Он их надел в темноте и ушел на работу. Там захотел в туалет... потом Лёля долго ходила с синяками.

В магазине тетя Лёля могла попросить бутылку «шефира», рассказать что у Матрены сына «конфисковали» из армии, Ангара у неё была «онкологически» чистым местом, могла красочно пояснить, что мешает хреновому танцору танцевать, что «кондяк» лучше самогонки, что на шею купила новое «ожеренье» в «наирмаге» и многое, многое другое... Перлы придуманной новой лексики сыпались из тети Лёли, как из порванного мешка, и когда она дополняла своим присутствием общество соседей на завалинке, то стоял гомерический хохот, все покатывались со смеху, особенно, когда тетя Лёля после «кондяка» развлекала благородную публику семечками с матерными частушками и импровизированными танцами.

Интересно отметить, что тетю Лёлю все вокруг считали слегка чокнутой. Из жалости никто ей не отказывал в тарелке супа, подкармливали на чужих



*Соседи по двору. Улица 4-я Советская, 35. 1960 г.
Верхний ряд: слева — Ксения Фёдоровна Саранулова. Второй ряд: третья справа — Лёля. Нижний ряд: первая справа — Галя Саранулова (Болдакова), 14 лет*

хлебах. А потом вдруг выяснилось, что тетя Лёля накопила денег себе на частный дом и благополучно съехала с нашего двора!!! Изумление кулинарных «спонсоров» двора было понятным... Молодец Лёлька, бедная, несчастная... всех нас объегорила и теперь живёт в свое удовольствие. Ну, да Бог ей судья! Все выживали как могли.



Последняя фотография Терентия Григорьевича Сарапулова с женой Ксенией Фёдоровной Сарапуловой и внуком Виктором Болдаковым. 1987 г.

стал. Выростила сына без мужа, сейчас у него хорошая семья, две дочери. Впрочем, это уже совсем другая история

Как-то однажды у меня дома собрался девичник с приятельницами. Дамочки не серенькие, интеллектуально продвинутые, с иностранными языками. Пригубили коньячка, ну и естественно пошел разговор за жизнь... Начали озвучивать свои воспоминания...

После моего рассказа о себе любимой одна из присутствующих спросила: «Как же ты выцарапалась-то?» Да вот выцарапалась, не сломалась, не упала в колодец, выпрямилась, разогнулась и даже шляпы приобрела. Неважно, кем ты был, важно, кем ты

ПОЭЗИЯ



ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ



Хлестал по вагонам свинец

21 июня 1941 года

1

Я сдал на пятёрку последний экзамен,
хотелось плясать, на качелях качаться,
моторку окинув шальными глазами,
с любимой по Яузе лихо промчаться.
Услышать, как плещет она под окошком,
с улыбкой внимать петушинуму крику
и, встав спозаранку, с ведром и лукошком
к знакомой поляне поспеть на клубнику.
Спешили в кино беззаботные люди,
везли ещё хлеб для Берлина составы...

А немцы уже наводили орудия
на наши заставы.

Алексеев Валерий Анатольевич, поэт (1923, Уфа — 2003, Ангарск). Окончил Московский механический институт, учился в Московском институте международных отношений. Автор поэтических сборников: «Паводок» (1970); «Станция Свеча» (1981); «Ещё не вечер» (1984); «Баллада о колокольне» (1992); «Соловецкий камень» (1988) и др. Фронтовик. Почётный гражданин г. Ангарска. Член Союза писателей России.

А мать была рада, что за две недели
 достала на сочинский поезд билеты.
 Вокруг пассажиры толкались, галдели,
 мечтая добраться до южного лета.
 Бежали навстречу берёзы и липы,
 чернели дождями размытые тропы.
 На станциях бабы кричали до хрипа,
 торгуя горячей картошкой с укропом.
 В вагоне смеялись. А возле окна
 динамик хрипел:

— Если...
 завтра...
 война...

22 июня 1941 года

Сулил воскресный вечер танцы,
 смолил смычки концертный зал,
 но шли в колоннах новобранцы
 не на концерт, а на вокзал.
 Шли с полной выкладкой, сутулясь,
 суровые не по годам,
 сквозь строй знакомых с детства улиц
 к разгорячённым поездам.
 Уже не мальчишки — солдаты,
 герои будущих побед!
 Они ни в чём не виноваты,
 но им пришлось держать ответ
 за то, что Сталин промахнулся
 и в отчий дом пришла беда...

Состав ушёл и не вернулся...
 и не вернётся никогда.

Старая церковь

В который раз, построив танки ромбом,
 фашисты шли на приступ — цепь за цепью.
 Оглохшие от пушечного грома,
 мы от огня укрылись в старой церкви.
 Качались наверху паникадила,
 со звоном наземь падали иконы,
 лампадка лихорадочно чадила,
 и колокол гудел на колокольне.
 Но тщетно в стены бухали снаряды —

Ещё все живы: деды и отцы.
На мирном рубеже Европы с Азией
цветёт сирень, влюбляются скворцы,
на юге наскучавшиеся за зиму.
И, славя наступление весны,
тюльпаны оккупируют долину...

Ещё четыре года до войны...
И плюс ещё четыре
до Берлина.

Пароход «Одесса»

Река и пристань. Мгла над лесом.
Под крик детей и всхлипы баб
усталый пароход «Одесса»
на пыльный берег сбросил трап.
Прощанья краткие мгновенья
и взгляды, полные тоски,
объятья, слёзы, уверенья
о любви до гробовой доски.

Все ново нам на пароходе,
но взять ещё не в силах в толк,
что мы уже не парни вроде,
а запасной стрелковый полк.
Стоим, робеючи, в сторонке,
сердечко ёкает в груди...
А ордена и похоронки —
ещё всё это впереди.

В эшелоне

Вечернее солнце, устав,
катилось к черте горизонта,
и мчался стремительно к фронту
окутанный дымом состав.
Противником взятый на мушку,
был выгнут дугой перегон,

я видел из люка теплушки
последний и первый вагон.
Теплушку трясло и качало,
хлестал по вагонам свинец,
и я уже думал: конец!..
А это лишь было начало.

Командир

Обессилен до тошноты,
сердцем чувствуя земли притяженье,
мы под сенью ночной темноты
выходили из окруженья.
Как рыбы, выброшенные на песок,
жадно ртами хватали воздух.
Вспоминая отчаянный марш-бросок,
располагались на краткий отдых.
Нас наганом с земли командир поднимал,
матерясь, он стрелял у меня над ухом,
а я, как убитый, под дубом спал,
и земля мне казалась лебяжьим пухом.
Но, какой-то неведомой силой влеком,

превозмогая слабость и нехотенье,
я поднимался, преодолевая закон
всемирного тяготенья.
И дело здесь было, конечно, в том,
что среди этих дебрей, нам не знакомых,
наш командир был сильнее, чем Ньютон,
не нюхавший наших военных законов.
Он шёл рядом с нами, голодный и злой,
с лицом от бессонницы иссиня-бледным,
но в солнце, встающем над мёртвой землёй,
он видел солнце нашей победы.

7 ноября 1941 года

Вся в синих стрелах, как в зарубках,
белеет карта на столе.
Верховный молча курит трубку,
один в пустующем Кремле.
Враг снова наступленье начал,
и фронт висит на волоске...
А он вчера парад назначил
на Красной площади, в Москве.
Столицу враг бомбил жестоко,
бежали люди кто куда...
Но шли и шли к Москве с востока
и днём и ночью поезда.
За лесом синим и зелёным
глухие слышались гудки,
и — эшелон за эшелон —
шли на парад сибиряки,
туда, где цвета алой крови
знамёна подняла Москва,
где в ожиданье наготове
застыли грозные войска.
Пушистый снег покрыл брусчатку.
Едва сменился караул,

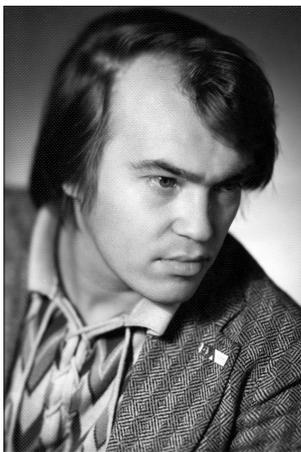
как дирижёр, надев перчатку,
волшебной палочкой взмахнул!
И марш торжественный, бравурный
сердца солдатские потряс...
И, вскинув руку над трибуной,
к Победе звал Верховный нас.
Снежок порхал над Мавзолеем,
и Яки, вспарывая высь,
над Историческим музеем
быстрее молний пронеслись.
Уже готовые к атаке,
по опустевшей мостовой,
задраив люки, мчались танки
громить фашистов под Москвой.
А под Москвой взрывались мины,
свистела смерть над головой...
Мы день Октябрьской годовщины
встречали на передовой.
Фон Бок на нас все силы бросил,
победой бредя наяву...
Не знал фельдмаршал,
что в ту осень сибиряки спасут Москву!

ПОЭЗИЯ



К 70-летию со дня рождения сибирского поэта

ГЕОРГИЙ КОЛЬЦОВ



Неизбывная сила родства

Родной дом

Притулился за бакеном красным
Мамин дом на песчаной косе,
И сюда на какой-нибудь праздник
Мы всё реже съезжаемся все.

Материнская жгучая старость,
Ты, как участь осенних берёз,
На которых листья не осталось —
Всю по свету ветрище разнёс...

Рвётся нитка в том месте, где тонко.
Ну а если она не тонка?!

Наша мать — коренная чалдонка,
Дом бросать свой не хочет пока.

Сердце чует — пока он не продан,
Каждый связан надёжным узлом
И с землёю, откуда мы родом,
И с закатом за синим селом.

В доме, где не нажили богатства,
Где пока ещё мама жива,
Заставляет нас всех собираться
Неизбывная сила родства.

КОЛЬЦОВ Георгий Николаевич (1945, с. Буреть Куйтунского района Иркутской области — 1985, Кашира, Московская область). Служил в армии в Забайкалье. Участник знаменитого Читинского совещания писателей (1965). Закончил Литературный институт им. А.М. Горького. Участник 6-го Всесоюзного совещания молодых писателей. Один из авторов коллективного сборника «Зёрна», изданного по итогам Читинского совещания (М., 1966), автор сборника стихов «Корни кедра» (Иркутск, 1975).

Забайкалье

Страна верблюжьих сопок и сказаний!
Сюда меня не праздность привела...
Взмахнёт рассвет над окнами казармы,
Как беркута упругие крыла.

Сто пар сапог, что на ночь ставят «в ноги»,
В полоске света матово блестят.
Мы здесь живём предчувствием тревоги,
Которую сирены возвестят.

Но жизнь рассудит правильно и мудро
И выплеснет, как воду из ведра,

На наши спины будничное утро,
И служба начинается с утра.

А день бежит по тропам, по пригоркам,
Чтоб раствориться в сумраке вдали.
На выцветших от зноя гимнастёрках
Под вечер проступает соль земли.

В солдатский круг нас песня собирает,
Как будто археологов — костры...
Глаза закрою: зорька догорает,
Рыбачья лодка, берег Ангары.

* * *

Светлой памяти матери моей

Самолёт у трапа замер.
Взгляд скользнул по землякам:
Воспалёнными глазами
Я тебя среди них искал.

Подойду сейчас поближе
И, как в прошлую весну,
Ту слезу, что ветер выжал,
С твоего лица смахну.

Не один, а с младшим братом
В зал, где ты ждала, — войду,
Где в полёт зовёт с плаката
Серебром обшивки — «Ту».

Близость встречи или ветер
Подгоняют, торопя...
Неужель на этом свете
Больше нет уже тебя?!

Вышло так, что мы с годами
Разлетелись кто куда.
А вернуться опоздали
Не на день, а навсегда!

Как бы падать ни спешило
Под колёса полотно, —
Довезти к тебе — машина
Не успела всё равно...

В темноте белеет ставень.
Брату, что ль, в конце пути
Это право предоставить
В двери первому войти?

Но ссутулившись угрюмо,
Отрешённо-одинок,
Он о том же самом думал,
На родной взойдя порог.

В нетерпенье — не в испуге —
Он потребовал: «Входи!»,
Чтоб скорей увидеть руки
На твоей сухой груди.

Так частенько ты держала
В них, задумавшись, иглу...
А теперь в цветах лежала
Под иконою — в углу.

Настрадавшееся тело
Покрывала простыня.
А в ногах твоих сидела
Наша близкая родня.

Причитала тётя Клава,
Как старухи в старину:
«Кто тебе, сестра, дал право
Оставлять меня одну?»

Ни тепла в избе, ни дыма...
Порвалась надежды нить...
Как теперь я буду мимо
Этих окон проходить?!»

Плач, ознобом прошивая,
Разгулялся по избе...
— Почему она, живая,
Так печётся о тебе? —

Но когда не голосила,
Обессилевши, она,
То совсем невыносимой
Становилась тишина.

Тишины такой пугался,
Молча сам себя ругал,
Горло сдавливал не галстук —
Подступивших слёз аркан.

Зябко вздрагивали плечи,
Хоть я к плачу не привык...

Может, вправду, мёртвым легче,
Чем оставшимся в живых.

Телеграммы срочной выстрел
Их не ранит, не убьёт...
Мать, прости мне эти мысли.
Здесь мы с Саней. Видишь? Вот!

Поделюсь я новостями,
Что привёз издалека.
Ну а Саня вновь растянет
Для тебя огонь-меха.

Ты спляши цыганский танец,
Приглуши разлуки боль.
А захочешь — я останусь,
Буду рядышком с тобой.

Ведь тебя мне не заменят
Ни работа, ни жена...
Бьётся раненым тайменем
В сетях ночи тишина.

На Ваганьковском кладбище

Проладно было. Сыро по-осеннему.
И листья в скверах дворничихи жгли.
Мы шли на день рождения к Есенину.
На кладбище Ваганьковское шли.

Шли пионеры, старики и женщины.
Тут, в напряженье каждого держа,
Вселялась в нас чуть грустно и торжественно
Бессмертных строк открытая душа.

Мы круг тесней у памятника сузили —
И приглушая в голосе металл,
Читала женщина: «Поэтам Грузии»,
А я «Письмо от матери» читал.

О чём-то о своём вдруг всхлипнул пьяница,
А старый клён листвою прошумел,
Мол, кто к стихам, хоть грубовато, тянется,
Тот нежность сохранить в себе сумел.

Смеркалось быстро. Каждому, наверное,
Хотелось с ним побыть наедине...
Мы отошли. Открыв бутылку вермута,
Глазами отыскивали в стороне

Неровно листопадом занесенную
Могилку безымянную с крестом.
И выпили. Сначала за Есенина
И за Россию-матушку потом.

Почтальонша

Как долго —
Через всю Россию —
Шли письма.
Днём и по ночам.
А ты, девчонкой, разносила
Их по дворам односельчан.

Летела мигом
К ждущим окнам,
Надеждой жившим всякий раз.
Такая шустрая,
Во многом
Не сразу ты разобралась.

Взять даже то,
Что торопиться,
Пожалуй, надо не всегда.
Ведь в сумке выцветшей,
тряпичной,
Могла пристроиться беда.

О письма с фронта!
Глянув мельком
На штемпель, адрес и печать,

Кто смог бы так,
Как ты умела,
Их содержанье различать?

Обманчивость благополучья:
Во много раз
Бывал страшной
Родных
мужицких закорючек
Красивый почерк писарей.

Ты, размышляя на подворье,
Как бабья доля тяжела,
В конверт
заклеенное горе
Вдове
Растерянно несла...

И жадно вслушиваясь в сводки,
То в жар бросающих,
То в дрожь,
Солдатки знали —
По походке, —
С какой ты весточкой идёшь.

Слепой

В огне бомбёжки, в адском скрежете
Вдруг свет навек в глазах потух...
Так обострила тьма кромешная
Его обыкновенный слух,

Что научился он по голосу
Определять прохожих рост,
Как поле — по шуршанью колоса,
Сентябрь — по шелесту берёз.

Привычно палочкой бамбуковой,
Что в шумный мир его вела,
Не просто землю он простукивал,
А бил во всё колокола!

О тех, кого поисковеркали,
Вот так безжалостно, бои...
А иногда во сне, как в зеркале,
Он видит вновь глаза свои!

Тётка Дарья

В День Победы тётка Дарья —
Вот уже который год —
Утром мужнины медали
Мягкой тряпочкой протрёт.

Словно снова прикоснулась
Через них к его груди...
А усталость и сутулость —
Всё осталось позади.

И летишь ты на свиданье
За околицу села
Никакой не тёткой Дарьей —
А девчонкой ты была!

Ночь тепла, как полушалок
На плечах. И — соловьи!

Рот обветренный нашарит
Губы жаркие твои.

На вечерках, на полянке
Не слышать, как шепчет лес,
Что «Прощанием славянки»
Разведёт и вас оркестр.

Ты ещё успеешь слабо
Улыбнуться мужу: «Сын!..»
Но заглушит счастье бабье
Плач повальных проводин.

Месяц, вынырнув над хатой,
Упадёт в густую рожь...
Ты прильнёшь щекой к наградам
И украдкою всплакнёшь.

Поминки

Жизнь торжествует в разномастном гуле,
Где вздохи вдов порою не слышны...
В большой эмалированной кастрюле
Замесит мама
Тесто на блины.

И соберёт соседей и знакомых.
Запрячет под косынку седину.
А тёплый блин
Вдруг встанет в горле комом,
Когда я на собравшихся взгляну.

Там, за окошком,
В этот вечер глуше
Шумят листвою осенние леса.
Помин души погибшего отца.
Она в мою переселилась душу!

Я разолью,
Как требует обычай,
Настойку, что от выдержки светла.
О коробок сломаю уйму спичек,
Прикуривая около стола.

* * *

На марше,
В карауле,
На привале,
Когда почти беспомощны слова,
Не красноречьем
Дружбу мы сверяли,
А степенью солдатского родства.

Слов громких не шептали о России,
К ней ощущали преданность свою,
Когда вдоль строя
Знамя проносили,
Пробитое осколками в бою.

Учебные стрельбы

Поднимая пылицу,
Поднимая волну,
Танки брода не ищут,
А проходят по дну.

По стерне опалённой,
Суховат и сутул,
Танк ревел разъярённой,
Чем в распадке шатун.

Незаметно в округе
Стихли сразу ручьи.
Разлетелись в испуге
Воробьи и грачи.

Но бесстрашно под траки
Танка падал ковыль,
И в неравной атаке
Погибал рядовым...

Сирота

Был он пасынком тыла,
И его, как смогла,
Не родня приютила —
Станция Юшала.

Он с котомочкой тощей,
Как взрывною волной,
На вокзальную площадь
Был заброшен войной.

Здесь под небом весенним
В том тяжёлом году
Зарабатывал пеньем
Он себе на еду.

Пел пронзительно жалко,
А плясал, как цыган.

Мурашами бежали
Цыпки вверх по ногам.

Мог сыграть и на ложках...
Вздохи женщин горьки.
В кепку падали гроши —
Медяки.

В жирных пятнах мазута
Телогрейка была.
Паренька тётя Нюта
В наш барак привела.

Тётя Нюта в ушате
Замочила рваньё...
То ли брызги на платье,
То ли слёзы её...

* * *

Его зарыли в шар земной...
Сергей Орлов

А на земле ручьи звенели,
Цвела сирень,
Старела мать...
Ему б сейчас лежать в постели,
А не на площади стоять.

Продут позёмкой
Зимний вечер.
Проулки, улицы — пусты.
И стынут каменные плечи
Под плащ-накидкой темноты.

Его в Орле
Или в Иркутске
Ждут не дождутся земляки.
Ему бы сесть, переобуться
И похоронке вопреки —

В тот край,
Где пролетело детство,
Вернуться на исходе дня —
В избе родимой отогреться,
А не у Вечного огня...

Стихи о послевоенной весне

Ты помнишь всё:
И как настырно к небу
Рвалась она, весенняя трава!
И то, как мать за полбуханки хлеба
Ночь напролёт вязала кружева.

Она галоши рваные чинила,
Полю
На клетках лестничных скребла...
Откуда в ней была такая сила?
Когда она, родимая, спала?

Ты помнишь? —
Мама выменяла где-то
За кружева карандашей набор.
И не тогда ль я приобщился к цвету,
Который мне сопутствует с тех пор.

Им стал зелёный!
Зеленели листья
И не могли завянуть на корню.
И может, потому я был танкистом,
Что в цвет защитный красили броню.

Там писарь длинношей, словно аист,
мне говорил,
письмо держа: «Пляши!»...
Давным-давно уже позатерялись,
Не исписавшись, те карандаши.

А если так,
То пусть простит эпоха,
И мать, что одинёшенька в дому,
Что из меня не вышло ни Ван-Гога,
ни даже подражателя ему...

* * *

Выдохнул:
«Не поминайте лихом!» —
На таран идущий Талалихин.

Снег горячий
Был от крови розов.
Знал ли ты, что спас меня, Матросов?

Кошевого ранние седины.
И босая Зоя на снегу...
Молодых навек,
Немолодыми
Я себе представить не могу.

* * *

Вникая сердцем в правду горьких сводок,
Стал город на Неве фронтовиком...
Вернулся зимним вечером с завода
Отец с опять урезанным пайком.

Не верь, что пах он клеем силикатным,
Темнея, как протравленная медь,
Одно лишь отличало хлеб блокадный —
Ни разу не успел он зачерстветь.

Две дочери — девчонки молодые, —
Не видевшие в жизни ничего,
Глаза с трудом от хлеба отводили,
Пока мать ниткой резала его.

А сам отец, такой седой, сутулый,
Вздыхнув, квартиру молча оглядел.
Нет ни стола, ни полок и ни стула.
Да — стула, на котором сын сидел...

И вот когда в прошитом стужей доме
Всё, что горело, было сожжено,
Взял старый слесарь Лермонтовский томик
И вспомнил, может быть, «Бородино».

Он передумал, видимо, о многом.
Ну а потом озябшею рукой
Буржуйку остывавшую потрогал,
Откинул дверцу с болью и тоской.

Жену, детей, себя ли успокоил,
Пытался ли загнать подальше стыд:

«Я думаю, когда вернётся Коля,
Он нас поймёт, а мне мой грех простит».

Шли жизнь и смерть по Ленинграду рядом.
Тепло от книг, текущее к ногам,
Могло назавтра стать в цехах снарядом.
Ещё одним снарядом — по врагам!

О книги! Бескорыстные подруги —
Их меньше становилось с каждым днём —
Спасали обмороженные руки
Своим недолгим ласковым огнём.

* * *

Вижу я:
Походным шагом ровным
Ты идёшь бессменным часовым
По холодным вышкам танкодромным
По горячим станам полевым.

Побываешь в спящем Ленинграде
В разводных пролётах тишины,
Где давно уж стали
Старше дяди
У сестрёнки младшей
пацаны.

Навсегда твоя звезда
Впитала
Сердца твоего последний стук,
Запах обгоревшего металла,
Русской несгибаемости дух!

Сибирь

Я с берега слежу за птичьей стаей...
И с каждым днем становится родней
река с отливом плавающей стали,
когда зажгутся бакены на ней.
Я уходил отсюда за рассветом,
но знал —
куда б меня ни занесло,
я в эту землю врос,
как корни кедра,
невидимо,
упрямо,
тяжело.



«Долина забвения»



Не так просто писать о том, чего сам не пережил, не прочувствовал. Но существует для всех нас тема, которая и десятилетия спустя будет не просто волновать — рвать сердце. Поднимаются новые пласты, высвечиваются «белые» пятна, — и теперь уже бесконечно дорогими и драгоценными кажутся сбереженные реликвии, от которых веет теплом и жизнью.

Уходят ветераны-фронтовики, но остается Память. Великая. Сыновья. Не сентиментально-слезливая, а гордая, способная уберечь честное имя отца. И в этом не толь-

ко заслуга сынов, в этом — сила, которую они черпают для жизни не только своей, но и наследников.

Благодарю случай, позволивший мне держать в руках письма солдатские — весточки с фронта. Пожелтевшая бумага и убористый мелкий почерк. Пока еще можно прочесть написанное карандашом, но беспощадное время скоро отнимет и эту возможность. Дрожащими руками перебираю хрупкие странички, не смея ни слова сократить из письма, дабы не утратить подлинности восприятия, пытаюсь не только прикоснуться к тому времени, но и вдохнуть атмосферу, сопоставить, слить воедино и факты, и моральную необходимость быть сильным, держаться, чтобы тем, кто остался в тылу, не пришлось прятать глаза. Письма к жене в г. Наволоки Ивановской области Капитолине Павловне Сироткиной, матери Владимира Александровича Курилова, бывшего начальника отдела внешней комплектации Ангарского электрохимического завода.

И пусть простит меня Владимир Александрович, но такова сущность журналиста: выкапывать из своих архивов то, что непременно должно стать достоянием всех, иначе говоря, кто, как не мы, обязаны поднимать слежавшиеся пласты памяти.

9. III. 1942 г. Здравствуй, Капа! Шлю привет и крепко целую тебя и ребяток, особо привет Вовке. Доехали хорошо, только плохо садились в Новках. Находимся в г. Владимире, где работал наш Иван до войны. Сегодня уже начинаем обычный день подготовки. Устроились хорошо, помещение теплое, кормят хорошо, начинаем комплектоваться. Все наволоцкие пока вместе и на нарах рядом. Привет. Адрес сообщу дополнительно. А. Курилов.

Первое письмо Александра Сергеевича Курилова своим родным. После него семья получит еще десять. Всего десять мгновений, вырванных из мрака гиблых болот с марта по июнь 1942 года 2-й ударной армии, сражавшейся с врагом к северо-западу от Новгорода. Какова цена невероятных усилий и тяжелых потерь? Спасение Ленинграда от нового штурма гитлеровцев в тяжелейший период блокады.

16 [или 17] марта 1942 г. Здравствуйте, Капа, Эмма, Ляля, Володька! Шлю привет и наилучшие пожелания. Поздравляю Володю с днем рождения и надеюсь, что при его возрасте, а ему уже год, он будет молодцом. Привет всем родным и знакомым. Весь народ, с которым я уехал, находится в одной роте, кроме Григорьева, он уехал в Горький в дру-

ую часть. Готовимся к жизни на фронте и много работаем исключительно на воздухе. Очень сожалею, что не взял валенки, так как по утрам и днем еще прохладно. Домашние запасы иссякли, и мы их вначале не ценили, то теперь, увы, вспоминаем их с чувством и большой благодарностью. Приступили к сухарям. Скоро, наверно, выедем на фронт, но письмо ваше в ответ на это думаю получить. На днях, возможно, в моей жизни будут изменения, а какие, напишу дальше, но к лучшему. Возможно, задержусь во Владимире. Ну, пока. Жду вашего ответа.

Если кому-то доведется побывать в тех местах, то у поселка Мясной Бор, где проходил узкий «огненный коридор», можно увидеть печальную вереницу братских могил вдоль Ленинградского шоссе. И надписи на плитах. Шестнадцать фамилий и — «Здесь же покоятся еще 1366 человек». 29 фамилий и — «Здесь же покоятся еще 3000 человек». Легли в сырую волховскую землю безымянными...

«Долиной смерти» называли это место солдаты в 1942-м. «Долиной мужества» — ветераны Великой Отечественной. «Долиной забвения» называли её до некоторых времен внуки солдат.

24 марта 1942 года. Дорогая Капа! Крепко целую тебя, Эмму, Лялю и Володьку! Спешу, пишу на ходу. Сегодня едем на фронт. Обмундированы хорошо. Кроме трех человек, все наволоцкие едут. Привет всем нашим. При первой возможности напишу адрес. Живите счастливо. Не скучайте. ...Смотрел ваши карточки. Пока писать больше некогда. Ждут еще партийные дела. Я парторг роты. По возрасту не попал к числу политсостава. Настроение хорошее. Будем бить фашистскую сволочь. Пока. Шура Курилов. Крепко целую.

Все, что связано было с действиями 2-й ударной армии, долгое время замалчивалось. И только спустя годы приоткрылась завеса: тысячи воинов погибли, не узнав, что черная тень предательства Власова пала на всю армию, а выжившие должны были скрывать, что сражались под Мясным Бором... вот почему «Долина забвения».

11 мая 1942 г. Лесной лагерь. Капа! Шлю привет и наилучшие пожелания. Крепко целую тебя, Эмму, Клару, Вову. Прошло два месяца, как я уехал, из них месяц живу в лагере, расположенном в лесу, сами сделали шалаши, имеем кухни, учимся, ведем политработу, «боевые листки», и жизнь налажена. Идет упорная работа по подготовке к фронту. Имею новый автомат ПППШ, осваиваю компас.

...Скоро, наверно, получу приказ об утверждении на политработу. Как живу: здоровье подходящее, не болею, аппетит зверский — сказывается свежий воздух, подводят зубы... Когда и куда двинемся — неизвестно, долго нас, по-видимому, не задержат. Хотя наш полк с боем не вышел... Жду сообщения, как учатся Эмма, Ляля, как растет Вова, как работаешь и живешь? Как дрова, как с питанием, что с молоком? Помог ли вам предколхоза, и что с дровами в райлесничестве у Титова? Капа, если будет возможность, то на утверждение пришлю аттестат на получение денег и вышлю зарплату, когда и с какого времени получу. Пока до свидания. Крепко целую. Желая всего хорошего. Письмо напишу с адресом или что будет нового. А. Курилов.

28 мая 1942 г. Милая Капа! Извини, что долго не писал, не было нового. Шлю привет и крепко целую тебя, Эмму, Лялю и Володьку! Привет всем нашим. С 23 по 27.V. были на марше, придвинулись к передовой и влились в свой полк. Сейчас уже окончательно нашли свое место и встретились со своими боевыми товарищами с передовой линии... Политруком роты назначен фронтовик, а я — зам. политрука. Живем в лесу. Питание хорошее, обмундирование и вооружение хорошие. Настроение хорошее, добраться бы до «фрица», но плоховато с легкими — весна и вода сказываются на здоровье... Будьте счастливы и не скучайте, свой долг я выполню до конца. А. Курилов.

Из официального донесения: «IV 1942 г... ни одного грамма продовольствия. Многие истощены и вышли из строя... Несмотря на это, настроение людей здоровое...»

А в письмах к родным звучало одно: у нас все в порядке, держитесь сами! И это было главным в ту пору — не падать духом и не дать упасть ближнему. Ведь силы нужны не только, чтобы выжить, но и воевать, более того — победить!

8. IV. 1942 г. *Здравствуйте, мои дорогие Капа, Эмма, Ляля и Володя, шлю привет и крепко целую... Привет всем родным и знакомым. Сижу в окопе на передовой во втором эшелоне, немец в полутора километрах и на контрнаступление приказа еще нет, но, думаю, что скоро. Прибыли мы 5 июня, заняли оборону и три дня строили линию обороны. Дождь, холод и много земляной тяжелой работы... Кормят хорошо, мы вооружены отлично, одеты и обуты. Пока еще непосредственно войны, то есть немца, не видим, тихо, но, думаю, что скоро... должны наступать, бить и громить его до полного уничтожения. Милая Капа, здоровье мое неважное, пребывание на воздухе да весной дает о себе знать, сильно задыхаюсь, зябну, кашель, ну, а днем, когда солнце, то согреваемся, и все проходит. Трудностей много, а впереди еще больше, но Родину защищать надо! Как вы живете! Как Володя! Ребята, наверно, сдают экзамены, посадили ли картошку, как у вас с питанием?.. Вы обо мне не тужите и не расстраивайтесь, ибо это бесполезно, были бы живы и здоровы, а я думаю, что у меня хватит силы воли, чтобы преодолеть трудности и глядеть вперед уверенно и бодро, что бы меня ни ожидало, а смерть, хоть и неприятная, но постоянная спутница войны. Пишите быстрее ответ. Извините, что плохо написал, обстановка...*

17. IV. 1942 г. *Здравствуйте, мои дорогие и любимые! Шлю привет и наилучшие пожелания и крепко обнимаю и целую маму Капу, любимых дочек Эмму и Клару и Вовку. Получил вчера от вас первое и пока единственное письмо, за которое весьма и очень благодарен. Вы, наверное, поймете, какая у меня была и остается большая радость, что я имею из дома после трех с половиной месяцев перерыва весточку о вашей жизни, благо, письмо шло только семь дней... Сейчас держим оборону. Сидим во втором эшелоне... По-видимому, скоро мы вступим в бой, так как готовятся большие силы и резервы. Начинается время работы, и писать некогда. Привет. Крепко целую. Адрес знаешь. Пиши и пусть дочки пишут. Привет. Поцелуй Вовку. Шура — папа.*

22 июня 1942-го. *Милая Капа! Шлю привет и крепко целую тебя, Вовку и Эмму с Лялей! Сегодня получил письмо от Эммы и Ляли, и это большая радость. Жаль, что много писать не могу. Сегодня идем в бой, уже подготовились, а вчера совершили марш 50 км, а мне пришлось 70... Что будет впереди — не знаю. Убьют — значит, погиб за Родину, не тужи. Жив буду — дам знать Детей воспитывай, как мы вместе, — коммунистами, правдивыми и честными, но приучай к трудностям, это их закалит.*

Крепко целую. Привет всем. Калинин написал. Обнимаю, целую всех... Капа, адрес старый. Если что, то товарищи сообщат. Письмо Ляли и Эммы читали с комиссаром батальона и политруками... Сегодня годовщина войны...

На этом переписка прерывается, других писем нет и не было.

Но сегодня, в канун 70-летия победы над чудовищем 20-го столетия, мы понимаем, как читать письма с фронта. Солдат знал, что первые читатели — сотрудники спецотдела, а потому и шли письма с фронта о таком солдатском «благополучии», словно он не в пекле.

Письма отца бережет сын, Владимир Александрович Курилов, разыскавший место его гибели. Сыну года не было, когда ушел защищать Родину его отец. Но незримая нить прочно соединила сердца двух поколений. И уже невозможно от себя оторвать все виденное своими глазами там, под Ленинградом, осязаемое, а потому бесконечно дорогое. Раны отца — на сердце сына. И эту боль и память отдает он в наследство грядущему.

Выражаю сердечную благодарность Владимиру Александровичу, доверившему мне бесценные реликвии семьи. Не канет в Лету то, что должно отложиться в памяти каждого из нас в благодарность за Жизнь.

*Людмила СОБОЛЕВСКАЯ,
член Союза писателей России, поэт, г. Ангарск*

Поздравления юбиляру - 70 лет!



ВЛАДИМИР СКИФ



Памятью высвечу душу свою...

Пробужденье

Я час назад проснулся. Замер.
И, словно сам себе чужой,
Лежу с открытыми глазами,
Лежу с распахнутой душой.

Я жду победы, жду успеха...
Я крикнул, кажется, в зенит.
Но тишина в ответ, лишь эхо
Над спящей Родиной звенит.

Пытаюсь мир вернуть из боли,
Пытаюсь эту боль постичь.
Из боли, будто из неволи,
Я боевой бросаю клич.

Рассвета порванное знамя
Сгорело над страной большой...
Лежу с открытыми глазами,
Лежу с обугленной душой.

СКИФ Владимир (Смирнов Владимир Петрович), поэт (род. в 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской обл.). Автор 23 книг: *«Зимняя мозаика»* (Иркутск, 1970); *«Журавлиная азбука»* (Иркутск, 1979); *«Живу печалью и надеждой»* (Иркутск, 1989); *«Копьё Пересвета»* (Иркутск, 1995); *«Над русским перепутьем»* (Иркутск, 1996); *«Золотая пора листопада»* (Иркутск, 2005); *«Письма современникам»* (Иркутск, 2005); *«Русский крест»* (М., 2008); *«Молчаливая воля небес»* (Иркутск, 2012); *«Все боли века я в себе ношу»* (Иркутск, 2013); *«Скифотворения»* (Иркутск, 2014); перевод *«Слова о полку Игореве»* (М., 2014); *«Где моей скитаться грусти...»* (Иркутск, 2015) и др. Член Союза писателей России. Секретарь Правления Союза писателей России. Член Приёмной коллегии Союза писателей России. Член редколлегии журнала «Подъём» (Воронеж). Зав. отделом поэзии журнала «Сибирь». Лауреат Международных премий им. П.П. Ершова (2009), «Имперская культура» им. Э.Ф. Володина (2014), Международной литературной премии «Югра» (2015). Лауреат Всероссийских литературных премий: «Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова (2013), им. Николая Клюева (2014). Лауреат премии журнала «Наш современник» (2014), премии «Российский писатель» за перевод «Слова о полку Игореве» (2014), дважды лауреат Губернаторской премии Иркутской области (2010, 2011).

* * *

Шагает мир на тонких стебельках,
Сияет мир хвоинками живыми,
Природу совершенствует в веках,
Былинке каждой сохраняет имя.

Мир полон света, ливня и грозы,
Неисчерпаем в Божьем многоцветье,
Где крылышком прозрачной стрекозы
Блестит мой стих сквозь чёрное столетье.

Вот завитушки юных ноготков,
Хвоща тысячелетняя метёлка,
Вот поле битвы древних пауков,
А вот бессмертной молнии иголка.

Пред малою былинкой не солгу,
Иду в веках за истиною долго.
Отыщется ли в жизненном стогу
Не молния, а истины иголка?

* * *

Когда-то все уйдём в поля,
Всех приютит, не выбирая,
Сырая скорбная земля,
Трава зелёна сырая.

Мемориальные поля
Поднимет, ветром обдирая,
Сырая скорбная земля,
Трава зелёная сырая.

Постели смертные стеля,
Замрёт у вечности, у края
Сырая скорбна земля,
Трава зелёная сырая.

Всех нас, о верности моля,
Домчит до ада иль до рая
Сырая скорбная земля,
Трава зелёная сырая.

* * *

На зимней даче сон глубок.
Я лёг — и в бездну провалился,
Где сна таинственный клубок
В заулочек памяти скатился.

В заулочке — каменная тишь...
Мне этот сон три года снился:
В том закоулочке ты стоишь,
Клубочек у ног остановился.

Ах, как бы ночь распеленать,
Что на глаза упала шалью,

А то никак не распознать
Лица любимого за далью.

Приблизить даль, пришторить высь,
Найти бы в них тот вечер гулкий,
Где мы навеки разошлись
В забытом Богом переулочке.

Там плачет чёрный голубок,
Там город в уголь превратился...
...Ах, сна таинственный клубок,
Зачем ты в память закатился?

Господа офицеры

Господа офицеры, да что же такое стряслось?
Господа офицеры, да как же такое случилось?
Нашу Родину шпагой пробила Вселенская ось,
Или сил сатанинских несметная рать ополчилась?

Господа офицеры, не надо стреляться во рву!
Господа офицеры, сумейте сберечь револьверы!
Я судьбу, как ромашку, горячею пулей сорву,
Но в себя не пальну. Надо жить, господа офицеры!

Господа офицеры, сходитесь на доблестный круг!
Господа офицеры, есть имя святое — Россия!
Снова танки — навывлет — пробили российскую грудь,
Снова русскою кровью родные поля оросили.

Господа офицеры, не бойтесь опальных знамён.
Господа офицеры, гражданскою веет войною.
Снова делят Россию — Россия летит под уклон
Со своею судьбой, со своею бедой и виною.

Господа офицеры, и всё же седлайте коней!
Господа офицеры, и всё же достаньте патроны!
А начнётся война, вас не будет на свете сильней.
Не отступите вы, и не будет иной обороны.

Господа офицеры, вас помнит победная Русь!
Господа офицеры, в вас верит больная Отчизна!
Позовите меня! Я на клич боевой отзовусь.
Никого не предаю! Буду верным и в смерти, и в жизни!

* * *

Моя земля — она едина,
Неразделима на куски.
Моя земля — песок и глина,
Источник веры и тоски.

Моя земля — она живая,
В ней теплота материка.
Деревьев крепь сторожевая
Восходит прямо в облака.

Я в этом мире многомерном,
Как будто ветка на стволе.

Я для своей России верным
Всегда останусь на земле.

Моя земля покрыта прахом
И вдовьей горькою золой.
Летит душа орлиным взмахом
Над потрясённую землёй.

Ей в горе жить невыносимо,
Ей тяжело стонать во мгле...
Моя любовь невыразима
К моей истерзанной земле!

Свет

И этот свет издалека, невыносимый, бьющий в душу,
Я обнаружу в час ночной, в холодный, лютый час.
Кто светит мне? Кто там во тьме ещё доселе не потушен?
Кто светит мне, чтоб я во тьме навеки не погас?

Мы с этим призрачным лучом неотделимы друг от друга.
Кто светит мне? Убитый царь? Церковный ли звонарь?
А может, там, в крошечной мгле, где серой рысью скачет вьюга,
Горит небесным фитилём пред Господом фонарь?

Я оторвусь, как пёс цепной, от приковавшей сердце будки,
Возьму, что будет под рукой: клюку или костыль,
Чтоб не разбиться в темноте, чтоб оказаться через сутки
В краю, где злее темнота, зловоннее бутылка...

Свет отдалялся и, увы! — он оказался светом дальним,
Он заманил меня туда, где смрадная река...
Но я очистил этот смрад, прижился в доме привокзальном,
А свет по-прежнему сиял, манил издалика.

Я дальше к свету не пошёл. Одна из истин непреложна:
Пойдёшь на свет, найдёшь извет и выполнишь завет!
И понял я в тиши ночной, что это просто невозможно
Дойти до Бога, но узнал, что есть Господний Свет.

В долгу

Я у Всевышнего в долгу:	У мамы я своей в долгу
Меня ловили силы мрака.	За все обещанные роли.
Молиться Богу не могу,	За то, что влёт и на бегу
Поскольку грешен, как собака.	Я причинил ей много боли.

Я у лесных цветов в долгу:	Я у страны своей в долгу,
Я продавал их, чтобы выжить...	Что смог <i>сегодня</i> оглядеться,
Когда-то верил, что смогу	Что дал извечному врагу
Взрастить цветы и поле вышить.	Над бедной Родиной слететься.

Я у земли моей в долгу!	И если я не помогу
Ведь не брала меня забота,	Отчизне, воину, калеке,
Как мало на своём веку	Останусь, видимо, в долгу
На пашню уронил я пота.	У самого себя навеки.

* * *

Сердце доброе, скажи — веришь почему
Злому гению — тому, кто в обман поверг
Эту землю? Этот мир окунул во тьму,
Чтоб библейский белый день над землёй померк?

Сердце русское, скажи — стонешь почему?
Отчего твоя тоска расцвела окрест?
Может, ведомо тебе — или — никому:
Отчего скорбит народ и влачит свой крест?

Тихо-тихо на земле... А идёт война...
Опечатали уста, извели на нет
СЛОВО ПРАВЕДНОЕ. Спит в душах тишина.
Только сыплется с небес порох или снег.

Над Отчизной, что грустит в пепле и золе,
Раскатился, разметал крылья чёрный вран.
Но орёл к нему летит с радугой в крыле —
И врага на части рвёт. И повержен враг.

Как по травушке мороз, по морозу след.
Так и в мире, и в душе отстоится день.
А над Родиной моей возгорится свет,
Возгорится и затмит Мировую тень!

* * *

Осени капли косые
Взрыли озёрную тишь.
Что же ты, мать-гусыня,
В небо, как в бездну, летишь?

Как по тревоге поднята,
Слабо гогочешь вдали.
Не оторвут гусенята
Лап от озябшей земли.

Ты одинока отныне,
Горькая Родина-мать?
Что же ты деток, гусыня,
Не обучила летать?

Осени капли косые
Перечеркнули жнивье.
Родина, мать-гусыня,
Где же гнездовье твоё?

Прощёное воскресенье

Откуда это освещенье
На тихой станции лесной?
Не освещенье — ощущение
Господней выси неземной.

И неземное береженье
Земного мира надо мной?

Откуда это воплощенье
Предчувствий — на краю земли,
Где на взаимное прощенье,
А не прощанье мы пришли?

Прощенье глаз и губ прощенье,
И даже выговор иной...
Ни капли горького отмщенья,
А замещение виной.

Откуда явное сближенье
Миров на станции лесной?

Откуда эти превращения
На тихой станции лесной?
Жил мир Прощёным воскресеньем
И вразумлялся тишиной.

* * *

И мне хватает музыки лесов,
И горстки ягод, и тропы небесной.
Дрожащий мир на чашечке весов
Убереги, о Господи, от бедствий!

Не позабудь в деревне пастушка,
Спаси, Господь, и озеро, и птицу
И посади живого петушка
На ось земную, будто бы на спицу.

Танцующую бабочку спаси,
Малиновую ветку иван-чая
Над временем, над бездной пронеси,
С саранкой молодой не разлучая.

Пускай звенит над Родиной рожок
И грустный Лель над цветиком рыдает.
Поёт на спице русский петушок,
Дружину о врагах предупреждает.

Земля Николая Рубцова

Небеса тяжелеют свинцово,
Леденеет непрочная даль.
И земля Николай Рубцова
Расстиляет в болотах печаль.

Окликают земного поэта,
Но леса и болота пусты.

Глухо ропщут кусты бересклета,
И стенают леса и цветы,

С неба льётся река дождевая...
Нет Рубцова. Не скачет верхом.
Он по небу идёт, окликая
Свою землю сердечным стихом.

* * *

Памятью высвечу душу свою.
Нежную русскую песню спою.
Станут берёзники мне подпевать,
В горле у сосен слова застревать.

Дальняя родина... Дом. Переезд.
Станция. Линия. Бабушкин крест.
Милые сердцу родные края...
Здесь упокоилась бабка моя.

Здесь поднимаются к солнцу хлеба,
Здесь моя Родина, пристань, судьба.
Здесь я — работник, послушник и царь.
Светит ромашка, как белый фонарь.

Утро молочное в поле зовёт.
Как дирижабль — королева плывёт.

Где-то вдали затихает пастух,
Ломится огненный в окна петух.

Вешками жизни сияют столбы,
Голуби ходят по верху избы.
Мать в полушалке, как день, золотом
Входит с подойником в утренний дом

И, улыбаясь, как было века,
Мне наливает стакан молока.
Молвит: «Парного испей-ка, сынок!»
Вьётся у ног её кошка-вьюнок...

Утро и мама, улыбка её.
Вот оно — диво! и счастье моё!
Так и умру, вспоминая о том:
Мама с подойником, голуби, дом...

* * *

Век за веком тянется,
То гора, то падь.
«Что же с нами станется?» —
Думаем опять.

Пролетает утица,
Селезень — за ней...
Что же с нами сбудется
По скончаньи дней?

Полночь бредит зорькою,
На дворе — черно.
Выпиваем горькое
Тёмное вино.

Выпьем — и обманется
И душа, и кровь...

Что же в нас останется?
Истина? Любовь?

Где и с кем ты, истина?
Кормишься с ножа...
Вон уже освистаны
Память и душа.

Век стальной и каменный,
Горестные дни.
В мире неприкаянном
Мы совсем одни...

Улетает утица
В дальнейшее гнездо.
Что-то с нами сбудется...
Мы не знаем — что?

* * *

Любви предгрозые. Пламенные губы
И груди, как тугие облака.
Дождь поцелуев и нектара кубок,
И надо мной крыло или рука.

Мерцанье туч. Сближенье, столкновенье
Упругих тел. И поднебесный гром.
Слепых объятий чудное мгновенье...
И тишина, пронзённая багром.

Всё двигалось, пульсировало, билось,
Всё прожигалось чувствами насквозь.

Гроза любви, как дева, истомилась,
С небес сошёл посеребрённый гвоздь.

Горел асфальт, дымились водостоки,
Пылали щёки, плавилась сады,
И ширились надмирные потоки,
И падали горячие плоды.

Огонь любви, несущийся по нервам,
Сверкал, как будто молния вилась.
Нас ела страсть... Я задохнулся первым.
И женщина, как буря, улеглась.

* * *

Я обаятелен и груб,
Я, словно варвар, неотёсан.
Срываю поцелуи с губ,
Как с веток лист срывает осень.

Ночей и дней живой прибой
Во мне вскипает страстью дикой,
И начинается разбой
На берегах любви великой.

Мой поцелуй, как вздох, глубок.
Он самых стойких женщин косит.
Моя свирепая любовь
Тебя над бездною пронесит.

Любя друг друга и губя
До иступленья, до угара,
Мы в битвах пестуем себя,
Как два прославленных корсара.

* * *

Ты — серна, ты — летящая по скалам,
Со мной играла — космос выгорал.
Ты не меня — судьбу свою искала,
И не нашла. Но я тебя — украл!

Я жду тебя у тёмной переправы
Где мечется угрюмая река.
Я стрелы смерти напитал отравой,
Чтоб поразить тебя наверняка.

Я — вор, я — волк, всю ночь тебя ласкавший
От жадных губ до ветреных колен.
Я — вор, я — волк, всю жизнь тебя искавший,
И сам попавший в твой опасный плен.

И вот я вижу: ты летишь на тризну,
И я пускаю смертную стрелу...
Ты заскребла по уходящей жизни,
Как будто бы железом по стеклу.

Ты — серна, ты сквозь ветер пробегашь,
Проходишь скалы или облака.
Я — твой стрелец, отпущенный богами,
Со стрелами и волею стрелка.

Ты — серна, ты — печаль моя земная,
Моих терзаний светоносный шёлк.
Я до сих пор, убив тебя, не знаю:
Я — твой охотник, или я — твой волк?

Розы

1

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодной рукой.

Иван Мятлев. 1843

Я вспоминаю первые морозы.
Твою Москву. Мою охапку роз.
Как хороши, как свежи были розы!
И ты свежа, как утренний мороз.

Мы забывали назначенье прозы,
Читали поцелуи и стихи.
Как хороши, как свежи были розы
И наши первородные грехи.

Потом разлука породила слёзы...
Ты прошептала на закате дня:

— Как хороши, как свежи были розы!
Ты их убил. Не убивай меня!

Москву на части разрывали грозы...
Ушёл перрон, как будто бы на дно.
— Как хороши, как свежи были розы! —
Кричало запотевшее окно.

О яд любви! Его смертельной дозы
И мне хватило. Не тебе одной.
Как хороши, как свежи были розы,
Всю жизнь мою летящие за мной...

Но дни идут — уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Игорь Северянин. 1925

Уж двести лет в стране метаморфозы:
То песни, то кровавые тиски.
Россию — революции и грозы,
Как древо, разрывают на куски.

Великие свалились потрясения
На мой народ. Что будет впереди?
От горя надорвутся поколения,
И захрипят у времени в груди.

Дворянский род, судьбу животворящий,
Оборван, как у розы лепестки.

Уходит Русь, и умирает пращур,
Посеребрились Господа виски.

Век пушкинский ещё являет грёзы,
Что, может быть, запомнится строка:
«Как хороши, как свежи были розы...»
И этот мир спасёт через века.

Но льды веков, но сатаны угрозы
В глухую мглу ускорили полёт...
Как хороши, как свежи будут розы
Над Родиной вмороженные в лёд.

На станции Зима

Во мне засела боль сама:
Я — пацаном — однажды видел
Избитых, пьяных инвалидов
На зыбкой станции Зима.

Вы видели, как инвалиды пьют?
И как они пьянеют?
И как потом с остервененьем
Друг друга костылями бьют?

Вы видели того — без ног —
На маленькой тележке?
Он грёб руками и не мог
Грести быстрей и легче.

Толпа взирала на него
С жестоким любопытством,
Как на живое существо,
Что корчится под пыткой.

А фронтовик толкал асфальт,
Спиной толпу отвергнув...
Он был войною исковеркан,
Но в нём жила живая сталь...

Она звенела в тишине
В той страшной середине века...
Тогда, как будто бы — по мне! —
Проехало полчеловека...

* * *

Пребудут слава и молва
В одном ряду, в одной заботе.
А если высохнут слова,
Сомнутся крылья на излёте?

Пребудут истина и свет
В одной цепи, в одном порыве.
Но как найти нам тот извет,
Который в ненависть зарыли?

Пребудут мир и доброта
В одном кольце, в одной оправе.
И так — до Страшного Суда,
Где место раю и расправе.

Пребудут Родина и честь
В одной строке, в одной засеке.
Когда в душе Отчизна есть,
Её не вытравить вовеки!



Иркутск гордится командармом Дальней авиации



В.М. Безбоков

В 2014 г. праздновалось 100-летие Дальней авиации России. В январе-апреле 2014 года в Иркутском областном Доме литераторов прошли различные мероприятия, была организована фотовыставка, посвящённая 100-летию Дальней авиации России и одному из выдающихся военачальников нашего Отечества, Сибири и Иркутска — генерал-полковнику авиации В.М. Безбокову, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, заслуженному военному лётчику СССР, первому командующему 30-й Воздушной армией Верховного главного командования (ВА ВГК), почётному гражданину Иркутска, 90-летний юбилей которого город отмечал не так давно.

Владимир Михайлович Безбоков, прошёл путь от второго пилота самолёта до командующего Воздушной армией, от лётчика-сержанта до генерал-полковника авиации. Он родился 14 июня 1922 года в г. Аткарске Саратовской области в семье

потомственного военного. Шестнадцатилетним подростком вместе со старшим братом Юрием поступил в Саратовский аэроклуб, где братья постигали азы лётного мастерства. В марте 1940 года поступил в только что открытую в Саратове военную авиационную школу пилотов.

В апреле 1941 года, после окончания с отличием школы пилотов, лётчик-сержант Владимир Безбоков был направлен в Ленинградский военный округ в 7-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк дальнего действия 54-й авиадивизии. Активное участие Владимир Михайлович принимал в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда, в Курской битве, в освобождении Финляндии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. 7-й авиаполк, в котором служил лётчик Безбоков, входил в состав Дальне-бомбардировочной авиации (ДБА), Авиации дальнего действия (АДД), 18-й Воздушной армии, которые принимали участие во всех крупных операциях Красной Армии, выполняя специальные задания в интересах стратегически важных фронтов.

Свой боевой счёт лётчик В. Безбоков открыл в боях под Москвой, за успешные действия был награждён медалью «За отвагу». В начале 1942 года экипаж В. Безбокова направили доставить подкрепление 4-му воздушно-десантному корпусу, сражавшемуся в тылу противника в районе Вязьмы, и у посёлка Угра Смоленской области. Фашистским снарядом была повреждена посадочная лыжа, но посадить самолёт экипаж сумел, однако взлететь не удалось. И более двух месяцев В. Безбоков участвовал в наземных операциях десантников и партизан в качестве командира взвода.

За ратный подвиг и в ознаменование 30-летия высадки десанта на Смоленской земле, в феврале 1972 года В.М. Безбокову было присвоено звание Почётного гражданина посёлка Угра.



В.М. Безбоков (второй слева в среднем ряду). 1944 г.

После возвращения в родной полк экипаж В. Безбокова совершил более 100 боевых вылетов в осаждённый Ленинград, доставляя туда боеприпасы и продовольствие, а из города вывозя детей и женщин на самолёте Ли-2. Чтобы увеличить полезную нагрузку самолёта, рискуя жизнью, летали без парашютов. Участвовал экипаж В. Безбокова и в боевых операциях на Балтике. После Ленинграда были Сталинград, Курская дуга.

В 1944 году В. Безбокову пришлось выполнить боевое задание особой сложности и

ответственности в Чехословакии — самолётом вывезти золотой запас Словацкого национального Совета, возглавившего восстание чехословацкого народа против фашистов. В 1979 году за успешное выполнение этого задания В. Безбоков был награждён чехословацким орденом Красной Звезды.

На ноябрь 1944 года лётчик В. Безбоков совершил 259 успешных боевых вылетов на бомбардировку важных объектов в тылу противника, с начала войны его экипаж сбросил на вражеские позиции 200 тонн осколочно-фугасных бомб, уничтожил 6 складов с боеприпасами, 26 танков, 12 самолётов, 9 автомашин.

В. Безбоков был участником исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве. Он шёл по Красной площади в составе сводного батальона авиации дальнего действия Карельского фронта.

За отличное выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, проявленное при этом мужество и героизм заместителю командира эскадрильи гвардии капитану В.М. Безбокову 29 июня 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После получения высокой награды боевая биография В.М. Безбокова продолжилась на новом театре военных действий. Началась война с Японией, в которой принял участие Безбоков. Он совершил 28 боевых вылетов по переброске грузов и доставке десантов. Пройдя горнило двух страшных войн, неоднократно побывав в самом её пекле, он остался в живых, дважды был ранен. За Вторую мировую войну Безбоков совершил около 300 боевых вылетов. Войну В.М. Безбоков закончил в Порт-Артуре в звании капитана, командиром авиаэскадрильи 7-го гвардейского бомбардировочного Гатчинского Краснознамённого авиационного полка.

В послевоенный период он проходил военную службу в Дальней авиации, освоил новые типы самолётов — Ту-16, Ту-95. В 1956 году с отличием окончил Военно-воздушную академию, а в 1965-м — с отличием и золотой медалью академию Генерального штаба Вооружённых сил СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 августа 1966 года ему было присвоено почётное звание «Заслуженный военный лётчик СССР».

Он служил в разных местах — на Украине, и на Дальнем Востоке, и в Семипалатинске, в Иркутске, занимал должности командира полка, дивизии, авиационного корпуса, заместителя командующего Дальней авиацией ВВС по боевой подготовке. Лётчик первого класса, он освоил 11 типов самолётов.

В 1980 году на базе частей и управления 8-го ОТБАК была создана 30-я Воздушная армия Верховного главкомандования стратегического назначения, управление и штаб которой разместились в Иркутске. Командующим этой армией был назначен генерал-лейтенант В.М. Безбоков, который успешно исполнял обязанности и начальника Иркутского гарнизона. Подразделения этой воздушной армии дислоцировались на территории СССР от Волги до Тихого океана и обеспечили надёжную защиту нашего Отечества. Они пополнялись современными воздушными кораблями — Ту-22М2, Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160. Эти самолёты были оснащены крылатыми ракетами большой дальности и были способны наносить удары по заданным целям в любой точке земного шара. Одной из главных задач командарм В.М. Безбоков считал умелую организацию занятий по боевой подготовке и освоению новой авиационной техники.



*Самолёт Ту-22МЗ, носящий имя В.М. Безбокова
(Иркутская обл., гарнизон Белая)*

Иркутского областного Совета народных депутатов, делегатом 26-го съезда КПСС от Иркутской области. В феврале 1984 года командующему 30-й Воздушной армии В.М. Безбокову было присвоено звание генерал-полковника авиации. В 1985 году он ушёл в запас, но с Иркутском не расстался. По его словам, он «прикипел к Сибири... мыслями и душой».

В 1987 году Владимир Михайлович был единогласно избран председателем Иркутского областного Совета ДОСААФ и с 1987 по 1991 год он успешно руководил этой организацией, отдавая свои знания, умение и опыт подготовке призывников. Особое внимание уделял развитию малой авиации в авиационно-спортивных клубах Иркутска, Братска, Усть-Илимска. Иркутский областной ДОСААФ при нём ежегодно готовил более 20 лётчиков, парашютисты совершали около 12 тысяч прыжков в год, пополнялся самолётный парк.

В 1990 году В.М. Безбоков был избран председателем Иркутского областного Совета ветеранов войны и труда и с 1990 по 1995 год успешно руководил этой областной ветеранской организацией. При нём эта организация стала одной из лучших в Российской Федерации.

Он придавал большое значение патриотическому воспитанию молодёжи, сохранению памяти о Великой Отечественной войне, улучшению условий жизни и быта ветеранов. В предисловии к книге А.Г. Сутормина «На Параде Победы» (1985 г.) В.М. Безбоков написал: «Есть страницы истории, которые нельзя забывать в наш быстротекущий, стремительный век...»

Владимир Михайлович умер 3 августа 2000 года и похоронен в Иркутске. Он является единственным генералом — участником Великой Отечественной войны, Героем Советского Союза, заслуженным военным лётчиком СССР, который столь длительно, 20 лет, жил и работал в Иркутске и похоронен здесь, в Иркутске.

Память о В.М. Безбокове в нашем городе сохраняется. Постановлением мэра г. Иркутска № 6 / 990-а от 29 сентября 1996 года улица Приморская была переименована в улицу имени В.М. Безбокова ещё при жизни Владимира Михайловича. На доме № 10 по ул. В.М. Безбокова установлена информационная доска. А на доме № 16 по ул. 5-й Армии, где жил В.М. Безбоков, установлена в 2001 году мемориальная доска. Мемориальная доска в память о В.М. Безбокове установлена и на здании Иркутской областной организации РОСТО (ДОСААФ). В июле 2001 года постановлением губернатора Иркутской области Иркутскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ присвоено имя Героя Советского Союза Безбокова Владимира Михайловича.

В 2010 году известный иркутский журналист А.Я. Глушков выпустил историко-документальное повествование «Командарм», в котором рассказывается о жизненном и боевом пути видного советского военачальника генерал-полковника авиации Владимира Михайловича Безбокова.

В год 100-летия Военно-воздушных сил России мы инициировали и проводим беспрочную патриотическую акцию «Память жива», в результате которой в 2012, 2013 годах произошли исторические события.

По воспоминаниям ветерана Дальней авиации, генерал-полковника авиации, Героя Советского Союза, заслуженного военного лётчика СССР В.В. Решетникова, в 30-й Воздушной армии «...каждый занимался своим делом, знал его в совершенстве, не оглядывался по сторонам. Любой из его [Безбокова] подчинённых твёрдо знал: командир рядом и всегда поможет...».

В.М. Безбоков, будучи командармом, активно участвовал в общественной жизни Иркутска и Иркутской области. Он избирался членом бюро Иркутского обкома КПСС, депутатом

По нашей инициативе, по ходатайству ветеранов Дальней авиации в 2012 году решением военного Совета командования Дальней авиации на авиабазе «Белая» (Иркутская область) бомбардировщику-ракетоносцу Ту-22М3 присвоено почётное наименование «Владимир Безбоков».

По инициативе в 2012 году и ходатайству ветеранов первого летного экипажа самолета Ту-134 воинской части 15580 (г. Иркутск), обеспечивавшего перевозку Командующего, руководящий состава 30-й ВА ВГК, по инициативе и ходатайству иркутян, общественных организаций 30 мая 2013 года решением Думы г. Иркутска В.М. Безбокову присвоено звание «Почётный гражданин города Иркутска» за мужество и героизм, проявленные им в годы Великой Отечественной войны, существенный вклад в развитие Иркутска и обеспечение благополучия его населения, высокий профессионализм и большую общественно-патриотическую деятельность. Владимир Михайлович стал сотым почётным гражданином города Иркутска и первым, кому в истории Иркутска такое почётное звание присвоено посмертно.

* * *



Группа ветеранов 30-й ВА ВГК на фотовыставке, посвящённой В.М. Безбокову, в Иркутском Доме литераторов. Февраль 2014 г.

Наш оргкомитет по проведению патриотической акции «Память жива», в который входит и Иркутский дом литераторов, в рамках и государственной программы Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан России на 2011–2015 гг.», к дню защитника Отечества, к дню Победы, к 100-летию Дальней авиации и в Иркутском Доме литераторов в 2014 году для детей провёл уроки мужества, встречи молодёжи с ветеранами, фотовыставку и выставку книг и документов, показ фильмов о блокаде Ленинграда, об авиации, о генерале В.М. Безбокове. В этих мероприятиях приняли участие иркутские писатели,

школьники, студенты, актёры Иркутского народного театра «Диалог», Анатолий Павлович Бондаренко — ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, Александр Яковлевич Глушков — автор книги «Командарм», а также Владимир Петрович Скиф, председатель Иркутского регионального отделения Союза писателей России, поэт, и ветераны в/ч 15502, 15580 Дальней авиации России. Звучали песни о войне, Владимир Скиф, актёры народного театра «Диалог» читали стихи о Ленинграде. Юрий Иванович Баранов, директор Иркутского Дома литераторов, бывший военный лётчик, рассказал об истории развития Дальней авиации России, о её командующем главном маршале авиации А.Е. Голованове.

В 2014 году празднуется и 110-летие со дня рождения нашего земляка, Александра Евгеньевича Голованова, Главного маршала авиации СССР, участника Великой Отечественной войны, первого начальника Восточно-Сибирского управления Гражданской авиации СССР. В год 100-летия Дальней авиации России мы открыли в Иркутском аэропорту выставку, посвящённую А.Е. Голованову, инициировали присвоение ему звания Героя Российской Федерации (посмертно). Ветераны обратились к молодёжи с призывом о сохранении памяти о фронтовиках, героях, ветеранах, которые воевали, ковали Победу и на фронтах, и в тылу, защитили нашу Родину, отстаивали её свободу и независимость. Когда мы, ветераны, проводим такие мероприятия о героях, защитниках нашего Отечества, мы говорим о том, что память сильнее времени, память жива.

*Николай КУСТОВ,
председатель оргкомитета по проведению патриотической акции «Память жива»,
ветеран военной службы, в/ч 15580 и Дальней авиации России, капитан в отставке
Фото из архива автора*

Победа! 70 лет



ДЖЕК АЛТАУЗЕН

Погиб в бою под Харьковом в мае 1942 г.

Вся отчизна меня провожала

На войну уходил я из дома,
Плыл над городом день голубой.
Переулком, где всё нам знакомо,
Шли мы рядом, родная, с тобой.

На прощанье ты твёрдо сказала:
— Надо край наш любимый спасти, —
И сама помогла до вокзала
Вещевой мой мешок донести.

Помню я, на углу возле сквера
Чья-то девочка к нам подошла,
Улыбнулась: — Зовут меня Вера, —
И на память кисет поднесла.

А потом поглядела построже,
Детский взгляд мне её не забыть:
— Я хотела бы, дяденька, тоже
До вокзала тебя проводить.

И пошли вы, меня провожая,
Обе полные думой одной, —
Ты и девочка эта чужая,
Что навеки мне стала родной.

Помню лица, мелькнувшие мимо,
Голубей на киосках цветных,
Чей-то возглас: — Соколик родимый,
Там на фронте постой за своих!

И старушка, что даже не знала,
Чей я, кто я и как меня звать,

Вместе с нами пошла до вокзала,
Словно сына, меня провожать.

И когда на ступеньках вагона
Мы безмолвно с тобой обнялись,
Посмотрела она умиленно
И сказала: — Сынок, оглянись!

Оглянулся я молча — и замер:
На перроне, среди ясного дня,
Сотни женщин махали платками,
На войну провожая меня.

И успел я прочесть в каждом взоре:
«Милый, будь беспощаден в борьбе,
Пусть великое русское горе
Гневом сердце наполнит тебе...»

И потом, вспоминая об этом,
Через лес, оглушённый пальбой,
Озарённый январским рассветом,
С автоматом я ринулся в бой.

Я фашистской не кланялся пуле,
Не робел, не терялся в дыму,
В грозном грохоте, в огненном гуле
Нёс я гибель врагу своему.

И рука у меня не дрожала,
Потому что в тот день голубой
Вся Отчизна меня провожала,
Весь народ провожал меня в бой.

ВАДИМ БОГАТЫРЁВ

Плач Инны Серковой*

Когда на Смоленщине погиб отец, его дочери Инне было два года... Братскую могилу, в которой похоронен отец, дочь разыскала лишь в 1985 году.

Мой родимый, я — дочка твоя!
Горький мой среди горьких друзей!
Я к вам шла, тихим светом горя,
через горы и вздохи степей.
Парни! Вы же не знали весны —
не плясали на шумных пирах...
Как понуро бредут табуны
серых туч за израненный шлях!
Тишина...
Мне уже сорок пять...
Годы шли без тебя, как века.
По годам я тебе уже — мать:
видишь белую прядь у виска?
...Знаю: вы продолжаете бой
в летний зной и в осеннюю стынь...
Скоро буду навеки с тобой,
моя гордость, отец мой и... сын!

ЕЛЕНА ЖИЛКИНА

Другу-фронтовику

Приходят письма в месяц раз
из дальней стороны...
Из мест, где ты идёшь сейчас
дорогами войны.

Где гаснет на пути твоём
звезды дрожащий свет.
Где грозным заслонён огнём
испуганный рассвет.

Где вместо птиц шрапнель свистит
в обугленных лесах.
И на сухой траве лежит
кровавая роса.

Ты сердце там укрыл своё
в железо и броню.
И пусть напутствие моё
тебя ведёт в бою.

Сказала я тебе: «Иди,
не забывай меня».
И верю: цел и невредим
ты выйдешь из огня.

Я знаю, ты придёшь домой
и скинешь с плеч шинель.
Тебе в лицо пахнёт весной
черёмухи метель.

Ты вновь увидишь поутру
дождём умытый сад.
И, может быть, тогда, мой друг,
посмотрим мы назад:

ты победил врага в бою,
я сберегла наш дом...
Мы мужеством любовь свою,
наверно, назовём.

*И.П. Серкова — старший инженер связи г. Чита. Умерла в 1988 г.

Встреча

Здесь шла война.
Подумать, четверть века
тому назад...
Вон в том березняке...
Не ждать сегодня мне на всё ответа.
Стучат часы исправно на руке.

Поднялся хлеб.
Играют шумно дети,
родившиеся после той поры...
В России мужики, как повелось на свете,
все рубят избы,
точат топоры.

Но что со мной такое?
Эту встречу
запомню я
на много лет вперед,
на много дней...
Он, этот тихий вечер,
сквозь сердце оглушённое пройдёт.

Я видела:
передо мной в пилотке
толкал тележку русский инвалид...
Ну, вот и всё в истории короткой,
но отмахнуться память не велит.
И долго над её открытым взглядом
грозил бедой обугленный закат.

Мне о войне не говорил солдат,
но было горе человеческое — рядом.

Верность

Когда тебя послали в бой,
— «Прощай», — сказал мне уходя.
Но где б ты ни был, дорогой,
я буду около тебя.

Ты потеряешь счёт шагам,
в июльский полдень зной жесток.
Когда к твоим сухим губам
я поднесу воды глоток.

В землянку мёрзлую войдя,
как в жизнь твою, подругой вновь,
тебе согрею сердце я
теплом полузабытых снов.

Иль, может быть, от песни вдруг
ты на причале загрустишь,
иль, может, ночи чёрный круг
сомкнётся на твоём пути.

Я прилечу развеять грусть
к тебе прохладным ветерком
и для тебя тогда зажгусь
степным далёким огоньком.

Спасёт, от смерти заслоня,
и в ранах остановит кровь
и верность женская моя,
и женская любовь.

ГЕОРГИЙ ЗАМАРАТСКИЙ

Шёл солдат

В том победном году сорок пятом
Шёл вернувшийся с фронта солдат.
Я не мог восхищённого взгляда
Оторвать от блестящих наград.

Как их много! За что? И какие?
Так потрогать хотелось рукой!
Сразу видно, что эта — за Киев.
Ну а орден за подвиг какой?

Он, оставив автограф в Берлине,
Возвратился с победой домой.

Как был рад я, что есть на Илеме
Не из книг, а из жизни герой!

Шёл высокий, стремительный, стройный
И невольно приковывал взгляд
Уваженья и славы достойный,
Пол-Европы прошедший солдат.

И таким этот день был хорошим,
Что не помню я, гордостью пьян,
Может, был это Костя Калошин,
А быть может, — Устюжин Иван.

ИННОКЕНТИЙ ЛУГОВСКОЙ

Суровая песня

Георгию Коненкину

По земле опалённой,
Под разрывы гранат
В битву вёл отделённый
Отделение солдат.

Всё черней, всё багровей
Небеса и леса...
Гневно сдвинуты брови,
И глаза, как гроза!

Ах, солдаты, солдаты!
В той смертельной грозе

Все прошли за Карпаты,
Но вернулись не все.

Вот и ты, отделённый,
пришёл без ноги.
Русский гнев раскалённый
Не забудут враги.

Пусть ушёл ты, седея,
На почёт-пенсион,
Но твой сын стал сильнее
В миллион мегатонн...

Громче орудий

Под орудийные раскаты,
Под миномётный вой и лай
Его не слышали солдаты,
Четвёртый май, военный май.

Но вот пурга войны отвыла,
И канонада не слышна.
И словно пульс остановила
У всех живущих тишина.

И сразу после круговерти
Огня и дыма, пуль и тел
Он взвился ввысь над полем смерти
И, как бубенчик, зазвенел.

Он пел и ввинчивался круто
В безмерно-синий небосвод.
И лучше не было салюта
Бойцам, закончившим поход.

Он пел о мае, о невесте,
Он пел о том, что жизнь сильна.
И лучше не было той вести,
Что сражена сама война.

Он пел... Молчали пушки, люди,
Молчало небо и лесок.
Он пел... И громче всех орудий
Гремел бессмертный голосок!

ЛЕОНИД ОГНЕВСКИЙ

Был бой как бой

Был бой как бой. Трещали автоматы,
И пулемёты лаяли, грозя загрызть,
И дальней артиллерии раскаты
Привычно отпевали чью-то жизнь.

И кто-то победил бы в этом бое,
Чьей силы больше было на весах,
Но тут в безумье грома, визга, воя
Решительно вмешались небеса.

Они наслали туч. Ватагой тесной
Те в сумраке вечернем напоззли.
Сверкали молнии, и гром небесный
Вплетаться начал в грозный гром земли.

А я, а мы, пехтура по окопам,
Отвыкшие от крыш над головой,
Промокшие и грязные, мы скопом
Внимали перепалке огневой.

Но в жизни, говорят, ничто не вечно.
Заметили мы: только до поры

Над нами перекатывались встречно
Снарядов раскалённые шары.

Всё меньше, меньше пролетавшей стали,
Утихомиренной громовый ад.
И мы стрелять по немцам перестали
Без всяких приказаний и команд.

Сверкнула молния уж далеко-далече,
А край передний освещён, как днём,
И мы блаженно расправляем плечи
И кисти рук на брустверы кладём.

Глядим, а фрицы, те — поверх траншеи,
Враги заклятые, сидят рядком,
По пояс голые, и потирают шею
Кто снятой майкой, ну а кто платком.

И мы схватились за оружие разом,
Стрелять же не посмели, смущены.
Мы поняли, что есть всесветский разум,
И он сильнее всех зол, всех бед войны.

АНАТОЛИЙ ОЛЬХОН

Обручальные кольца

*С любовью и уважением посвящаю
неизвестным, но родным мне престарелым
супругам, отдавшим свои обручальные
кольца в «Фонд обороны» 31 июля 1941 года
в Иркутском госбанке*

В шумном зале блестели колонны,
Алый лозунг кричал со стены:
«Патриот, укрепляй оборону!
Всё отдай на защиту страны!»

Подошли он скромно и просто,
У обоих уже седина, —
Старички невысокого роста,
Неизвестные муж и жена.

Возле кассы на стол комсомольца
Светлый полдень лучи уронил,
Обручальные звякнули кольца,
Заблестев, как живые огни.

Старики эти кольца ценили,
Берегли их они много лет:
Эти кольца на память хранили,
Как любви своей верный завет.

И в годину военной тревоги,
Проводивши на фронт сыновей,
Старики, величавы и строги,
Поклялись не отстать от детей.

Из сияющей залы госбанка
Вижу я боевой горизонт,
Слышу, рвутся немецкие танки
И фашистский колеблется фронт.

Под ударами наших зениток
«Мессершмитты» свергаются вниз.
И в стальной полыхающий свиток
Обручальные кольца вплелись.

Эти кольца сверкают в снарядах,
Эти кольца впаялись в клинки:
Штурмовые срезают отряды,
Белофинские рвут полки.

Эти кольца врагов окружают.
Давят, жгут, разрывают, громят.
Эти кольца в бою побеждают,
Богатырскую силу таят.

Исполать вам, советские люди!
Слава, честь вам на веки веков!
Ваша жертва достойною будет
Поклонения большевиков.

Кольца отдали вы золотые —
Обручились вы с родиной вновь.
Вам, друзья, старики дорогие,
Поклонюсь я за вашу любовь.

Поклонюсь по-сыновнему просто...
И поклонится вам вся страна,
Старички невысокого роста
Неизвестные — муж и жена.

ПЁТР РЕУТСКИЙ

9 мая

Женщина погибшего на фронте
Спит у железнодорожных касс.
Вы её, пожалуйста, не троньте.
Пусть она не беспокоит вас.

Слышите, гремит салют в столице,
Как гремел он много лет назад.
Москвичей улыбчивые лица
Смотрят на торжественный парад.

Женщина сидит в тени от флага,
Завернувшись в шалевый платок.
На коленях — фронтовая фляга,
В ней, должно, спасительный глоток.

И лежит у ног её послушно
Старый пёс, не видевший войны.
На людей он смотрит равнодушно
Со своей собачьей стороны.

Что бы там такое ни сказали,
Разве только высунет язык.
Он привык к ночёвкам на вокзале
И к причудам женщины привык.

Всё как есть на свете понимая,
Одного лишь старый пёс не знал:
Ну зачем она с приходом мая
Каждый год приходит на вокзал?..

МОИСЕЙ РЫБАКОВ

Погиб в бою за село Русское Ростовской области в 1943 г.

Два русских слова

Опять бои... И, двигаясь упрямо
По снежным сёлам, среди гремящей тьмы,
В часы затишья с детским словом «мама»,
Таким родным, не расстаёмся мы.

И каждый вспомнит о своём, о дальнем:
О городе над гордою рекой,
О мирных днях, о детстве беспечальном,
О шумных играх и о ней, родной...

Стучит метель обледенелой рамой,
В чужом дому, за тридевять земель

Два русских слова — Родина и мама —
К нам прилетают в холод и метель.

Как близнецы, они неотделимы.
Они — одно, и нам без них не жить,
Бесценный клад их в сердце сберегли мы
С тех пор, как научились говорить.

За каждой кочкой, рытвиной и ямой
Мы бьёмся, стиснув зубы, до конца.
Два русских слова — Родина и мама —
Отвагой вдохновляют нам сердца.

Начался бой

Разрывы грузно взвизгнули с обидой.
За танком танк в степи гремит, пыля.
Начался бой... Храни нас и не выдай,
Родная опалённая земля!
Своею грудью мы тебя прикроем,
Так влей в нас силы — ты нам жизнь и мать.

Сегодня многим суждено героям
В бою себя бессмертьем увенчать.
Огонь по танкам — паукам крестовым!
Шуршат снаряды, пули зло поют.
Начался бой! Родная, мы готовы
Добыть победу в яростном бою!

В госпитале

Острый ветер морской озорует в палатах,
Шторы синие рвёт. Тишина. Белизна.
И «ходячие» бродят по саду в халатах,
И халаты сидят на окопных ребятах
Мирно, словно не ходит за степью война.

А в обжитых за лето окопах и дзотах
В сорока километрах над Волгой-рекой
Ждут друзья боевые, родная пехота,
Чтоб скорей возвращались
«ходячие» в строй.

* * *

Когда-нибудь, я верю, это будет —
В спокойный час у тихого огня
Познавшие иное счастье люди
Из уст твоих услышат про меня.
Охваченная радостным и новым,
Свободная счастливая семья
Услышит и помянет добрым словом
Меня за то, как жил и умер я.

А как живу я, знаешь ты неплохо:
Из боя в бой — солдатское житьё.
Но до последнего готов я вздоха
Сражаться за грядущее твоё...
С годами, может, сыну или внуку
Ты, бабушка седая или мать,
Расскажешь про нелёгкую науку
Сражаться, ненавидеть, побеждать.

РОСТИСЛАВ СМИРНОВ

* * *

...Где-то там, по соседству,
закончив свой труд,
Одинокие женщины хором поют.
Чей-то голос выводит
тревожным ключом:
«Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чём...»
Поколениям памяты эти слова,
И мелодия —
в боли сердечной жива.
Через десятилетия помнят о том,
Как кружились вдвоём
в этом зале пустом.
За делами, среди книг и тетрадей своих

Засиделся я за полночь.
Город затих.
...Снова слышится пение.
Встать, постучать —
Время позднее, дескать, —
пора бы кончать...
Вдруг припомнилось:
здание школы... доска,
Где отлиты ребят имена —
на века.
Может, лица их в памяти женщин
встают...
Нет, не буду мешать —
пусть они допоют...

Где-то под Ленинградом

Ночным паровозным криком
Разбужена тишина.
Качает вагон на стыках,
Плывёт за окном луна.

Гудки прозвучали рядом,
Словно прощальный салют.
...Утро. Дома Ленинграда
На горизонте встают.

Я напряжённым взглядом
Смотрю в предрассветную рань...
...Где-то под Ленинградом
Станция есть — Любань.

В залах библиотечных
Строгая тишина.
Был бы ты здесь, конечно,
Если бы не война.

Там, у будки дорожной,
Возле перронных плит,
Друг мой, студент-художник,
В сорок втором убит.

Вдвоём мы огромный Невский
Прошли бы за полчаса,
Слушая гомон детский,
Звонящие голоса.

Помню — весёлый, вихрастый,
В спорах — безудержный пыл...
...Здесь по весеннему насту
Полз он во вражеский тыл.

И, постояв над Невою,
Шли бы в Русский музей...
Город спасён — тобою,
Жизнью моих друзей...

ЛЕОНИД СЕНЧЕНКО

* * *

Почему ты плачешь, тучка,
почему горюешь в небе?
Может, ты из Белоруси,
может, в плен попала ты?

Правда, мамка говорила:
тучки плакать не умеют,
в Белоруси слёзы тучек
люди дождиком зовут.

Только маме я не верю:
если это вправду дождик,
отчего тогда от капель
на губах так солоно?
Я-то сам совсем не плачу!
Потому что здесь и слёзы —

преступление перед рейхом,
так блокфюрер нам сказал.
Ой, не надо плакать, тучка!
Или ты ещё не знаешь,
что тебя за это могут
в крематорий увести?

* * *

Глядя искоса
на крематорий,
тихо шепчет братишке
сестрёнка,
пятилетняя
шепчет сестрёнка:
«Братик, милый,
когда нас застрелят,
я боюсь,
будет больно
гореть».

И ответил сестрёнке
братишка,
семилетний
ответил братишка:
«Ничего ты совсем
и не знаешь!
В крематории
мёртвым
не больно,
вот увидишь,
когда нас убьют».

* * *

Ночь в эсэсовском мундире
нас в бараках караулит...
Ты не плачь, не плачь, сестричка,
до утра нас не убьют.

Ночью немцы не стреляют,
ночью немцам спать охота.
Ты ко мне придвинься ближе,
слушай, что я расскажу.

Расскажу тебе я правду,
я её от бабки слышал,
как немецкий Змей Горыныч
нас собрался воевать.

Змей пришёл на нашу землю,
грабил, жёг, стрелял и вешал,

а потом под автоматом
нас в неметчину угнал.

Только этот гад фашистский
и не думал и не ведал,
что наш храбрый папка служит
в Красной Армии бойцом.

Как узнал про гада папка,
зарядил свою винтовку
и пошёл войной на гада —
нас из плена вызволять.

Ты не плачь, не плачь, сестричка,
слышишь, вон сирены воют.
Может, папка этой ночью
прилетел врага бомбить!

ВАЛЕНТИН УРУКОВ

Сороковые

Не по рассказам вас я знаю —
Как житель города иной,
Брусника, ягода лесная,
И запах сосен смоляной.

Там, за околицей, волки
Зимою выли на луну,
Но были тульские двустволки
В деревне редкостью в войну.

Видали: крайняя избёнка
Да равнодушная луна,
Как волки съели жеребёнка,
Отбив его от табуна.

В глухих трущобах обитая —
На деревенскую беду, —
Гуляла вольно волчья стая
В том сорок... памятном году.

И шёл крестьянский харч на убыль,
Как ветер сквозь худой плетень,
И ничего не стоил рубль
Как и колхозный трудодень.

Росли железные мозоли
На нежной девичьей руке,
В рубашке больше было соли,
Чем в потребиловском ларьке.

И проходил по сердцу шваброй
Тот неумолчный бабий крик,
Когда бумажку «...смертью храбрых...»
Вносил в избу почтарь-старик.

А почтальона звали Титом,
И, откровенно говоря,
Вся ребятня была сердита
В тот год на деда-почтаря.

Он, к нашим каверзам готовый,
Нёс терпеливо тяжкий крест.
...Кричали матери и вдовы,
Невесты плакали окрест.

Что больше — отдано иль взято?
Крутой прослеживая путь,
Твержу себе: В семидесятих
Сороковые не забудь!

Сестра

Когда свинец атаки взбесится,
Я поднимаюсь и бегу.
С крестом и красным полумесяцем
Мелькает сумка на боку.

А по берёзам пули щёлкают,
А впереди — разрывов мгла,
Где под огнём за ближней рёлкою
В снегу пехота залегла.

Бегу рывком, бегу без роздыха,
Не укрываясь от огня.
И не хватает сердцу воздуха,
И тают силы у меня.

В глазах колышется пожарище,
И полушубок мне велик.
Но кровь упавшего товарища
Остановиться не велит.

Ещё не скоро воспалённые
Мне губы снег запорошит.
Держитесь, парни батальонные! —
Сестра на помощь к вам спешит...

Дам командиру отделения
Из фляги горло промочить.
А треугольник с поздравлением
Я не успею получить.

...Звенит капель — весны предвестница,
И тает в поле зимний след.
Встречай свой день, моя ровесница, —
Девчонка в восемнадцать лет!

Как подобает юной женщине,
Ты платье лучшее надень.
А я убита на Смоленщине
В международный женский день.

Но если вновь атака взбесится —
Ты знай: я рядом побегу.
С крестом и красным полумесяцем
Запляшет сумка на боку.

ИОСИФ УТКИН

Погиб при авиационной катастрофе 13 ноября 1944 г.

Из письма

Когда я вижу, как убитый	Мне представляется невольно
Сосед мой падает в бою,	Его обманчивый уют.
Я помню не его обиды,	...Он мёртв уже. Ему не больно,
Я помню про его семью.	А их ещё письмом убьют!

Сестра

Когда, упав на поле боя —	Боль сразу стала не такою:
И не в стихах, а наяву, —	Не так сильна, не так остра.
Я вдруг увидел над собою	Меня как будто оросили
Живого взгляда синеву,	Живой и мёртвою водой,
Когда склонилась надо мною	Как будто надо мной Россия
Страданья моего сестра, —	Склонилась русой головой!..

Затишье

Он душу младую
в объятиях нёс...

М. Лермонтов

Над землянкой в синей бездне	Голосок на левом фланге —
И покой и тишина.	То ли девушка поёт,
Орденами всех созвездий	То ли лермонтовский ангел
Ночь бойца награждена.	Продолжает свой полёт.

Вслед за песней выстрел треснет —
Звук оборванной струны.
Это выстрелят по песне
С той, с немецкой стороны.

Голосок на левом фланге
Оборвётся, смолкнет вдруг...
Будто лермонтовский ангел
Душу выронит из рук...

ДЕНИС ЦВЕТКОВ

Однажды

Я вычислил в тот раз «кукушку» —
То снайпер-итальянец был.
И трижды
Брал его на мушку,
И трижды мушку отводил.
А он, агиткой сбитый с толку,
И зла к соседу не тая,
Читал вчерашнюю листовку,
Едва губами шевеля.

К нему
Проникся я доверьем.
Ведь есть, наверно, и семья?!
Передо мной
Сидел «деревня»,
Такой же парень, как и я.

Но чудо всё же есть на свете,
Хотя его порой не ждём.
Он тоже ведь меня заметил,
Но продолжал играть с огнём!
Земля была в холодном поте,
И на кону стояла жизнь.
Но взвесив все
И «за» и «против»,
Мы любововно разошлись.

Война — волшебная наука.
И мне маячил трибунал.
И если бы
Не маршал Жуков —
Ты б эти строки
Не читал...

* * *

Когда смотрю
На это фото,
Я, как мальчишка, встрече рад:
Передо мной —
Родная рота,
Сто двадцать стриженных ребят.
Они, друг к другу прижимаясь,
Стоят у каменной стены.
Стоят,
Беспечно улыбаясь,
Как будто нет уже войны.

Колхозный
Бывший председатель,
А ныне — фоторепортёр,
Загнал солдат
В видеоискатель
И расстрелял
Бедняг в упор.
Он громко кашлял то и дело
И знал, провидец, наперёд,
Что этот снимок чёрно-белый
Всех, кто на нём, — переживёт!

Смертельно раненный

Рвались снаряды слева, справа.
Земля стонала, как в бреду.
А он лежал
У переправы,
У всей России на виду.

Кричал беззвучными губами,
Не в силах боли превозмочь,
И рану зажимал руками,
Стараясь сам себе помочь.

Но смерть его,
Стервятник старый,
Уже маячила над ним...
...Не надо плакать, санитары,
Спешите, милые,
К другим...

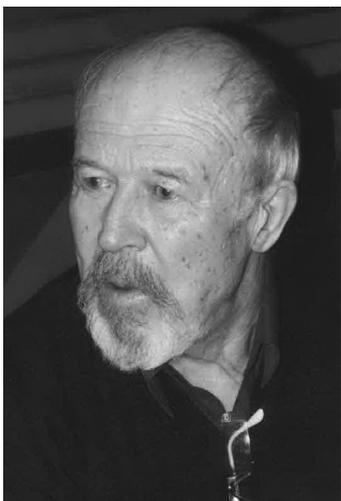
* * *

Это было девятого мая,
После дня
Ликованья и слёз.
С неба падали звёзды, сгорая,
Как окурки больших папирос.
Ветер выл
По-осеннему люто.
И вот этот,
Ночной звездопад,
Мне тогда показался салютом
В честь погибших на фронте солдат.
Да, салютом!
Ни много ни мало.
Сколько их полегло на войне!..
...Небо искренне
Салютовало
Отстоявшей свободу
Земле.

Сердце матери

Их мать вскормила и вспоила,
На них загадывала сны.
Она для мира их растила,
А получилось —
Для войны.
Ушли сыны туда, откуда
Вернуться вновь
Не суждено...
Но мать,
Не верящая в чудо,
Их ожидает всё равно...

К 85-летию со дня рождения Глеба Пакулова



«То знак мне был...»

О новой книге Глеба Пакулова

После прочтения романа «Гарь», тогда впервые изданного в полном объёме, я при первом же удобном случае спросил у Глеба Пакулова:

— Глеб Иосифович, а роман «Гарь» вы написали не про себя?

Конечно, он вправе мог бы мне ответить не без отповеди: «Окстись, родимый, мой роман о протопопе Аввакуме!»

Мы вдвоём сидели на диванчике у лестничного парадного подъёма в Иркутском областном Доме литераторов, в приватной его курилке возле огромного старинного зеркала. Глеб Иосифович тяжело не отвечал, покуривал. Я, настырный, терпеливо ждал ответа. Думал, не дождусь, может быть, обидел человека? «Гарь» — исторический роман о русском средневековье, о Святой Руси, а я возьми да ляпни: не про себя ли написали...

Глеб Иосифович докурил папироску, тщательно загасил окурочек в консервной банке, встал и чётко сказал, обращаясь, однако, лицом в зеркало:

— Да.

То, что он обратился лицом не ко мне, а к зеркалу, не показалось мне оскорбительным. Я тогда почувствовал, а теперь отчётливо осознаю: автор «Гари» посмотрел в зеркало потому, чтобы увидеть себя по-другому, что ли. Или, скажем иначе, что-то такое важное для себя проверить. Однако вряд ли в эти минуты и секунды он действовал совершенно сознательно, с целью — глубины и тьмы подсознания, очевидно, руководили им, манили.

Больше тогда Глеб Иосифович ничего не произнёс, не захотел беседы, ушёл в зал, где проходило какое-то наше писательское собрание. Я думаю, ему даже и слово «да» не хотелось произносить, ведь я, говоря по-простому, намерился влезть в его душу, что называется, без спросу.

Эпизод с Глебом Пакуловым мне вспомнился в связи с тем, что в прошлом месяце вышла его новая книжка — «То знак мне был...» (Иркутск, 2014), и, прочитывая её, я продолжал наш разговор. Итак, книжка. Не говорю «книга», потому что она — махонькая, такие называют миниатюрными, карманными. Однако, проходя, а порой пробираясь — Глеб Пакулов, сами знаете, всегда по языку густ и зачастую ершисто-колок! — по строке к строке, по странице к странице, она мне всё отчётливее начинала казаться большим зеркалом, в котором отразилась непростая душа Глеба Пакулова.

Книжка для меня неожиданная: она со стихами. Глеба Пакулова я знал по его романам, повестям и рассказам, а по стихам, к своему стыду, не знал, хотя слышал от литераторов, что стихотворец он отменный. Его стихи, выяснил, издавались в теперь кажущемся нам каком-то далёком-далёком советском времени. И благодаря стараниям вдовы Глеба Иосифовича — Тамары Георгиевны Бусаргиной, стихи, наконец-то, вышли и в нашем, можно сказать, новом времени, хотя и, что весьма печально, через три года после ухода автора, которому в этом январе исполнилось бы 85 лет.



А.Г. Байбородин, В.Г. Распутин, Г.И. Пакулов

В «Предисловии» Тамара Георгиевна написала: «Кто из писателей в юности не сочинял стихов? Глеб Пакулов тоже начинал как поэт... В 1964 году Восточно-Сибирское книжное издательство выпустило коллективный поэтический сборник молодых поэтов, куда вошла подборка стихов Глеба Пакулова «Славяне». Отныне главной темой его творчества навсегда останется русская история, русская судьба. Критика особо отметила поэму «Царь-пушка», ритмическое богатство и образность её языка,

яркость, индивидуальность характеров героев поэмы. Здесь он впервые обнаружил себя как «живописец слова» — учёба в художественном училище не прошла даром... Однажды я спросила у Глеба — отчего он перестал писать стихи? И получила ответ: «Стихи надо писать так, чтоб никто не смел позавидовать!» Пушкина, вероятно, имел в виду. Но и перейдя на прозу, Глеб Пакулов остался историческим романтиком и ПОЭТОМ».

Книга-книжка, как выстрелом, открывается «Царь-пушкой»:

*Лунька ноги из звонницы свесил,
Потянулся, поскрёб в голове,
Пальцы в рот и — залиvisto, весело,
Свистом с кровли сорвал голубей...*

Ей-богу, и словно бы душу автор «сорвал» нашу, стремительно, азартно вовлекая в коловращения средневековой Руси. Ты сразу — в действии, ты сразу — в стихии образов, а через десяток строк — и сам уже воображаешь себя участником, соделателем:

*Чохов кудри рукою тронул,
Пальцем сдвинул ремень со лба:
— Ну, суди, Русь!
И ахнула стоном
Обступившая пушку толпа.*

*— Люди-и! Эво бяда-то какая!
— Жми поближе!
— Ай стрелит!
— Не трусь!..*

*— Эту матушку в жисть не охаять,
Русь, она мастерица, Ру-усть...*

Поэма втянула тебя в своё подчёркнуто суверенное, но торовато распахнутое пространство страстями, многоголосием, радугами красок и — не отпускает ни в какую, пока не дочитаешь до последнего слова, до последних всплесков чувств и мыслей персонажей и автора как лирического героя.

*Люд наш во гневе страшен.
Что ждать ему — плаха да кол.
Кровушкой дешевой нашей
У неба набряк подол...*

Глебу Пакулову хочется восхвалять Русь-Россию, русскую жизнь, русского человека, русское бунтарство, и ещё, и ещё что-то такое зрело и ярко русское, и вообще всё великое многообразии (ужасаясь нередкому безобразию!) разноречивого, но блистающего жизнелюбием и каким-то генетическим правдоискательством Русского мира.

*...Чтоб рабскую выплеснув долю —
Русак, беспокоен и скор,
Пошёл-загулял по приволью,
Угрюмо крестясь на топор.*

«Угрюмо крестясь на топор» — это романтизм. «...Тяжко и злобно // Пёс под плахой зализывал пол» — да, всюду этакий хмурый, исподлобный русский романтизм, продиктованный непростой судьбой народа и государства. Легковесного, занимательного, развлекательного томящуюся публику романтизма у Глеба Пакулова не найдёте ни в прозе, ни в поэзии. Он каждой строкой стучится, заглядывает в нашу душу. Ему мало сказать: «Нам от хмеля не проспать», ему надо тут же озадачить нас, заставить оторопеть: «Хмеля дымного»; ему мало — «Станут головы кататься», ему надо уточнить, чтоб содрогнулись мы: «В поле дынями». Кажется, он ни на секунду не забывает о читателе, и как бы говорит нам: «Ты — мой! Читай, вникай, не ленись!..» Так и слышатся в подтекстах неистовые протопоповы отзвучья: «А я, грязь, что могу сделать, аще не Христос? Плакать мне подобает о себе...» И тот и другой неумолимы ни к себе, ни к людям.

Трудно поверить, что поэма написана в 1960 году, настолько она — снова ищем слова поточнее — несоветская, что ли, протопоповское аполитичное, но природное, стихийное бунтарство так и хлещет с её страниц.

Видимо, «Царь-пушка» требует более пристального литературоведческого, текстологического внимания, а не беглых записок собрата-литератора.

Ещё под обложками стараниями Тамары Георгиевны собран великолепный венок стихотворений, изъясняющих разносторонность интересов автора. Ведущая (и, несомненно, ведущая нас, читателей!) тема — о ней же, о «гаревой»:

*Ой ты, Русь, ты моя неизмерная!
Песни-стрелы куда домечу?
Гаревую тебя, нерассказанную,
С тех до этих времён волочу.*

Эти строки пришли к Глебу Пакулову во сне, и записаны им были ночью на обоях в доме на Байкале. И недаром однажды сказал его друг Александр Вампилов, что «писать нужно о том, от чего не спится по ночам». Романтическая душа Глеба Пакулова не спала, кажется, и во сне — работала, скапливала.

Здесь же — Киевская Русь: «Приумолкли князья // Под могучей рукой Ярослава...»; Сергей Радонежский: в «Предполье Куликовом» митрополит Алексей наставляет игумена: «Ты, отче Сергей, оком зорким // Бди князя, молод он, горяч...»; а недалече стихи о декабристе Волконском и его жене княгине Марии: «Крыжатый шпиль // Крестовоздвиженья // Оплавлен польем рассвета. // Народа русского подвижница // Пришла в храм Божий за советом...»; а у вольнодумца, вольтерьянца Радищева «синий томик Вольтера // Дрогнул в пухлой руке. // Взгляд, нахмуренный, серый, // Стыл на дерзкой строке...»; и через несколько страниц — мы на дуэли Пушкина: «Выстрел сдунул с берёз // Ошалелую галочью стаю. Он упал на Россию, // Не простив, не разжав кулака...». А Байкал, Сибирь? Они всюду в стихах, и зримо, и незримо, потому что Байкал и Сибирь — его судьба, его и материальные и духовные небо и земля.

Но здесь же — размёт тончайших паутинок любовной лирики, и порой встречается нечто за пределами сокровенное:

*То знак мне был. Была примета:
Лучистым схвачено венцом,
С другого, горестного света
Твоё проглянуло лицо...*

Ещё хочется сказать о стихотворениях, что в них много души, души одного человека — автора. Но во множестве строк звучит открыто или угадывается и нечто общее наше, подчас облакающееся в одеяния молитвы — самых сокровенных на земле слов:

*И мне безбоязно, мне привычно
Ступать под благостную Скинью.
«Отверзи двери ми, Владычный,
Я в Отчий Дом толцусь. Аминь».*

Венчают книгу стихи, посвящённые Глебу Пакулову (среди авторов: Сергей Иоффе, Анатолий Горбунов, Владимир Скиф, Борис Архипкин). Его ценили и ценят, его помнят, о нём говорят. Может быть, в чём-то и что-то недооценили, проглядели, что-то такое важное забыли, задвинули в подзапылившийся угол не очень-то расторопного современного литературоведения, но то, что Глеб Пакулов напрочно остался в сибирской литературе с романом «Гарь», бесспорно. И отраднo.

СЕРГЕЙ ИОФФЕ

Глебу Пакулову

*Отодвинул я беду мою
на потом —
не о том пишу и думаю,
не о том.*

*Сторону лесную лучше-ка навещу
да весёлого попутчика
отыщу.*

*Чтобы выйти в путь-дороженьку
налегке,
чтобы радоваться дождику
и реке.*

*Чтоб у речки бережок крутой
неспроста,
ни паром чтоб у речки той,
ни моста.*

*Ни к чему нам трубы белые,
пароход.
Через реки, через беды ли
— ищем брод.*

Тираж книги «То знак мне был...» всего-то... 100 экземпляров. А нынче, кажется, Год культуры. Следующий же годок — литературы. Ничего мы не перепутали? Надо бы, по давней русской традиции, узелок завязать.

Александр ДОНСКИХ

декабрь 2014 г.

Память жива.

100-летие Первой мировой войны



РИММА МИХЕЕВА

Великая война (1914–1918 гг.)

*Тот август, как желтое пламя,
Пробившееся сквозь дым,
Тот август поднялся над нами,
Как огненный серафим.*

А. Ахматова



В августе 1913 года в Гааге в торжественной обстановке был открыт Дворец мира. Идея его строительства возникла на Первой мирной конференции по разоружению, созванной в 1898 году по инициативе российского императора Николая II, предложившего создать Всемирный третейский суд, куда одно государство могло бы пожаловаться на другое, и тогда возникшие разногласия разрешались бы мирным путем, а войны ушли сами собой в прошлое. Основные средства на строительство Дворца выделил американский магнат

Эндрю Карнеги, все строительные работы велись под личным контролем королевы Нидерландов Вильгельмины. Представители многих стран приняли участие в строительстве, создании и отделке интерьеров Дворца. Монументальные ворота, ведущие к зданию, в котором сейчас находится Международный Суд ООН, были приняты в дар от Германии, четыре витража подарил Великобритания, огромную вазу из яшмы — Россия, картину художника Поля Анри Бенара и гобелен — Франция, бронзовую люстру — Австрия, фарфоровые вазы — Венгрия. Но идея мирного разрешения спорных конфликтов не сработала: ровно через год разразилась Первая мировая война. Она стала, по справедливому замечанию британского историка Эрика Хобсбаума, смысловым, а не календарным началом «короткого XX века», сокрушила четыре империи, перекроила государственные границы, привела к ослаблению позиций европейских стран и усилению США на международной арене, оказала колоссальное влияние на изменения в политике, экономике, социальной жизни, культуре и мировоззрении. По мнению большинства исследователей, в этой войне погибло 10 миллионов человек, а 20 миллионов получили ранения.

МИХЕЕВА Римма Григорьевна, родилась в Кировской области. В 1965 г. окончила историко-филологический факультет ИГУ по специальности «История». Несколько лет работала учителем истории в пос. Ербогачён и г. Красноярске. С 1977 г. по настоящее время работает в ЦГБ им. А.В. Потаниной г. Иркутска. Как библиограф-краевед занимается изучением истории Иркутска и творчества писателей-иркутян. Автор работ по истории Октябрьского (2001, 2011) и Свердловского (2004) округов г. Иркутска, сборника «Нас объединяет книга» (2005) по истории муниципальных библиотек города. С 2008 г. ведёт на городском радиоканале циклы передач «Имена и даты» (2008–2011), «Год российской истории» (2012), «Книжная полка» (2013). Дипломант городского конкурса «Золотая запятая» (2011). Заслуженный работник культуры РФ.

В советское время о Первой мировой войне отечественные историки писали в большинстве своём как о событии, предшествовавшем и вызвавшем революционные события 1917 года. Её называли войной империалистической, в нашей истории она оставалась без героев, без имен, без памятников погибшим воинам. «Сегодня мы восстанавливаем связь времен, непрерывность нашей истории», — заявил В. Путин 1 августа 2014 года, открывая на Поклонной горе в Москве памятник российским солдатам, участникам Первой мировой войны. Ещё ранее, 12 декабря 2012 года, президент в Послании Федеральному Собранию отметил, что эта война «... была незаслуженно забыта, фактически по ряду политических, идеологических соображений вычеркнута из нашей исторической памяти и из истории. Боевой дух Вооружённых сил между тем держится на традициях, на живой связи с историей, на примерах мужества и самопожертвования героев». 1 августа 2014 года в России впервые был проведен День памяти воинов, павших на фронтах Первой мировой. Этому Дню предшествовала большая подготовительная работа оргкомитета, председателем которого является спикер Государственной Думы С. Нарышкин. Планом работы оргкомитета предусматриваются различные памятные мероприятия, которые будут проводиться вплоть до 2018 года. Среди этих мероприятий — конференции историков, открытие музеев, выставок, издание книг и современных аудиовизуальных ресурсов, объединяющих исторические данные не только России, но и многих европейских стран.

В прошлом, XX веке, читатели в муниципальных библиотеках Иркутска с событиями этого периода российской истории могли познакомиться через книгу Н.Н. Яковлева «Последняя война старой России», вышедшей в издательстве «Просвещение» в 1994 году в качестве методического пособия для учителей истории. В последние годы репертуар изданий на эту тему значительно пополнился. В библиотеки поступили монографии отечественных историков М.В. Оськина, К.А. Залесского, А.И. Уткина, В.А. Золотарева, в которых ставятся и рассматриваются важнейшие вопросы: была ли эта война необходима, могла ли наша страна обойтись без нее, каковы причины большого количества просчетов и ошибок в ведении войны, почему она закончилась для России столь трагично. Войне 1914–1918 годов уделены место и периодические издания. Журнал «Родина» (2014. № 8) посвятил специальный номер событиям Первой мировой. Читатели журнала, ознакомившись с ним, узнают множество выразительных и неизвестных подробностей о войне, а публикуемые на страницах журнала редкие иллюстрации и фотографии рассказывают о быте человека на войне, облике крупнейших деятелей эпохи, тем самым формируя визуальный образ событий столетней давности. Публикации о Первой мировой войне нашли место на страницах литературно-художественных журналов «Звезда», «Москва», «Наш современник», а также в «Литературной газете», в газете «Культура» и других изданиях.

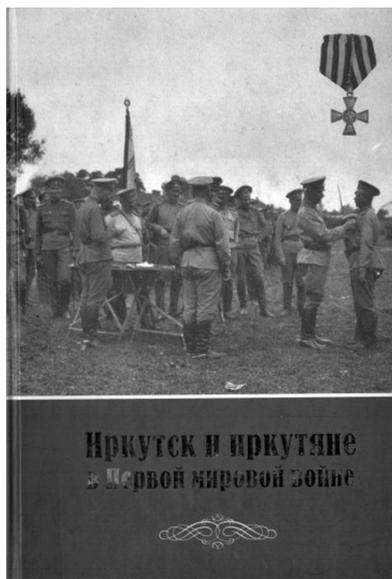
Иркутская губерния была далека от театра военных действий Первой мировой. Тем не менее война не обошла Иркутск стороной.



Из Иркутской губернии в действующую армию было мобилизовано более 50 тысяч человек, они участвовали в боевых действиях на северо-западном и других фронтах. Иркутские историки, сотрудники музеев и Государственного архива занимаются поиском сведений и источников, касающихся событий 1914–1918 годов и участия в них наших земляков. В 2004 году музеем истории г. Иркутска был издан набор открыток «За веру, царя и Отечество. Иркутяне на фронтах Первой мировой войны». В 1998 году альбом, в котором были фотографии, передала на постоянное хранение в музей И.Ю. Харкиевич.

Уникальные фотоснимки запечатлели передвижение русских войск по железной дороге, офицеров и солдат в строю и на отдыхе, беженцев, окопы на реке Бузур, аэропланы на аэродроме в Блоне, трофейные обозы, руины некогда цветущих городов и местечек: Варшавы, Люблина, Рокитно, Градова, Молодечно. Эти названия навсегда остались в военной истории и неразрывно связаны с доблестью сибиряков. Открытки сопро-

вождены цитатами из подлинных писем солдат 2-й армии родственникам в Иркутск. Снимки были сделаны банковским чиновником, служившим в казначействе штаба 2-й армии. В этом году при содействии Альфа-Банка, одного из крупнейших коммерческих банков России, был отпечатан дополнительный тираж открыток, а также организована в июле выставка плакатов Первой мировой войны, которую посетило немало иркутян.



Самую большую лепту в возвращение памяти об участии иркутян в Первой мировой войне внесли иркутские историки при содействии региональной общественной организации Клуб «Губерния» и фонда «Вернувшийся полк».

31 июля в областном краеведческом музее состоялась презентация коллективной монографии под редакцией доктора исторических наук, профессора Ю.А. Петрушина «Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне». Авторы работ, вошедших в сборник, провели значительную работу по поискам в архивах Иркутска, Москвы и других городов материалов и сведений об иркутянах, участниках Первой мировой. Авторский коллектив, разрабатывая концепцию, структуру и логику построения сборника, учитывал то обстоятельство, что события этой войны в отечественной историографии, в особенности события, происходившие в глубоком тылу, каким являлся город Иркутск, не получили ещё объективного освещения и взвешенных оценок. Монография состоит из двух частей: «Фронт», «Тыл» и двух приложений. В первой части «Фронт», подго-

товленной доктором исторических наук П.А. Новиковым, подробно освещается боевой путь 3-го и 7-го Сибирских армейских корпусов на территории Польши, в Прибалтике и Украине, рассказывается о потерях, пропавших без вести, о солдатах и офицерах, удостоенных Георгиевских наград. В этой же части представлены материалы об иркутском казачестве. Наряду с данными о том, как служило иркутское казачество в войну, здесь рассматриваются вопросы, связанные с устройством казачьего быта в довоенное время, приводятся биографические сведения, касающиеся командного состава казачества, а также участия казаков в декабрьских событиях 1917 года в Иркутске. В подготовке этого раздела монографии, помимо П.А. Новикова, участвовал и кандидат исторических наук Г.И. Романов.

Вторая часть монографии названа «Тыл» и включает материалы, рассказывающие о том, какое влияние оказала война на экономическую, общественную и повседневную жизнь иркутян. Ранее сведения об этом мы могли получить со страниц иркутских летописей Н.С. Романова и Ю.П. Колмакова, из дневника общественного деятеля и краеведа И.И. Серебренникова «Претерпев судеб удары. Дневник 1914–1918 гг.» — бесценного и уникального свидетельства драматических событий Первой мировой войны. Бесспорно, авторы статей, включённых в раздел «Тыл», обращались к этим изданиям, но их работы существенно дополняют и расширяют сведения об отношении иркутян различных социальных слоёв к войне, о жизненном уровне, рыночных ценах, политической и общественной жизни города. Л.В. Шапова, автор статьи «Влияние войны на экономическую и общественную жизнь Иркутской губернии», основываясь на статистических данных, отмечает, что «Первая мировая война на первых порах оживила экономику края, вызвав взрыв патриотических чувств, но в дальнейшем породила и ряд новых проблем, которые к началу 1917 года приняли характер кризисных явлений». Проблеме подготовки военных кадров, резерва для фронта посвящена публикация О.Н. Астраханцева и Т.В. Фёдоровой «Военно-учебные заведения Иркутска в годы мировой войны».

В Иркутске в юнкерском училище, школах прапорщиков готовились младшие офицерские кадры, многие из них на фронте проявили мужество и героизм, немало воспитанников школ погибло. «Могилы их, — отмечают авторы, — остались в Восточной Пруссии и на карпатских склонах, на равнинах Шампани и в горах Салоник, в кавказских предгорьях и в белорусских болотах. Большинство из них гордо носили боевые награды, 31 был удостоен ордена Св. Георгия или Георгиевского оружия. И где бы ни легли они в землю, до последней минуты гордо несли

звание русского офицера, выпускника славного Иркутского училища. Авторы приводят биографические сведения о четырёх выпускниках Иркутского военного училища, кавалерах ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия — Л.В. Афанасьеве, А.В. Белоголовом, К. Несынове, П.П. Оглоблине.

Война вызвала к жизни ряд вопросов и проблем, которыми пришлось заниматься органам городского самоуправления. О том, как решались эти проблемы (расквартирование войск, размещение пленных и беженцев, лечение раненых, регулирование цен на предметы первой необходимости и др.) — публикация А.В. Петрова «Иркутское городское самоуправление накануне и в первые годы мировой войны». Автор убеждён, что *«Иркутская городская дума, не избежав некоторых не совсем обоснованных действий, в целом справилась с задачами, поставленными перед ней Первой мировой войной и даже построила новые городские школы и открыла университет»*.

Существенную роль в общественно-политической жизни Прибайкалья играли в эти годы политические ссыльные. Иркутская губерния оставалась центром сосредоточения сибирской политической ссылки. В статье А.А. Иванова, посвященной этой теме, приводятся данные, что к концу 1916–1917 годов в губернии было 7113 политссыльных разных политических партий, большая часть которых, 41,2 %, принадлежала к социал-демократам. Самым «насущным вопросом» для политических ссыльных был вопрос об отношении к войне, который у представителей разных партий был различным. После февраля 1917 года *«ссылка стала делиться на два лагеря: на большевиков, провозгласивших курс на немедленное взятие государственной власти в центре и на местах, и на сторонников «социалистического блока», состоявшего из части эсеров, меньшевиков, бывших народников, местных чиновников и интеллигенции, выступавших за продолжение войны и созыв Учредительного собрания»*.

Ещё одна интересная публикация сборника — «Иркутская епархия в годы Первой мировой войны». Её автор Т.М. Новикова дала характеристику состояния дел в Иркутской епархии, где на начало войны действовало 326 церквей и 205 часовен, 4 монастыря. На территории губернии 83,3 % от всего населения губернии, или 401846 человек, исповедовали православную веру. Об отношении духовенства к войне, молебствованиях о даровании победы, работе комитета Андреевского Красного Креста по обеспечению больных и раненых участников войны и их семей рассказывает автор. Интересны сведения о работе военного духовенства как в тыловых частях, так и на фронте. Многие священники за подвиги в годы войны получили высокие награды. Среди награждённых золотым наперстным крестом на Георгиевской ленте священник сформированного в Иркутске 45-го Сибирского стрелкового полка В.В. Архангельский, после войны служивший в храме посёлка Иннокентьевский.

Ещё один материал, авторы которого И.А. Воронов и С.П. Звягин знакомит читателей с деятельностью иностранных дипломатических представительств в Иркутске. К началу Первой мировой войны на территории Иркутского генерал-губернаторства действовало 4 иностранных представительства, деятельность которых носила нештатный характер (бельгийское, греческое, норвежское, французское). Позднее открылись японское и китайское консульства. В основном работа консульств сводилась к защите прав иностранных граждан, а также прав военнопленных и интернированных подданных Германии и Австро-Венгрии. Интересные факты приводят авторы о работе бельгийского вице-консульства. Его возглавлял М.С. Стравинский, русский подданный, иркутский присяжный поверенный, который пользовался у иркутян значительным авторитетом; в 1914–1919 годах он был депутатом городской Думы, в 1915 году работал в окружном управлении Красного Креста и различных благотворительных обществах. По представлению М.С. Стравинского как консула бельгийский король Альберт I пожаловал иркутянину Михаилу Малахову Золотой крест 1-й степени. Этой наградой была отмечена храбрость иркутянина, проявленная им при охране бельгийского консульства во время декабрьских боёв 1917 года. М.С. Стравинскому удалось собрать 3609 рублей в помощь пострадавшим от войны жителям Бельгии.

Во время войны в русском плену оказалось более 2 миллионов солдат и офицеров Австро-Венгрии и более 167 тысяч военнослужащих германской армии. В статье А.В. Ануфриева «Военнопленные мировой войны в Приангарье» отмечается, что «к 1 января 1917 года на территории Иркутского военного округа находилось около 135 тысяч военнопленных. Как была организована их жизнь в плену и условия их содержания — эти вопросы легли в основу публикуемой работы. Самой главной проблемой явилась проблема жилья, так как ограниченный жи-

лой фонд не мог вместить всех прибывающих. Военные и гражданские власти решили вопрос путём строительства утеплённых жилых бараков на станции Иннокентьевской и Заиркутном военном городке, а также в г. Нижнеудинске, где имелись казармы воинских частей, ушедших на фронт. Автор статьи отмечает, что *«военнопленные частично решали такую проблему для Сибири, как нехватка рабочих рук, посредством привлечения их на государственные работы. Этому способствовало то, что режим содержания военнопленных в концентрационных лагерях Восточной Сибири был менее строгим, чем в Центральной России. Особенности положения военнопленных, оказавшихся на территории Сибири, определялись не только суровыми климатическими условиями, но и зачастую экономико-политическими реалиями. Законодательная власть находилась в центре России, а на огромных просторах Сибири, в условиях новой политической ситуации, менявшейся на протяжении Гражданской войны, была совсем иная реальность. Международно-правовые соглашения здесь не всегда имели силу. Да и случаи побегов свидетельствуют о том, что военнопленные находили способы нарушения установленных международным законодательством обязанностей»*.

Побеги случались, хотя крайне редко и самыми отчаянными. *«Чаще всего бежать удавалось офицерам, поскольку для организации побега нужны были немалые деньги. Но среди офицеров шанс на успех был только у тех, кто владел русским языком или хотя бы мог выдать себя за поляка или серба. Некоторые побеги напоминают хороший авантурный роман. Так, турецкий лейтенант Тагир бек Рахмулла бежал из плена, переодевшись в женское платье. Были беглецы, пойманные в центральной Персии (лейтенанты германской армии фон Шпет и П. Эрнест, лейтенант турецкой армии Тагир бек Рахмулла), либо на русско-финской границе (кадет австро-венгерской армии Филипп, полковник Ф. Краличек, поручик Е. Раду), но наиболее стандартный путь побега — в Китай и Монголию»*.

В целом положение военнопленных в Иркутской губернии было значительно лучше, чем в европейской части России. Об этом свидетельствуют и сохранившиеся фотографии тех лет. Ныне с трудом верится, что пленные офицеры в Заиркутском городке могли играть в лаун-теннис.

В Приложении № 1 представлен список из 202 фамилий иркутян, участников войны, награждённых Георгиевскими крестами и медалями. Список составлен на основании данных, хранящихся в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) и Государственном архиве Иркутской области (ГАИО). О подвигах некоторых из них в архивах сохранились подробные данные, сведения о других включают лишь указание о месте прохождения службы.

В Приложении № 2 опубликованы воспоминания восьми иркутян об их участии в Первой мировой войне. Эти воспоминания были записаны в 1966–1969 годах во время Ленских историко-этнографических экспедиций сотрудников и студентов исторического факультета ИГУ. Составители сборника для передачи колорита эпохи сохранили орфографию записей, посчитали возможным не исправлять фактические ошибки.

В качестве примера приводим воспоминания Иннокентия Фёдоровича Пуляевского, родившегося в 1890 году в д. Пуляево, а 28 июля 1914 года призванного в армию и направленного на фронт.

«7 апреля 1915 г. выехали непосредственно на фронт через Петроград. Потом маршрутом на Гродно, Варшаву. Попал в плен в 1915 г. Попали в котел и оборонялись до последнего патрона. Потом сдались. А всех пленных погнали в Германию. Раненых и не способных идти добивали прямо на дорожке. Кормили плохо. В Польше один из пленных попытался поднять яблоко с земли и был заколот штыком конвоира. Немцы очень зверствовали в самой Германии. Немецкие ребятишки бросали в пленных грязь, камни. Немцы даром не кормят. Нашли всем пленным работу. Кормили плохо, одной баландой.

За 1914–1918 гг. умерло 360 тыс. пленных. В лагере под Ламедорфом, который был расположен в лесу, насчитывалось 60 тыс. пленных. Пробыли в нем всего 1,5 месяца, и за это время в нем умерло 26 тыс. пленных. Из пленных лагеря формировали батальоны, которые посылались на работы, на шахты. Формировались батальоны и на железные дороги. Строили железные дороги на французском фронте для переброски войск. Из батальона, насчитывающего 2228 человек, в скором времени осталось 600...

...Дошли, как мухи. Заставляли очень много работать. Поднимали в 3 утра. Били палками, прикладами, а потом гнали на работу за 9 км. Лопаты были тяжелыми, их одни толь-

ко под силу поднимать здоровому человеку. Работали до глубокой ночи. На пленных возили различные тяжелые грузы, телеграфные столбы... Из немцев были и неплохие люди. Мастера, конвоиры с сочувствием относились к пленным. Одного из конвоиров за его доброту и человеческое отношение так и называли «Добрый другом». Поляки из конвойных были хуже немцев и были больше русских, чем сами немцы. Нередко из лагеря совершались удачные побеги. Пленные строили и оборонные сооружения под Верденом... Французы устроили немцам там сюрприз — они заминировали 3 форта и, после небольшого боя, дали захватить его немцам. Немцы вошли в форты, французы взорвали форты вместе с немцами. По воспоминаниям, во время боя отдельных выстрелов не было — сильный гул стоял на месте боя. Днем сотни аэростатов с обеих сторон поднимались в воздух. Их поджигали.

В другое время пленных использовали на уборке урожая. Строили шоссевые дороги, работали в лесоцехах. Вскоре в 1918 г. началась революция в Германии...

Пленные попали к французским войскам... Белогвардейские офицеры стремились послать пленных в помощь различным генералам, которые стремились задушить Советскую власть. Сибиряков думали направить в армию Колчака. Когда стали выяснять, кто из пленных сибиряк, то таковых не оказалось. Сибиряки не желали воевать... Среди пленных были солдаты Экспедиционного Русского корпуса во Франции. Французские солдаты отказывались расстреливать русских...

Пленным, которые отказывались сражаться против красных, угрожали отправлением в Альпы... В начале 1920 г. удалось наконец выбраться из плена. Через Марсель — Константинополь в Одессу сразу прибыло 9 тыс. освобожденных из плена. Сопровождающий транспорт с военнопленными миноносец нарвался на мину и затонул...

Добровольцем вступил в Красную Армию...

Демобилизовался из армии 22 июля 1922 г.»

Изданием подобного рода исследований «восстанавливается некогда связь поколений. В этом мы видим исполнение долга историков перед нашими предками, отдавшими силы и жизни за Отечество!», — написал в заключении научный редактор книги Ю.А. Петрушин.

Монография иркутских историков получила доброжелательные отзывы ученых из других городов Сибири и России, она, полагаю, будет оценена по достоинству и иркутянами. Книга поступит во все библиотеки области, с ней можно познакомиться и в Интернете на сайте Клуба «Губерния» (<http://gubernia38.ru>).

17 декабря 2014 года в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского состоялся круглый стол «Первая мировая война: взгляд из Сибири». В числе его участников, наряду со специалистами отдела историко-культурного наследия ГБУК ИОГУНБ, — члены авторского коллектива монографии «Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне» Ю.А. Петрушин, П.А. Новиков и А.В. Ануфриев. Круглый стол, по сути своей, стал определённым завершающим аккордом мероприятий учреждений культуры города, проводённых в этом году.

Работа иркутских историков и краеведов по поиску и публикации материалов и документов об участии наших земляков в Первой мировой войне продолжается. Сотрудники ГАИО готовят к выпуску сборник «Первая мировая война по документам Государственного архива Иркутской области». Эхом далёкой войны стала выставка в областном художественном музее, на которой экспонировались работы Д.С. Романова, брата летописца Н.С. Романова. Д.С. Романов был участником войны, воевал предположительно в составе 1-й и 2-й гвардейских кавалерийских дивизий 4-й армии.

Материалы об участии иркутян в Первой мировой войне, воспоминания их потомков публиковались неоднократно в иркутских газетах «СМ-Номер-один», «Пятница» и «Иркутск». Музей «Окно в Азию» предоставил возможность иркутянам увидеть фильмы разных стран, объединённых темой событий 1914–1918 годов, этот показ был назван «Война без победителей».

Центральная городская библиотека им. А.В. Потаниной совместно с Музеем истории г. Иркутска им. А.М. Сибирякова в течение года вела на городском радиоканале цикл бесед, рассказывающих о событиях Первой мировой и участии в ней наших земляков, об объективных и субъективных причинах, тайных и явных механизмах войны, о книгах, в которых освещаются эти события. За сто лет об этой войне написано немало произведений на разных

языках и в разных жанрах, многие из них выдержали испытание временем, другие незаслуженно забыты. События Первой мировой нашли отражение и в художественной литературе. Как выяснилось, нашим читателям и слушателям достаточно известны эпопеи М. Шолохова, А. Солженицына, А. Толстого, стихи Н. Гумилёва.

Несомненно, Н. Гумилёв, служивший в кавалерии, «Записками кавалериста» и стихами оставил яркий след в русской и мировой литературе. Но для многих слушателей радиоканала и читателей своеобразным открытием стали сведения о том, что на фронтах Первой мировой были и другие русские писатели и поэты. С сентября 1914 года был в армии М. Зощенко, награждённый несколькими орденами за храбрость. Подростком добровольно, не окончив гимназию, ушёл на фронт В. Катаев. Был дважды ранен, отравлен газами, награждён двумя Георгиевскими крестами. Участвовали в военных действиях поэты Д. Бедный, А. Несмелов, В. Пяст, С. Клычков. Военными корреспондентами были на фронте К. Паустовский, А. Толстой и М. Пришвин. М. Пришвин запечатлел военные события не только в газетных публикациях, но и на страницах своего дневника за 1914–1917 годы. В госпитале проходил воинскую службу С. Есенин, а А. Блок в 1916–1917 годах служил в инженерно-строительной дружине в Белоруссии. Как известно, Первая мировая война стала и войной новых технологий: появились подводные лодки, танки, пулемёты Максима и Льюиса, впервые были применены отравляющие вещества. В рассказе А. Куприна, также участника войны, с горечью отмечалось: *«Подлая теперь пошла война, а в будущем станет и ещё подлее... Нет для неё ни размаха, ни места, ни задач. Уже пропал пафос войны, пропала её поэзия и прелесть, и никогда уже не родится поэт, возвеличивающий войну, как возвеличил её Пушкин в своей «Полтаве»...»*

Многим молодым людям разных стран, надевшим в 1914 году военную форму, война представлялась благородным приключением, случаем уподобиться славным рыцарям прежних времён. Но скоро жестокая реальность, превосходившая ужасами все прежние войны, превратила идеализм в глубокое разочарование, которое выразилось в ряде талантливых литературных произведений. Во всём мире пользуется огромной популярностью роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Его антивоенная книга была публично сожжена гитлеровцами, а сам писатель лишён германского гражданства. В 1929 году вышел ещё один антивоенный роман американца Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!». Ещё ранее увидел свет роман француза А. Барбюса «Огонь», где натуралистически описаны ужасы войны. Но, пожалуй, самым пронзительным среди антивоенных произведений стала небольшая книга американца Далтона Трамбо «Джонни получил винтовку», увидевшая свет в 1939 году и удостоенная Национальной литературной премии.

Далтон Трамбо (1905–1976) — известный американский сценарист и писатель, один из ведущих сценаристов Голливуда, посмертно удостоенный премии Оскар за сценарий фильма «Римские каникулы». Трамбо не был участником войны, а идея написать книгу «Джонни получил винтовку» родилась у него после прочтения газетной статьи о солдате, искалеченном войной и ставшем, по сути, куском мяса, в котором упрятан разум. Война забрала у него руки и ноги, глаза, уши, нос и рот. Всё, что у него осталось, — возможность вспоминать и мыслить: за что он воевал и что это вообще за явление такое — война... Роман этот издавался у нас, публиковался в журнале «Сибирские огни». Эта книга произвела большое впечатление на В.П. Астафьева. В письме к Ю.М. Нагибину от 10 июня 1994 года он написал: *«В моём зрелом возрасте произвёл на меня ошеломляющее действие маленький, но великий роман Трамбо «Джонни получил винтовку»... Читать такие книги тяжело... Не прочитав «Джонни», я бы писал совсем по-другому и другой роман о войне...»* Не все произведения западных авторов безоговорочно можно причислять к произведениям пацифистским. Многие из них могли бы подписаться под последней строфой стихотворения «В полях Фландрии», которое написал Джон Маккрей, канадский врач, участник боёв под Ипром. Оно было опубликовано в 1915 году, а красные маки и поныне, как красная гвоздика в нашей стране, — цветок памяти о павших.

*В полях Фландрии маки рдеют
Там, где белых крестов аллеи
На могилах;
летают поныне
Жаворонки в небесной сини,
Но стрельба заглушает их трели.*

*Мы мертвы.
Но недавно мы жили,
Мы любили, любимыми были,
Мы встречали рассветы, смеялись,
А теперь навсегда остались
В полях Фландрии.*

*Бросьте вызов врагу смелее,
И примите его из рук, что слабеют.
Факел ваш поднимите выше,
Если ж вы посрамите погибших,
Не уснем мы, где маки рдеют
В полях Фландрии.*

Определённое освещение событий Первой мировой нашли и в творчестве писателей, чья судьба связана с Сибирью. Это роман В. Балябина «Забайкальцы», Г. Маркова «Строговцы», К. Седых «Даурия», в которых рассказывается, как Сибирь жила в те годы. В самый канун Первой мировой войны разворачиваются события в романе Л. Соболева «Капитальный ремонт». Л. Соболев родился в Иркутске, до 13 лет прожил здесь, а затем учился в Кадетском и Морском корпусе, он участник одного из известных сражений — Моозундского морского. К сожалению, иркутские литераторы наших дней тему Первой мировой войны в своём творчестве не затронули. Только А. Донских в 2009 году издал в Сибири роман «Родовая земля» (перездан в Москве в 2013-м), действие которого происходит в годы Первой мировой войны. По мнению ряда критиков, в романе «великолепно представлен облик Иркутска».

Между тем история Иркутска может дать достаточно интересных и захватывающих сюжетов, способных привлечь внимание читателей.

Приходится сожалеть, что наши писатели обошли стороной эту тему, и нашим читателям приходится довольствоваться циклом «Смерть на брудершафт» из десяти повестей в экспериментальном жанре «роман-кино». Создатель этого цикла — Б. Акунин — попытался совместить литературный текст с визуальностью кинематографа. Новый герой повестей — контрразведчик Романов ведёт борьбу с матерым немецким шпионом, зачастую проигрывая последнему. По мнению читателей, повести эти по своему уровню значительно уступают прежним акунинским книгам, героями которых являются Фандорин и Пелагея.

Основное, что нам следует уяснить, вспоминая события столетней давности, что без их осмысления трудно понять все последующие драмы и трагедии как века минувшего, так и наших дней.

Сотрудниками ГАИО подготовлен и вышел из печати в изд-ве «Оттиск» сборник «Первая Мировая война в документах Государственного архива Иркутской области» (Иркутск, 2014. — 272 с.: ил.). Сборник поступил во все муниципальные библиотеки города.

Рекомендуем познакомиться с книгами и статьями, о которых упоминали выше:

Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне: Исследования и материалы. Коллективная монография. — Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2014. — 448 с.: ил.

Оськин М.В. История Первой мировой войны. — М.: ООО «Издательский дом «Вече», 2014. — 496 с.: ил.

За веру, царя и Отечество. Иркутяне на фронтах Первой мировой войны [Буклет]. — Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2009.

Рекомендуем также сайты Интернета:

<http://gubernia38.ru>;

http://www.peoples.ru/art/cinema/scenario/dalton_trumbo/;

<http://1914ww.ru/>

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/1858/



«Бригада» — серия книг Восточно-Сибирского книжного издательства

50 ЛЕТ С НАЧАЛА ИЗДАНИЯ



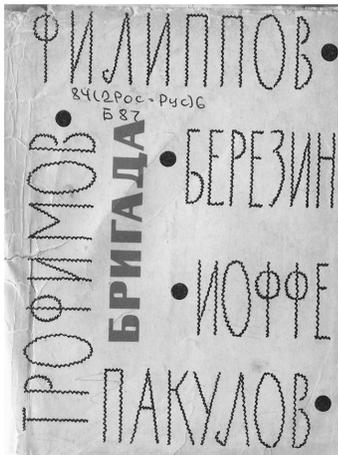
В 60-х годах XX века многие издательства страны стали выпускать подборки стихов разных поэтов, оформленные в виде отдельных книжек под общей обложкой, так называемыми кассетами. Восточно-Сибирское книжное издательство одним из первых в Сибири начало издавать такую серию книг, назвав её «Бригада. Первая книга поэта». Иркутская «кассета», как отметили критики, «пожалуй, одна из наиболее удачных, наиболее ярко демонстрирующих возможности издания такого рода». И книжное издательство, и иркутская писательская организация вели большую работу по выявлению творческой молодёжи. В Иркутске периодически проводились конференции «Молодость. Творчество. Современность» с целью выявления творческой молодёжи, помощи начинающим писателям для выхода в литературный мир.

Через эти конференции прошли многие из будущих членов Союза писателей, получив одобрение из уст известных иркутских литераторов. В процессе работы конференций проходил отбор авторов для формирования «Бригады».

«Бригада» — это несколько небольших книжечек, как правило, молодых авторов, только выходящих на поэтическую дорогу, объединённых одной общей обложкой. В то же время каждая книжечка имеет своё название. В каждой приведены краткие сведения биографического характера её автора, помещён небольшой портрет. На общей обложке дана характеристика серии, перечислены имена авторов, включённых в данный выпуск. Первые выпуски серии, к слову, выходили в оформлении художника Е. Г. Касьянова.

Первое издание «Бригады» состоялось в 1964 году. В печать серия была подписана в октябре, поэтому принято дату отсчёта издания серии начать с этого месяца. Всего вышло 10 таких «Бригад» (1964, 1965, 1968, 1970, 1973, 1975, 1981, 1984, 1986, 1988). Каждый выпуск содержит 5–7 имён (в выпуске 1988 г. — 4) молодых, иногда не по возрасту, а по мере начала творческой деятельности, поэтов. «Их, авторов, — сказано в первой «Бригаде-64», — объединяет молодость, чувство времени, биение пульса большой жизни». В первых выпусках «Бригады» печатались действительно молодые, начинающие поэты. В Иркутске наблюдался приход в литературу целого ряда молодых, перспективных авторов. Им негде было печататься. И издательство нашло выход путём издания такой вот кассеты под названием «Бригада». Первая книга, пусть и небольшая, — всегда большое событие в литературной жизни поэта, это заявка на признание гражданской, человеческой состоятельности её автора.

«Выпускниками» первой «Бригады» были ставшие впоследствии знаменитыми иркутские поэты: Сергей Иоффе, Михаил Трофимов, Ростислав Филиппов. Глеб Пакулов позже от поэзии ушёл в прозу, создал талантливые романы и повести. Сергей Иоффе на-



писал несколько прозаических книг о поэзии. Все они были приняты в Союз писателей СССР, выпустили по несколько книг.

Бригадниками 1965 года стали ангарчане Иннокентий Новокрещённых, Виктория Ярмицкая, читинец Геннадий Головатый, иркутянка Людмила Бендер и Кирилл Чистов. Иннокентий Новокрещённых — член Союза писателей России, автор 7 сборников стихов, руководит литературным объединением в Ангарске, 14 его воспитанников поступили в Московский государственный литературный институт им. М. Горького, и некоторые из них уже стали писателями.

Пожалуй, самым знаменитым из этой «Бригады» стал Геннадий Головатый. Это поэт российского масштаба, член Союза писателей СССР, автор нескольких сбор-

ников. Инвалид с детства, но его творчество отличал оптимизм, в стихах звучала героика, воля к жизни. Умер он в 2001 году.

Людмила Бендер с отличием окончила филологический факультет Иркутского университета, стала членом Союза российских писателей, в 1999 году принята в Ассоциацию израильских писателей. Автор нескольких сборников стихов. Занималась переводами английских, американских, грузинских, армянских и еврейских поэтов.

В третьей «Бригаде» сразу обратил на себя внимание молодой 20-летний поэт из Ангарска Анатолий Кобенков, со своей, уже определившейся манерой письма. Он окончил Литературный институт им. М. Горького, стал членом Союза писателей СССР. Возглавлял в течение семи лет Иркутское отделение Союза российских писателей. Выступал как литературный и театральный критик, переводчик.

«Блистательным русским поэтом» назвал читинца, бригадника 1968 года Михаила Вишнякова Владимир Скиф. Выпускник Литературного института им. М. Горького, член Союза писателей, Михаил Вишняков сделал поэтическое переложение «Слова о полку Игореве», которое академик Д. Лихачёв назвал «одним из лучших рифмованных переводов».

Многообещающе заявил о себе Юрий Аксаментов. Был принят в Союз писателей. Но что-то не сложилось у него в жизни. В начале 1990-х пропал без вести. Известны его четыре сборника, один из них, «Встречь солнца», издан в «Современнике» в Москве в 1975 году. В 2009 году в Усолье-Сибирском на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

Известный поэт Григорий Вихров — тоже выпускник иркутской «Бригады», член Союза писателей, автор многих сборников, его стихи переведены на французский, немецкий, болгарский, испанский, монгольский и другие языки, сам является переводчиком. Но первая его книга издана в Иркутске в «Бригаде» 1988 года, когда он был студентом Иркутского университета.

Баир Дугаров также является выходцем из иркутской «Бригады» (1975). Он — председатель Правления Союза писателей Республики Бурятия, с 2000 года — научный сотрудник отдела литературоведения и фольклористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, народный поэт Бурятии, заслуженный работник культуры РФ, переводит стихи бурятских и монгольских поэтов. Занимаясь наукой, отдаёт дань и поэзии.

Поэт, общественный деятель, член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РФ, Ростислав Филиппов, с блеском закончивший Московский университет, сначала работал заведующим Читинским филиалом, а затем Восточно-Сибирским книжным издательством. С 1984 года был избран ответственным секретарём Иркутского отделения Союза писателей СССР, возглавлял Иркутскую областную организацию журналистов. Свой первый стихотворный сборник «Завязь» издал также в «Бригаде-1964».



Известный русский поэт Владимир Скиф является «выпускником» «Бригады» 1970 года. Его сборник «Зимняя мозаика» вышел под фамилией В. Смирнов. Он член Союза писателей, возглавляет Иркутскую организацию Союза писателей России, является заведующим отделом поэзии журнала «Сибирь». Автор свыше 20 поэтических сборников, лауреат нескольких литературных премий.

Хотелось хотя бы назвать имена и ещё ряда поэтов, начавших свой творческий путь с иркутской «Бригады». Это Лев Аврясов и Борис Архипкин, Нина Горбачёва и Маргарита Дюкова, Василий Козлов и Владимир Корнилов, Олег Кузьминский, Евгений Варламов, Татьяна Миронова и Пётр Пиница, Любовь Сухаревская и Валентин Уруков, Денис Цветков и Сергей Швецов и многие другие.

Всего «Бригада» отправила в большую поэзию 57 авторов. Книжечки издавались тиражом от 2 до 10 тысяч экземпляров. Современные поэты могут только позавидовать такому тиражу. Редакторами этих «Бригад» от издательства были Е.А. Островская, Л.В. Иоффе, В.А. Семёнова, М.Б. Бородина. Над отдельными выпусками «Бригады», помимо редакторов издательства, работали ещё общественные редакторы. В их роли выступали уже известные, опытные поэты и литераторы: Марк Сергеев, Елена Жилкина, Анатолий Преловский, Евгений Раппопорт, Анатолий Кобенков, Сергей Иоффе. В «Бригаде» печатались начинающие поэты не только Иркутска, но и Читы, так как Восточно-Сибирское книжное издательство объединяло два этих города, две области.

По-разному сложились судьбы «бригадников». Многие авторы, опубликовавшие свои стихи в «Бригаде», стали известными профессиональными поэтами, выпустившими по несколько сборников: Сергей Иоффе, Михаил Трофимов, Ростислав Филиппов, Иннокентий Новокрещённых, Геннадий Головатый, Михаил Вишняков, Анатолий Кобенков, Юрий Аксаментов, Владимир Смирнов (известен под псевдонимом Владимир Скиф), Любовь Сухаревская, Денис Цветков, Баир Дугаров, Василий Козлов, Владимир Пламеневский, Борис Архипкин, Владимир Корнилов и так далее. Другие стали прозаиками: Юрий Скоп, Глеб Пакулов. Некоторые вообще отошли от литературы. К сожалению, на сегодняшний день уже многие из перечисленных авторов закончили свой жизненный путь.

Вся «Бригада» в целом представляла большой интерес как для самих авторов и сибирских литераторов, так и для простых читателей, которые следили за появлением новых имён, их утверждением в литературе. Ведь молодые поэты — это всегда интересно.

Спустя несколько лет, в 1990 и 1993 годах, была предпринята попытка издать в Иркутске что-то подобное «Бригаде». Эти сборники назывались «Стихи по кругу». В них также собраны подборки стихов начинающих поэтов. В предисловии так и сказано, что сборник призван заменить традиционную «Бригаду», построен по принципу «книга в книге». И всё равно это уже сборники нескольких авторов, а не отдельная книга, и эти подборки, конечно, не смогли заменить прежнюю «Бригаду».

В 2010 году в Иркутске вышли сборники трёх авторов: Александра Кобелева «Леший», Людмилы Беляковой «Зов», Валентины Астапенко «Подснежник», имеющие обозначение «Бригада; вып. 1». Но никакого отношения к первой «Бригаде» Восточно-Сибирского книжного издательства они уже не имеют.

*Лидия КАЗАНЦЕВА,
главный библиограф отдела библиографии и краеведения ИОГУНБ*

Эхо Года культуры. Встречи



«Мы — просто поэты»



Творческий вечер члена Союза писателей России Татьяны Суровцевой «Мы просто — поэты» прошел в Гуманитарном центре. Поэтесса рассказала о новых именах в поэзии. «Они талантливы, их не надо поправлять, — сказала она о тех, кто любит писать стихи. — С ними я продолжаю вести литературную студию в нашем литературном объединении «Лист». Творчество никогда не заглохнет, молодёжь появляется, и молодёжь хорошая, интересная. Вот, допустим, Надежда Ярыгина. Я почитала ее стихи, послушала и стала с ней работать. Сказала: у тебя вот здесь правиль-

но, хорошо, а здесь запутанно, ты сама запуталась и запутала читателей. Пиши, распутывай, чтобы ясно было. В результате поэт получился совершенно необычный, как будто легкомысленный, а между тем за этим легкомыслием и знания стоят... У нее удивительная для женщины черта — она умеет посмотреть на себя иронически и много об этом пишет».

Надежда Ярыгина по образованию и по призванию — художник. В областном центре не раз проходили ее выставки. Одна из книг Татьяны Суровцевой оформлена ее иллюстрациями. Еще одну книгу, сказки Мари-Луизы Вэр в переводе с французского Т. Суровцевой, украсила своими рисунками Юлия Подгорбунская, керамист, поэтесса, автор двух поэтических сборников «По следам колесниц», «Лестница в небо» и фантастической саги «Замок Магжери, или Путешествие по диагонали». Татьяна Суровцева отметила — Ю. Подгорбунская начала писать сагу еще школьницей.

Татьяна Николаевна рассказала читателям, что первое своё стихотворение написала ещё школьницей: «Причём гекзаметром, после того, как прочла «Одиссею» Гомера в детском издании. Это же такая изумительная сказка, и этот гекзаметр протяжный, удивительный: «Вышла из мрака младая с перстами пурпурными...». Этот распев мне страшно понравился, и в этом духе я написала своё первое стихотворение. Сохранила философскую мысль о том, что «путник, уставший с дороги, яблочек кислых отведай, выпей водицы холодной и навсегда благодарность в сердце своём унеси». Всё было в рифму, осмысленно».

Читатели услышали в исполнении автора стихи из книги «Снежные птицы», «Новобранец», «День Победы», «Зачем вам знать, как я живу теперь?», «В ночном музее», «Шестое июня».

«Я люблю все свои стихи, потому что ни одно не написано просто так из-за какой-то строчки. Елена Жилкина мне так и говорила, что лучше меньше, да лучше. Конечно, бумага все стерпит, но можно заработать себе славу болтуна. Мы дружили, я бывала у неё дома, и много она мне рассказывала — она прожила интересную жизнь, родилась до советской власти и умерла в годы перестройки. Воспоминания о ней самые светлые».

Елене Жилкиной Т. Суровцева посвятила стихотворение «Среди зимы не верится в цветы», где есть такие строки:

*Но взгляд, со взглядом встретившись случайно,
Вдруг высекает искорку тепла,
И в этот миг
Бессонный луч прожжёт метельный плен,
И радуга рождается,
И запоёт отчаянная птица
О том, как радость годы бережёт.*

«Она умела беречь эту радость в себе и поэтому прожила 96 лет».

Среди гостей вечера была иркутский педагог Ольга Павловна Уткина, один из авторов выставки «Умелые сударушки», которая открылась в Гуманитарном центре. Когда-то О. Уткина учила в школе сына Татьяны Суровцевой Артура. «Она помогала нам оформлять класс, в школу часто приходила, выступала со стихами перед школьниками. Свою книгу «Остров веры» она подарила мне, и стихи из этого сборника я всегда читаю участницам нашего клуба «Умелые сударушки». Там замечательные стихи о нашем городе, о Байкале, об Ангаре».

Догадываясь, что в зале собрались люди, не чуждые творчеству, Татьяна Суровцева предложила почитать им их собственные стихи: «Я знаю, что женщины пишут с любовью, трепетно, я почти не пишу женских стихов, а вот люблю, когда женщины пишут».

Увлечённые поэтическим творчеством иркутянки Галина Кудашова и Лариса Зимина прочли свои сочинения и получили добрые напутствия и рекомендации Татьяны Суровцевой.

Завершая вечер, Т. Суровцева прочла своё стихотворение, где были такие строки:

*Здесь мой любимый шёл...
Снежок скользит небрежно,
Даря глубокий сон заждавшейся земле.
Так прошлым стало то, что было — боль и нежность,
И будущее чуть мерцает в снежной мгле...*

«Вам всем любви — поздней, или какой угодно. Пожалуйста, любите всех и всё, что заслуживает нашей любви. Всё нуждается в этом, и собака, и кошка, и дети, мужья, дедушки и бабушки», — пожелала она гостям вечера.

*Оксана ЗАПОЛЬСКАЯ,
зав.сектором деловой информации
Гуманитарного центра-библиотеки им. семьи Полевых*

Эхо Тода культуры. Издательский проект



Стихотворное путешествие по Иркутскому художественному музею



В поэтическую экскурсию по Иркутскому художественному музею им. В.П. Сукачева приглашает школьников директор Иркутского Дома литераторов писатель Юрий Баранов. Его новая детская книга «Потомкам в пример» поможет ребятам в увлекательной форме открыть для себя мир изобразительного искусства. В красочное издание вошли стихи о 48 картинах от XVII до XX века из постоянной экспозиции музея.

— Есть много книг, написанных в форме путешествия по различным музеям, мне, в свое время, попала книга Андрея Усачева «Прогулки по Третьяковской галерее», — рассказал об идее книги Юрий Баранов. — Она меня поразила и показала, как можно в интересной форме раскрыть мир живописи детям. Я вдруг подумал, что Иркутский художественный музей тоже заслуживает подобной книги, ведь он ни в чем не уступает центральным. Кроме того, воспитать патриота и

гражданина своей страны можно, только если показать ребенку красоту его малой родины и раскрыть ее исторические корни.

Кстати, свою книгу писатель, лауреат престижной в России литературной премии им. Петра Ершова, посвятил 165-летию со дня рождения основателя Иркутского художественного музея Владимира Сукачева, который, по его словам, является примером служения Отечеству, поэтому книга и носит такое название. Помимо того, что обложку украшает портрет мецената кисти Василия Худоярова, писатель также разместил в книге еще одну картину художника Михаила Пескова, где Владимир изображен ребенком на руках у своего отца.

— Наконец-то возрождаются те времена, когда серьезные писатели создают книги для детей, — поддержал инициативу Юрия Баранова заместитель губернатора Иркутской области Сергей Дубровин. — Ведь сегодня нам стоит вспомнить, что все самое главное, в том числе и эстетические пристрастия, закладываются в маленьком человеке с детства. А воспитывая детей с помощью искусства в неназидательной форме, можно достигнуть наибольших успехов.

Важно, что стихи Юрия Баранова не только рассказывают о картинах, но и приглашают маленького читателя разгадать некую загадку, как, например, в «Портрете Гавриила Державина», который написал итальянский художник Сальваторе Тончи.

— История работы необыкновенно интересна, — рассказал Юрий Баранов. — Иркутский купец Александр Сибиряков был таким большим поклонником поэта Гавриила Державина, что подарил ему соболью шапку и шубу. Тот, чтобы отблагодарить купца за

щедрость, заказал итальянцу Тончи написать свой портрет в шубе, подаренной Сибириковым. Интересно, что на заднем плане изображен Иркутск, правда, на фоне совершенно другого пейзажа. Оказывается, заснеженный пейзаж Иркутска был написан совсем другим художником и гораздо позже этого портрета.

— Зимний Иркутск изображен на фоне горного хребта Хамар-Дабан, — пояснила искусствовед художественного музея Мария Моженкова. — Он был дописан ссыльным польским художником Станиславом Вронским по поручению губернатора Синельникова. В оригинале человек в шубе был изображен на фоне летней степи, что не отражало сибирского колорита.

Юрий Баранов отметил, что эта книга стоит особняком от того стиля, которым он обычно пишет для детей. Потому что, по его словам, большинство писателей создают свои произведения не для детей, а про них, забывая, что ребенок до 12 лет не представляет своей жизни вне игры и поэтому часто не воспринимает описательную литературу. Однако в этой книге автор использовал описательные элементы.

Кстати, сотрудники Иркутского художественного музея высоко оценили книгу Юрия Баранова.

— Работа с детской аудиторией в музее — одна из наиболее сложных проблем нашего времени, поэтому такие книги очень нужны музейщикам, — отметила искусствовед Мария Моженкова. — Из-за того, что ребята сейчас находятся в очень плотном потоке информации, они часто с трудом могут воспринимать новое, а эта книга позволит им войти в мир изобразительного искусства, тем более что картины в ней подобраны с безупречным вкусом. Ведь в издании отражены все периоды развития живописи. Есть в ней такие шедевры нашей коллекции, как «Рыбачка» Ильи Репина и «Ужин трактористов» Аркадия Пластова, а также другие менее известные, но знаковые работы...

*Елена ОРЛОВА,
журналист*

Эхо Года культуры. Переизданная книга



«Иркутянка: портрет на рубеже XIX и XX веков»



Женщина-иркутянка... В чем ее непохожесть на москвичку или жительницу Санкт-Петербурга? Чем отличалась она, живущая на рубеже XIX–XX веков, от нашей современницы? Эти вопросы не единожды задавала себе директор Музея истории г. Иркутска, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат исторических наук Ирина Терновая. И написала ответ не только для себя, но и для тех, для кого тоже без прошлого нет настоящего — книгу

под названием «Иркутянка: портрет на рубеже XIX и XX веков». Ее второе издание недавно вышло в свет.

У всех, кто собрался в Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых на презентацию книги, появилось представление о жизни пра- и прапрабабушек, чье появление на свет, детство, отрочество, юность, учеба, замужество, работа были связаны с городом на Ангаре.

Через жизнь и судьбы иркутских семей — купцов, священников, служащих, мещан — читатель попадает в атмосферу городских площадей и переулков, усадеб, храмов, парков и садов, театров, танцевальных салонов, шикарных модных магазинов и маленьких мелочных лавочек, трактиров, шумных базаров и ярмарочных каруселей... В книгу вошли фрагменты дневников, воспоминаний иркутянок, фото личных вещей, переданных Музеем истории. Во что играла, как одевалась, как вела домашнее хозяйство, каков был досуг иркутянок — представительниц разных сословий? Со страниц книги на нас смотрят «действующие лица» иркутской истории: вот фото девятимесячной Кати Якуниной, снимки гимназистки Капитолины Пятницкой, воспитанниц Иркутского института благородных девиц, скромных «епархиалочек», здесь запечатлены учащиеся сиропитательных заведений, купчиха Зоя Трапезникова с дочерью, основательница частной женской гимназии Варвара Некрасова с семьей, иркутская модистка Татьяна Буянова...

Мостик между прошлым и настоящим помогли проложить выступления народно-го ансамбля «Лира» со старинными романсами русских и итальянских композиторов, а также полонез, танго, мазурка, подаренные зрителям Клубом любителей бальных танцев «Ностальгия». К удовольствию собравшихся И. Терновая, являющаяся художественным руководителем этого творческого коллектива, в бальном платье рука об руку с партнером изящно и непринужденно прошла в туре вальса.

Книгу Ирина Терновая посвятила светлой памяти своего доброго друга и наставницы Лидии Ивановны Тамм. Отрывки из ее «Записок иркутянки», вышедшие в свет в 2001–2006 годах также были использованы редактором и составителем И. Терновой в собственной книге.

«Она помнила имена, фамилии, даты с фотографической четкостью. Я проверяла, и все сходилось. Если бы не Лидия Ивановна, моей «Иркутянки» просто бы не было: в 94 года человек начал писать, а я-то помоложе! Так почему ж не смогу собрать материал, доработать? Лидия Тамм — удивительный человек, который был со мной, человек на всю жизнь», — рассказывала И. Терновая.

«Иркутянка» писалась трудно, собиралась по полочкам, фразочкам, — поделилась с собравшимися Ирина Терновая, — там что-то интересное обнаружишь, потом еще «вкусненькое»... И когда первое издание книги вышло в 2007 году, мне показалось, что я не успела что-то рассказать. Когда второе издание, казалось, было уже готово, обнаруживались новые любопытные факты, и так хотелось дополнить текст, что я останавливала печать и вносила изменения. Благодарю сотрудников нашего музея, которые подобрали замечательные фотографии для иллюстраций, за средства, которые музей заработал, чтобы книга была издана».

Свое выступление в Гуманитарном центре Ирина Терновая завершила стихотворением русского поэта Владимира Туркина:

*Не говори о женщинах поспешно,
И не суди их строго без причин...*

*Оксана ЗАПОЛЬСКАЯ,
зав.сектором деловой информации
Гуманитарного центра-библиотеки им. семьи Полевых*

Эхо Тода культуры. Сибирская палитра



«России заповедные места»

*Есть правда скромная, есть правда гордая,
Такая разная всегда она,
Бывает сладкая, бывает горькая,
И только истина всегда одна.
Есть правда светлая, есть правда темная,
Есть на мгновенье и на времена,
Бывает добрая, бывает твердая,
И только истина всегда одна.*
Л. Дербенев. «Песенка об истине»

В наш XXI век высоких технологий и научных достижений, увы, все больше из души и сознания человека исчезает ощущение реального мира. Виртуальное пространство заменяет прогулки и путешествия, роботы выполняют бытовые работы. Человек все глубже погружается в мир иллюзий. Недаром в последнее время в литературе и кинематографии наблюдается бум в жанре фэнтези: хотите — космические путешествия, хотите — средневековые приключения... В мире живописного искусства можно видеть схожие тенденции: каждый художник старается показать свое окружение через призму индивидуального восприятия. Но попытка сказать свое слово, выделяющееся из толпы пестрого многоголосья, становится все труднее.

На фоне новаторских изысканий концепций, стилей и техник обращение к реализму выглядит почти как нечто новое, а вернее, хорошо подзабытое за весь XX век экспериментов в искусстве старое.

Одним из ярких представителей школы реализма в Иркутске в наши дни является Павел Анатольевич Авенариус. В августе 2014 года в отделе Сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева прошла его персональная выставка «России заповедные места».

Реализм, как известно, это объективное отображение окружающего мира, однако правда бывает разная. Пустое копирование той же природы не является признаком художественной значимости. Так или иначе художник пропускает восприятие бытия через свою личность, сердце, душу, выдавая на холст уже преобразенную натуру. Павел Анатольевич — убежденный и строгий реалист. Он не приемлет никакой условности, любит четкий рисунок, правильное перспективное построение. И в то же время про каждое из его произведений можно сказать, что правда жизни там показана в одухотворенном начале. Натура без прикрас, но и без претензий к несовершенству. Выбор сюжета всегда точен, осмыслен и прочувствован.

Основная тема его творчества — природа. И, конечно же, Байкал. С этюдником в руках Павел Анатольевич совершил путешествие по всему озеру. Его работы «Рыбаки в Чивыркуйском заливе», «Непогода на мысе Заворотный», «Мыс Нюрганский», «На берегу Малого моря» раскрывают непростой характер сибирской природы, передают величие и гармонию заповедных мест. Простота и глубина звучания красок усиливает эффект монументальности. Глядя на эти произведения, приходит осознание самоценности природы.

Можно встретить на полотнах Павла Анатольевича и городские пейзажи: это виды уходящего Иркутска, улочки старых городов Крыма, Кавказа. Здесь идет обращение не только к эстетическим образцам культурного наследия нашей страны, но и затрагиваются более глобальные архетипические образы, образы русского духовного, исторического наследия, то, что ни в коем случае нельзя предавать забвению, а следует бережно хранить и передавать от поколения к поколению. И реализм в таких работах уместен как нигде. Не секрет, что история человечества пишется под диктовку политики. Можно исправить учебник, но нельзя изъять из восприятия человека понятие единства и сопричастности к великому наследию нашей страны. В силах художника закодировать и передать те непреходящие ценности, что являются духовной основой нации, служат основами формирования патриотического сознания.

Художник Авенариус прошел непростой и необычный жизненный и творческий путь. Родился будущий художник в Москве в 1944 году. В 1949-м семья переехала в Иркутск. С детства Павел занимался живописью в изостудии. После школы по настоянию отца окончил военное авиационное училище в Иркутске и высшее военное училище им. Я. Алксниса в Риге. Двадцать восемь лет он прослужил в ВВС. Но живопись не оставил, заочно окончив пять курсов факультета станковой живописи и графики университета искусств в Москве.

Павел Анатольевич учился у природы, у классиков, у своих современников. Он выступает как продолжатель определенной и очень весомой традиции русского реализма. Ее корни — в живописи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, а в Сибири — в творчестве Б.И. Лебединского, В.В. Тетенькина. Павел Анатольевич, как истинный авиатор, стремится к высотам, в данном случае — искусства.

С 1995 года он — член Союза художников России. Постоянный участник зональных, областных, всероссийских выставок. Его произведения размещены в Омской, Новосибирской картинных галереях, в галерее «Останкино» в Москве. Его картины дополнили частные коллекции России, Швейцарии, США, Польши, Израиля, Японии, Южной Кореи, Китая, Германии, Голландии...

Быть может, в настоящее время реализм находится не на пике популярности, но какое видение мира мы сможем предъявить потомкам спустя столетия, если художники будут только лишь фантазировать, уходить в мир иллюзий? Выставка «России заповедные места» — гимн духовным, историческим и природным ценностям нашей Родины. «Простота, правда и естественность — вот три великих принципа прекрасного», — сказал в свое время Виктор Гюго. Простота, правда и естественность — три главных составляющих творчества художника Авенариуса. Можно сколько угодно фантазировать на просторах полотна, но смотреть и правдиво переносить на него существующие реалии может себе позволить только человек с чувством собственного достоинства и уважения к окружающему миру.

*Мария МОЖЕНКОВА,
искусствовед*



«С Иркутском связанные музы»

В Иркутском областном Доме литераторов в октябре — ноябре 2014 года состоялась необычная фотовыставка Эльфриды Невзоровой

Точно так же, как без иркутских писателей, драматургов и поэтов отечественная литература была бы неполноценной, так и мировая литература без иркутских сюжетов была бы недостаточно цельной. Заслуженную славу Иркутской писательской организации принесли Вячеслав Шишков с «Угрюм-рекой», Константин Седых с романом «Даурия», Георгий Марков с эпопеей «Строговы», Валентин Распутин, Александр Вампилов и многие другие мастера слова. Иркутская муза посетила француза Жюль Верна в романе «Михаил Строгов», чеха Ярослава Гашека, который нашел в Иркутске образ бравого солдата Швейка, японца Ясуси Иноуэ, описавшего долготерпение своих соотечественников в столице Восточной Сибири, бразильца Пауло Коэльо, увидевшего в Байкале отражение всемирной мистики.

Соединить вместе все это трудносочетаемое попробовала Эльфрида Невзорова в своем литературно-художественном фотопроекте «С Иркутском связанные музы». Литературные образы Иркутска и Байкала в произведениях русских и зарубежных авторов она выразила в художественных фотографиях. Месяцем ранее в Дни русской духовности и культуры «Сияние России» фотопроект открылся в Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского, и сразу стало понятно, что это не простая фотовыставка, по которой можно проскользнуть взглядом и идти дальше, а проект, требующий от зрителя определенной интеллектуальной работы.

Чтобы понять ту или иную фотографию, надо знать, вспомнить или хотя бы прочесть приведенный отрывок того или иного автора, которому она посвящается. Но фотографии — не иллюстрации, это самостоятельные художественные образы Эльфриды Невзоровой на выбранную ею самой тему. Например, образ распутинской вороны из рассказа «Что передать вороне?» заключается вовсе не в птице, выразительно сидящей на высоком суку, а в одной единственной торцевой стене, оставшейся от здания XIX века, — давно исчезнувшего мира. И тогда слова писателя, и сама фотография приобретают новый смысл:

Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живёт во мне уверенность, что если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на неё, тщаь и боясь подумать, почему это может быть только она...

— В любом обществе настоящий художник и есть та самая «белая ворона», которой только и суждено в отличие от всех остальных беспрепятственно «залетать» в тот и иной мир, связывать их вместе и по веточке, по былинке сплести истину, неподвластную ни времени, ни пространству, — размышляет Эльфрида Невзорова о сути творчества, приглашает к разговору, к чтению.

Фотография — это документальное искусство. В отличие от писателя фотограф создает свой образ посредством изображения реальных людей, предметов, событий. И в данном случае — других, не тех, которые подтолкнули литератора к созданию своих образов. При распятии Христа рядом с ним не было ни фотографов, ни художников, ни репортеров, ни

писателей, но яркий образ его многократно отражен и в литературе, и в живописи, и даже в художественной фотографии, одну из которых мне довелось приобрести в Ватикане.

Образ на то и образ, чтобы в сознании читателя, зрителя возбудить определенные чувства. И если они возникают, то пусть не обижаются ни писатели, ни фотографы, — у каждого читателя в мозгу возникает свой собственный образ, основанный на личном опыте, личных впечатлениях, воспоминаниях, чувствах и даже образовании. Это — элементарные законы восприятия, благодаря которым та же самая распутинская Матёра стала так близка читателям Индии, никогда не бывавшим на Ангаре.

Скажите: при чем тут Индия? Автор проекта Эльфрида Невзорова подписи к фотографиям превратила в короткие эссе, благодаря чему весь проект приобрел целенаправленный просветительский характер. Она вышла за рамки фотографий и вместе с литературой говорит о важнейших сторонах нашей жизни:

— Недавно в Иркутском государственном университете состоялась научно-практическая конференция о психологической стороне экологических проблем. На кафедре вышел профессор-индус и рассказал о том, что за последние 20 лет история с Матёрой в Индии повторилась тысячи раз. Десятки плотин затопили тысячи деревень, несколько миллионов человек были вынуждены оставить свои родные места, десятки тысяч человек не смогли пережить этого и покончили с собой. Такая же картина наблюдается в Китае, Пакистане, Латинской Америке. Во всех этих странах читали Валентина Распутина и везде найдутся люди, готовые пожать ему руку в благодарность за то, что он смог выразить их чувства.

Кажется, что ничего художественного нет в фотографии окна разрушенного дома. Но на отчетной выставке Иркутского фотографического общества она стала одной из самых заметных. В своем эссе автор пишет:

«Дом окнами в поле» — один из самых ярких художественных образов Александра Вампилова. Он вложил в него непорочную чистую провинциальную душу, наполненную вечными идеалами любви и самопожертвования. Но смена исторических эпох стала суровым испытанием для таких людей. Закрывались колхозы, скот шёл под нож, а молочные фермы и поля зарастали бурьяном. Рушились семьи, гибли люди. Десятки деревень опустели и до сих пор поскрипывают на ветру обвислыми ставнями. Провинциальные Помпеи!

Многие герои А. Вампилова не выдержали испытаний перестройкой и сменой эпох. Но я уверена, что идеалы любви и самопожертвования в душах людей всё-таки остались. Потому что они не зависят от политики. И эта фотография — предостережение всем нам, стоящим на пороге своих решений. По большому счёту, об этом предупреждал и сам Вампилов. Вчитайтесь:

«А с т а ф ь е в а. Перешагнуть порог, чего проще...

Т р е т ь я к о в. «Перешагнуть порог...» Это сложная задача. Дураков полно по ту и по другую сторону порога... Это точно, глупости человек делает перед порогом. И хорошо, когда ты подготовлен заранее. А если нет?..»

Если фотографию принято считать за искусство «остановись мгновение, ты — прекрасно!», то выставка Эльфриды Невзоровой показала, что фотография и сила воображения способны «реставрировать» эти драгоценные мгновения творческого озарения художника. И тогда фотоаппарат становится не просто «камерой-обскурой», а «машиной времени», способной объяснить нам чувства художника, из которых рождаются образы, мысли и слова. Может быть, именно такую глухую кирпичную стену, но с пробоиной, увидел в 1959 году Евгений Евтушенко, когда написал:

<i>Свежести! Свежести!</i>	<i>свежести мускулов,</i>
<i>Хочется свежести!</i>	<i>мозга, мазка,</i>
<i>Свадебной снежности</i>	<i>свежести музыки</i>
<i>и незаслезенности,</i>	<i>и языка!..</i>

Мы уже привыкли к тому, что в последние годы фотовыставки стали набором красивых видов, которые демонстрируют больше технические возможности фотокамер, нежели индивидуальность фотографов. В России царствует мировая тенденция: в музыке — попса,

в литературе — бестселлер, в кино — блокбастер, в фотографии — постер. Законы массовой культуры диктуют «обслуживать» людей, не воздействуя на их интеллект, массовая культура стала идеологическим и экономическим прессингом, более мощным и действенным, чем коммунистическая цензура. Но русскому человеку свойственно мыслить независимо.

Новая фотовыставка Эльфриды Невзоровой — это собственный поиск новых жанров. Она исходит из того, что художественная фотография как явление культуры (а не дизайна) способна развиваться именно в художественной среде. «Книжки с картинками» — это не просто детский каприз, а четкий стандарт эмоционального интереса. Свою книгу «В поисках радости» — фотодневник впечатлений и размышлений, изданный два года назад, она иллюстрировала 356 фотографиями, каждая из которых связана с текстом.

Связать фотографию с текстом — это главное условие проекта «С Иркутском связанные музы». Только вместе они раскрывают мысль, которую хотят донести до зрителя писатели, поэты и фотограф. Автору удалось избежать легкой эксплуатации чужих образов, но для их творческого перевоплощения понадобились собственные творческие усилия. Такие же усилия предлагается совершить и зрителям. В лабиринте двадцати авторов — писателей, драматургов и поэтов — каждый (без преувеличения!) нашел для себя что-то неизвестное и новое.

Вместе с протопопом Аввакумом мы видим, как продвигаются на Восток границы Российской империи. Вместе с Иваном Гончаровым и Ясуси Иноуэ мы оказываемся у истоков зарождения русско-японских отношений, в которых Иркутск сыграл очень большую роль. Вместе с героями Жюль Верна мы строим оборонительные укрепления вокруг Иркутска и боремся против сепаратизма за единую Россию. Вместе с В. Шишковым мы видим, как власть денег и капитала проникает в сибирскую тайгу и души сибиряков, — к сожалению, этот опыт не стал поучительным для нашей страны. С героями К. Седых и Г. Маркова — кстати, почетными гражданами Иркутска, — мы боремся за новую власть в Сибири, ту, которая с необычайным всенародным энтузиазмом строила каскад гидроэлектростанций на Ангаре и утайкой от всех топила распутинскую Атлантиду. Каждый из писателей писал свой собственный сюжет, но сложить их книги вместе — и получится история страны, история нашего края. Кому-то сегодня она не нравится, но вспомните бравого солдата Швейка: «Пусть было, как было, ведь как-нибудь да было! Никогда так не было, чтобы никак не было...»

— Есть ещё одна особенность, которая собрала этих писателей и поэтов в моей фотовыставке, — говорит Эльфрида Невзорова, — это возможность вместе с ними еще раз рассказать о красоте иркутской Сибири и попытаться раскрыть великую тайну творчества. Как простая ворона или покосившийся забор превращаются в одухотворенные образы близкого и запредельного? Как яблоко и пустынная дорога могут родить оптимизм и веру в собственные силы? Какие чувства можно испытать, сидя под «царским лиственцем» или прикоснувшись к колоколу над великой сибирской рекой? Сорок лет назад замечательный иркутянин Марк Сергеев задумал и начал грандиозный проект «С Иркутском связанные судьбы». Десять лет он рассказывал о своих находках по Иркутскому телевидению и издал первую книгу из цикла задуманного. Мой проект куда скромнее, я хотела лишь напомнить о книгах, которые о нас, сибиряках, иркутянах. О нас — в прошлом. А фотографии — как зеркало нашей жизни, словно магический кристалл. Всмотримся и подумаем.

— Любая фотография только тогда становится интересной, когда за ней стоит история или какой-то сюжет, — сказал председатель Иркутского отделения Союза писателей России Владимир Скиф на открытии выставки. — В этом смысле фотографии Эльфриды Невзоровой полностью созвучны со всеми литературными образами.

Волей судьбы, пока готовился проект, фотоальбом и фотографии выставки отправились в Музей Жюль Верна в г. Нант (Франция), в Музей современной литературы г. Исикава (Япония; именно оттуда вышел Ясуси Иноуэ), в Музей Александра Вампилова в Кутуликке. Поистине, как писал еще один «участник» выставки, Марк Сергеев, — «Иркутск — середина земли». А сама выставка уже отправилась в Усть-Илимск, а оттуда ей путь — по всем районам Иркутской области, чтобы в Год литературы напомнить читателям о прекрасных книгах, посвященных нашему краю.

Николай МОРОЗОВ



Какой журнал нужен современному ребёнку?

Материалы с форума «Новый век детского журнала»

Какой журнал нужен современному ребёнку? — ключевой вопрос форума «Новый век детского журнала», организованного редакцией журнала «Сибирячок» в прошлом году в Иркутске. Предлагаем для обсуждения мнения родителей, писателей, студентов и самих детей о модели современного детского журнала, о художественной ценности материалов, о тех вопросах, которые мы, взрослые, предлагаем для обсуждения детям. Эти мнения очень разные, а проблемы, которые предлагают для обсуждения авторы, актуальны в современном информационном пространстве.

Интернет-версия или печатный формат? Целевая аудитория от 5 до 12 лет, — разумно ли? Детский журнал — средство коммуникации или литературный альманах? Можно ли конкурировать детскому литературно-художественному журналу с изданиями развлекательного характера? Что такое качественное чтение? Какой должна быть иллюстрация в детском журнале? Кто выбирает детский журнал: ребенок или родитель? Решает ли журнал задачи образования?..

*Татьяна ТИХОНОВА,
главный редактор журнала «Сибирячок»*

Светлана Асламова, редактор «Сибирячка» 1991–2013 гг.: Мы часто собирались в мастерской Александра Муравьева, мастерили костюмы героев, придумывали комиксы, он объединил нас. Все больше людей вовлекались в эту игру, были и музыканты, и режиссеры; сочинялись песенки, конкурсы. В 1993-м была классная презентация журнала под названием «В тридевятом царстве». Во дворце детского творчества не хватало мест, и ребята из театра «Юность» играли спектакль дважды. Осталось много фотографий, архивов, а главное, это жизнь, отданная интересному делу. «Сибирячок» — это как первая любовь.

Когда-то журнал создавался для детей нового времени. Сейчас времена изменились, тогдашние дети выросли. А «Сибирячок» в общем-то, остался тем же. Разве что бумага стала глянцево́й да на страницах, как и в жизни, появились новые реалии: ссылки на сайты, упоминание электронных книг.

Хорошо или плохо, что он все тот же? С одной стороны, здесь нет рекламы новых супермодных игрушек, призывов «отправь смс на номер 1234» и маленьких девочек во взрослых позах. «Сибирячок» добрый, а главное — наполнен потрясающими иллюстрациями и рисунками, которые не просто хорошие, они нравятся. С другой стороны, это взгляд взрослого человека, а целевая аудитория журнала — не выпускники филфака, а современные дети от 5 до 12 лет. И я не уверена, что они, проводящие большую часть времени в компьютерах и айпадах, в массе своей думают о разумном, добром и вечном то же самое.

Тираж журнала потихоньку сокращается. И, вероятно, дело не только в недостаточном бюджете, но и в том, что круг интересов нынешних детей изменился, как и структура пространства. Подписка всё менее актуальна, розница, и особенно Интернет, — всё более. А аудиторию нынче приходится ловить именно в Сети. Даже детскую. А может, тем более детскую. У «Сибирячка» есть сайт — sibiryachok.net, только почти все его разделы находятся в затяжной разработке.

По словам Светланы Асламовой, на сайт не хватает времени, которое уходит на работу над самим журналом, в том числе над иллюстрациями, на подготовку к изданию книг. К тому же сама редакция выступает за сохранение журнала в бумажном виде, при наличии он-лайн версии, — для детского издания это, в общем, справедливо: моторика, зрение, тактильный контакт.

Сохранять традиционный журнал решено общими усилиями, поэтому запущен новый проект — «Дружественный Сибирячок». Его цель — объединить детские редакции и издательства из разных регионов России, расширить круг авторов и читателей и совместно решить ряд вопросов, в том числе вполне прозаичных: реклама, распространение, увеличение тиражей, комплектование детских библиотек. Ну и понять совместными усилиями, каковы современные дети, что они любят, на каком языке говорят. Увесистые, в общем, цели!

Дарья Догадина, студентка: Сознание человека, его жизненные ценности, характер — всё формируется в самом раннем возрасте. Мне повезло, с ранних лет меня знакомили с хорошей музыкой, с хорошими фильмами, с хорошей литературой. Помню отчетливо, что в моем детстве присутствовал «Сибирячок». Это был один из немногих журналов, который мне нравился. Мама читала мне его вслух. Многие сказки произвели на меня впечатление, я помню их до сих пор, но только спустя много лет я поняла, что они из «Сибирячка». Удивительное и приятное открытие. Также я любила смотреть картинки из журнала, они казались мне чем-то неземным, и я никак не могла понять, в чем же их секрет. Почему они такие необычные? И чем же отличаются от остальных картинок в журналах? Наконец-то я могу ответить на все эти вопросы. Они просто нарисованы вручную — и оттого кажутся живыми. Над ними работали люди, вкладывали в них частичку своей души. Вот и вся магия.

Есть еще одна вещь, за которую я могу сказать «Сибирячку» спасибо. Это — любовь к Родине. Для меня нет края краше, чем наша Сибирь, нет города лучше, чем Иркутск. В последнее время я много путешествовала и еще больше убедилась в том, что ни на что не променяла бы место, в котором я живу. И в этом есть заслуга «Сибирячка», он развивает у юных читателей чувство патриотизма и уважения к своей малой родине.

Но оценить все это в полной мере я смогла только спустя время. Сейчас читать журнал мне не менее интересно, чем когда-то. Но я смотрю на него совершенно под другим углом зрения, замечаю любопытные мелочи. Современные дети читают не совсем тот журнал, который читала я. Многое поменялось. Мне сразу в глаза бросилась обложка, и на ощупь он стал совсем иным. Появилось много забавных вкладышей, игр. Но неизменной осталась любовь детей и взрослых к «Сибирячку», его героям и поучительным сказкам.

Мне очень нравится просветительская роль журнала. Очень много религиозного, исторического и просто нравственного материала. Читая журнал, я наткнулась на таких выдающихся авторов, как Валентин Распутин, Марк Сергеев, Надежда Теффи, а также увидела произведения Александра Блока, Владимира Набокова, Роберта Рождественского. Все это перемежается рассказами и стихами современных писателей и поэтов, пишущих для «Сибирячка». У юных читателей формируется хороший вкус, а также тяга создавать что-нибудь самим. Можно встретить и произведения, написанные самими детьми. И это тоже замечательно, ведь когда человек начинает читать хорошую литературу, а тем более может писать сам, он начинает думать и размышлять. Это развивает разум и душу. И чем раньше это происходит, тем лучше.

Елена Коркина, автор городской интернет-газеты «Provincia»: Немного странно видеть современный номер «Сибирячка»: кажется, журнал детства так и остался где-то там, на полке, между прописями, «Мурзилкой» и дневником температур за февраль 1995 года. И тем не менее, он существует.

Журнал был зарегистрирован в 1991-м, в 1992-м вышел первый номер, а вот самому Сибирячку в этом году исполнится 26. Дело в том, что изначально он был задуман как персонаж альманаха, но после двух выпусков — в 1987-м и 1989-м — было так много детских откликов, что издатели приняли решение о выпуске журнала. Однако датой рождения принято считать 4 июня 1987 года — день выхода первого альманаха. Имя персонажа и сказку о его рождении придумал иркутский поэт и писатель Марк Сергеев. Он говорил, что это

было несложно: кто мог родиться в Сибири, если не Сибирячок? А первым его образ воплотил художник Александр Муравьев.

«Сибирячок» как журнал — это уже коллективное творчество. Приключения героя, кроме Марка Сергеева, писала Светлана Волкова, рисовали его и Тихон Муравьев, и Евгений Монохонов. Причем в сказках, комиксах Сибирячок всегда разный.

Софья Бунтовская, детский писатель: В начале следующего года в свет выйдет сто тридцатый номер широко известного в нашем регионе журнала «Сибирячок». Почти в каждой детской библиотеке имеется его подшивка, думаю, найдётся хотя бы один-два журнала дома у любого городского школьника. Тираж каждого номера — 4000 экземпляров. Много ли это? Не так уж и много, если учесть, что количество школьников в возрасте от 6 до 12 лет, для которых и предназначается издание, во много раз больше этого тиража. В чём же дело, вина ли в том современных родителей, не приучающих ребят к чтению, или в самом журнале, который в чём-то не дотягивает?

Пытаясь разобраться в этом непростом вопросе, в первую очередь обращаюсь к своей дочери Полине (ей скоро 10 лет). Дочке мы уже несколько лет выписываем «Мурзилку», «Коллекцию идей», а «Сибирячок» берём в редакции. Все журналы она собирает и бережно хранит у себя на полке. На вопрос, какой журнал тебе больше нравится, отвечает: «Мурзилка». Почему?

— В «Сибирячке» не хватает поделок из бумаги, которые можно вырезать. Комиксы в «Мурзилке» есть в каждом номере, и они веселее, чем в «Сибирячке». И игровых страничек в «Сибирячке» мало. Ещё хорошо бы, чтобы была рубрика «Школа рисования». И картинки в «Мурзилке» красивее и интереснее.

В целом «Сибирячок» — журнал добротный. Он информативен, помимо местных авторов, дети имеют возможность читать произведения мировой литературы. Замечательная идея редакции — вкладыши, которые стали прекрасными пособиями для преподавателей.

На примере своих детей, один из которых уже вырос, но в детстве тоже читал «Сибирячок», могу сказать, что по сравнению всё с той же «Мурзилкой» наш «Сибирячок» не дотягивает в оформлении. Я не художник и, возможно, мало понимаю в журнальных стилях, но уверена, что детям во все времена нравились мелкие, хорошо прорисованные детали на картинках, которые ребятня обожает долго рассматривать. К сожалению, не все рисунки в журнале, в том числе и на его обложке, отличаются изяществом и проработанностью. Возможно, «Сибирячок» не нашел пока тот самый стиль, уже современный, который привлекал бы нынешнего ребенка своим внешним видом. Ведь дети, беря в руки любую книжку, сначала смотрят именно на картинки.

Лично мне в детстве очень нравился журнал «Юный натуралист». Первые «пионерские» странички я пропускала, а всё, что написано про зверей и птиц, внимательно прочитывала. Результат очевиден. После окончания школы выучилась на биолога. Мой брат, он младше меня на два года, выписывал «Юный техник» и впоследствии стал архитектором. При этом оба мы с удовольствием читали и внимательно рассматривали картинки в нашем общем журнале — «Весёлые картинки».

«Сибирячок» универсален. В нём есть материалы и по истории, и по краеведению, об искусстве, о природе. Свою образовательную и воспитательную функцию журнал выполняет полностью. Но всё же очень хотелось бы, чтобы редакция поработала над художественным оформлением издания, постаралась сделать своих героев объёмнее, ярче, веселее, привлекательнее. Чтобы каждый ребенок, глянув на обложку, захотел взять «Сибирячок» в руки и наслаждаться каждой его страничкой, вплоть до самой-самой последней.

Елена Анохина, детский писатель: Великое множество детских журналов и брошюр рекламного характера с рисунками, выполненными на компьютере в графических программах, с раскрасками, кроссвордами-сканвордами, с логическими задачами всякого плана, — только утверждают меня в мысли о необходимости существования печатного издания «нового века», хранящего «старые» традиции печати для детей. «Наш» журнал должен не только удовлетворять игровые потребности ребенка, но и по-прежнему развивать его как личность.

Ребенок нового времени «успевает» и в Сети, в виртуальном мире, и в реальной жизни. Я считаю, что компьютерную графику и отрисовку нужно оставить компьютеру и виртуальным журналам. Рисунок — живой, должен остаться в нашем журнале нового века... Проза и поэзия классиков, современников, статьи об истории и природе родного края — основная составляющая этого журнала. Новое поколение зовут «энциклопедическим» из-за способности схватывать на лету энциклопедические знания и факты. Им очень интересны разделы в журналах из серии «А знаете ли вы, что...» История полна курьезов и интересных фактов — привнесение их в исторические статьи плюс чудесные рисунки наших художников — и юного читателя уже не отвлечь от журнала.

Детскому возрасту свойственны быстрые переключения внимания с одного объекта на другой, поэтому научно-познавательные статьи должны перемежаться игровыми либо занимательными заданиями (по принципу «урок — переменка»). В журнале нового поколения по-старинке присутствуют ребусы, головоломки, логические задания.

Разумеется, возможность увидеть свое творчество на страницах журнала по-прежнему привлекает юных писателей, поэтов, художников, составителей ребусов и сканвордов, поэтому журнал «нового» века все так же дружелюбно располагает на своих страничках особо талантливых авторов — на конкурсной основе, либо вне. В редакцию «нового» журнала все так же приходят и пухлые конверты с рукописями, и прилетают электронные письма.

Как-то очень приглянулась идея (что за номер был, не помню): несколько разворотов были черно-белыми, притом что весь журнал — в цветном, очень уютном исполнении. Черная графика рисунков, черно-белые фотографии. Тогда мне показалось, что такие варианты дают возможность воображению «раскрасить» картинку. Фантазия, определенно, развивается.

Сергей Смирнов, член Союза журналистов России, член редакционной коллегии журнала «Сибирячок»: Я люблю «Сибирячок», и пишу о нем стишок! — под этим бесхитростным, но очень искренним признанием в любви к журналу моей внучки Светланки может подписаться каждый, кто хоть раз держал в руках наш замечательный журнал, независимо от того — взрослый он или ребенок. Так уж сложилось, что судьбы нескольких поколений семьи Смирновых оказались тесно переплетены с журналом. Его бессменный главный редактор Светлана Николаевна училась в Иркутском университете у моего незабвенного отца Ростислава Ивановича, которого, в свою очередь, связывала многолетняя, ничем не омраченная дружба с другим основателем «Сибирячка» — писателем Марком Сергеевым. Своё боевое творческое крещение получила в восьмилетнем возрасте на страницах журнала и моя дочь Вера, ныне студентка-пятикурсница отделения журналистики университета. Я же, ничуть не лукавя, считаю звание члена редколлегии «Сибирячка» одним из самых почётных среди прочих регалий. Особо горжусь своей причастностью к происхождению рубрики «Пенаты», счастлив общаться с другими членами редколлегии и коллективом редакции, выдающимися и талантливыми людьми.

Свято верю, что благородная миссия журнала — обучать и развлекать, а главное, воспитывать ребятяшек достойными людьми — ещё не раз будет оценена нашими потомками...

Елена Балкова, шеф-редактор областного журнала «Педагогический ИМИДЖ»: Роль детского чтения в жизни каждого человека огромна, ведь «все мы родом из детства». И значительное место в круге детского чтения должно быть отведено хорошему журналу. Осознание этого важно сейчас, важно было много десятилетий назад и, надеюсь, останется важным в будущем.

Каким должен быть современный детский журнал? А все таким же. Таким, каким его формировала многолетняя отечественная традиция — воспитывающим духовные ценности, любовь к талантливому слову и культурному наследию, проповедующим высокие нравственные идеалы. В поиске новых форм и нового содержания для журнала, наверное, не стоит опираться только на современное и модное, ведь иногда это оказывается слишком поверхностным и не выдерживает проверку временем. Нельзя при выборе журнальных текстов и иллюстраций руководствоваться принципом «что для детей легче», потому что настоящее чтение — это большая внутренняя работа. И задача взрослых — научить детей читать вдумчиво, осмысливать прочитанное.

В новом журнале в тесном единстве должны быть произведения исторического прошлого (уж Сибирь-то богата литературными традициями!) и нашего настоящего. Это площадка для публикации не только состоявшихся мастеров слова и художественных иллюстраций, но и будущих писателей и художников.

Журнал, безусловно, должен изучать и учитывать опыт других изданий, но при этом необходимо сохранять собственную неповторимость, «свою изюминку», что, на мой взгляд, удается иркутскому журналу «Сибирячок». Это областное издание обладает уникальной способностью удивлять и озарять. Его талантливый коллектив подходит к своей работе творчески. Жаль, что не во все двери, где живут и учатся дети, еще заходит журнал.

Елена Пастухова, литературный редактор журнала «Сибирячок»: «Я хочу, чтобы ребенок читал «Сибирячок», — так говорят и считают современные родители. Хотя, как справедливо замечают они же, «хочу, чтобы мой ребёнок читал» и «ребёнок будет читать» — два диаметрально противоположных высказывания. Как известно, в выборе между «хочу» и «надо» чаще всего возникает конфликт «отцов и детей». Но ведь детский журнал совсем не повод для споров и тем более конфликтов. Напротив, это площадка для совместного творчества, повод найти общие интересы между поколениями старших и младших, средство передачи опыта, возможность «разговора по душам».

В преддверии форума редакция журнала «Сибирячок» провела родительское собрание. Совместно с родителями редакторы журнала пытались определить, каким должен быть детский журнал.

Ведущий: Прежде чем мы начнем обсуждение, проведем небольшой эксперимент. На столе вы видите разложенные журналы. Названия закрыты, нет бренда и привычного обреза журнала, есть только обложка. Представьте, что вы подошли к газетному киоску и вам нужно выбрать журнал для вашего ребенка по обложке. Какой журнал вы выберете?

Елена Быкова: Я бы выбрала вот этот журнал («Юный эрудит». — *Прим. авт.*). Судя по самолету, изображённому на обложке, в журнале есть какой-то познавательный материал. Моему ребенку 10 лет. И главный интерес его возраста — познавательный. Очень любит узнавать новое и интересное.

Тамара Артемьева: Я бы вот этот купила («Муравейник». — *Прим. авт.*). Если на обложке фотография сов, значит, в журнале много материала о животных, птицах, природе. Дочь больше интересуется лошадками, тиграми, львами и прочей живностью. И ещё любит стихи. По моему личному мнению, сейчас для детей нужен познавательный материал, потому что программа в школе ориентирована на самостоятельный поиск информации. Ребенок должен найти сам и подготовиться к занятиям.

Елена Шустова: Я выбираю вот этот журнал («АБВГД». — *Прим. авт.*). Мне понравилась красочная обложка и изображение животного. Скорее всего, там про животных, какие-то стихи есть для дошкольников, что тоже ребёнок любит.

Елена Ракецкая: Я бы даже два выбрала. Вот этот с собакой («Филя» — *Прим. авт.*). Как мне показалось по картинкам, есть в журнале что-то такое про отношения, значит, будет повод разобраться с дочкой какое-то нравочение. Моя родительская задача там решается, я думаю. И, пожалуй, вот этот журнал («Сибирячок». — *Прим. авт.*), потому что он детский. Всё, что представлено сегодня, к сожалению, какое-то взрослое. Я имею в виду обложки.

Елена Быкова: Я согласна. Рисунки на обложках при всей их яркости не дают ощущения детства.

Елена Ракецкая: Сейчас дети рано взрослеют, окунаются в мир взрослости, быстро начинают разбираться в компьютерах, телефонах. Так рано, что их хочется пока, может быть, немного искусственно поместить в мир детства. Помочь им остаться в детстве.

Елена Быкова: Если бы моему ребенку было пять лет, то я бы выбрала те же два журнала, что и вы. От возраста ребёнка многое зависит.

Татьяна Шведченко: Мне кажется, вот эта обложка самая лучшая (журнал «Читайка». — *Прим. авт.*). Ребенок точно заинтересуется и прочтает. Дети любят всё яркое,

сейчас много игрушек, много интерактивных вещей. Потом он довольно толстый, надолго хватит ребенку.

Ольга Хинданова: У меня племянник и племянница (по 7 лет). Парню я бы купила, естественно, что-нибудь с самолетом, техническое («Юный эрудит». — *Прим. авт.*), а девочке, наверное, такой («Автобус». — *Прим. авт.*). На обложке изображена какая-то историческая картинка, дамы в бальных платьях, всё довольно детально прорисовано. Пусть она учит историю.

Елена Козлова: Я бы купила журнал с самолетом («Юный эрудит». — *Прим. авт.*) и вот этот («Ералаш». — *Прим. авт.*). Я так понимаю, это издательство «Ералаш», значит, там есть что-то смешное, интересное.

Ведущий: Теперь снимите, пожалуйста, листки, закрывающие названия журналов. Что вы теперь можете сказать? Знаете ли вы такие журналы? Попробуйте выбрать журнал по качественному наполнению, по материалу. Полистайте тот журнал, который выбрали по обложке. Нет ли разочарования?

Татьяна Швыдченко: Ой, да! Журнал «Читайка» очень интересный! Здесь и колыбельные есть, можно вместе порешать задачки. Даже игра вон какая на развороте. Единственное замечание — логотип не читается, надо привыкнуть к нему.

Елена Ракецкая: Журнал «Филя» внутри оказался даже лучше, чем обложка. Есть в этом журнале мозаичность и коммуникация. Разнообразие — если правильно сказать.

Елена Быкова: Я не разочаровалась. В журнале «Юный эрудит» много познавательной информации, того, что было бы интересно моему ребенку — про космос ему интересно, про компьютеры. Информация качественно изложена и картинки интересные. Залпом бы за один вечер прочитал и еще бы перечитал!

Тамара Артемьева: Я выбирала по картинке («Муравейник». — *Прим. авт.*), и понимаю, что ребенок точно бы читал журнал. И по программе окружающего мира воспользовалась бы каким-нибудь материалом. Мы вообще пользуемся журналом «Сибирячок» частенько, она носит и вкладки в школу, её доклады с удовольствием слушают ребяташки. И «Муравейник» нам бы понравился. Но стихов я здесь не нашла.

Елена Шустова: Журнал, который мне понравился по обложке («АБВГД». — *Прим. авт.*), и внутри достаточно интересный. Есть познавательные вещи: посчитать, поиграть, картинки посмотреть, даже раскраска есть.

Татьяна Швыдченко: А вот петербургский детский журнал «Автобус» — для семьи очень интеллигентной!

Елена Ракецкая: Для детей журналистов, которые делают этот журнал.

Ольга Хинданова: Сама обложка — это лучшее, что в этом журнале есть. Всё остальное — очень мрачно. Чёрно-белые фотографии, текст мелким шрифтом.

Татьяна Швыдченко: Ну в каждом классе есть ребенок, который, может быть, заинтересуется...

Елена Быкова: Если нужно информацию для урока, найдет и прочитает, а так для чтения в свободное время — вряд ли!

Татьяна Швыдченко: Журнал «Костёр» меня очень разочаровал. Нельзя такое издавать! Это книжка в виде журнала. Неинтересно ни по дизайну, ни по материалу.

Елена Ракецкая: Здесь как в поговорке: надеть всё лучшее и сразу. Как можно больше информации, и всё равно — воспримут её или не воспримут. Вот если говорить о журнале «АБВГД», то сразу понятно, что он рассчитан на детей. Очень грамотно дана информация. То, что ребенок должен сам изучить, всё красиво и крупно. Если мы говорим о том, что сам не умеет читать, ему должны читать мама или папа, так информация и напечатана мелким шрифтом — сразу понятно, что это будет читать мама ребенку. Разнообразие очень важно в журнале. Всё-таки журнал — это не роман, не книга. Там есть возможность перескакивать с места на место, со страницы на страницу. Поэтому от журнала должно быть много разных впечатлений.

Ведущий: То есть он должен быть разным на каждой странице?

Елена Ракецкая: Разным на каждой странице — точно!

Ведуций: Какой журнал из представленных вы ребенку своему не купили бы? Не по обложке, не по названию, не по внутреннему наполнению.

Тамара Артемьева: Я бы точно «Автобус» не купила! Слишком «заумный» для моего ребенка, для её возраста это было бы неинтересно. Всё такое серое. Журнал для тех, наверное, кто любит историю. Сейчас мир — яркий и красочный, нужно что-то такое, что бы бросалось в глаза и можно было бы что-нибудь такое интересное ухватить.

Елена Ракецкая: Журнал «Лазурь» не купила бы. Я даже заглядывать не стала, прочитала только на обложке: популярный литературно-художественный альманах экологической направленности для молодежи. Дальше будете читать? Скорее всего, так же и внутри! «Детскую роман-газету» тоже не купила бы. Это альманах. Это было актуально в дни моей молодости, когда не успевали печатать книги и рассказ или повесть выходили сначала в журнале. Сейчас это неактуально. Если я хочу, чтобы это было произведение, то пусть будет книга.

Елена Козлова: Книга дороже стоит, чем журнал!

Елена Ракецкая: Да, дороже. Но тогда — в библиотеку.

Тамара Артемьева: Журнал «Юный художник» тоже мне не понравился. Если бы я интересовалась картинками, может, мне было бы интересно. Я путешествовала по Золотому кольцу России, мы посещали музеи, там было интересно, потому что рассказывают, а здесь читать не так интересно. Полистаешь, помотришь картинки, и забудешь, что ты его смотрел. А ребенок тем более! Его можно выписывать специальным художественным школам и работать с ним на уроке.

Татьяна Швыдченко: Журналу «Сказочный мир» нужно поменять художника. Мне кажется, совсем маленький ребенок может даже испугаться. Слишком ярко! Намешали всё! Из эстетических соображений я бы этот журнал не купила. И вообще большинство журналов я бы купила ребенку только один раз. Купила бы «Читайку» второй раз, потому что журнал в принципе мне понравился, и — «Сибирячок», потому что в нем о нашем регионе говорится. В этом номере «Сибирячка» мне понравилось, что есть дети, которые пишут письма.

Ольга Михайлова, журналист: В преддверии форума «Новый век детского журнала» редакцией было проведено много творческих встреч в школах, детских лагерях и творческих объединениях Иркутской области. Юные читатели «Сибирячка» не остались в стороне и с удовольствием рассказали о том, за что любят журнал и что бы добавили сами, будь они на месте художников и редакторов.

Ребята признаются, что больше всего любят читать о Байкале, его растениях и животных, о новых играх и машинах, о сибирских писателях, художниках, музыкантах. Оказывается, им интересны исторические события, путешествия и городские достопримечательности.

Среди самых любимых героев Аптекарь Анти-Ох, Робот Урсик, Мудрая Ворона, Боцман Сарма, Таежка, Леший Кеша и, конечно же, Сибирячок. Но они были бы не против познакомиться и с новыми друзьями. Вместе с героями «Сибирячка» ребятам хотелось бы заниматься поделками, разгадывать веселые ребусы, кроссворды, ломать голову над загадками, читать занимательные истории. Ребята предлагают добавить новые рубрики, и обязательно сделать еще ярче картинки и фотографии.

О том, чего хотят ребята, расскажут мнения участников деловой встречи «Диалог с читателем», которая проходила в средних школах города Байкальска.

Оля Певева: Я думаю, что журнал для детей должен нести больше информации об окружающем мире, например, о животных, которые вымерли. Чтобы были развивающие головоломки, интересные стихотворения, которые пишут сами читатели журнала. И больше разных конкурсов с призами.

София Тотомиева: Язык статей, мне кажется, должен быть простым. В статьях можно рассказывать о новых играх, о книгах и музыке. Детям интересно, что происходит вокруг. Девочкам можно написать про какие-нибудь тренды, мальчикам же можно рассказать про автомобили и спорт. Также можно писать об интересных фактах, чтобы журнал был еще и поучительным.

Василиса Тарасова: Должна быть информация о том, как вести себя на улице, дороге или дома. Особенно про то, чего делать нельзя. Должны быть советы детям дошкольного возраста, чтобы подготовить их к учебе. Ну и я добавила бы раздел про компьютерные игры. Сам журнал должен выглядеть ярко, красочно, как современные мультфильмы, с интересной обложкой, чтобы привлечь внимание ребенка.

Саша Афромова: Современному ребенку журнал нужен яркий и интересный. Может быть, там нужны статьи о том, как рисовать, танцевать или петь. Думаю, нужна информация о модных гаджетах и приспособлениях...

Вспоминая Евгения Суворова



ВЛАДИМИР ПОПОВ

Женечка Суворов*

Любой текст начинается с названия. Всяк пишущий знает, как непросто его найти. Бывают десятки вариантов, пока, наконец... а порой все равно остается неудовлетворенность.

Сейчас вот сел за «воспоминательную» статью об Евгении Адамовиче Суворове, которому ныне стукнуло бы 80 лет (еще бы жить и жить!), и название быстро нашлось. Для меня он при жизни был Женечкой, я его обычно так и звал в телефонных разговорах, письмах и нечастых встречах в Иркутске. Встреч наберется, наверное, десяток или чуть больше, но они остались в душе светлым «послевкусием» навсегда. Очень мало людей оставили в моей памяти такой теплый, искренний, чистый след.

Началось наше знакомство где-то в 80-х годах. Сошлись мы у Геннадия Машкина в его гостеприимнейшей квартире на улице с железнодорожным названием, где мне довелось бывать лет двадцать, познакомиться или встречаться и с Аликом Стуковым, и со Славой Филипповым, и с другими иркутскими литераторами, так или иначе входившими когда-то в круг Александра Вампилова. Мне, как драматургу, личность Александра Валентиновича была в высшей степени интересна, и я с большим энтузиазмом знакомился и заводил приятельство, а получалось — и дружбу, с достойными представителями «иркутской стенки» 50–60-х годов. Самого Вампилова, кстати, видел лишь однажды, в сентябре 1971 года, когда спускались в Москве от Бульварного кольца по улице Горького к Центральному телеграфу с 20-летней Леной Мазуренко. Яркая молодая актриса только что отработала то ли первый, то ли второй сезон в театре им. Н.П. Охлопкова, победила в конкурсе иркутской театральной молодежи и получила в награду путевку в Дом творчества Руза. За пару месяцев до этого нас с ней познакомил Виктор Мерецкий, мой двоюродный брат, замечательный артист этого театра. Виктор Борисович пережил Вампилова на год, и «стечением обстоятельств» они лежат буквально рядом на Радищевском кладбище Иркутска, где я их навещаю практически ежегодно. В ста метрах покоятся и мои родители.

Но в тот прекрасный осенний денек Ленка углядела в центре Москвы шедшего из театра Ермоловой бодрого Саню, героиня «Прощания в июне» и автор радостно обнялись, пять минут поболтали, а я постоял рядом с вечно молодым театральным гением, «сибирским Чеховым», ставшим классиком советской драматургии.

В начале 80-х произошло наше знакомство с Геной Машкиным. Уже известный прозаик, рекомендованный вместе с Распутиным и Вампиловым в Союз писателей СССР после знаменитого Читинского совещания молодых писателей в 1965 году, плодотворно писал прекрасную прозу, но и упорно пытался освоить драматургический жанр. Его пьесы рассматривал тот же театр Ермоловой, оценивала их и репертуарно-редакционная коллегия управления театров

*Статья была написана в 2014 году к 80-летию со дня рождения Евгения Суворова.

ПОПОВ Владимир Сергеевич родился в 1946 г. в г. Бaley Читинской области. Окончил мехмат МГУ им. М.В. Ломоносова (1969) и Литературный институт им. А.М. Горького (1981) — семинар драматургии В.С. Розова и И.Л. Вишневской. Член Союза писателей СССР (Москвы) с 1989 г. Пьесы печатались в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Молодежная эстрада». В театрах России и стран СНГ поставлены: «Третий голос», «Предки», «Пропуск Стаса Захарова», «Красавица Снежана», «Гномик», «Идеальная пара (О, Марианна!)», «Дорогой подарок», «Русская невеста (Завидный жених)», «Семейный сюрприз» и другие. Повести и рассказы публиковались в журналах «Сибирь» (Иркутск), «День и ночь» (Красноярск), «Слово Забайкалья» (Чита). Издано несколько сборников пьес и прозы. Живёт в Москве.

Министерства культуры РСФСР, где я два с половиной года работал редактором. Помню, как-то спросил у опытной коллеги Татьяны Агаповой, как она оценивает творчество Машкина, после того как иркутский гость только что покинул наш общий кабинет.

— Ну, это безусловно крупный советский писатель, — без заминки ответила Татьяна Борисовна.

Правда, к пьесам Машкина коллегия и театры отнеслись критично, кажется, до премьер дело так и не дошло. Но с Геннадием мы познакомились, подружились, и в дни частых полетов к родителям в Иркутск я непременно заглядывал в его квартиру на застольный огонек. Ответно бывал и он, вместе с Ростиславом Филипповым, несколько раз в доме моей гостеприимной матушки на улице Декабрьских Событий.

Как-то у Машкина оказался и Женя Суворов. Оба превосходные рассказчики, по очереди развлекали гостей историями и байками из литературной, походной, театральной жизни. Много вспоминали о Вампилове, у Машкина в альбомах хранилось множество фотографий 50-х и 60-х годов. Хозяин солировал больше, в полной мере талант оратора и рассказчика Евгения Суворова мне удалось оценить, когда бывал на собраниях в Иркутском Доме писателей, а позже и в личных встречах, когда бродили по городу, сидели у Ангары или в кафе.

О личном знакомстве-дружбе с Геннадием Машкиным, думаю, еще будет повод рассказать на страницах «Сибири», а теперь вплотную перехожу к Евгению Адамовичу, ставшему в последние лет пять знакомства для меня Женечкой — географически далеким, но всегда духовно-близким человеком. К архиву я отношусь, к сожалению, довольно небрежно. Редкие письма от Жени Суворова из Иркутска в мои Химки давно затерялись, к счастью, несколько моих посланий, в основном благодаря «железной» памяти моего компьютера, сохранились, и в них, надеюсь, какие-то черты, штрихи и штришочки личности и бытия дорогого для многих читателей человека можно углядеть. Какие-то строки и эпизоды буду сопровождать сегодняшними комментариями.

8 августа 2003 года

Женя, привет!

Спасибо за весточку. Она еще не ставит точку, но и дает повод надеяться. Попробую черкнуть пару строк В. Козлову, может быть, он даст ход... (Речь идет о моей повести «Сухая падь» и её предполагаемой публикации в «Сибири», которой способствовал постоянный член редколлегии журнала Е.А. Суворов. Повесть была опубликована в конце 2004 года.)

У меня жизнь командировочная. Был на Ямале в Салехарде, в Пскове и Воронеже. Это я называю после мартовского Иркутска. Потом отписываюсь в своих цветных журналах. Что делать! Надо помогать дочкам, их у меня, если помнишь, две красавицы. Одна, правда, совсем взрослая — 26, другой — 19, сейчас обе укатили на 10 дней в Сочи молодежной компанией в частный домик.

То ли 20-го, то ли 27-го в Литгазете должна выйти моя статья о В.С. Розове, посмотри при случае.

(Статья «Старейшина» появилась в «Литературной газете» в августе 2003 года к 90-летию В.С. Розова. А к 100-летию моего учителя по Литинституту в издательстве «Литературная учебка» вышла моя книга «СВЕТ РОЗОВА», вокруг которой в сентябре 2013 года состоялся «круглый стол» на Иркутском театральном фестивале им. А.В. Вампилова в пресс-центре театра им. Н.П. Охлопкова. К сожалению, моих друзей-писателей Иркутска, спутников Вампилова, Г. Машкина, Р. Филиппова, Е. Суворова, уже не удалось пригласить на эту презентацию. Успела прочитать книгу в оригинал-макете и очень хотела выступить по ней Вера Сергеевна Филиппова, бывший завлит театра и жена Ростислава. За пару дней до «стола» мы с ней виделись в ТЮЗе им. Вампилова, где она постоянно сотрудничала. А буквально в ночь перед «круглым столом» Вера Сергеевна скончалась после обширного инфаркта, а может быть, инсульта.)

Материал Гены Машкина о встречах с Астафьевым, который он мне дал при нашем последнем застолье в его квартире, я давно передал в «Литературку». Недавно спрашивал, там говорят, что — в «портфеле», ждет повода. Я скоро Г.Н. тоже черкну, как закончу его толстую книгу, пока на середине.

Очень хочется опять добраться до Иркутска, надеюсь, осенью получится.

Сочувствую твоим переживаниям по поводу большой и почти бесплатной работы. Дело это все же доброе и, даст Бог, зачтется. Во всяком случае, твои ученики наверняка благодарны и, как говорятся, «понесут эстафету».

Был на вечере Евтушенко в Политехническом. Прилично, но не более того. Все же слабеет поэт и физически, и творчески. Но для 70 лет держится неплохо.

Пока, дружище, искренне обнимаю, береги здоровый глаз. Володя Попов.

(Насчет глаза я напоминал не случайно. Евгений Адамович много лет, а скорее десятилетний пестовал многих молодых литераторов, читал массу рассказов, повестей, романов. Собирали из них сборники. А здоровый глаз был единственный!)

22 октября 2005 года

Женя, осенний привет!

Несколько раз пытался тебе звонить, но что-то тишина. Видимо, ты проводил сентябрь и начало октября на даче?

Я прочитал твои очерки «Мы вернемся в деревню» и со всей большевистской прямоотой заявляю: это замечательная книга. Она, несомненно, имеет все основания войти в духовную сокровищницу и вашего сибирского региона, и всей России.

Признаться и название, и сама деревенская тематика для меня совсем не близки. Читать я начинал без особого рвения, сначала освоил главки про Вампилова, потом начал сначала. И довольно быстро увлекся, и твоим образным, сочным, вкусным языком, и твоими коренными, природными героями, и твоим проникновенным, искренним, чистейшим отношением к родным местам и людям, их населяющим. Когда читал второй раз про Вампилова уже по порядку, то ваша поездка и все ее эпизоды воспринимались гораздо глубже и интереснее, чем при первом беглом чтении.

Так что спасибо, Женечка, за удовольствие. Сейчас в ближайших планах — перечитать твою прозу.

С твоей подачи пообщался с Валерием Хайрюзовым. Он позвонил, представился, передал твой привет. Попросил прочитать пьесу. Я прочитал и высказал ему свои впечатления и замечания. Пьеса пока совсем сырая и весьма «прозаическая». Нет драматургической пружины, нужной стройности сюжета и развития конфликта. Главное — персонажи говорят в основном прозаическим языком, который имеет удельный вес в десять раз ниже, чем должен быть в драматургии. Все это я ему сказал и обосновал. Вроде Валерий понял правильно, поблагодарил, сказал, что продолжит работу с учетом... Пока больше не звонил.

У меня все крутится, к сожалению, на бытовом уровне. Зарабатываю деньги коммерческой журналисткой. Писать пьесу или прозу времени и энергии почти не остается. И годы уже сказываются, и здоровьишко уже не то, и лень-матушка. Все же к своему 60-летию в следующем августе надеюсь какую-то книгу подготовить.

В ноябре собираюсь слетать дней на 5 в Иркутск. Матушке совсем плохо, боюсь, зиму не переживет.

(К сожалению, почти угадал, мама моя, Попова Тамара Федоровна, умерла 3 апреля 2006 года.)

Что у тебя? Закрыв дачный сезон, слава Богу. С этой тяжкой работой лучше бы завязать, она уже явно не на пользу. Передай это мое мнение неутомимой Тамаре.

(На свою беду в последние годы чета Суворовых завела довольно большой участок и плотно занималась летом садоводством-огородничеством. Одна поливка с тяжёлыми ведрами чего стоила... Здоровья Евгению это точно не прибавляло.)

Мне проще писать на компьютере, но надеюсь получить от тебя письмо, хоть и от руки.

Пока, дорогой иркутянин-шангинец, обнимаю, Володя Попов.

28 июля 2006 года

Женя, свежий привет!

Благополучно долетел «Сибирью» до Москвы и уже малость адаптировался.

В последний день звонил в Союз, тебя там не обнаружил днем, видно, ты закрутился. Да и у меня было много дел, так что не попроцались толком. Но все же посидели в «Снежинке» и побродили по Иркутску славно в этот раз.

Вас. Вас-ч Козлов «по диагонали» глянул мои «Этажи МГУ», обещал передать тебе. Прочитай, пожалуйста, надеюсь, скучно не будет. Это опять же автобиографическая проза, наверно, можно назвать документальной повестью. Некоторые имена изменены, особенно, что касается девушек.

(Евгений Адамович, как всегда отзывчиво прочитал мою новую повесть о студенческой жизни — личной пятилетке в МГУ. Говорил, что будет рекомендовать к публикации. Но этого

не потребовалось. В конце 2006 года «Этажи МГУ» напечатал красноярский журнал «День и ночь», который возглавлял его создатель и неутомимый главный редактор Роман Солнцев. Тоже, кстати, участник Читинского семинара 1965 года, спутник Вампилова, Филиппова, Машкина, Суворова...)

Посылаю и старое письмо, которое сохранилось в компьютере.

Привет Тамаре с пожеланием освободить тебя от дачной каторги.

Обнимаю и жду весточку, Володя

19 марта 2009 года

Женечка, привет!

Я тут взял твою книгу с полки да и перечитал повести «Дом на поляне» и «Совка». С огромным удовольствием, доложу я автору. Первый раз, скажу честно, листал по диагонали. А сейчас, видно, постарел (ты мне ее дарил 12 лет назад), помудрел, почувствовал весь аромат твоей прозы. Позвонил Олегу Перекалину (мой старый друг-драматург, в Иркутске, кстати, шла его пьеса «Горячая точка» в начале 80-х). Говорю: «Олежка, я читаю обалденного сибирского писателя Евгения Суворова. Проза у него, если одним словом — душистая, передает все запахи леса, деревьев».

А какие мощные характеры, прямо типы народные. От «Совки» я балдел вслед за автором, донес ты все переживания и страдания по прелестной, загадочной, недоступной и, увы, недоступной женской сути.

Конечно, хотелось, чтобы у автора с дочкой чего-то сладилось, и вроде к тому шло (полгурца туда-сюда), но не сложилось. Обидно, досадно, но, наверное, правильно.

В общем, спасибо за удовольствие, дружба.

Я-то настоящей художественной прозой не владею, все бегом, действие тащю, психологию отчасти. А описания природы, портреты, движения души как-то не вырисовываются.

Теперь о твоей книжке-очерке о Вампилове. Повез в пятницу десяток экземпляров в магазин. Там какая-то мымра говорит: не берем книги вообще. Кризис, никто ничего не покупает. Я так и сяк, бесполезно. Сегодня напечатал на листочке крупный слоган:

ОЧЕРК и РЕДКИЕ ФОТО Александра ВАМПИЛОВА

Приклеил к обложке наверху, повез опять. Со скрипом, но три штуки взяла. С условием, что если за месяц не продадут, то я забираю обратно. Ну, я думаю, что с такой рекламкой процесс пойдет. Книжка стоит в общей полке, где штук пятьдесят книжек. Мало кто до тошно просматривает и раскрывает, а здесь уж точно обратят внимание. Так что жизнь покажет. Такие, брат, дела.

Вышел журнал «Слово Забайкалья», я посылаю знакомой литераторше в Читу рассказ «Перехлест», его вдруг и напечатали. Пустячок, без гонорара, но все же...

Обнимаю, дорогой, добивай повесть, и летом, надеюсь уже купить с ней журнал.

И не гробься на даче. Обнял, Володя

Это письмо оказалось последним.

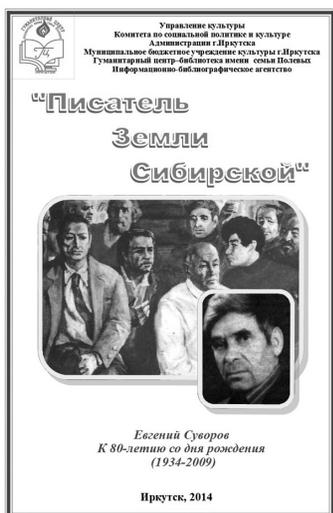
Однажды я навещал Женю в больнице, если правильно помню, на Ленина. Сидели, что-то обсуждали, вспоминали... Держался он бодро. Кажется, от него долго скрывали онкологию почек, говорили о разных способах лечения. Где-то буквально за месяц-полтора до рокового 1 августа я звонил ему, застал дома, и мы долго и душевно разговаривали. По сути, прощались. Женя уже знал о скором неминуемом исходе, но находил в себе силы интересоваться и моими делами, и моей семьей, и литературной Москвой, и политикой... По-разному ведут себя люди «за пять минут» до ухода, зная о своей неизличимости. Помню, один мой близкий творческий друг, вполне бодрый еще мужчина в свои 70 лет, вдруг узнал о запущенной онкологии простаты. Обычно по телефону он был приветлив, словоохотлив и любознателен. В процессе болезни замкнулся и потерял к действительности и собеседнику всякий интерес. Евгений Адамович Суворов думал не только о себе и своей болезни до последних дней.

Женечка прожил достойнейшую жизнь и в литературе, и в отношениях с людьми, и во всех своих делах и поступках. Память о нем чиста и светла, думаю, у всех, кто его знал, уважал, любил или даже просто коротко соприкоснулся на жизненном пути.

Август 2014 года, Химки

«Писатель Земли Сибирской»

Литераторы — о Евгении Суворове



Евгений Адамович Суворов родился 30 октября 1934 года в деревне Жизневка Иркутской области. Кроме него в семье было еще четверо детей. Отец-фронтовик работал сельским учителем, мать трудилась в колхозе. Мальчик рос, как и многие сельские ребята его поколения, разве что был более начитанным и наблюдательным.

Став взрослым, Е. Суворов писал: «Чтение великих мастеров слова безо всякого заучивания правил позволяло мне писать изложения и диктанты без ошибок, и по русскому устно мне ставили пятерки, не спрашивая...»

«Не знаю, что на меня подействовало — окружающая природа, таинственная соседка, книги русских писателей, которые я читал чаще всего ночью, когда все спали, но к пятому классу я заполнил своими стихами две школьные тетради, — пишет прозаик в одной из своих повестей. — Дед мой сумел

разглядеть, что я сочиняю стихи, и стал первым моим читателем. В тот год Америка напала на Корею, и я в одном из стихотворений заступался за маленькую восточную страну. К лирическим стихам дед отнесся спокойнее, а вот стихи про Корею посоветовал послать в районную газету, в которой они очень скоро были напечатаны, да еще за них деньги прислали.

Приведу строчки, которые в особенности понравились деду:

*Руки прочь от Кореи, захватчик,
Трупами ты ее всю устлал,
Поверни автомат, автоматчик,
На того, кто тебя в бой послал.*

Я, помню, пытался убедить деда, что лирические стихи лучше получились, красивее, но дед настаивал на своем:

— Красивые стихи ты еще напишешь, а Корею надо помочь сегодня. Тут каждый час дорог».

«Это был человек щедро одаренный способностями. Уже в школе он писал без ошибок, поражая учителей и сверстников. Легко запоминал наизусть стихи и прозаические отрывки. За сочинение, написанное на вступительном экзамене в университет, ему, выходящему из деревни, поставили пятерку с плюсом!» — вспоминали впоследствии друзья писателя.

О том, как начинался прозаик Суворов, коротко и веско отозвался его ровесник, коллега по «Молодежке» (где, собственно, и складывалась та самая «иркутская стенка»), писатель Альберт Гурулев: «У Жени Суворова не было ученического периода. Его первые рассказы «Волчьи ягоды», «Лесные колодцы» мастерски сделаны по языку. Он литератор от Бога...»

Писатель, издатель Александр Лаптев вспоминал: «На протяжении нескольких десятков лет он (Е. Суворов) руководил секцией прозы на знаменитой конференции «Молодость. Творчество. Современность». Никто другой не мог так искренне и проникновенно сказать автору о его ошибках и достоинствах. Ему верили безоговорочно. Самые трудные случаи — путанные рукописи, неадекватные авторы, самопровозглашенные гении и тихие скромники — всё обращалось к Суворову, и везде он наводил порядок и вносил гармонию,

давал справедливые оценки, подбадривал и осаживал, редактировал, помогал выстроить композицию и указывал верное направление. И все успокаивались и признавали правоту Суворова. Все безотчетно чувствовали его превосходство — не только литературное, но и жизненное, душевное, психологическое, превосходство житейской мудрости и доброты.

Я сам ощутил все это на себе. В 1993 году, когда я принял участие в очередной областной конференции, Суворов, как обычно, возглавлял секцию прозы. Кроме него в нее входили еще четыре писателя. Я шел на конференцию без особых надежд, не веря, что найдутся люди, которые меня поймут и оценят (я чувствовал себя тогда чем-то вроде непризнанного гения). И опустил меня на землю Евгений Адамович. Причем сделал это очень деликатно, умно и убедительно, за что я ему благодарен до сих пор (и не только за это). Другие писатели тоже высказывались, ругали и хвалили меня. Но их слов я совершенно не запомнил. А все сказанное Суворовым я запомнил на всю жизнь. Вот это и есть талант настоящего наставника!»

Литературный критик Валентина Семенова пишет: «То, что Суворов стремился к классической чистоте слова, отмечали многие. Высветленность изображения придавала деревне Суворова иной, чем у других пишущих о ней, вид — она словно приподнята над тяжестью быта. В бревенчатых домах ее жителей можно увидеть картины, книги, а самим жителям свойственно более всего волноваться из-за чувств, а не из-за житейских забот».

Из личностных качеств писателя сразу выделилась черта, о которой заговорили, что называется, все в голос. Она и при жизни была хорошо известна, и прозаик Иван Комлев очень точно ее выразил, рассказывая, как вместе с Суворовым работал в секции прозы на конференциях «Молодость. Творчество. Современность».

— Мы с ним спорили постоянно. Потому что Евгений Адамович готов был поддержать каждого, порой совсем неумелого автора, за одну удавшуюся фразу.

Так оно и было! Помнится, многие не понимали, зачем он все возится с молодыми — сначала правит их рукописи, потом проталкивает в печать. Но результаты есть, и о них напомнили подопечные — давние и недавние.

Валерий Хайрюзов, ныне известный прозаик, автор многих книг, признался:

— Если бы Евгений Суворов не встретился на моем пути, уверен, у меня была бы другая литературная судьба.

Из воспоминаний Александра Лаптева: «...На все ее (жизни) тяготы Суворов смотрел как бы свысока, и, находясь рядом с ним, я невольно проникался этим его снисходительным отношением к жизни. Да, жизнь трудна, подчас трагична, невыносима. Ну и что? Никогда не нужно опускать руки, пасовать перед трудностями. Нужно всегда идти навстречу опасности, смело смотреть ей в лицо — и не уступать!»

Евгений Суворов был не только замечательным писателем, великолепным стилистом и знатоком литературы. Прежде всего он был неравнодушным человеком, чутким ко всякой несправедливости. Он всегда вступался за обиженного, восставал против грубости, пошлости и хамства. Это было нерасторжимо с ним, ему не нужно было делать над собой усилие, чтобы решить, сделать замечание грубияну или промолчать, выступить против несправедливости или остаться в стороне. То, что другим дается долгим воспитанием и упорной работой над собой, было дано ему от рождения, являлось неотъемлемым свойством личности. И все это чувствовали, но не всем это нравилось...

...Евгений Суворов прожил долгую жизнь — до своего юбилея он не дожил трех месяцев: 30 октября 2009 года ему исполнилось бы семьдесят пять лет. Предчувствуя близкую кончину, он готовил итоговую книгу, писал для нее повесть с чудесным названием «Солнце светит всем» (вольно или невольно перекликаясь с героем «Старшего сына» своего друга Александра Вампилова). Герой знаменитой пьесы Вампилова всю жизнь писал сюиту под названием «Все люди — братья!», но так и не смог ее закончить. В отличие от вымышленного персонажа, Евгений Суворов все-таки написал свою повесть... Как истинный художник, он работал до последнего дня и накануне смерти говорил о будущей книге, настаивал на ее публикации, хотя и понимал, что сам он ее не увидит, не подержит в руках. Но ведь не для себя же писал он свои замечательные повести и рассказы: «Совка»

(предисловие к которой написал Валентин Распутин), «Соседи», «Не плачь, ястреб», «Голос», «Мне сказали цыгане...», «Шалодон», «Четвертое письмо», «Над обрывом», «Этажом выше», «Волчьи ягоды», «Лесные колодцы» и другие. С большой теплотой о его творчестве отзывался Виктор Астафьев. Авторами рецензий на книги Суворова становились ведущие критики страны: Н. Федь, В. Дробышев, Н. Антипов, А. Панков, Н. Котенко и ряд других».

В статье «Уроки Евгения Суворова» А. Лаптев писал: «Не знаю насчет других, но Евгения Суворова будут помнить и через пятьдесят лет, и через сто. По книгам его будут учиться литературному мастерству, а вся жизнь его — наглядный урок того, как нужно пройти отмеренный путь и остаться при этом человеком, не изменить себе. Если когда-нибудь будет издана хрестоматия сибирской литературы, то в нее обязательно будут включены произведения Суворова — наравне с произведениями Вампилова, Распутина, Машкина, Зверева, Кунгурова, Седых, Жилкиной, Гольдберга, Луговского, Ольхона, Уткина, Алтаузена, Нилина, Зарубина, Преловского, Молчанова-Сибирского, Петрова, Мажаревского, Маркова, Кузнецовой, Кукуева, Таурина, Михасенко, Самсонова, Филиппова и других мастеров слова».

Библиография

1. Евгений Суворов // Писатели Приангарья: биобиблиографический справочник / сост. В.А. Семенова. — Иркутск, 1996. — С. 125–128.
2. Иркутск: Историко-краеведческий словарь / науч.-ред. совет А.В. Дулов [предисл.]; худож. С. Григорьев, Н. Кондратьева. — Иркутск: Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2011. — С. 479.
3. Кобенков А. Иркутск: новое положение / А. Кобенков // Знамя. — 2001. — № 1. — С. 178–186.
4. Кокшенева К. Облик дарованный: современная проза иркутских писателей / К. Кокшенева // Москва. — 2001. — № 9 — С. 88–97.
5. Лаптев А. Уроки Евгения Суворова / А. Лаптев // Восточно-Сибирская правда. — 2009. — 3 сент. — С. 3.
6. Летопись города Иркутска . 1941–1991 гг. / сост., предисл. и примеч. Ю.П. Колмакова. — Иркутск: ООО НПФ «Земля Иркутская»; «Оттиск», 2010. — С. 308, 430, 559, 602.
7. Машкин Г. Стенкой и в одиночку: воспоминательное повествование / Г. Машкин. — Иркутск: Издание ГП «Иркутская областная типография № 1», 1998. — С. 143, 182–184.
8. Мир Александра Вампилова: Жизнь. Творчество. Судьба: материалы к путеводителю / сост. Л. Иоффе, С. Смирнов, В. Шерстов. — Иркутск: Издание ГП «Иркутская областная типография № 1», 2001. — С. 53, 56, 124, 406.
9. Попова М.П. Суворов Евгений Адамович: 75 лет со дня рождения / М.П. Попова // Приангарье: годы, события, люди: календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2009 г. / сост. Л. Казанцева; ред. С. Рудых. — Иркутск: Изд-во ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского, 2008. — Вып. 42. — С. 139–142.
10. Семенова В. Человек из «иркутской стенки» / В. Семенова // Восточно-Сибирская правда. — 2010. — 17 авг. (№ 120). — С. 4.
11. Семенова В. Вместе с бурями века: Краткий обзор имен и книг к 75-летию Иркутской областной писательской организации / В. Семенова. — Иркутск, 2007. — С. 40.
12. Суворов Евгений Адамович // «Кто есть кто в Иркутске и Иркутской области. Who is who in Irkutsk and region». — Иркутск: Издание ГП «Иркутская областная типография № 1», 1999. — С. 177: фот.
13. Суворов Е. Совка: повесть / Е. Суворов; предисл. В. Распутина // Новый мир. — 1984. — № 12. — С. 41–54.
14. Суворов Е. Один Наташин взгляд: из новой повести / Е. Суворов // Сибирь. — 2006. — № 6. — С. 18–45.
15. Суворов Е. Голос муравьиного царя: рассказ / Е. Суворов // Сибирячок. — 1987. — № 1. — С. 27–36.

16. Суворов Е. Совка: отрывок из повести / Е. Суворов // Сибирячок. — 2004. — № 4. — С. 6.
17. Суворов Е. Где жить ласточке / Е. Суворов // Сибирячок. — 1994. — № 2. — С. 38–39.
18. Суворов Е. Волчьи ягоды / Е. Суворов // Иркутск. Бег времени: в 2 т. / сост. А. Лаптев. — Иркутск: Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2011. — Т. 2: Автографы писателей. Кн. 2: Проза. — С. 381–385.
19. Суворов Е. Этажом выше / Е. Суворов // Антология иркутского рассказа. XX век / сост. С. Китайский [и др.]. — Иркутск: Иркутский писатель, 2003. — С. 201–223.
20. Суворов Е. Совка; Перевал; Облава; Луговой мотылек; Не попомни зла: повести / Е. Суворов, В. Астафьев, Е. Гушин [и др.]. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1992. — 480 с.
21. Суворов Е. Дом на поляне: повести и рассказы / Е. Суворов. — Иркутск: Письмена, 1995. — 350 с.
22. Суворов Е. Совка: повести и рассказы / Е. Суворов. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1985. — 240 с.
23. Суворов Е. Соседи: повести и рассказы / Е. Суворов. — М.: Современник, 1980. — 320 с.
24. Суворов Е. Соседи: повести / Е. Суворов. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. — 384 с.
25. Суворов Е. Не плачь, ястреб / Е. Суворов. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1982. — 320 с.
26. Суворов Е. Мне сказали цыгане...: рассказы / Е. Суворов. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. — 32 с.
27. Суворов Е. Три дня в деревне / Е. Суворов. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989. — 192 с.
28. Суворов Е. Мы вернемся в деревню: очерки разных лет / Е. Суворов. — 2-е изд., испр. и доп. — Иркутск: Иркутский писатель, 2005. — 224 с.
29. Суворов Е. Мы, бежавшие от заката: очерк о Вампилове / Е. Суворов; фот. Г.В. Афанасьевой-Медведевой. — Иркутск: Иркутский писатель, 2007. — 64 с.
30. Суворов Е. Этажом выше; Голос / Е. Суворов // Иркутский рассказ: сборник / сост. Л. Васильева. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. — Вып. 2. — С. 139–179.
31. Суворов Е. Вот где красота...: Избранное: повести, рассказы / Е. Суворов. — Иркутск: Сибирская книга, 2010. — 480 с.
32. Суворов Е. Три дня в деревне: очерк и рассказы / Е. Суворов. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989. — 192 с.
33. Суворов Е. Соседи / Е. Суворов; вступ. ст. В. Астафьев; ред. Л. Иоффе. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1975. — 256 с.
34. Суворов Е. Очарованное сердце: повесть, рассказы, очерки / Е. Суворов; ред. А. Лаптев. — Иркутск: Репроцентр А1, 2011. — 420 с.
35. Суворов Е. Мы вернёмся в деревню: очерки разных лет / Е. Суворов. — Иркутск: Иркутский писатель, 2002. — 224 с.
36. Телеев Л. «А значит, есть надежда» / Л. Телеев // Культура. Иркутск. — 2003. — Март (№ 3). — С. 5.
37. Ходий В. «В вашем материале есть цифры, которые нельзя публиковать»: журналисты «Восточки» 1960-х не обходили острые темы / В. Ходий. — Восточно-Сибирская правда. — 2012. — 18 сент. — С. 4.

*Оксана ЗАПОЛЬСКАЯ,
зав. сектором деловой информации
Гуманитарного центра-библиотеки им. семьи Полевых*



Дом литераторов: чем живы?



Выставка книг иркутских авторов.
Библиотека им. В. Алексеева, г. Ангарск

Дом литераторов (ИДЛ) звание учреждения культуры оправдал и не посрамил, изрядно удивив министерство культуры и архивов Иркутской области количеством мероприятий и охватом населения — при резком снижении финансирования и крайне ограниченном штате сотрудников. Впрочем, о финансировании, наверное, не стоит... Если раньше его называли «по остаточному принципу», то как назвать его сейчас? Антикризисным?

Должно быть, нам стоило бы вспомнить об особенностях русского национального характера. Однако — так или иначе — следует констатировать: опираясь на огромное литературное наследие (кто бы спорил?), сотрудники Иркутского Дома литераторов разработали целый ряд мероприятий, сделав ставку не на случайные, хотя и интересные творческие встречи, а на циклически повторяющиеся, с прицелом на продолжение этих тематически организованных вечеров (скорее, литературных гостиных) в следующем году — ведь уже весной 2014 года было известно, что 2015 будет Годом литературы, то есть сомнений, если они изначально и были, не оставалось: ставку следует делать не столько на настоящее, сколько на будущее. Таким образом, приводим перечень мероприятий, имевших место в ИДЛ в 2014 году:

— Три литературные вечера памяти ушедших из жизни иркутских поэтов и писателей с символическим названием «Салют юбиляру»: Д. Маляревского, Г. Кунгурова, Л. Огневского, П. Реутского, Г. Замарацкого, Б. Костюковского, В. Мариной, В. Киселёва, Ю. Аксаментова, Л. Щедровой, Н. Чаусова, В. Алексеева, К. Седых;

— Праздник духовной (в обоих смыслах слова) поэзии, приуроченный к ежегодным Дням русской духовности и культуры, проводящимся по всей России, а также юбилею преподобного Сергия Радонежского;

— Молодёжный дискуссионный клуб «ATIS», поднимающий вопросы этики и морали в свете обсуждения литературных произведений (на первом заседании клуба была обсуждена повесть А. Донских «Мы на лодочке катались...»);

— Литературные уроки, посвящённые Дню победы, Дню российского флага, Дню Байкала;

Год две тысячи четырнадцатый — миновал. Он прошёл под знаком объявленного президентом России Года культуры, и это сделало его гораздо более интересным и традиционным для России, ибо исчислять года и десятилетия под знаками культуры, литературы, больших географических и этнографических открытий для российской интеллигенции как-то привычнее, чем под знаками змеи, быка, овцы или кабана... Посеребряней... Да и устали мы ждать милостей от создателей коммерческих самопальных гороскопов.

Впрочем, здесь всё было очевидно с самого начала: хотите поднять уровень культуры — поднимайте. Хотите восславить литературу — славьте! В этом смысле Иркутский областной



Выступление Е. Оводневой (диплом II степени, секция «Поэзия»). Иркутский Дом литераторов



*Актёр театра «Слово» О. Силаев.
Иркутский Дом литераторов*

— «Уроки мужества», посвящённые Дню защитника Отечества (данные уроки проводились для учащихся учебных заведений Иркутска и Ангарска о генерал-полковнике авиации Владимире Михайловиче Безбокове, Герое Советского Союза; организованы они совместно с Фондом по присвоению В.М. Безбокову звания Почетного гражданина города Иркутска, в честь утверждения этого звания — чести скорее городу, нежели самому В.М. Безбокову);

— «Вечер солидарности с братской украинской культурой», с участием Центров украинской культуры «Днипро» г. Иркутска и Центра славянской культуры из г. Ангарска;

— «Баранкин день» — озорной литера-

турно-фольклорный праздник к Дню защиты детей;

— «Сибирячок» в гостях у «Сибири» — встреча редакционных групп детского и взрослого литературных журналов, с кукольным театром, викториной и играми для детей;

— Презентации журнала «Сибирь» в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском;

— Спектакли по произведениям иркутских авторов любительского театра «Слово»;

— Конкурс чтецов «Сибирская лира»;

— Конкурс работ юных литераторов «Проба пера»;

— «Лермонтовские чтения» и литературно-музыкальные композиции по произведениям М.Ю. Лермонтова;

— Проведение областной молодёжной литературной конференции «Молодые голоса»;

— И, разумеется, — «Сияние России», включавшее в себя три десятка выступлений гостей праздника в вузах, музеях, библиотеках, на театральных площадках г. Иркутска и два десятка выступлений в различных филиалах ЦБС иркутских писателей.

Все перечисленные мероприятия имели конкретную цель: расширить имеющееся вокруг Иркутского дома литераторов культурное пространство, вернуть былую значимость этого учреждения для жизни города, забывшего, сколько всего было когда-то связано в Иркутске с «Домом со львами»: если старшее поколение ещё помнит лектории и яркие встречи с писателями на Степана Разина, то молодое поколение, к сожалению, ищет новые и нередко не самые лучшие пути самореализации, минующие ИДЛ.

Да бог бы с ними, с путями, где надо и не надо прокладывающими «свои колеи» по правилу «пусть сопливенькое, да своё». Беда в крайне низком культурном уровне «прокладчиков», частенько декламирующих свободу от элементарного здравого смысла, а не только от грамотного литературно-русского языка.

Вот почему так важна и необходима организация деятельности по руководству многочисленными литературными объединениями со стороны того учреждения, которое для этой цели, собственно, создано и к данному виду деятельности призвано, в масштабах нашей области, по крайней мере.

С этой целью была проведена конференция «Молодые голоса». Претенденты на участие были ограничены возрастными рамками от 17 до 32 лет, однако ограничений по жанрам и родам литературы не существовало. Справедливости ради надо заметить, что конкурсанты этой уступкой практически не воспользовались: из модернистских была представлена только одна работа — в жан-



*Конкурс чтецов «Сибирская лира».
Музей народного творчества*



«Сияние России» — 2014.

*Слева направо: Н. Зарубин, Е. Третьякова,
З. Костич, И. Тюленев, Н. Алешков, В. Скиф*

ре фэнтези 18-летней шелеховчанки, остальные представили работы вполне традиционные. К судейству в жюри были привлечены сотрудники самых разных общественных организаций, учреждений культуры и учебных заведений — члены Иркутского регионального отделения Союза писателей России, члены Союза российских писателей, библиотекари, сотрудники печатных изданий, члены городских и районных ЛИТО (литературных объединений), педагоги дополнительного образования и общеобразовательных школ. Конференция проводилась сначала в регионах, а затем победители регионального тура были приглашены в Иркутск, где им были присуждены шесть дипломов: три — в секции прозы, три — в секции поэзии. Оба первые места заняли девушки: Валерия Долмачёва из Братска и Кристина Красовицкая из Черемхово. Парни представили неплохую, хотя и несовершенно прозу. Юрий Харлашкин, например, замахнулся на эпический труд — роман о Кирилле и Мефодии, великих славянских просветителях. Замысел и зачин романа были признаны весьма достойными, но было видно, что называется, невооружённым глазом — произведение примет окончательную форму ещё очень не скоро. Члены жюри искренно пожелали автору удачи в его титаническом труде, но присудили ему только третье место.

В 2015 году организаторами конференции планируется выпуск коллективного сборника по итогам конференции, с проведением ряда широкомасштабных презентаций в разных городах области, призванных привлечь внимание читающей публики к заявившим о себе юным талантам.

«Лермонтовские чтения» — чтения произведений М.Ю. Лермонтова, проводимые ИДЛ в разных школах и вузах в течение двух месяцев, показали, что контакт представителей молодого поколения с творчеством их гениального ровесника, как и прежде, неизменно высекает отклик «из пламя и света рождённого слова» в их неискушённых душах. Что и требовалось доказать! Созерцать этот процесс было приятно необыкновенно! Литературно-музыкальная композиция «Я не для ангелов и рая», поставленная руководителем театра «Слово» В.С. Просекиной, объединённая в единое целое со спектаклем «Тамбовская казначейша» Иркутского областного училища культуры, имела такой огромный успех, что её, по просьбе зрителей, желающих принять участие в «лермонтовских чтениях» — второй части представления, пришлось повторить ещё раз. А теперь, в 2015 году, будет показана третий раз, уже в стенах Иркутской филармонии.

О любительском театре «Слово» Иркутского дома литераторов нужно говорить особо: этот коллектив под руководством заслуженного деятеля культуры В.С. Просекиной отличается от других самодеятельных коллективов двумя принципиальными критериями в отборе литературного материала: во-первых, предпочтение отдаётся иркутским авторам (80 % репертуара); а во-вторых, что важнее, этот театр делает ставку на художественную основу текста, а не на одну только драматургическую коллизию — со сцены звучат не только реплики персонажей, но и озвучиваются авторские комментарии к ним, то есть напрямую звучит СЛОВО автора. Это так ценно, когда речь идёт о переносе на подмостки произведений В.Г. Распутина! Премьера спектакля «Лабиринты любви», подготовленного к сезону 2014 года, совершенно невероятным образом «склеенного» из стихотворений иркутских поэтов так, что их последовательность и внесённые сценические находки превратили разнообразные, ничем не связанные между собой произведения в одно монолитное, развивающееся действие,



*«Лермонтовские чтения» Выступает ученица
иркутской школы № 66. А. Воробьева*



*Выступление лауреата конкурса
«Сибирская лира» М. Осташук*

Великой Отечественной войны в данном спектакле — что видно по названию — вызывает к зрителю и требует объяснений по поводу событий сегодняшнего дня. Режиссёр, вмешавшийся в действие, остановивший его, с глубокой скорбью сообщает зрителю о фактах сноса памятников советскому воину-освободителю в современной Европе, о возрождении фашизма. Режиссёр стал в этом спектакле главным действующим лицом — вокруг него концентрируется внимание, он ведёт за собой, предлагает зрителю включаться в действие на ментальном уровне. Эта творческая находка привела В.С. Просекину к идее создания проекта, перешагнувшего рамки одного спектакля — проекта «Вахты памяти» 2015-го года, когда на сцене Иркутского Дома литераторов собрались самые разные коллективы из Ангарска, Усолья, Иркутска и Шелехова, чтобы поделиться своими мыслями о Второй мировой войне. Так, спектакль перерос себя, превратился в череду мероприятий, призванных мобилизовать организаторов, актёров и зрителя вокруг идеи неприкосновенности священной памяти о наших отцах, дедах и прадедах, сложивших головы в боях с фашизмом. Актуальнее темы сейчас не найти! И прошедшая 8 февраля первая «вахта» «породила» ещё одну идею — идею создания и распространения в СМИ и интернете «Воззвания «Вахты памяти», суть которого выражается в гневном протесте против попыток искажения истории, попыток украсть у нас дорого доставшуюся победу, очернить нашу скорбь и развеять славу.

Вот так, одна из другой, логично и закономерно, отвечая требованиям времени, вытекают акции (ибо это уже и не мероприятия, это акции — протеста, солидарности), проводимые коллективом Иркутского Дома литераторов. Из идеи «Вахты памяти» родились уроки для школьников «Горящее сердце», посвящённые Дню юного антифашиста.

Начался 2015 год. Год литературы. Мы не знаем, что день грядущий нам готовит. Но мы знаем, чем и как встретим его!

стала необыкновенно удачным шагом в развитии выбранного В.С. Просекиной жанра, фактически не имеющего названия: балансирование на грани театрализованного художественного чтения текстов, с внесением в него элементов пантомимы, танца, музыки и пения вряд ли обозначается каким-либо специальным термином, но зрителям доставляет удовольствие необычайное!

«Лабиринты любви» с большим успехом «прокатились» с гастролями по области и вернулись в Дом литераторов, чтобы начать подготовку к другой постановке — «О великой Победе с радостью и тревогой», инсценировке стихов иркутских поэтов, посвящённой Дню Победы. Трепетное чувство преклонения перед героями



*Вечер солидарности славянских культур
«Славься, Русь моя!» На сцене ансамбль «Куртинка»
(Центр русско-славянской культуры г. Ангарска), на
переднем плане — М. Дидикова (театр «Слово»)*

*Светлана ШЕГЕБАЕВА,
член Союза писателей России*



Скифотворения о скифотворении

А что, Владимир Скиф нахулиганил, наскифотворничал в своей новой книге «Скифотворения» (Иркутск, 2014 г.), и мы — туда же!

Он *сотворил* себя, чтобы посягнуть даже на само солнце: *Поймаю солнце, // как мотылька, // и засушу на память* (1964 г.). И тогда же, девятнадцатилетним, он нам доходчиво разъяснил: *У каждой упавшей звезды // есть своя ёлка*. И в пятьдесят годков не успокоился, уча нас, растолковывая: *Мощнокрылое солнце, // как мельница, // машет крыльями лучей, // мелет звёздную муку, // а Господь // выпекает Вселенную* (1995 г.).

Он даже самого себя принялся учить — во вступительной части «Скифотворений» «Диалог с самим собой»:

— ...Почему «Скифотворения»?

— В книге опубликованы не просто стихотворения, а мои стихотворения, творения Скифа, то есть скифотворения.

— Тогда это открытие нового жанра, что ли?

— Не совсем так. Это, конечно, стихи, а не проза, но это ещё и моя поэтическая лаборатория, где выпекались новые поэтические формы. Допустим, стихи с рифмами не в конце строки, а в начале... или стихи, где по звучанию совпадает концовка предыдущей строки с началом следующей... или стихи со сквозным прорифмовыванием... Правда, стихи такого порядка писали и другие поэты, допустим, Борис Пастернак...

— А графическое стихотворение — это что такое?

— Графические стихи — не моё изобретение, такие стихи писали и другие поэты, например, Андрей Вознесенский. У меня в книге их несколько. Сочинять или рисовать графические стихи не так-то просто...

— Теперь рассказывай про звуковые стихи. Как их понимать?

— Это стихи, в которых очень много близких по звучанию слов. Я как-то своему внуку Лёне прочёл подобные стихи, он тут же назвал их звуковичками... Как точны дети в языке!..

— Любопытно! А какова сверхзадача подобного творчества?

— А она обязательна — эта твоя сверхзадача?.. Мне всегда нравилось экспериментировать, искать что-то новое, неожиданное. Это было предельно интересно, прежде всего, мне самому. А если это станет интересно и читателю, то сверхзадача выполнена... Стихи живут своей, им подаренной жизнью...

Но вначале, перефразируя самого Владимира Скифа, — поэт живёт своей, ему подаренной жизнью. И этой жизнью он творит свою судьбу, а судьба помогает творить стихи, а стихи — судьбу. Круговорот круговоротов, движение движений, в которых даже *Солнце выпало // из гнезда рассвета* (1963 г.), а — *И стол, и стулья безобразны // в своём немислимом // спокойствии, // в своём железном средоточье // не подчиняться мне... // Они устали // и мне сказали: — Помолчи!* (1989 г.) И невозможно оспорить слова из «Диалога с самим собой»: «Наверно, в каждом поэте, в каждой книге живёт определённая тайна. Без тайны и таинственности нет поэзии. Вся поэзия — это великая тайна».

Владимир Скиф не простой человек и не простой поэт. Недаром, видимо, он порой может сказать: *Сижу на вражеском пиру // или на дружеской пирушке?! // Мои собратья по перу, // наполним ядом наши кружки!* Или ещё крепче: *От моего дома // во все стороны // расходятся // тернистые пути. // Иду по терниям, // несу венок терновый, // колючки мне царапают лицо. // За что? За что? // За опium рассвета. // За что? За что? // За опус на столе. // За что? За что? // За вихри поцелуев. // За что? За что? // За музыку души...*

Да, жди от людей, что они поблагодарят тебя за творчество! А если ты ещё и счастлив!..

О нём невозможно сказать: он вот такой человек или вот такой он поэт. Он — тайна. Он тайна даже, кажется, для самого себя: *Ищу кого-то, // входит кто-то... // Но этот // кто-то // был не тот. // Он всюду ищет // не кого-то, // и не находит никого.* «Кого-то», «кто-то», «не тот», а кто тот? Может быть, отгадка здесь: *Вчера колибри // маленький // разбился: // ему какой-то // попугай-завистник // осенней ночью // крылья подменил...* «Попугай-завистник» — хотя и ещё одна загадка, но мы всецело переходим на сторону поэта, потому что поэты так ранимы, потому что они живут «музыкой души».

Его путь по жизни в литературе — путь преодолений, разочарований, но и восторгов, которые неизменно у творческого человека связаны с открытиями, озарениями, читательской благодарностью, вниманием. Об этом ясно и ярко, а порой яростно рассказала нам книга «Скифотворения».

И юношей восемнадцати-двадцатилетним — *Меня удивило, // что ты // не боишься времени. // А я тороплюсь жить, // потом, уже будучи поэтом многолетним, — Небо тонет во мне, // я тону в небесах. // Небо тучи-стада // гонит через меня, // Я отару стихов // через небо гоню,* — он не сдаётся и не сдаёт её, поэзию свою, да и всю поэзию в целом, хотя сколь неверна её планида: *Ты где, // поэт? Ты Богом зван... // И вот явился // графоман... // А где // Воспевший // Красоту? // Аму его! // Аму! // Аму!* (1973 г.)

Книга «Скифотворения» чем особо ценна и увлекательна, что охватывает творчество Владимира Скифа с восемнадцатилетнего возраста, с 1963 года, по 1995-й, а также немножко захватила 2011 год, когда поэту — уже шестьдесят шесть. Почти пятьдесят лет творчества! И в его поэтической лаборатории «выпекались» не только «новые поэтические формы», но и «выпекался» он сам как человек и поэт.

И — что выпеклось?

Из юноши с поэтической душой, каковых миллионы вокруг нас, выработался в ежедневных трудах и треволнениях оригинальный русский поэт Сибири. Он почувствовал в двадцать три, что что-то такое особенное, не общего порядка должно с ним стать: *Пророчьте мне, Главкомы, // заголовки — // вы будете меня короновать! // И краны, словно жертвы // на закланье, // для памятника камни понесут...* («Запрещённые стихи», 1968 г.) Конечно, написано не без озорства и молодечества, и стихи эти, похоже, в 1968 году не печатались, потому что далее такие слова — *Ко мне придёт однажды // Вознесенский, // предложит с денег // Ленина убрать, // и вместе с ним мы новую валюту, // как лучшие стихи, изобретём...* Но он, главное, не ошибся в своих ощущениях — стихи, поэзия, литература станут судьбой его. И ничто не может быть препятствием, заважкой, от кого бы они ни исходили! Потому что — *Из ниток дождя // мне сшили // смиренную рубашку. // А я — громоотвод.*

Стихи молодого Владимира Скифа — поэзия. Поэзия заразительная, дерзкая, опаляющая, и по форме и по содержанию она нередко такая, *чтоб совестью светиться...* или — *чтоб Пушкина веки // не забывали // русские сердца.* Это написано уже на исходе молодости, в 80-м, когда начало происходить, и с годами благодатно расширяться, такое явление-проявление, как *...и у меня наутро получился // Мой самый необузданный сонет!*

Я записался // добровольцем — // расстреливать // себя // ночами, — написано, правда, несколько раньше 80-го, но ей-богу — необузданный!

Молодая поэзия Владимира Скифа редко издаётся. А жаль!

А жаль, что заносит пылью времени многие-многие блестящие строки. Хочется ещё цитировать и, к примеру, привести — и записать их в свой дневник! — вот такие строки: *Тишина обрывалась, // как тонкая нить, // я связывал её // губами. // Это были // узелки // памяти.* Или — такие: *Небо ранено, // раны зияют, не заживая. // А вы говорите: // звёзды!* А вот, друзья поэзии и поэтов, ещё лучше: *Я жду ещё, я верю // в добродетель. // Обманутый, // обману удивлён. // Ещё на что-то доброе // надеюсь, // я ухожу // с последним кораблём* (1967 г.). Ну да стоп! Боимся, что потом кто-нибудь будет откапывать эти залежи поэтических блёсток, счищать с них пыль, а она, зараза, въедучая! и, чего доброго, этак как-нибудь неосмотрительно поцарапает или что-нибудь оставит без внимания — да смахнёт в общую кучу.

В его стихах много страхов, но они происходят не оттого, что жизни боязно, а оттого, что сделаем что-то не так, — и жизнь наша личная и вокруг станет беднее, бледнее. ...*А утром дети // во «Вторчермет» // сдают металлолом: // истрёпанные фразы, // ржавые сюжеты // и тонкое крыло // Экзюпери.* Да, и «тонкое крыло Экзюпери» можем выбросить, потому что стереотипно-обыденно подумаем: «А, собственно, куда его, на что оно нам?» Но поэт верит, что *Мы все // под боком... // Мы все — // под Богом.* А потому сущности своей, сущности борца, он не изменяет, как бы с ним ни обошлись люди: *Ах, странный случай — // я попал // под пресс пера. // О, пресса! // Шинкуют шинами // автобусы // тела газет, лицо асфальта. // Прочтите резолюцию // тупого властелина, // он отказал мне // в праве — сострадать.* Тут всё же чувствуется слеза, но через годы — *Хочу взрывать медведем разъярённым: // коль ты мой враг, не прячься за спиною! // Коль ты мой враг, открой своё лицо!*

Но что же бережёт поэта, его юно-ранимую душу? Собственно, то же, что и всех нас, потому он и интересен нам как поэт: *Упадёт капля дождя // на моё село, // на тесовую крышу // моего дома, // стечёт // по жёлобу разлуки // к маминой руке... // То детская моя слеза // из времени упала.* У него много поразительно проникновенных строк о маме, отце, родном доме, детстве, селянах. В каком-нибудь внешне нечаянном полуторастрочье — *У дома // сидел старичок, // растирал // больную руку. // Этой рукой // он остановил // войну* — поэт может рассказать о щемящей и большой правде жизни и истории, которую некоторые отчаянные головы всё-то хотят пересказать по-своему, казуистически выхолостив, главное, из неё правду, правду жизни.

Минутами отчаянно, но и протестующе, — *О, // одиночество! // Так ли // всемогуще // ты?* Однако одиночество зачастую — и дар для поэта, потому что сосредоточенность становится просто-таки зверской: видишь не только глазами, но, что называется, шкурой, а потому могут проявиться такие глубинные мысли и чувства: *Обернусь на себя, // увижу // уходящего вдаль // одинокого // странника.* И свою жизнь переосмылишь, будто перекаатаешь её вместе с бульжниками: *Почему-то // у меня // у моря // не стало // честных врагов // и милосердных друзей.* Это — вечное, это каждый из нас может спросить себя, но, конечно же, не каждый столь ярко может выразить, дерзновенно пройдясь по кромке глубокого парадокса-ямы. А в юности Владимир Скиф мог так воскликнуть, как, возможно, Маяковский: *Я — тоже мост, // вколоченный в планету, // несущий вечность // на спине.*

И — жить охота, с хрустом и треском!

Но молодой поэтической натуре и не вызреть в изначальной своей сущности-даре, если растерять веру в людей, в добродетель, в высшую, если хотите, справедливость. Юный Владимир не сдался, не свильнул с выбранного пути — вызрел, пройдя через свои ад и рай самотворения, которое он, уже будучи Владимиром Скифом, обозначил в своей последней (конечно, конечно же, крайней!) книге как *скифотворение* (удачно, что в этом слове расширительный смысл — рассуждая и познаваясь, можно столько всего охватить!), а потому и стихи, хотя и написанные давно, — какой-то новой симфоничности, нагущенные, как смола, свежими силами: *Человечество // не вымирает, // потому что // есть Отечество* (1993 год; а годы не простые!).

Но что бы ни было — Владимир Скиф безнадежный жизнелюбец. Он трогателен в любовной лирике: в молодых годах, мог, как ребёнок, попросить — *Позови ладони мои.* Или в классическом, а потому несколько театральном духе воскликнуть — *Меня губили // Ваши губы, // я очень глупо // умирал.* Или же, как коршун, налететь на читателя с неким окончательным и бесповоротным итогом-выводом, будто уже целую-целую жизнь отмахал, — *...Душою искалеченной // тебя не позабыть* (1969 г.).

Но поэт, если не философ, то это не совсем поэт, или даже совсем не поэт. А потому в спокойно-мерном тоне до нас доносится — *Верность. Неверие — // всё переплелось, как струи дождя.* И, возможно, в который раз — *ремонт души начну с рассветом...* А дальше — снова, снова она — любовь. И с верой. И с надеждой. И — с поступком: *Ресницы любимой // барьер / и // я // иду // стреляться // на дуэли // за всех // на свете // оскорблённых // женщин* (1972 г.; знаки препинания, к слову, отсутствуют; быть может, потому, чтобы ничто не мешало поступку. Шутим!).

Поэт-философ неизменно большой шутник, а то и ёра. Даже про любовь — с издёвочкой: *Розга твоего взгляда // сечёт моё сердце. // День ото дня // я приветствую // всё новые шрамы, // всё новые рубцы. // Как вкусно пахнет // свежая кровь! // Как ярко алеет на снегу // моё сердце!..* Но и любовь может ответить, при этом не забыв о каждом знаке препинания: *Мой телефон // молчит сегодня, // в нём пир молчанья. // Этот пир // устроен тобою, // чтобы я // молча // задохнулся в себе.*

И как повершение, и как благодарность и одновременно покорность Судьбе — зазвучал на весь белый свет, для всего честного народа гимн, с посвящением, редкостным в любовной лирике своей хотя и сугубо интимной, но окрылённой распахнутостью, — «Женечке»:

*Я этой осенью верен тебе
Я этой осенью вверен тебе
Я этой осенью нужен тебе
Я этой осенью мужем к тебе*

*Я в этой осени соло с трубой
Я в этой осени полон тобой
Я в этой осени встречен тобой
Я в этой осени вечен с тобой*

Вот тут бы мы здорово удивились и, кто знает, не заругались бы, встретить хотя бы одну-единственную козявочку-запятую! Здесь поёт душа поэта, а душа живёт по своим, маловедомым нами законам.

Но вернёмся, так сказать, к теоретическим аспектам темы жизнелюбия и самого Владимира Скифа и, соответственно, его стихов: что-то ещё из существенного мы не сказали, потому что с радостью сам поэт воскликнул: *Я понимаю // суть существования!* Но в чём же суть? Не в этом ли? — *Крылья // мешали мне спать, // и я вставал в полночь, // чтобы извлечь из них перо. // Ночь сползала // по стенам // на серебряный поднос утра. // Стихи не получались. // А рядом, за перегородкой, // у счастливых соседей, смеялся // маленький Пушкин.*

Да, мы порой хотим ясно и определённо сказать: суть существования — в творчестве, в развитии, через что мы и можем творить-созидать свои миры и себя в них. Но если уж быть совсем точным и справедливым, прежде всего, к самому себе, то — не хочется, не хочется, и всё ты тут! знать, в чём суть существования. Пусть и она и оно будут загадкой в нашей жизни земной, чтобы мы не расслаблялись, не успокаивались, не засиживались на одном месте, а — искали, переживая, отчаиваясь, воспаряя.

Ноты жизнелюбия, жизнерадостности поют на разные голоса, как птицы, то там, то тут в его стихах, и в молодых, и не очень. В двадцать шесть он заявляет, почти что с вызовом, — *Уйду бродячим псом // обнюхивать деревья, // хватать прохожих за штаны // и радовать мальчишек.* В тридцать — *Я пью зелёный чай, // выплёскиваю в горло // напиток обжигающий, // как солнце... // И — кажется, // что ночь необратима, // и пишется, // и думается всласть.* А в пятьдесят (или около этого) — похоже, что он — безнадежно безнадежный: *Перепутаю // Север с Югом, // перепутаю // утро с ночью, // потому что // открыл дорогу // в тёмном небе // длиною в жизнь.* Безнадежно безнадежный, конечно же, для греха уныния.

И если в период его поэтической зрелости и — её же — поэтической мужественности появляются такие стихи — *...И волка я нашёл в пустом лого // за дальней сопкой, за деревней, // еды принёс, он есть не стал, // он умирал в крови заката. // Прости меня, мой серый брат, // я — тоже волк, я — одинокий...* то они, думается, как предтечи больших, глубинных обобщений, в которых заложены и опыт ума, и опыт души: *Обкатаю камень, // как Демосфен, // во рту, // запыцу в небо // и стану ждать // возвращения, // но камень не вернётся. // Ожил Демосфен!*

* * *

Мы не коснулись в своих записках лаборатории поэтических форм, ценностью которых, и по праву, гордится автор «Скифотворений». Чтобы *правильно* и достойно про-

вести анализ этого весьма и специфически характерного и, подозреваем, характерного явления поэзии, нужны долгие годы работы с таким материалом. Мы же претендуем лишь на — относительное! — умение рецензента, а не лингвиста, словесника, литературоведа, тем более остепенённого. Совершенно справедливо в ремарке издателем обозначено, что «книга рекомендуется преподавателям вузов, специалистам-словесникам, учителям русского языка и литературы...», а потому надеемся, что таковые специалисты, несомненные энтузиасты и виртуозы своего дела, своей благородной профессии, выскажут взвешенные соображения о поэтических формах «Скифотворения»; а также хочется, чтобы и других сибирских авторов не проглядели.

И напоследок, с самой последней страницы, — рисунок-подношение от Владимира Скифа: как, допустим, граффити, предложенное нашему сердцу:

*жизнь
прекрасна
и опасна
где с и я н и е Христа
видит пред собою паства
у С о б о р н о г о Креста
есть
в народе
ощущенье
в день
Святого
Рождества
паства
вымолит
прощенье
и останется
жива*

А, вспомнилось сейчас из книги, молоденьким он как-то раз сказал: *Земля поражена // окаменевшей // молнией // границ.* Да, люди разделены, чудовищно несправедливо разделены. И если на какое-то время они тесно соединяются, то магнитом соединения нередко и всё чаще в последние десятилетия истории человечества оказывается очередная распря, а то и война, бойня, резня одичания и отупения. Воистину, «жизнь прекрасна и опасна...». Но когда «паства вымолит прощенье», чтобы остаться живой, жить в радости и мире и в мире радости земной и вышней?

Александр ДОНСКИХ

Поздравления



**За большой вклад в развитие сибирской
литературы и культуры Губернаторской премией
за 2014 год отмечены поэты**

Анатолий ЗМИЕВСКИЙ и Александр СОКОЛЬНИКОВ

прозаик

Анатолий БАЙБОРОДИН

**В 2014 году отметили свой юбилей
иркутские писатели:**

70 лет — Геннадий Аксаментов

65 лет — Валентина Сидоренко

60 лет — Татьяна Миронова

65 лет — Анатолий Байбородин

65 лет — Олег Слободчиков

**Желаем нашим коллегам крепкого здоровья,
новых творческих замыслов и свершений!**

*Редакция журнала «Сибирь»
Иркутский областной Дом литераторов им. П.П. Петрова
Правление Иркутского регионального отделения Союза писателей России*

